



Коммунистический Юноша



**ДЖОЗЕФ  
ШЕРИДАН ЛЕ ФАНО**

ЛЯДЯ САЙЛАС



В ЗЕРКАЛЕ  
ОТУМАНИННОМ

## Annotation

Англо-ирландского писателя Джозефа Шеридана Ле Фаню (1814–1873) при жизни ставили в один ряд с Уилки Коллинзом и Эдгаром По. В книге представлено зрелое и позднее творчество мастера. «Дядя Сайлас» — один из лучших образцов позднего готического романа, подлинный шедевр, перебрасывающий мостик от традиции «королевы ужасов» Анны Радклиф к триллерам XX в.

---

- [Джозеф Шеридан Ле Фаню](#)

- [Предисловие](#)

- [Том I](#)

- [Глава I](#)
- [Глава II](#)
- [Глава III](#)
- [Глава IV](#)
- [Глава V](#)
- [Глава VI](#)
- [Глава VII](#)
- [Глава VIII](#)
- [Глава IX](#)
- [Глава X](#)
- [Глава XI](#)
- [Глава XII](#)
- [Глава XIII](#)
- [Глава XIV](#)
- [Глава XV](#)
- [Глава XVI](#)
- [Глава XVII](#)
- [Глава XVIII](#)
- [Глава XIX](#)
- [Глава XX](#)
- [Глава XXI](#)
- [Глава XXII](#)
- [Глава XXIII](#)
- [Глава XXIV](#)
- [Глава XXV](#)

- [Глава XXVI](#)
- [Глава XXVII](#)
- [Глава XXVIII](#)
- [Глава XXIX](#)
- [Глава XXX](#)
- [Глава XXXI](#)
- [Глава XXXII](#)
- [Глава XXXIII](#)
- [Глава XXXIV](#)
- [Глава XXXV](#)
- [Том II](#)
  - [Глава I](#)
  - [Глава II](#)
  - [Глава III](#)
  - [Глава IV](#)
  - [Глава V](#)
  - [Глава VI](#)
  - [Глава VII](#)
  - [Глава VIII](#)
  - [Глава IX](#)
  - [Глава X](#)
  - [Глава XI](#)
  - [Глава XII](#)
  - [Глава XIII](#)
  - [Глава XIV](#)
  - [Глава XV](#)
  - [Глава XVI](#)
  - [Глава XVII](#)
  - [Глава XVIII](#)
  - [Глава XIX](#)
  - [Глава XX](#)
  - [Глава XXI](#)
  - [Глава XXII](#)
  - [Глава XXIII](#)
  - [Глава XXIV](#)
  - [Глава XXV](#)
  - [Глава XXVI](#)
  - [Глава XXVII](#)
  - [Глава XXVIII](#)

- [Глава XXIX](#)
  - [Глава XXX](#)
- [Эпилог](#)
- [comments](#)
  - [\\*](#)
  - [\\_](#)
  - [Предисловие](#)
  - [2](#)
  - [Том I](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)
  - [23](#)
  - [24](#)
  - [25](#)
  - [26](#)
  - [27](#)
  - [28](#)
  - [29](#)
  - [30](#)
  - [31](#)
  - [32](#)
  - [33](#)
  - [34](#)

- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [Tom II](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)

- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)

- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)

- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)

- [97](#)
  - [98](#)
  - [99](#)
  - [100](#)
  - [101](#)
  - [102](#)
  - [103](#)
  - [104](#)
  - [105](#)
  - [106](#)
  - [107](#)
  - [108](#)
  - [109](#)
  - [110](#)
  - [111](#)
  - [112](#)
  - [113](#)
  - [114](#)
  - [115](#)
  - [116](#)
  - [117](#)
  - [118](#)
  - [119](#)
  - [120](#)
  - [121](#)
-

**Джозеф Шеридан Ле Фаню**  
**Дядя Сайлас**  
**История Бартрама-Хо\***

*Достопочтенной графине Гиффорд в знак  
уважения, симпатии и восхищения эту историю  
посвящает автор*

## Предисловие



Сочинитель сей истории адресует своим читателям несколько коротких разъяснений. Интрига открытой перед ними «Истории Бартрама-Хо» повторяет, с некоторыми вариациями, небольшой, страниц в пятнадцать, рассказ, созданный сочинителем и давно им опубликованный в одном из журналов под названием «Эпизод из тайной истории ирландской графини», позже — так же анонимно — еще раз публиковавшийся в скромной антологии под иным названием. Маловероятно, что читателям попадалась сия безделка, и еще меньше вероятности, что она им запомнилась. Однако, учитывая такую возможность, сочинитель и пускается в краткое разъяснение, дабы не быть обвиненным в плагиате, какой всегда есть неуважение к читателям.

Да позволено ему будет также в нескольких словах возразить против беспорядочного употребления понятия «сенсационная школа письма»<sup>[1]</sup> применительно к той литературе, которая не нарушает ни единого из законов построения и морали, взятых великим создателем несравненных — начиная с «Уэверли» — романов себе за основу. Никто, разумеется, не станет называть романы сэра Вальтера Скотта «сенсационными», и, однако, в этой достойной изумления серии нет истории, где бы не говорилось о смерти, преступлении и где не было бы налета таинственности.

Минуя такие великие романы, как «Айвенго», «Пуритане» и «Кенильворт», перенасыщенные чудовищными злодеяниями и кровопролитием, а вместе с тем силой удивительного мастерства превращенные в повествования, которые держат читателя в напряжении и заставляют леденеть от ужаса, обратимся к двум непохожим на другие романам той же серии, живописующим современные нравы и сцены обыкновенной жизни, обратимся к ним и вспомним о видении в комнате, увешанной гобеленами<sup>[2]</sup>, дуэли, страшной загадке, смерти старого Элспета, утонувшем рыбаке и, кроме всего прочего, о будоражащем эпизоде с компанией, захваченной бурным течением вблизи скал, как то изображено в «Антикварии», и — в «Сент-Ронанских водах» — о долго хранимой завесе над тайной, предполагаемом безумии, о завершающем

трагедию самоубийстве, а вспомнив все это, решим: справедливо ли награждать определением, которое было бы профанацией употребить в отношении любой, даже самой увлекательной, истории Вальтера Скотта, повествования, пусть уступающие названным в исполнении, однако построенные по тем же законам фабулы и учащие тому же.

Автор верит, что критики, мастерству и воодушевляющей поддержке которых столь обязан он и его собратья по цеху, занятые своим скромным трудом, побеспокоятся относить уничижающее определение лишь к той особому рода литературе, какую оно изначально обозначало, и не допустят, чтобы с сей литературой смешивали достойную школу подлинно трагического английского романа, облагороженную гением сэра Вальтера Скотта, ставшего, по сути, ее основателем.

*Декабрь, 1864 год*

**Tom I**

## Глава I

### *Остин Руфин из Ноула и его дочь*



Была зима, точнее, середина ноября, и от сильного ветра дребезжали окна, ветер завывал, гудел, носясь меж высоких стволов в нашем парке, забираясь в увитые плющом дымоходы, — такой темный вечер... и такое веселое яркое пламя от крупного угля и потрескивавших сухих поленьев, славно перемешанных во внушительном камине мрачной старинной комнаты. Узкие панели черного дерева тускло отсвечивали по стенам до потолка, на чайном столике оживленной группкой стояли восковые свечи, многочисленные старые портреты висели на стенах: одни лица были суровы и бледны, другие — приятны, а некоторые — необыкновенно утонченны, прелестны. Помимо портретов там висело и несколько картин разной величины. Вообще, я думаю, вы бы приняли комнату за галерею: вытянутая в длину, просторная, но неправильной формы, она мало походила на гостиные, устроенные по новой моде.

Девушка, которой едва исполнилось семнадцать, — на вид, наверное, еще совсем дитя, — худенькая и довольно высокая, с густыми золотистыми волосами, темно-серыми глазами, с чувствительным, отмеченным меланхолией лицом, задумавшись сидела у чайного столика. Этой девушкой была я.

Кроме меня в комнате находился только один человек — единственный во всем доме, связанный со мною узами родства, — мой отец. Мистер Руфин из Ноула, как его называли в нашем графстве. Он, впрочем, владел многими другими поместьями, происходил из очень древнего рода и не раз отказывался от титула баронета, даже, как утверждали, от графского титула — гордый, дерзкий духом, он считал себя выше по положению и благороднее по крови двух третей дворянства. Но о семейном предании я имела смутное представление, составленное из рассказов, в которые пускались старые слуги, посиживая в детской у камелька.

Убеждена, отец любил меня, и я, разумеется, тоже его любила и с

присущим детям верным инстинктом чувствовала в нем нежность ко мне, хотя нежность эта никогда не находила привычного выражения. Но отец был со странностями. Он рано разочаровался в парламентской деятельности, к которой влекло его честолюбие. Умный человек, он терпел поражение в обстоятельствах, в которых намного уступавшие ему добивались успеха. Позже он отправился за границу и сделался ценителем и собирателем редкостей. По возвращении домой занимался литературой, наукой, к тому же выступил основателем и главой многих благотворительных обществ. Но в конце концов устал от подобия власти и уединился в деревне, где, не склонный к шумным забавам, вел жизнь ученого, задерживаясь на время то в одном, то в другом из своих обширных поместий.

Женился он довольно поздно, но скоро овдовел — молодая красавица жена умерла, оставив меня, единственного ребенка, на его попечении. Эта утрата, как утверждали, сильно сказалась на отце — он сделался еще более странным и молчаливым, а в обращении со всеми, исключая меня, — еще более суровым. Кроме того, история с его младшим братом Сайласом заставила отца жестоко страдать.

Сейчас он мерил шагами просторную комнату, погруженную — в дальнем конце за выступом стены — в сплошную тьму. Это была его привычка — ходить взад-вперед в полном молчании. Я смотрела на него и обычно представляла, как Шатобриан наблюдал за своим раром<sup>[1]</sup> в громадном покое их Шато де Комбур<sup>[3]</sup>. В дальнем конце комнаты мой отец почти исчезал во мраке, потом, возвращаясь на несколько минут, выступал, будто портрет, из тени и опять, без звука, становился почти невидим.

Подобной монотонностью движения и молчаливостью он испугал бы кого-нибудь менее осведомленного о его привычках. Однако и мне, очень его любившей, отец, который мог за весь день не проронить ни слова, внушал благоговейный страх.

Отец вышагивал по комнате, я же мысленно все время возвращалась к событиям предыдущего месяца. Заведенный порядок в Ноуле нарушался так редко, что самого мелкого происшествия оказывалось достаточно, чтобы возбудить любопытство у обитателей этого тихого дома, заставить их теряться в догадках. Отец жил редкостным затворником; не считая прогулок верхом, он почти не выезжал за пределы Ноула, а гости посещали нас, думаю, не чаще двух раз в год.

Речь идет не о том, что состоятельного и озабоченного вопросами веры соседа сторонились из-за каких-то незначительных разногласий. Мой отец

оставил Англиканскую церковь — ради странной секты, название которой я позабыла, и в конце концов сделался, как говорили, приверженцем Сведенборга<sup>[4]</sup>. Но он не затрагивал эту тему со мной. И немало послуживший экипаж возил мою гувернантку — когда она у меня появилась, — нашу старую домоправительницу миссис Раск и меня в приходскую церковь каждое воскресенье. Отец же на виду у почтенного священника, качавшего головой, — «безводные облака, носимые ветром... звезды блуждающие, которым блюдетя мрак тьмы навеки»<sup>[2]</sup>, — обращался к собственному «наставнику» и бывал вызывающе удовлетворен ниспосланными ему благодатью и озарением, а правоверная миссис Раск ворчала: воображает, будто зрит ангелов небесных и беседует с ними, подобно всем этим *фогнусникам*.

Не думаю, что, кроме этих предположений, у нее были основания обвинять отца в притязаниях на сверхъестественное могущество; и во всем, что не затрагивало ее ортодоксальной веры, она оставалась почитательницей своего господина, а также надежной домоправительницей.

Однажды утром я нашла миссис Раск надзирающей за приготовлениями к приему гостя в охотничьей комнате, которая звалась так из-за гобеленов, развешанных по стенам и представляющих сцены à la Воуверман:<sup>[5]</sup> сокольничии, загонщики, собаки, соколы, дамы, кавалеры и пажи. Окруженная ими миссис Раск, вся в черном шелке, выдвигала ящик за ящиком, считала простыни и отдавала приказания.

— Миссис Раск, кто приедет?

Она знала только имя. Некий мистер Брайерли. Мой папа ждет его к обеду. Гость задержится у нас дня на три-четыре.

— Я так думаю: он один из этих самых людей, дорогая, ведь я называла его имя нашему священнику, доктору Клею, и священник сказал, что среди последователей Сведенборга *есть* некий Брайерли, великий чудодей... Я уверена, это он.

Я имела неотчетливое представление об этих сектантах, подозревала их в некромантии и загадочном франкмасонстве — вещах, вызывавших ужас и отвращение.

Мистер Брайерли прибыл заблаговременно, чтобы не торопясь переодеться к обеду. И вот он вошел в гостиную — высокий, худой, весь в унылом черном, с тугим белым воротничком, то ли в черном парике, то ли с прической «под парик»; очки; мрачный, пронизывающий и быстрый взгляд. Потирая большие руки и коротко кивнув мне, явно принятой за дитя, он

уселся перед камином, скрестил ноги и взял журнал.

Такое обращение показалось мне обидным; хорошо помню свое возмущение, о котором *он*, конечно, и не подозревал.

Он оставался в Ноуле не слишком долго; никто из нас не догадывался о цели его визита, ни на кого мистер Брайерли не произвел благоприятного впечатления. Он казался суетливым, каким обычно и кажется всякий занятой человек сельским жителям; он совершал пешие и верховые прогулки, просиживал над книгами в библиотеке, написал с полдюжины писем.

Его спальня и гардеробная находились прямо напротив отцовских, а у отца в комнатах была своего рода передняя, где он держал некоторые книги по теологии.

На другой день после приезда мистера Брайерли я собралась посмотреть, поставлен ли для отца графин с водой и стакан на столике в этой передней. Не будучи уверенной, что отца там нет, я постучала в дверь.

Наверное, они были слишком поглощены своим занятием и не расслышали стука. Подождав, я открыла дверь и вошла. Мой отец сидел в кресле без сюртука и жилета, мистер Брайерли преклонил колени на скамеечке подле отца — лицом к нему, касаясь импровизированным париком седых отцовских волос. На столику рядом была раскрыта огромная книга — я решила, что богословская. Худая фигура в черном выпрямилась, мистер Брайерли, поднявшись на ноги, поспешно спрятал что-то у себя на груди.

Мой отец — бледнее, чем я его когда-либо видела, — тоже поднялся, решительно указал на дверь и велел мне:

— Выйди!

Легонько взяв за плечи, мистер Брайерли выпроводил меня из комнаты — с улыбкой на мрачном лице, совершенно мне не понятной.

Спустя мгновение я пришла в себя и молча поспешила прочь. Последнее, что я видела, была высокая худая фигура в черном: доктор угрюмо и многозначительно улыбнулся мне вслед, потом дверь закрылась, щелкнул замок, и два сведенборгианца остались со своими тайнами.

Я очень хорошо помню потрясение и отвращение, которое испытала, застав их за неким, вероятно, предосудительным магическим ритуалом; помню свое недоверие к этому мистеру Брайерли, в плохо сидевшем черном сюртуке, с белым крахмальным воротничком. Я чувствовала страх, я вообразила, что этот человек заявлял какие-то права на моего отца, и чрезвычайно встревожилась.

Мне чудилась угроза в загадочной улыбке высокого первосвященника.

Вид отца, каким он предстал перед моими глазами, возможно, исповедуясь этому непонятному мне человеку в черном, не шел у меня из ума, совсем не обученного ориентироваться в границах чудесного.

Я ни с кем ни словом не обмолвилась о случившемся. Но испытала огромное облегчение, когда зловещий гость на следующее утро покинул нас. Именно его посещение я теперь вспоминала.

Кто-то усмотрел в докторе Джонсоне сходство с привидением<sup>[6]</sup>, заметив, что к обоим следует обратиться, чтобы они заговорили. Мой отец, возможно, и походил на обитателя неземного мира, но ни единый человек во всем доме не осмелился бы первым обратиться к нему — кроме меня, да и я отваживалась крайне редко... Впрочем, я даже не представляла, до чего странным было это его обыкновение, и, только когда стала чаще навещать знакомых и родственников, поняла: нигде нет ничего подобного заведенному в нашем доме.

Пока я, откинувшись в кресле, предавалась этим мыслям, мой отец-призрак с неизменным постоянством важно приближался, поворачивался и вновь уходил во тьму. Фигура его, впрочем, была внушительна: крепкого сложения, плотный, лицо — крупное и необычайно суровое. В свободном, черного бархата, сюртуке и жилете, передо мной был человек пожилой, но не старый; хотя ему перевалило за семьдесят, в нем чувствовалась твердость и не замечалось ни малейшего признака слабости.

Помню, как я вздрогнула, когда, не подозревая, что он рядом, подняла глаза и увидела это крупное суровое лицо меньше чем в ярде от себя, встретила прикованный ко мне взгляд.

Он глядел на меня мгновение, затем, взяв один из тяжелых подсвечников в узловатую руку, кивком велел следовать за собой, и я, снедаемая любопытством, но хранящая молчание, повиновалась.

Он провел меня через освещенный холл... по коридору... к задней лестнице и завел в свою библиотеку.

Это была вытянутая в длину комната с двумя высокими узкими окнами в дальнем ее конце — тогда, помню, их уже закрывали шторы. В полумраке — ведь одна свеча давала мало света — он задержался у двери, налево от которой стоял в те времена резной дубовый старомодный шкаф. Подошел к нему.

И со странным, отсутствующим видом заговорил, обращаясь, как мне показалось, больше к себе самому, чем ко всему остальному миру.

— Она не поймет, — шепотом говорил он, вопрошающе глядя на меня. — Нет... *Поймет ли?*

Потом он замолчал, достал из нагрудного кармана небольшую связку

ключей. На один из полдюжины он хмуро воззрился, вертя ключ перед глазами и что-то обдумывая.

Я хорошо знала отца, поэтому не проронила ни слова.

— Они слишком пугливы... да, слишком... лучше я поступлю иначе.

Он опять замолчал и взглянул мне в лицо — будто на портрет, писанный маслом.

— Они... да... лучше я поступлю иначе... иначе... да. И она не догадается... она не подумает...

Мгновение он пристально смотрел на ключ, потом перевел взгляд на меня и, неожиданно подняв ключ в руке, отрывисто проговорил:

— Вот, дитя... — А через секунду добавил: — *Запомни* этот ключ.

Ключ был странной формы — не похож на другие.

— Да, сэр. — К отцу я всегда обращалась так — «сэр».

— Он открывает вот что... — Отец резко хлопнул по дверце шкафа. — Днем он всегда здесь. — На последних словах отец опять опустил ключ в карман. — Поняла?.. А ночью — у меня под подушкой. Ты слышишь меня?

— Да, сэр.

— Не забудешь про этот шкаф? Дубовый... сразу от двери налево... Не забудешь?

— Нет, сэр.

— Какая жалость, что она девушка, притом такая молоденькая... увы, девушка и такая молоденькая... Неразумна... легкомысленна. Так *запомнишь?*

— Да, сэр.

— Тебе следует помнить.

Он обернулся и изучающе посмотрел на меня, как человек, который вдруг принял решение. Думаю, на какой-то миг он отважился доверить мне намного больше того, что сказал. Но если и так, он отказался от этой мысли, потому что, помолчав, проговорил медленно... жестко:

— Ты *никому* не скажешь о том, что услышала от меня, — иначе вызовешь мое недовольствие.

— О нет, сэр!

— Славное дитя! — Он помолчал. — Не скажешь, кроме как в *том* случае, — заключил он, — если в мое отсутствие доктор Брайерли — ты, конечно, помнишь худого, в очках и черном парике джентльмена, гостившего у нас три дня прошлым месяцем, — если он появится в нашем доме и спросит ключ. Ты поняла? В мое отсутствие.

— Да, сэр.

Тогда он поцеловал меня в лоб и произнес:

— Вернемся.

Что мы и сделали в полном молчании. Стенала буря: казалось, погребальная песнь, исполняемая на громадном органе, сопровождает наши шаги.

## Глава II

### Дядя Сайлас

Вернувшись в гостиную, я вновь заняла свое кресло, а отец вновь принялся вышагивать из конца в конец большой комнаты. Возможно, завывавший ветер растревожил привычное течение его мыслей; впрочем, в чем бы ни крылась причина, он был необычайно разговорчив в тот вечер.

Походив с полчаса взад-вперед, он опустился в кресло с высокой спинкой, стоявшее у камина почти напротив моего, какое-то время, прежде чем заговорить, по обыкновению, пристально глядел на меня, а потом сказал:

— Так не годится... тебе нужна гувернантка.

В подобных случаях я опускала книгу, откладывала работу и готова была слушать его не прерывая.

— Твой французский вполне хорош, и твой итальянский — тоже, но ты совсем не знаешь немецкого. Музыцируешь неплохо, наверное, — впрочем, я не судья, — однако рисовать могла бы получше... да-да. Есть настоящие леди — «законченные гувернантки», как их называют, — которые берутся обучить гораздо большему, чем какой-либо учитель в мое время, и прекрасно справляются. Такая гувернантка подготовит тебя, и будущей зимой ты отправишься во Францию и Италию, где расширишь свой кругозор.

— Благодарю вас, сэр.

— Тебе это необходимо. Уже почта полгода, как мисс Эллертон оставила нас, — слишком длительный перерыв в учении. — Он помолчал. — Доктор Брайерли спросит тебя про этот ключ, спросит, что ключ открывает. Ты покажешь ему — никому другому...

— Но, — сказала я, боясь ослушаться отца даже в таком незначительном поручении, — но тогда вы будете отсутствовать, сэр. Как же я раздобуду ключ?

Неожиданно он улыбнулся — широкой, но усталой улыбкой; она редко появлялась и быстро исчезала с его лица, добрая и... загадочная.

— Верно, дитя; и я рад, что ты настолько умна. Но уж об *этом* не беспокойся, ты будешь знать, где искать ключ. Ты видишь, в каком затворничестве я живу, и, возможно, вообразила, что у меня нет ни единого друга. Ты почти права... *почти*... однако, не до конца права. У меня есть преданный друг... *один*... друг, которого я когда-то не понимал, но теперь

оценил.

Я мысленно задавалась вопросом: не о дяде ли Сайласе идет речь?

— Скоро он явится — я не могу точно сказать когда. И не назову тебе его имени — но ты скоро узнаешь... а я не хочу разговоров об этом. Я должен совершить короткое путешествие с ним. Ты не побоишься на какое-то время остаться одна?

— Вы дали обещание, сэр? — опять спросила я вместо ответа; любопытство и беспокойство превозмогли мой неизменный страх перед отцом.

Он с добродушием отнесся к допросу.

— Дал *обещание*? Нет, дитя. Но есть обстоятельства... ему нельзя отказать. Я должен совершить путешествие с ним, как только он позовет. Я не властен выбирать. Впрочем, я рад этому. Запомни, я говорю, что я *рад* этому.

Он улыбнулся той же суровой и печальной улыбкой. Прямой смысл его слов, как я их поняла, сохранился в памяти, и даже теперь, по прошествии времени, за смысл я ручаюсь.

Человек, совершенно не привычный к манере моего отца говорить обрывая мысли, загадками, подумал бы, что рассудок отца, возможно, расстроен. Но такое подозрение не встревожило меня ни на минуту. Я была уверена, что он упомянул о реальном лице, которое ожидал, и что, дождавшись, отправится вместе с ним в какое-то таинственное путешествие. Мне казалось, я превосходно поняла отца, много сказавшего, хотя разъяснившего мало.

Вы не должны думать, что моя жизнь была лишь одиночество и разговоры, подобные описанному; и хотя необычные, порою даже пугающие tête-à-têtes<sup>[3]</sup> случались у меня с отцом, я так привыкла к его характеру и так верила в его любовь ко мне, что не приходила в полное уныние и замешательство — нет. Совсем иные беседы я часто вела со старой доброй миссис Раск, не без удовольствия болтала с Мэри Куинс, моей давней горничной, кроме того, время от времени ездила на недельку погостить к кому-нибудь из соседей, а иногда — крайне редко, признаюсь, — принимала гостей в Ноуле.

Отец ненадолго прервал свои откровения, и мой ум устремился на поиски. Кто же, думала я, этот предполагаемый гость, что явится, облеченный правом вынудить моего отца, столь привязанного к дому, немедленно расстаться с его домашними божествами — книгами и дитятей, — с какими он неразлучен, расстаться и отправиться в странствие? Кто, если не дядя Сайлас, думала я, таинственный

родственник, которого я никогда не видела, который, как мне дали понять, был то ли неизъяснимо несчастлив, то ли невыразимо порочен, о котором отец редко упоминал — поспешно и со страдальческим, озабоченным выражением на лице? Только однажды отец обронил несколько фраз, из коих я могла бы догадаться о его отношении к брату, но фразы эти, мимолетные и туманные, допускали разное толкование.

Это случилось так. Однажды — мне было лет четырнадцать — миссис Раск в обшитой дубом комнате выводила пятно на кресле, а я с детским любопытством наблюдала за ней. Утомившись, она присела отдохнуть, откинула голову, чтобы снять боль в шее, и взгляд ее упал на портрет, висевший как раз напротив.

На портрете в полный рост был изображен необыкновенно красивый молодой человек, смуглый, стройный, изящный, одетый и причесанный весьма старомодно — как было принято, кажется, в начале века: белые лосины и высокие сапоги с отворотами, коричневые жилет и сюртук, длинные, зачесанные назад волосы.

Черты лица поражали тонкостью, но указывали также на решительный характер, пронизательный ум — вы не приняли бы этого человека просто за щеголя. Когда приезжавшие в Ноул впервые видели этот портрет, вслед за восклицанием «Удивительной красоты мужчина!» часто слышалось другое — «Сколько ума в лице!». Итальянская борзая застыла у его ног, какая-то прекрасная колоннада и богатая драпировка служили фоном. Но, хотя аксессуары были роскошны, прелестны, исполнены, как я сказала, изящества, в тонком овале лица на портрете сквозила мужественность и огонь полыхал в больших темных глазах, совершенно особенных, не позволявших назвать изнеженным это лицо.

— Не дядя ли Сайлас изображен здесь? — спросила я.

— Да, дорогая, — спокойно глядя на портрет, ответила миссис Раск.

— Он, должно быть, очень красивый мужчина, не правда ли?

— *Был*, моя дорогая... был, но прошло уже сорок лет с тех пор, как писался портрет. Дата поставлена в углу, там, где тень, возле ноги. А сорок лет, могу вам сказать, меняют... большинство из нас. — И миссис Раск добродушно, без смущения, рассмеялась.

Какое-то время мы обе не сводили глаз с красивого мужчины в высоких сапогах с отворотами. Потом я спросила:

— Миссис Раск, а почему папа всегда печалится, когда заходит речь о дяде Сайласе?

— Что такое, дитя? — раздался рядом голос отца.

Я вздрогнула, обернулась и, залившись краской и онемев, отступила на

шаг.

— Не пугайся, дитя. Ты не сказала ничего дурного. — Заметив мое смятение, он ласково произнес: — Ты сказала, я всегда печалюсь, когда заходит речь о дяде Сайласе. Право, не пойму, как возникла у тебя такая мысль, но если я был печален, то этому удивляться не стоит. Твой дядя — человек больших способностей, но столь же велики его пороки и заблуждения. Способности негодились ему, в пороках он давно раскаялся, его заблуждения, я думаю, обременительнее для меня, чем для него самого, и они глубоки... Она говорила еще о чем-то, мадам? — неожиданно потребовал он ответа у миссис Раск.

— Нет, сэр, — ответила с легким поклоном миссис Раск, которая почтительно слушала господина стоя.

— Незачем тебе, дитя, — продолжил отец, вновь обращаясь ко мне, — более думать о нем сейчас. Пусть в твоей головке не будет мыслей о дяде Сайласе. Когда-нибудь, возможно, ты узнаешь его... что ж, очень хорошо. Ты поймешь, какой вред причинили ему низкие люди.

Отец повернулся, чтобы выйти из комнаты, а у двери обронил:

— Миссис Раск, позвольте сказать вам два слова. — Он сделал ей знак, и пожилая женщина поспешила за ним в библиотеку.

Наверное, тогда он и высказал домоправительнице свое повеление, переданное ею Мэри Куинс, потому что ни ту, ни другую мне уже не удавалось вовлечь в разговор о дяде Сайласе. Я могла говорить, но они смущенно хранили молчание, а миссис Раск порою раздражалась и сердилась, если я слишком настойчиво задавала вопросы.

Мое любопытство лишь возросло: портрет изящного мужчины в лосинах и высоких сапогах с отворотами озарился многоцветием тайны, а непостижимая улыбка на красивом лице теперь, казалось, дразнила меня, совсем сбитуую с толку.

Почему любопытству, иначе говоря честолюбию, которым испытывает нас давший нам жизнь, так трудно противиться? Знание — это власть, а душа человека тайно вожделеет всякой власти; помимо стремления добраться до сути, безудержный интерес к чужой истории и, что важнее всего, некий запрет возбуждают наш аппетит.

## Глава III

### *Новое лицо*

Наверное, полмесяца прошло с того разговора, как отец дал мне таинственное поручение в отношении старого дубового шкафа в его библиотеке (о чем я уже рассказала подробно), когда однажды вечером я сидела у большого окна в гостиной, предаваясь меланхолии и с восхищением созерцая залитый лунным светом пейзаж. В комнате я была одна, и свечи возле камина, в дальнем конце ее, не могли рассеять тьму, сгущавшуюся ближе к окну, у которого я сидела.

За окном подстриженная лужайка мягко спускалась к широкому равнинному участку, где виднелся, отдельными купами, лучший в Англии строевой лес. Будто убеленные сединой под лунным светом, деревья стояли, отбрасывая недвижные тени на траву, а дальше, венчая холмистый горизонт, поднимались рощи, скрывавшие одинокую могилу, в которой покоилась возлюбленная моя мать.

Ни дуновения ветра. Над горизонтом висел серебристый туман, на небе трепетали озябшие звезды. Кто не знает, как действует такой пейзаж на ум, уже охваченный грустью? Фантазии и сожаления наводняют его, воспоминания и предчувствия, странно сплетенные, являются к вам издалека, подобно давно знакомому, милому напеву. Прикованная взглядом к траурно черневшим на горизонте величественным роцам, я мысленно вернулась к таинственным намекам отца об ожидаемом госте. Предстоящее отцу неведомое странствие тревожило меня.

Во всем, что касалось его религии, я всегда ощущала что-то неземное и призрачное.

Когда умерла моя дорогая мама, мне не было девяти, и, помню, за два дня до похорон в Ноуле, где она умерла, появился худой маленький человечек с большими черными глазами на смуглом, до крайности мрачном лице.

Он подолгу уединялся с моим дорогим отцом, глубоко скорбевшим, а миссис Раск повторяла: «Вот странно, что господин молится с этим карликом, с этим лондонским чучелом; добрый мистер Клей приехал бы из деревни по первому зову! И какая польза господину от этого черненького ничтожества?!»

На другой день после похорон меня почему-то отправили на прогулку с этим черным человечком; моя гувернантка была больна, в доме все

смешалось, и горничные, должна сказать, дали себе волю, воспользовавшись отпуском.

Я почти благоговела, помню, перед черным человечком, но он не внушал мне страха — он был кроток, хотя и печален, и казался доброй душой. Он повел меня в сад — в голландский сад, как мы говорили, — с балюстрадой и статуями на дальнем плане, в коврах из ярчайших цветов. По широкой лестнице кейнского камня мы спустились в сад и в молчании направились к балюстраде. Перила были слишком высоки для меня, что за ними — я не видела. Не выпуская моей руки, человечек произнес:

— Посмотри, дитя, что там дальше. Впрочем, ты не увидишь, но я вижу. И сказать тебе — что? Столько всего... Небольшой домик: его крутая крыша кажется золотой в лучах солнца. Вижу высокие деревья, отбрасывающие мягкие тени вокруг домика. Под окнами, у ограды, вижу цветущий кустарник — не скажу какой, но его цветы прекрасны. А меж деревьев, вижу, бегают и играют двое детей. Мы с тобой идем туда, еще несколько минут — и будем стоять под теми деревьями, будем говорить с теми детьми. А пока для меня все это — лишь картинка в уме, для тебя же — лишь сочиненный мною рассказ, которому ты веришь. Ну, пойдем, пойдем, милая.

Взяв правее, сойдя по ступенькам, мы бок о бок двинулись тропинкой меж высоких стен живой изгороди. Нас окружал полумрак, ведь солнце уже садилось. Но повернули налево — и вот мы в ярком солнечном свете посреди той картинке, которую он нарисовал.

— Это ваш дом, мои маленькие друзья? — спросил он детей, хорошеньких розовощеких мальчиков; те ответили утвердительно. Тогда он положил ладонь на ствол дерева рядом, улыбнулся печальной улыбкой, кивнул мне и произнес: — Теперь ты видишь, слышишь, убеждаешься, что виденное мною, как и мой рассказ, — все истинно. Но пойдем дальше, милая, нам с тобой идти дальше...

Вновь погрузившись в молчание, мы долго брели через лес, тот самый лес в отдалении, который приковывает ныне мой взгляд. Время от времени он усаживал меня отдохнуть и с задумчиво-строгим лицом рассказывал какую-нибудь коротенькую историю, донося даже до детского моего ума отблеск неземной истины, но — другой, не той, которую пыталась, излагая притчи, раскрыть предо мной добродетельная миссис Раск, другой и почему-то неясно пугающей...

Вот так, заинтересованная и в то же время немного напуганная, я шла за маленьким непонятным «ничтожеством» лесными просеками. И совершенно неожиданно для меня мы вышли к месту, где под сенью

густого леса возвышался мавзолей — из серого камня, с колоннадой, окруженный с четырех сторон замшелыми ступенями. Одинокая гробница, в какую — я видела утром прошлого дня — положили мою бедную маму... Вновь отверзся источник моего горя — я безудержно рыдала и повторяла: «О мамочка, мамочка, милая моя мамочка!» Я рыдала и в исступлении призывала ту, что была глуха и нема.

Шагах в десяти от гробницы стояла скамейка.

— Сядь подле меня, дитя мое, — очень мягким и ласковым голосом позвал печальный человек с черными глазами. — Что ты видишь там? — спросил он, указывая тростью на сооружение перед нами.

— О, там... стена, за которой моя бедная мама?

— Да, каменная стена, слишком высокая, и ни ты, ни я не сможем заглянуть за нее, но...

И он назвал имя — наверное, Сведенборга, судя по откровениям, затем посыпавшимся на меня. Помню только, что восприняла его как имя сказочного чародея и вообразила, будто этот чародей жил в лесу, обступавшем нас, и все больше пугалась, слушая черноглазого человечка.

— Но Сведенборг видит поверх стены, сквозь нее и поведал мне то, что нам должно знать. Он поведал, что твоя мама не там.

— Ее забрали! — вскочив, воскликнула я. Сквозь слезы я глядела на сооружение, к которому страшилась приблизиться, и только топала ногами от возбуждения. — Маму забрали? Где она? Куда ее забрали?

— Твоя мама жива, однако слишком далеко, ей не увидеть, не услышать нас, но Сведенборг — а он рядом с нами, — он видит и слышит ее, он говорит мне обо всем, что видит, как я говорил тебе в саду о мальчишках, домике, деревьях и цветах, в которые, пусть скрытые от тебя, ты поверила, когда я о них рассказал. Вот и теперь я тебе расскажу, как в тот раз... И если мы, и ты и я, идем, на что я уповаю, к одному и тому же месту — так же, как шли к деревьям, домику, помнишь? — ты конечно же увидишь своими глазами, насколько правдиво мое описание этого места.

Невыразимый страх объял меня: я боялась, что, закончив с описанием, человек поведет меня через лес к месту загадок и теней, где мертвые — зримы.

Уперев руку в колено, а голову склонив на руку и почти прикрыв ладонью опущенные глаза, он принялся описывать прекрасный пейзаж, залитый дивным светом, где, исполненная веселия, легкой тропой, ведущей в горы немыслимой высоты, с вершинами, тающими в надмирной лазури, шла моя мать меж людей, перенесенных в те же пределы красоты и великолепия. А закончив повествование, он поднялся, взял меня за руку и, с

мягкой улыбкой глядя в мое бледное изумленное лицо, произнес слова, которые говорил прежде:

— Ну, пойдем, милая.

— О нет, нет! *Нет* — не сейчас! — возразила я, перепуганная до крайности.

— Пойдем домой, я хотел сказать. Туда... туда мы попадем единственно через врата смерти, к коим все мы, молодые и старые, неумолимо направляем свои шаги.

— А где врата смерти? — спустя какое-то время спросила я почти шепотом, идя с ним рядом, держа его крепко за руку и украдкой посматривая вокруг.

Он печально улыбнулся и произнес:

— Когда, рано или поздно, исполнятся сроки, каждый из нас, подобно Агари, узревшей в пустыне источник<sup>[7]</sup>, узрит отверстую дверь и войдет, и будет даровано ему освежиться.

Долго после этой прогулки нервы у меня были расстроены, по большей части из-за того, как миссис Раск отнеслась к моим признаниям. Она выслушала меня с поджатыми губами, а потом, воздев глаза и руки, разразилась упреками, обращаясь к горничной: «Ну и ну, Мэри Куинс! Отпустить дитя в лес с этим порождением тьмы! Счастье еще, что он не показал ей Сатану и не перепугал до потери рассудка!»

Об этих сведенборгианцах мне на самом деле известно только то, что утверждала добрая миссис Раск. Двое-трое, будто фигуры из волшебного фонаря, попали в ограниченное поле моего зрения в ранние годы. Но вокруг был и есть мрак. Однажды я пыталась читать их книгу — о назначенном человеку, о небесах, об аде, — но через день пришла в страшное волнение и отложила ее. С меня довольно знать, что видения, какие узрел — или решил, будто узрел, — основатель учения, нисколько не подменяют, но подтверждают и толкуют Библию; и раз уж мой милый папа принял догматы сведенборгианцев, меня радует мысль, что эти догматы не противны святому Слову.

Подперев рукой голову, я глядела на тот самый лес, величественно белый, призрачный в лунном свете, где — после прогулки с провидцем — долго воображала врата смерти, скрытые лишь легкой пеленой чар, и еще — ослепительные пределы духов. Воспоминания ранних лет, растревожив фантазию, добавили к моим думам о госте, которого ждал отец, щемящую печаль.

## Глава IV

### Мадам де Ларужьер

Неожиданно на лужайке предо мной возникла странная фигура — очень высокая женщина в серых... нет, в белых под луной одеждах; она присела в глубоком и невообразимом поклоне.

Охваченная ужасом, я не сводила глаз с незнакомого крупного и довольно худого лица, улыбавшегося мне чудовищнейшей улыбкой. Догадавшись, что я ее заметила, женщина стала хриплым голосом торопливо говорить что-то (что именно — я через стекло не разобрала) и размахивать руками, пугающе длинными.

Она подступила к окну, а я отпрянула и устремилась к дальней стене с камином; я изо всех сил звонила в колокольчик, но она не двинулась с места, и тогда, решив, что она может ворваться в комнату, я, перепуганная, выбежала за дверь. В галерее я увидела Бранстона, дворецкого.

— Возле окна женщина! — выкрикнула я, задыхаясь. — Прогоните ее, прошу вас!

Скажи я, что там мужчина, тучный Бранстон, наверное, призвал бы и выслал вперед отряд лакеев. Но тут он лишь сдержанно поклонился.

— Извольте, мэ... исполню, мэ...

И с важным видом прошествовал к окну.

Думаю, и ему ничуть не понравилась гостья, потому что, остановившись в нескольких шагах от окна, он довольно сурово спросил:

— Чего вы там делаете, любезная?

Ее ответ, весьма краткий, не достиг моего слуха. Но Бранстон проговорил:

— Я не осведомлен, мэ, про это я не знаю. Но если обойдете — *так и так*, — найдете входную дверь, а уж я доложу господину и исполню его распоряжение.

Женщина сказала что-то и указала рукой.

— Да, точно, дверь вы не проглядите.

И мистер Бранстон неторопливо, в своих наряднейших туфлях без каблуков, преодолел длинную комнату, остановился возле меня, отвесил учтивый поклон, а потом с недоумением, которое сам бы хотел для себя разрешить, доложил:

— Она говорит, что она — гувернантка.

— Гувернантка? *Что* еще за гувернантка?

Бранстон был вышколен и сдержал улыбку; тоном, исполненным глубокомыслия, он осведомился:

— Не лучше ли мне спросить господина?

Я подтвердила, что так будет лучше, и размеренные шаги дворецкого замерли в той стороне дома, где располагалась библиотека.

Затаив дыхание, я стояла в холле. Всякая девушка моих лет знает, что значит прибытие гувернантки. Я слышала, как через минуту-другую вышла — мне показалось, из кабинета — миссис Раск. Она шла торопливым шагом и громко ворчала — дурная привычка, которой она поддавалась всегда, когда «предстояли волнения». Я была не прочь расспросить ее, но вообразила ее раздражение и поняла: она не много скажет. Да она и не направлялась в мою сторону, а быстро пересекла холл своим энергичным шагом.

Однако действительно ли прибыла гувернантка? Неужели странное, отталкивающее привидение теперь будет держать меня в своей власти, и эта зловещая улыбка, это хриплое бормотание будут меня постоянно преследовать?

Но только я решила отправиться к Мэри Куинс и разузнать обо всем, как услышала шаги отца, направлявшегося в гостиную из библиотеки. Я не спеша вернулась в гостиную, но мое сердце тревожно стучало.

Он вошел и с еле заметной улыбкой ласково коснулся, как обычно, моей головы, а затем принялся молча вышагивать из конца в конец комнаты. Меня снедало желание поговорить с отцом о том, что занимало мои мысли, но страх перед ним меня удерживал.

Спустя какое-то время он остановился у окна, где я отодвинула шторы и чуть приоткрыла ставни, и устремил взгляд на тот же пейзаж, который прежде созерцала я и который, возможно, вызывал у него совсем иные мысли.

Не менее часа отец молчал, а потом неожиданно, по своему обыкновению, в немногих словах известил меня о прибытии мадам де Ларужьер, приглашенной ко мне гувернантки, весьма высоко отрекомендованной и превосходно знающей свое дело. Сердце у меня упало — я предчувствовала недоброе. Я заранее не доверяла ей, невзлюбила и боялась ее.

Непонятым образом уже постигнув этот характер, я опасалась, что она будет злоупотреблять своей властью. Большеносый, большеротый ухмылявшийся призрак, так странно приветствовавший меня в лунном свете, растревожил мои слабые нервы.

— Мисс Мод, дорогая, надеюсь, вы полюбите вашу новую

гувернантку, мне же она что-то пришлось не по нраву, — прямо высказалась домоправительница, ожидавшая меня в спальне. — Не выношу этих француженок, не похожи они на женщин. Она ужинала у меня. Она глотала как волк, да-да, разевала рот как *изверг* какой-то. А видели бы вы ее в постели! Я устроила ее в комнате рядом с той, где куранты, а то такую и не разбудишь. Ну и наружность! Нос — громадный, длиннющий; щеки ввалились... А уж ротище! Возле нее я была как Красная Шапочка — правду говорю, мисс!

Тут чистосердечная Мэри Куинс, приходившая в восторг от сатирического дара миссис Раск, которым сама она, увы, не обладала, искренне рассмеялась.

— Разбери постель, Мэри... Она очень старается понравиться, да-да, пока старается, — как все вновь поступившие на место. Но от меня она похвал не дождется, нет, мисс. Интересно, почему на предложения господ пойти в гувернантки не отвечают порядочные английские девушки — а только эти злоумышляющие *чужезевки*? Господи прости мне, но я думаю, все они одного поля ягоды.

На другое утро я познакомилась с мадам де Ларужьер. Она была высокая, мужеподобная, слишком худая, пожалуй. Одета она была в пурпурный шелк, с кружевной наколкой на густых черных волосах — слишком густых и черных при ее болезненно бледном лице с провалившимся ртом и тонкими, но отчетливыми морщинами вокруг глаз. Она улыбнулась, кивнула, а затем в молчании довольно долго изучала меня пристальным хитроватым взглядом, с жесткой улыбкой на губах.

— И как ее зовют... как мадемуазель зовют? — задала вопрос рослая чужеземка.

— *Мод*, мадам.

— Мод! Какое крясиви имя. Eh bien!<sup>[4]</sup> Я уверен, моя дорогая Мод будет очень корошей маленьки девочка — не так ли? Я уверен, что полюблю ее изо всей мочь. И чему же вы, Мод, моя дьетка, обучались? Музике, французскому, немецкому — так?

— Да, немного. Я только начала пользоваться глобусами, когда моя гувернантка уехала. — Говоря это, я кивнула на глобусы, стоявшие рядом с ней.

— О, глэбюс! Она раскрутила один, скользнув по поверхности шара своей громадной рукой. — Je vous expliquerai tout cela à fond<sup>[5]</sup>.

Мадам де Ларужьер, как я узнала, всегда была готова объяснить все à fond, но почему-то ее «толкования», как она выражалась, оказывались

бестолковы, причем она легко теряла самообладание, поэтому со временем я решила довольствоваться ее непосредственным описанием.

Мадам отличалась поразительно крупным сложением, из-за чего казалась еще ужаснее в глазах нервной *детки*, какой, с позволения сказать, была я. Иногда она подолгу останавливала на мне взгляд — с той особенной, уже упомянутой мною улыбкой — и прижимала верхнюю губу громадным пальцем, точно элевсинская жрица на вазе.

Она могла сидеть по часу, устремив невидящий взгляд на огонь в камине или же за окно, а на ее хитром лице застывала почти торжествующая гримаса.

Нет, она ни в коей мере не была славной *gouvernante*<sup>[6]</sup> для нервической девушки моих лет. Случавшиеся с ней порой приступы неистового веселья пугали меня даже больше ее угрюмости. О них я еще расскажу.

## Глава V

### Явления и звуки

Нет в Англии дома, где слуги и юные его обитатели не почитали бы привидений. Ноул тоже был не без своих теней, шорохов и странных историй. Рейчел Руфин, красавица времен королевы Анны<sup>[8]</sup>, умершая с тоски по несравненному полковнику Норбруку, убитому в Нидерландах, ходила ночами по дому, шелестя шелками. Недоступная зрению — только слуху... Слышался лишь стук ее высоких каблучков, да шуршание юбок, да вздохи — когда она задерживалась в галерее у дверей спален. А иногда, ненастной ночью, доносились ее рыдания.

Кроме того, был «факельщик» — высокий, худой, смуглокожий и темноволосый мужчина в черном одеянии с факелом в руке. Обычно факел лишь тлел, багровый во тьме, когда «факельщик» обходил дозором дом. Среди других комнат к его ведению относилась библиотека. В отличие от «леди Рейчел», как называли ее горничные, этого можно было увидеть. Но нельзя было услышать. Его шаги на паркете, на коврах оставались беззвучны. Мрачное пламя тлеющего факела едва освещало его фигуру и лицо; только сильно растревоженное, разгоралось ярче. Тогда факельщик, совершая свой путь, то и дело крутил факелом у себя над головой, и пламя зловеще вспыхивало. Этот ужасный знак предвещал страшные потрясения, бедствия. Впрочем, такое случалось лишь раз-другой за сто лет.

Не знаю, дошли ли до мадам эти истории, но однажды она завела разговор со мной и Мэри Куинс, очень нас напугав. Она спросила, кто прогуливается по галерее под дверью ее спальни и потом спускается по лестнице вниз, — она различает шелест юбок и долгие вздохи. Дважды, сказала мадам, она, выйдя, стояла в темноте у своей двери, прислушивалась, а раз спросила, кто это там. Ей не ответили, особа просто повернулась и устремилась к мадам с невообразимой быстротой, так что мадам вынуждена была скрыться за своей дверью и запереться.

Поначалу такой рассказ взволнует незрелый, неопытный ум. Но вскоре, как я убедилась, острота впечатления притупляется и рассказ занимает место среди всего прочего в памяти. Так было и с повествованием мадам.

Неделю спустя после ее признаний я сама, однако, пережила подобный опыт. Мэри Куинс отправилась за ночником, оставив меня в постели при

свече, и я, утомленная, уснула, не дождавшись ее возвращения. Когда я проснулась, свеча уже догорела. Мне почудились шаги, приближавшиеся к моей двери. Я вскочила и отворила дверь, совершенно не думая о привидениях. Я предполагала увидеть Мэри Куинс со светильником. За дверью была тьма, совсем близко от меня по дубовому паркету ступали чьи-то босые ноги, потом шаги внезапно смолкли. Я позвала: «Мэри!» Никакого ответа — только шелест платья и чье-то дыхание на противоположной стороне галереи, у лестницы на верхний этаж. Леденя от ужаса, я отступила в комнату и захлопнула дверь. Шум разбудил Мэри Куинс, которая заглядывала ко мне с полчаса назад и, увидев, что я сплю, ушла к себе.

Недели через две после этого случая Мэри Куинс, необыкновенно правдивая старая дева, сообщила мне, что, встав около четырех часов утра, чтобы закрыть стучавшую на ветру ставню, она увидела свет в окнах библиотеки. Горничная была готова присягнуть, что видела яркий, проникавший сквозь щели ставен, беспокойный свет, ведь рассерженный «факельщик», несомненно, размахивал факелом над головой.

Описанные странные происшествия, я думаю, повредили моим слабым нервам и способствовали тому, что отталкивающая француженка постепенно и, кажется даже без особых усилий — благодаря моей склонности усматривать таинственный сверхъестественный смысл в происходящем — стала обретать надо мной какую-то непонятную власть.

Вскоре сделались заметными некоторые темные стороны ее натуры — проступили из тумана, которым она себя окружала.

И я не могла не отдать должное миссис Раск, говорившей о нередко притворной приятности в обхождении у вновь прибывших, ведь добродушие мадам теперь все чаще уступало место иным свойствам, иному характеру — мрачному и воинственному.

Впрочем, мадам имела привычку постоянно держать под рукой раскрытую Библию, хранила строгую сосредоточенность на утренних и вечерних службах и с глубочайшим смирением попросила моего отца одолжить некоторые переводы из Сведенборга, необыкновенно ее интересовавшие.

В плохую погоду мы обычно совершали променады по широкой террасе перед окнами. И порой угрюмое, злобное выражение на лице мадам вдруг сменялось доброй до приторности улыбкой, мадам мягко похлопывала меня по плечу и участливо спрашивала: «Ви изнурены, *ma chère*?<sup>[7]</sup> Ви мерзльота, дорогая Мод?»

Вначале столь неожиданная смена настроения меня озадачивала и

даже пугала, наводя на мысль о помешательстве мадам. Впрочем, вскоре разгадка обнаружилась: я сделала открытие, что эти приступы показного участия приключались у нее сразу же вслед за тем, как лицо моего отца возникало в окне библиотеки.

Я не знала, что и думать об этой женщине, внушавшей мне какой-то суеверный страх, и очень не любила в сумерках оставаться наедине с ней в классной. Порой она сидела, подолгу угрюмо глядя на пламя в камине, и углы ее большого рта злоеце опускались. Если она замечала, что я смотрю на нее, то мгновенно преображалась, с мечтательным видом склоняла голову на руку и наконец хваталась за спасительную Библию. Но вряд ли она читала — она предавалась своим темным мыслям, ведь книга лежала у нее перед глазами по полчаса — по часу раскрытая на одной и той же странице.

О, как бы обрадовалась я, уверь меня кто-нибудь, что она, стоя на коленях, молится, а раскрыв эту книгу, читает; я видела бы в ней больше доброты, человечности. Но внешнее благочестие мадам заставляло подозревать ее в лицемерии, и это пугало. Впрочем, уверенности у меня не было — лишь подозрение...

Наши священник с викарием, перед которыми она благоговела, которым доверяла свою озабоченность моими молитвами и моим катехизисом, превосходно отзывались о ней. При посторонних она всегда относилась ко мне с особым вниманием.

Ничуть не меньшее усердие демонстрировала она перед моим отцом. Она всегда находила предлог для бесед с ним: советовалась о полезном для меня чтении, жаловалась, как я узнала, на мое упрямство и мою раздражительность. В действительности я была на редкость сдержанной и послушной. Но думаю, она стремилась поставить меня в полную зависимость от нее. Она замышляла, теперь я понимаю это, обрести власть над всеми домашними, подчинить себе весь дом — будто злобный дух, каким она мне иногда и казалась.

Однажды отец позвал меня в свой кабинет и сказал:

— Ты не должна причинять бедной мадам столько страданий. Она — одна из немногих, кто принимает в тебе участие, почему же она вынуждена постоянно жаловаться на твою вспыльчивость и строптивость? Почему ты ставишь ее перед необходимостью просить моего позволения наказывать тебя? Не опасайся, этого я не допущу. Но для такой доброй души такая просьба о многом свидетельствует. К любви я не могу приневолить — но уважения и повиновения требую. И настаиваю, чтобы *то и другое* ты оказывала мадам.

— Но, сэ, — возразила я, задетая вопиющей несправедливостью обвинений, — я всегда поступаю так, как она велит, и не сказала ей ни одного неуважительного слова.

— Не думаю, дитя, что *ты* здесь лучший судья. Иди и *исправься*. — Хмурясь, он указал на дверь.

Сердце мое переполнилось обидой; дойдя до двери, я обернулась и хотела еще что-то сказать, но вместо этого только расплакалась.

— Ну, не плачь, малышка Мод... Давай впредь будем лучше себя вести... Ну-ну, довольно...

И он поцеловал меня в лоб, мягко выпроводил из комнаты и затворил дверь.

В классной я, осмелев, с некоторой горячностью высказала свои упреки мадам.

— Какой скверни девочка! — воскликнула мадам, едва сдерживаясь. — Прочтите вслюк эти три... да, *эти* три главы из Библии, моя дорогая Мод!

Эти главы не слишком подходили к случаю, а когда я закончила чтение, она произнесла печальным голосом:

— А теперь, дорогая, вам следует заучить на память эту чьюдесни молитва для смирения дюши.

Молитва оказалась чересчур длинной, и я выполняла задание с неутихающим раздражением.

Миссис Раск не выносила мадам. Говорила, что та при первой возможности ворует вино и бренди, что всегда спрашивает спиртное, жалуясь на боли в желудке. Можно было бы заподозрить, что тут не обошлось без преувеличений со стороны домоправительницы, если бы меня саму время от времени не отправляли под тем же предлогом за бренди к миссис Раск, которая наконец однажды появилась у постели страдальцы всего лишь с пилюлями и горчичниками, чем навсегда возбудила в мадам ответную ненависть.

Мне казалось, все повеления и поручения мадам объясняются одним ее желанием — мучить меня. Впрочем, день долог для *деток*, *детки* быстро прощают. Но я всегда слышала угрозу в заявлении мадам, что она должна повидать мосье Руфина в библиотеке; и, наверное, беспокойство из-за возрастающего влияния мадам было не последней среди причин, заставлявших честную миссис Раск испытывать к француженке глубокую неприязнь.

## Глава VI

### Прогулка в лесу

Два коротких эпизода, в которых более явно обнаружилась натура мадам, подтвердили мои худшие подозрения. Однажды из галереи я увидела, как она — думая, что я на прогулке и ей никто не помешает, — подслушивала под дверью так называемого «папиного кабинета», комнаты, примыкавшей к папиной спальне. Мадам не спускала глаз с лестницы — только с той стороны она и предполагала чье-нибудь неожиданное появление. Ее огромный рот был открыт, а глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Она жадно ловила каждый звук за дверью. Я отступила в тень, испытывая омерзение и ужас. Она походила на громадную, с зияющей пастью, рептилию. Мне хотелось чем-нибудь запустить в нее, но непонятный страх заставил вернуться в комнату. Впрочем, возмущение взяло верх, и я опять вышла и направилась по галерее привычным быстрым шагом. Когда я вновь достигла поворота, мадам, очевидно услышавшая меня, уже спускалась по лестнице, одолев половину ступенек.

— А, моя дорогая дьетка, безудержно ряда найти вас и — надетую! Ми чьюдесно вийдем!

В этот момент дверь отцовского кабинета распахнулась, и миссис Раск, чье смуглое живое лицо пылало, шагнула из кабинета, необыкновенно взволнованная.

— Господин сказал, вы можете взять бутылку бренди, мадам, и я с удовольствием от нее избавлюсь... да, с удовольствием.

Мадам присела в реверансе с ухмылкой на лице, в которой сквозили ненависть и издевка.

— Лучше вам бренди иметь при себе, если пить изволите! — воскликнула миссис Раск. — Пойдите в кладовую прямо сейчас, не то дворецкий унесет его.

И миссис Раск метнулась к задней лестнице.

Это была не просто стычка — но решающее сражение.

Мадам привлекла к себе Энн Уикстед, младшую горничную, сделала из нее что-то вроде любимицы и приспособила ее для своих нужд, подкупив ее моими старыми платьями и прочими вещами, которые я дарила ей по совету мадам. Энн была суций ангел!

Но миссис Раск, которая никогда не теряла бдительности, однажды заметила Энн, кравшуюся наверх с бутылкой бренди под фартуком. Энн в

панике во всем призналась. Мадам-де поручила ей купить бренди в лавке и принести к ней в спальню. Тогда миссис Раск конфисковала бутылку и, не отпуская Энн, тут же явилась с младшей горничной пред очи «господина». Он выслушал ее и призвал мадам. Мадам отвечала невозмутимо, прямо и без запинки. Бренди ей необходимо в лечебных целях. Она представила доказательство в виде короткого письма: доктор Некийс приветствует мадам де Ларужьер и рекомендует ей столовую ложку бренди и несколько капель настойки опия в случае возобновления болей в желудке. Бутылки ей хватит на год, а возможно, и на два. Она заявляла свои права на лекарство.

Мужчина оценивает женщину выше, чем она — сама себя. Возможно, в отношении мужчин женщины, в целом, бывают ближе к истине, возможно, женский взгляд здрав, а мужчины всегда заблуждаются. Не знаю, но таков, кажется, порядок вещей.

Обвинения миссис Раск были отклонены, а я, как вам известно, оказалась свидетельницей торжества мадам.

Сражение отгремело великое — и великой была победа. Мадам пребывала в прекрасном расположении духа. Воздух свеж. Вид чудесен. Я — просто прелесть. Все замечательно! Куда направимся? *Этой дорожкой?*

Я твердо решила не вести разговоров с мадам, я пришла в негодование от ее вероломства. Но подобная решительность не для юной девушки, и у черты леса мы уже оживленно, как обычно, беседовали.

— У меня нет желания заходить в лес, мадам.

— С какой целью?

— Моя бедная мама погребена там.

— Там — где склеп? — нетерпеливо потребовала ответа мадам.

Я подтвердила.

— Право, престранни цель — не ходить туда, где погребена бедная мама. О, дьетка, что сказала бы добри мосье Руфин, услышав такое? Ви, конечно, не совсем без сердце и потом — не без меня. Allons!<sup>[8]</sup> Пройдем тут — хотя бы часть пути!

Я неохотно согласилась.

Мы ступили на заросшую травой дорогу, и она скоро привела нас к мрачному сооружению.

Мадам де Ларужьер не могла скрыть любопытства. Она уселась на скамье напротив мавзолея в одной из самых своих томных поз — склонив голову на руки.

— Как грустно... как мрачно, — бормотала мадам. — Какая

величественная могила! Каким же должно быть triste<sup>[9]</sup> для вас, моя дъетка, посещение этого места, когда в памяти образ милой маман<sup>[10]</sup>. Там новая надпись — разве не новая?

Да, действительно, и мне так показалось.

— Я изнурена... Может быть, ви, моя дорогая Мод, прочтете мне ее — помедленнее, поторжественнее?

Подойдя к гробнице, я, не знаю почему, вдруг кинула взгляд через плечо — и ужаснулась: лицо мадам искажала омерзительная насмешливая гримаса. Мадам притворилась, что с ней случился приступ кашля. Но это ей не помогло, она поняла, что обнаружила себя передо мной, и громко расхохоталась.

— Подойдите, дъетка, дорогая. Я вдруг подумала, как глупо все это — гробнис, эпитафи. У меня не будет ничего, нет, нет, никаких эпитафи! Вначале мы считаем, что тут истина... голос мертвых, а потом видим, что просто глупость живых. Я это презираю... Как ви думаете, дорогая, ваш Ноуль — как говорится, дом с *приведенными*?

— Почему же? — ответила я вопросом. Я почувствовала, что покраснела, потом, наверное, побледнела: я испытывала настоящий страх перед мадам и растерялась от ее неожиданных слов.

— Энн Уикстед утверждает, что есть призрак, — вот почему. Как же темно это место, и сколь многие из Руфинов похоронены здесь — не так ли? Какие высоки деревья кругом, какие необхватни... и никого-никого поблизости...

Мадам жутко выкатила глаза, будто уже завидела нечто из потустороннего мира, мне же она сама показалась в этот момент исторгнутым оттуда чудовищем.

— Уйдемте, мадам, — сказала я, чувствуя, что если хоть на мгновение поддамся страху, обступавшему меня со всех сторон, то совсем утрачу власть над собой. — О, уйдемте! Пожалуйста, мадам... Мне страшно!

— Нет, напротив, ми не уйдем. Садитесь рядом со мной. Вам покажется это странно, ma chère, — un gout bizarre vraiment!<sup>[11]</sup> — но я очень люблю быть поблизости с мертвыми... в уединенны места, как это. Я не боюсь ни мертвых людей, ни живых призраков. А ви виделись когда-нибудь с призраком, дорогая?

— Мадам, пожалуйста, умоляю вас, будем говорить о другом!

— Какая глупышка! Да вам и не страшно. Я — я виделась. С призраками. Например, прошли ночью один, видом схожий с обезьянь, сидель в углю, обхватив рюкзами колени, — такое гадкое, старого-старого

старикашки лицо у него было... и билющи большущи глыза.

— Уйдемте, мадам! Вы хотите меня напугать! — вскричала я, по-детски загораясь яростью, сопутствующей страху.

Мадам рассмеялась отвратительным смехом.

— Eh bien, глупышка! Не скажу обо всем остальном, если уж ви в самой дело напуганы. Давайте поговорим о дрюгом.

— Да, да! О, пожалуйста!

— У вас такой добри человек — отец.

— Добрейший... Но, не знаю почему, мадам, я ужасно боюсь его и не могу сказать ему, что очень его люблю.

Мои признания, как ни странно, вовсе не были вызваны доверием к мадам, скорее — страхом. Я пыталась умилоствить ее, вела себя с ней так, будто она умела сочувствовать, — в надежде, что каким-то образом пробужу в ней сострадание.

— А не приезжал к нему доктор из Лондона несколько месяцев назад? Доктор Брайерли, кажется, имя...

— Да, доктор Брайерли. Он оставался дня три. Не пойдём ли к дому, мадам? Прошу вас, пойдёмте!

— Немедленно идем, дьетка... А ваш отец тяжельо страдает?

— Нет, думаяю, нет.

— И какова болезнь?

— Болезнь? Он *не болен*. Вы слышали, что у него расстроено здоровье, мадам? — встревожившись, спросила я.

— О нет, *ma foi*...<sup>[12]</sup> ничего такого не слышаль. Но раз приезжает доктор, то не потому, что здоровье отменная.

— Тот был доктором теологии, как мне кажется. Он, я знаю, сведенборгианец. Мой папа не жалуется на здоровье, ему не требовался врач.

— Я безудержно ряда, *ma chère*, разюзнать это. И все же ваш отец — стари человек при дьетке нежного возраста. О да, он стар, а жизнь не предскажете. Он составил завещание, дорогая? Всяки человек, обремененный таким богатством и, особенно, такими летами, долъжен иметь завещание.

— Незачем торопиться, мадам, для этого будет время, когда его здоровье ухудшится.

— Но неужели же нет завещания?

— Я на самом деле не знаю, мадам.

— А, плютишка! Ви не хотите сказать! Но ви не так глупы, как притворяетесь. Нет-нет, ви все знаете. Ну же, расскажите мне все — это в

вашем интересе, ведь вы понимаете. Что там, в его завещании? Когда написалось?

— Мадам, я действительно ничего не знаю. Я не могу сказать, написано ли вообще завещание. Давайте говорить о другом.

— Дъетка, не погубит мосье Руфина завещание! Он не ляжет здесь днем раньше, если напишет его. Но если он не напишет, вы можете много из собственности потерять. Будет жаль!

— Я не знаю, ничего не знаю о завещании. Если папа и написал его, то мне об этом не говорил. Я знаю, что он любит меня, — и с меня довольно.

— О, вы не такая простушка! Вы конечно же все знаете. Ну, говорите, маленьки упрямыс, не то достанется вам! Скажите мне все!

— Я ничего не знаю о папином завещании. Вы не представляете, мадам, какую вы мне причиняете боль. Давайте говорить о другом.

— Вы знаете и обязаны мне сказать, *petite dur-tête*<sup>[13]</sup>, — или я вам мизинчик сверну!

С этими словами она схватила мою руку и, злобно смеясь, неожиданно заломила мизинец. Я вскрикнула — она продолжала смеяться.

— Будете говорить?

— Да, да! Отпустите! — кричала я.

Она, однако, не сразу выпустила мою руку, но тянула пытку и, не замолкая, смеялась. Наконец отпустила.

— Она будет корошей дъеткой и все расскажет своей сердобольни *gouvernante*. Что это вы, глупышка, расплакались?

— Вы сделали мне очень больно... вы сломали мне маленький пальчик, — всхлипывала я.

— Подуть на пальчик надо, глупышка, поцеловать — только и всего! Противная девочка! Никогда больше не буду с вами играть, никогда. Пойдемте домой!

Всю дорогу домой мадам угрюмо молчала. Не отвечала мне, держалась с высокомерием, притворялась обиженной.

Впрочем, скоро она уже была прежней мадам и вернулась к вопросу о завещании, но теперь не допытывалась прямо, а прибегала к хитрости.

Почему все мысли этой ужасной женщины были сосредоточены на завещании моего отца? Какое ей до этого дело?

## Глава VII

### Церковь Скарздейл

Думаю, вся женская прислуга в нашем доме боялась эту коварную чужестранку — исключая миссис Раск, которая открыто враждовала с ней, хотя могла дать волю чувствам только в моей комнате:

— Откуда она явилась? Она француженка? Она из Швейцарии? Или, может быть, из Канады? Помню, еще девчонкой, видела я одну *такую*, вот уж было отродье! И с кем она жила? Где ее близкие? Никто из нас ничего про нее не знает... знаем не больше дитяти... разве что господину о ней известно, уж он наверняка справлялся... И все она секретничает с Энн Уикстед. *Этой* я скажу, чтобы делом занималась. Вечно сплетничают, шушуканются. Уж точно не свою подноготную она перед Энн открывает. Мадам Выуди да Обнаружь — так я ее называю. *Умеет* подольститься ко всем и каждому, умеет, старая лиса. Прошу прощения, мисс, но *что* она такое, я вам скажу: дьявол во плоти — и сомневаться нечего. Я ее первый раз поймала, когда она воровала джин, прописанный господину доктором, и подливала в графин воды, злодейка. Ее только лови... Все горничные ее боятся. Говорят, нечисть она... то ли ведьма, то ли привидение, — я и не удивляюсь. Кэтрин Джонс нашла ее наутро после того, как она на вас рассердилась, спящую в постели одетой, уж и не знаю почему... Она *на вас* страху нагнала, мисс, так я считаю, сделала вас нервной, как *не поймай что...*

Мои нервы в самом деле *были* расстроены, и, чем дальше, тем беспокойнее я становилась. Думаю, эта циничная женщина все понимала и только со злорадством усугубляла положение. Я постоянно опасалась, что она прячется где-нибудь в моей спальне, чтобы, выбравшись ночью, напугать меня. К тому же она начала появляться в моих снах — всегда в чудовищном облике, — что усиливало безотчетный страх, который она вызывала во мне в дневные часы.

Однажды мне приснилось, будто она, безостановочно говоря что-то шепотом так быстро, что я не могла разобрать ни слова, вела меня за руку в библиотеку и при этом другой рукой держала свечу у себя над головой. Мы крались, точно грабители глухой ночью, и остановились у старого дубового шкафа, на который отец обратил мое внимание в том престранном разговоре. Я понимала, что мы совершаем нечто запретное. В дверце был ключ — ужасаясь греха, я отказывалась повернуть ключ, а она все шептала,

шептала мне в ухо какую-то бессмыслицу. И я повернула ключ. Дверцы медленно растворились — там, внутри, с лицом белым и мрачным, стоял мой отец; он сурово взглянул на меня. Жутким голосом он возопил: «Смерть!» В тот же миг загасла свеча мадам, а я с криком проснулась в полной темноте, все еще воображая, что нахожусь в библиотеке. С час после этого меня билa нервная дрожь.

Любое, даже самое незначительное происшествие, имевшее отношение к мадам, вызывало среди горничных бесконечные толки. Тайно или открыто, но почти все они ненавидели ее и боялись. Они решили, что она добивается особого расположения «господина» и что со временем потеснит миссис Раск, если вообще не займет ее место, а их всех прогонит. Думаю, честная домоправительница не пыталась разубеждать их.

Припоминаю, что именно тогда к нам в Ноул заглянул странный, похожий на цыгана разносчик. Я и Кэтрин Джонс прогуливались невдалеке от дома, когда он подошел ко входной двери и опустил свой сундучок на низенькие перила.

Чего только не было у него — ленты, бумажная материя и шелка, чулки, кружева, даже какие-то поддельные украшения. Едва он успел разложить товар — а для обитателей тихого деревенского дома это зрелище весьма привлекательно, — как на дворе появилась мадам. Рот разносчика растянулся в улыбке, и он приветствовал ее, выразив надежду, что «мадамзель» чудесно поживает, хотя он «никак не думал увидеть ее здесь».

«Мадамзель» поблагодарила его:

— Спасибо, поживаю чюдесно.

И в первый раз за все время выглядела необыкновенно взволнованной.

— Какая красивость! — воскликнула она. — Кэтрин, бегите, скажите миссис Раск. Она хотель ноженцы, а еще крюжева... я слышала от нее.

Кэтрин, окинув мадам долгим взглядом, ушла. Тогда мадам обратилась ко мне:

— Дьетка, дорогая, не будете ли так добры принести мой кошелек, я забыль его на столе в моей комнате. И вам советую принести вашый.

Кэтрин вернулась с миссис Раск. Наконец хоть кто-то расскажет им про эту француженку! Пустившись на хитрость, они перебирали и пересматривали товар, пока мадам не купила нужное и не удалилась вместе со мной. Но когда они, казалось, уже могли заглянуть в прошлое мадам, разносчик их обескуражил. Он ничего не помнил — он даже сомневался, что видел леди раньше хотя бы разок. Он всех француженок по всему свету кличет «мадамзель» уж такое им всем полагается имя. А эту где ж он мог встретить? Эту, помнится, не встречал. Но каждой обрадуется, ведь

молоденькие при них нет-нет, да и купят чего-нибудь.

Его скрытность и забывчивость возмущали, но Кэтрин с миссис Раск не выпросили разносчика ни на пенни — он был глуп, а может, и того хуже.

Мадам, конечно, его подкупила. Однако всякое преступление бывает раскрыто, и правда все равно обнаруживается. Том Уильямс, конюх, видел мадам с разносчиком: притворяясь, что разглядывает товар, едва не зарывшись лицом в шелка и уэльскую шерсть, она по обыкновению быстро говорила что-то и сунула *деньги*, уверял Том, под материи в сундучок.

Оставив разносчика, мы с мадам отправились на прогулку, мы шли по выгону на торфяниках, что простирался между Ноулом и церковью Скарздейл. После посещения гробницы мадам не изводила меня вопросами. Она была непривычно задумчива, не слишком разговорчива и почти не пыталась совершенствовать мой французский или углублять прочие знания. Прогулка входила в заведенный у нас распорядок дня. Я несла корзинку с сэндвичами: мы планировали подкрепиться, достигнув одного местечка с прекрасным видом, примерно в двух милях от Ноула.

Вышли мы чуть позже обычного и не одолели еще половину пути, как мадам ощутила крайнее «изнурение» и присела у изгороди отдохнуть. Заунывным голосом, в нос, она затянула причудливую старинную бретонскую балладу о леди со свиной головой:

Знали леди одну — не свинью и не деву,  
Не из людской породы,  
Не из смертных и не из мертвых.  
Левые рюка с ногой у нее были на ощупь теплы,  
А правые, как у покойницы, холодны.  
Ее песня звучали как погребальни звон — дон-дон, —  
Свиньи пугались и разбегались,  
Женщины, в страхе, не приближались.  
Она могла глаз не сомкнуть год и еще день.  
Она могла дольше месяца сном спать мертвецким.  
Никто не зналь, чем сыта она, —  
Желюдьми или жарким.  
Говорили, она из тех бесами одержимых свиней,  
Что кинулись в озеро Геннисарет<sup>[9]</sup>.  
Телом ублюдок — дюшой сатана.  
А еще говорили, она Вечному жиду<sup>[10]</sup> жена,

И нарушила заповедь, соблазнившись свининой,  
И свиное рило вместо лица — это знак  
Павшего на нее позора и предстоящего наказания...

Ну и так далее и так далее — звонкий вздор. Чем больше я проявляла нетерпения, порываясь продолжить путь, тем упорнее мадам медлила. И я решила не обнаруживать беспокойства, но отмечала, как она, не прерывая своей безобразной декламации, поглядывает на часы и украдкой бросает взгляды в ту сторону, куда лежал наш путь, — будто ожидает чего-то.

Натешившись пением, мадам встала и в молчании зашагала вперед. Изредка она все так же украдкой посматривала в сторону деревушки Триллсворт, которая показалась вдалеке по правую руку. Поднимавшийся над деревушкой дымок прикрыл горный склон тонкой вуалью. Наверное, она догадалась, что я за ней наблюдаю, потому что спросила:

— Что за дым там?

— Это Триллсворт, мадам, там железнодорожная станция.

О, *le chemin de fer!*<sup>[14]</sup> Так близко! Я и не представляль! И куда она едет?

Я разъяснила. Вновь наступило молчание.

Церковь Скарздейл — живописнейшее и вместе с тем престранное место. Холмистый овечий выгон вдруг уходит вниз, в долину, на дне которой у живого, излучистого ручья выступают из высоких трав руины небольшого монастыря, окруженные купой величавых деревьев. Вороньи гнезда на ветвях пусты — разоренные, они давно оставлены птицами. Даже скот здесь не пасется. Заброшенность — вот имя этому месту.

Мадам глубоко вздохнула и улыбнулась.

— Спустимся, спустимся, дьетка, давайте же спустимся на погост!

Мы спускались по склону, закрывавшему от нас окрестности, вид делался все печальнее, уединеннее, а мадам, казалось, воспряла духом.

— О, сколько могильных камней — раз, два... *три* сотни! Неужели ви, дьетка, не любите мертвых? Я научу вас любить их. Ви увидите, я сегодня упокоюсь тут на половин часа и пребуду с ними. Вот что я обожаю!

Мы уже были на берегу ручья — оставалось шагнуть по двум плоским камешкам, чтобы перейти на ту сторону и очутиться у низкой, со встроенными ступенями, кладбищенской стены.

Идемте же! вскричала мадам и подняла лицо, будто учуяла что-то в воздухе. — Ми совсем близко к ним. Скоро ви их полюбите, как и я. Ви увидите целих пять. Ah, *ça ira, ça ira, ça ira!*<sup>[15][11]</sup> Через рючей —

немедленно! Я мадам Морг, то есть миссис Гробб! Я вам представлю моих друзей: тут мосье Трупэ и мосье Скелетт... Идемте, идемте, смертненькая моя, идемте играть! О-а-а-а-а! — Жуткий вопль вырвался из ее огромного рта. Она смахнула с головы шляпку вместе с париком, обнажив громадный, без единого волоска череп. Она хохотала, она вела себя как безумная.

— Нет, мадам, я не пойду с вами! — возразила я, едва вырвав из ее руки свою и отступив на два-три шага.

— Не пойти на погост? *Ma foi*, это же *mauvais gout!*<sup>[16]</sup> Но смотрите, ми уже в тени, солныце уже почиет. Где останетесь, дьетка, ви? Я задержусь там на время.

— Я останусь здесь, — ответила я с раздражением, поскольку была и вправду рассержена. К страху примешивалось негодование, ведь, изображая безумие, она, как я догадывалась, замыслила меня напугать.

Подняв юбки и открыв длинные худые ноги, она запрыгала по камням через ручей, будто ведьма в предвкушении вальпургиевой ночи. Потом перескочила через забор — и я увидела, как, дергая головой и распевая какие-то зловещие куплеты, она с приветственными улыбками и реверансами двинулась в жутком танце мимо могил и надгробий к развалинам церкви.

## Глава VIII

### Курильщик

Три года спустя я узнала (такую возможность она, вероятно, не учитывала и не особенно беспокоилась на сей счет), что на самом деле там произошло. Я даже узнала, что было сказано, — ведь передал это человек, который все слышал. Отважусь описать то, о чем тогда и не подозревала. Вздурораженная, я сидела на камне возле ручья; мадам же, кинув взгляд через плечо и убедившись, что скрылась с моих глаз, сбавила шаг и резко свернула влево к развалинам. Она не знала места, она шла наугад, но теперь уверенно обогнула угол разрушенной церкви — и вот он: перед ней на краю надгробия сидел довольно полный, с громадными светлыми бакенбардами, броско одетый молодой человек — круглая фетровая шляпа, зеленая, украшенная золочеными пуговицами визитка, жилет и панталоны покроя скорее замысловатого, нежели элегантного. Он курил короткую трубку и кивнул мадам, не вынув трубки изо рта, не изволив встать; он лишь поднял лицо, очень смуглое, пожалуй, красивое, и оглядел ее с угрюмым и дерзким видом.

— Ага, Дольебила, ви тут! Какой же красавец! И я тут как тут, совсем *одинокая*. Но она, моя спутница, ждет за стеной кладбища у рючушки. Она не должна догадаться, что я знаю вас, и вот я оставила ее, пришла *одинокая*.

— Вы, подружка, еще как опоздали, — сказал развязный молодой человек, сплюнув на землю. — И не называйте-ка меня Долбила. Не то буду говорить вам «старуха».

— Eh bien! Дад... А она прехорошенькая — на вашый вкус. Тонкая талия, бели зубки, гляза — такие темные, как ви говорите, висшего сорта и ножка, лодыжка — крѣхотни.

Мадам хихикнула.

Дад курил.

— Дальше! — приказным тоном потребовал Дад и кивнул.

— Я учу ее петь и играть на фортепьяно, у нее такой славненьки голосок.

Опять наступило молчание.

— Чего ж тут хорошего? Не выношу женского писка про мотылечки, цветочки. К черту ее! Пускай над табачной лавкой этакую бледную немочь повесят — вместо вывески. Была на нее охота! Лучше я этакую из своей

двустволки прихлопну!

Трубка Дада потухла, он мог и поговорить.

— Поглядите на нее, потом решайте. Пойдете через рючушку — не минуете ее.

— Может, и не миную... Но нечего мне свинью подкладывать. Вдруг она мне, в конце концов, не понравится?

Мадам насмешливо фыркнула:

— Прекрасно! Тогда кто-то будет не такой привередливи — скоро ви убедитесь!

— Кто-то глаз на нее положил, хотите сказать? — Молодой человек злобно смотрел в хитрое лицо француженки.

— Именно. Что хочу, то говорю, — ответила мадам, поддразнивая его.

— Эй, старуха, ну-ка без этих ваших долбанутых шуточек, ежели позвали, чтоб я тут вас слушал. Говорите прямо — за ней кто-нибудь волочится, а?

— Eh bien, думаю — да.

— Вы думаете, я *размышляю* — мы будем себе голову мыслями забивать, да только не найдется то, что потеряно... ежели потеряно. А еще толкуете, будто девчонку под замком держат, пока *вы* не отшлифуете ее, эту драгоценную штучку! — И он, поднеся трость с набалдашником из слоновой кости к губам, лениво рассмеялся: он глядел на мадам с легким презрением.

Мадам тоже засмеялась, но вид у нее был зловещий.

— Шутка! *Вы*, подружка, шутки шутите, и *мне* захотелось... Но я не пойму, чего бы ей не подождать? К чему эта долбанутая спешка? Я-то не тороплюсь. Я-то пока не хочу себе на шею жену. Сначала оглядеться, повеселиться, а потом и жениться. Зачем мне с ней по ярмаркам, в церковь, а то еще на собрания — она ж, говорят, из этих, черт побери, из квакеров, — зачем мне повсюду таскаться, увешавшись ребятишками, всех ублажать и... тухнуть, когда я только начинаю жить? Ну, зачем?

— О, ви просто чарёвательни молядой человек, всегда себе верни — благоразумни. Значить, я и моя спутница, ми идем домой, а ви — повидать Мегги Хокс. Прящайте, прящайте, Дад!

— Тпру, бестолковая! — вскричал молодой человек с гримасой раздражения, какая обычно появлялась на его лице, когда он осаживал норовистую лошадь. — Кто сказал, что я не пойду взглянуть на девчонку? Вы же знаете, я для этого тут. А ежели размышляю, ежели мысль появилась, чего мне ее скрывать? Я не размазня. Ежели мне девчонка понравится, я времени зря терять не буду. Но запомните хорошенько,

решаю я... Это не она ль идет?

— Нет, это далеко что-то... — Мадам выглянула из-за угла полуразрушенной церковной стены и никого не заметила. — Ви обойдете вот так и только глянете на нее — ведь она, глупышка, такая нъервозная.

— Ах вот как с ней надо! — проговорил Дад. Он выбил трубку о надгробную плиту и спрятал в карман. — Ну, тогда, подружка, до встречи. — И он тряхнул руку мадам. — И вот что: не появляйтесь, пока я не уйду, я, знаете ли, не наловчился актерствовать, вы меня обзовете «сэром» или станете вежливостью разводить, а я не удержусь — расхожусь, все и выйдет наружу. Ну, до встречи, и ежели опять захотите со мной повидаться, чтобы без опозданий, учтите!

По привычке он оглянулся — кликнуть собак, но ведь он не взял их с собой. Он приехал сюда без шика в вагоне третьего класса по железной дороге — к выгоде компании «Джек Брайдерли». Впрочем, и сам рассчитывал извлечь пользу из разговоров, которых наслушался, — о предстоявших на будущей неделе скачках.

Он зашагал с кладбища, сбивая тростью крапиву на пути, а мадам двинулась открытым местом меж могил, где бы мне было ее видно, пожелай я наблюдать за актеркой посреди руин.

Вскоре я услышала звук шагов на дорожке, а потом мимо меня неспешной походкой прошел джентльмен в зеленой визитке, он покусывал набалдашник своей трости и оскорбительно, в упор меня рассматривал.

Я вздохнула с облегчением, когда джентльмен свернул в низину поблизости и скрылся из виду. Я сразу поднялась на ноги и приободрилась, увидев в нескольких ярдах от себя мадам, к которой, созерцавшей руины, казалось, вернулся разум. Последние лучи солнца касались верхнего края долины, и мне очень хотелось поскорее отправиться домой. Но я не решалась окликнуть мадам, ведь стоило обнаружить перед ней любое, самое незначительное желание, как она старалась, если это было в ее силах, помешать его осуществлению — из духа противоречия.

Я все колебалась, а в это время вновь появился джентльмен в зеленой визитке. С ленивой развязностью он обратился ко мне:

— Послушайте, мисс, я потерял тут перчатку. Вы не видали ее?

— Нет, сэр, — ответила я и чуть подалась назад с видом, наверное, одновременно испуганным и оскорбленным.

— А я таки думаю, что обронил ее где-то возле вашего башмачка, мисс.

— Нет, сэр, — повторила я.

— Уж не спрятали вы ее, а?

Я встревожилась по-настоящему.

— Да вы не пугайтесь, я просто шутник, я вас не буду обыскивать.

Я громким голосом позвала:

— Мадам, мадам!

Он свистнул, сунув пальцы в рот, потом тоже крикнул:

— Мадам, мадам! — И добавил: — Она глухая, как мертвецы тут на кладбище, иначе услышала б. Мой поклон ей, а еще передайте, что я нахожу вас красочкой, мисс.

Окинув меня плотоядным взглядом и рассмеявшись, он зашагал прочь.

Совсем не из приятных оказалась наша прогулка. Мадам с жадностью накинулась на сэндвичи, побуждая и меня подкрепиться, но я слишком разволновалась, так что аппетит пропал. Когда же мы добрались до дома, я была крайне утомлена.

— Значит, леди приезжает завтра? — поинтересовалась мадам, всегда обо всем осведомленная. — Каково имя? Я позабыли.

— Леди Ноулз, — ответила я.

— Леди Ноулз — вот странное имя! Она очень моляда — так?

— Кажется, ей за пятьдесят.

— Hélas!<sup>[17]</sup> Тогда она очень стара. И богата?

— Не знаю. В Дербишире у нее поместье.

— Дебошир — это одно из ваших английских графств. Так?

— Да, мадам, — сказала я и рассмеялась. — Я уже дважды описывала вам это графство. — И я скороговоркой перечислила его главные города и реки, отмеченные в моем географическом атласе.

— Так-так! Ну, конечно, дьетка! А она — ваша родственница?

— Папина кузина.

— О, представьте меня, прящу вас! Я обрядуюсь!

Мадам теперь обнаруживала истинно английское пристрастие к титулованным особам, которое, возможно, и не отличало бы нас от чужестранцев, подразумевай их титулы то же влияние, что наши всегда имели у нас.

— Конечно, мадам.

— Не забудете?

— Нет.

Дважды за вечер мадам напоминала мне о моем обещании. Она предвкушала радостный миг. Но жизнь наша — череда разочарований, инфлюэнций и приступов ревматизма. На другое утро мадам лежала в своей кровати, безразличная ко всему на свете, за исключением

согревающих компрессов и джеймсова порошка<sup>[12]</sup>.

Мадам была *desolée*<sup>[18]</sup>, но не могла поднять голову от подушки, только слабым голосом спросила меня:

— Дорогая, как долго пребудет леди Ноуллз?

— Думаю, она пробудет у нас два-три дня.

— *Hélas!* Каково невезение! Возможно, завтра мне станет получше. О-о-о! Мое ухо! Настойку, подайте настойку опия, дьетка!

На том наш разговор оборвался, а мадам закутала голову своей старой красной кашемировой шалью.

## Глава IX

### Моника Ноуллз

Леди Ноуллз прибыла точно в оговоренный час — в сопровождении племянника, капитана Оукли.

До обеда оставалось немного времени — ровно столько, чтобы гости успели пройти в свои комнаты переодеться. Освежая мой туалет, Мэри Куинс пустилась яркими красками описывать молодого капитана, которого встретила в галерее, когда он со слугой направлялся в отведенную ему комнату, и отступил, чтобы пропустить ее, и «улыбнулся уж так приятно».

Я была совсем юной тогда и наивной даже для своих лет, однако слова Мэри Куинс возбудили во мне, должна признаться, чрезвычайное любопытство. В воображении я рисовала один за другим портреты этого героя в военном мундире; и хотя с притворным равнодушием слушала Мэри, своей нервозностью и излишней щепетильностью в отношении туалета, боюсь, доставила ей в тот вечер немало хлопот. Когда я сошла в гостиную, леди Ноуллз уже вела оживленную беседу с моим отцом. Это была еще не старая женщина — людям очень молодым такие, однако, кажутся престарелыми, — живая, остроумная, яркая, в превосходном платье пурпурного атласа со множеством кружев и в богатой... не знаю, как назвать... нет, не наколке... в богатом головном уборе — воздушном и простом и в то же время великолепном, — прикрывавшем седеющие шелковистые волосы.

Довольно высокая, совсем не тучная, но крепкого сложения женщина, со взглядом, исполненным доброты, порывисто, как молодая девушка, поднялась и быстрым шагом подошла, улыбаясь, ко мне.

— Моя юная кузина!<sup>{13}</sup> — воскликнула она и расцеловала меня в обе щеки. — Вы знаете кто я? Ваша кузина Моника... Моника Ноуллз... И так рада, дорогая, увидеть вас, ведь помню вас малюткой — вон с тот разрезной ножик. Подойдите-ка к лампе, я должна вас разглядеть хорошенько. И на кого же похожа? Ну-ка... На свою бедную мать, мне кажется. Но, моя дорогая, у вас нос Эйлмеров... да... и недурной нос... О, глаза чудесные, да, клянусь... конечно... конечно, подобие ее бедной матери... в ней ничего нет от вас, Остин.

Отец одарил гостью давно не появлявшейся у него на лице улыбкой — несколько язвительной, скептической, но при этом добродушной — и

сказал.

— Тем лучше, Моника, а?

— Мне бы не говорить вслух... но вы, Остин, знаете, вы всегда были безобразны. Как же девочка возмущена! Вы не должны сердиться, вы, маленькая верная леди, не должны сердиться на кузину Моника, которая говорит правду. Папа был и будет до конца своих дней безобразен. Ну, Остин, дорогой, скажите же ей, — разве это не так?

— Что? Показывать против себя? Моника, сие противоречит английским законам.

— Возможно, но если дитя не верит своим глазам, как она поверит мне. У нее прелестные длинные ручки... и ножки прехорошенькие. Сколько ей лет?

— Сколько дитяти лет? — Отец переадресовал ее вопрос мне.

Но она вновь вернулась к моим глазам.

— Настоящие серые... большие, бездонные, нежные... особенные глаза. Да, хороши длинные ресницы... как ночь темные... Вас занесут в списки красавиц, моя дорогая, — только станете выезжать. А все поэты будут воспевать кончик вашего носа! И что за прелесть этот маленький носик!

Я сразу заметила, как же разительно переменилось настроение отца, когда он отдался беседе со своей эксцентричной, словоохотливой, уже не молодой кузиной Моникой. Воспоминания о пережитом если и не зажгли в нем искру веселья, то побудили оценить веселый дух, воцарившийся в нашей гостиной. Угрюмость и жесткость исчезли без следа, отец наслаждался обществом шумной гостьи, с ее неиссякаемыми забавными репликами, которые явно поощрял.

Каким же ужасным должно было быть его привычное одиночество, и как благотворен был даже краткий миг общения — ведь он смягчил отца, наполнил радостью его сердце. Нет, я не годилась отцу в собеседницы — будучи наивнее большинства девушек моего возраста, я свыклась с отцовскими причудами, никогда не смела нарушить молчания, неожиданным замечанием или вопросом отвлечь отца от мучительных дум.

Меня также поразило добродушие, с которым отец слушал дерзости своей кузины. Да, в те минуты, казалось, посветлели стены в темных панелях, увешанные столь же темными портретами, вся необычная, неправильных пропорций комната, казалось, преобразилась, из суровой и мрачной стала на удивление приятной... несмотря на неприятнейший разбор моей наружности, затеянный слишком откровенной леди.

Именно тогда в гостиной появился капитан Оукли. Он первым

наглядно представил мне тот пугающий и далекий высший свет, о котором я уже узнала кое-что из книг.

Красивый, элегантный, с чертами лица почти женственными, с темными мягкими волнистыми волосами, шелковистыми бакенбардами и усами, он был кавалером, какого мне не доводилось ни видеть, ни даже вообразить в Ноуле, — существом иной породы, из обиталища полубогов. Я не догадывалась, что холодный взгляд и капризный изгиб пухлых губ пусть не явно, но изобличали человека идущего по стезе порока.

Я была слишком юной и не отличала добра от зла, ведь сей драматичный опыт приходит с годами; капитан же был так хорош собой, а его манера поддерживать разговор была так нова для меня, так прелестна в сравнении со скучными беседами, которые велись в добропорядочных провинциальных домах, где я иногда по неделе гостила...

Случайно выяснилось, что отпуск его через день истекает. Я, разочарованная почувствовала в сердце мимолетную боль. Мне уже было жаль расставаться с гостем. Как же мы торопимся завладеть всем, что нам приятно!

Я смущалась, но неловкой, думаю, меня б не назвали. Мне льстило внимание этого обходительного, обворожительного молодого человека из высшего света, а он открыто прилагал старания, чтобы развлечь меня и мне понравиться. Наверное, ему пришлось даже больше, чем я допускала тогда, изоцрять свой ум, делая разговор интересным для девушки моей скромной степени развития, заставляя меня смеяться над историями о незнакомых мне людях.

Кузина Моника между тем занимала беседой папу. Она была идеальной собеседницей для него, столь неразговорчивого в силу привычки, — резво летящая речь кузины почти не предполагала ответных реплик. Даже в этом молчаливом доме, пока гостя оставалась с нами, разговор не мог замереть.

Позже кузина Моника и я перешли в малую гостиную, побудив джентльменов какое-то время занимать друг друга, чему они, наверное, предавались без особого воодушевления.

— Идите сюда, моя дорогая, садитесь рядом! — позвала леди Ноуллз, упав без церемонии в кресло. — Расскажите мне, как вы с папой живете. Я помню его человеком веселым, даже занятым... поверьте. А теперь он так скучен, замкнулся в себе и тешится своими фантазиями, лелеет свои причуды. Дорогая, это ваши рисунки?

— Да, но, боюсь, они очень плохи. Есть несколько рисунков, мне кажется, *удачнее* — в папке, спрятанной в шкафу, что в холле.

— Эти *вовсе не плохи*, моя дорогая. И вы, конечно, играете на фортепиано?

— Да... надеюсь, прилично...

— Не сомневаюсь. Я вас потом непременно послушаю. А как ваш папа вас развлекает? О, вы озадачены. Слово «развлечения» не часто произносится в вашем доме. Но вы не должны обратиться в монашку или, того хуже, в пуританку. Кто он? Поборник «Пятой монархии»?<sup>{14}</sup> Я забыла, скажите же мне название секты, моя дорогая.

— Папа, я думаю, сведенборгианец.

— Да, да... Забыла это ужасное наименование... Сведенборгианец, именно. Не знаю точно, во что они верят, но каждый, дорогая, вам скажет — они вроде язычников. Он из *вас* еще не сделал нечто подобное?

— Я хожу в церковь каждое воскресенье.

— Какое счастье! И что за безобразное наименование — «сведенборгианцы»? К тому же они все, наверное, будут прокляты, моя дорогая, а это никак нельзя упускать из виду. И почему бедный Остин не выбрал что-нибудь другое? Я бы лучше совсем отказалась от веры и наслаждалась жизнью, пока жива, чем выбрать такую, из-за которой здесь одно беспокойство, а за гробом — вечные муки. Но есть люди, моя дорогая, жаждущие страданий, за страдания они, как бедный Остин, ждут награды и в ином мире, и в этом... Ха-ха-ха-ха! Как помрачнело личико маленькой леди! Вы не думаете, что я страшно скверная? Ну конечно же думаете. И скорее всего, вы правы. Кто шьет вам платья, дорогая? Выглядите вы *презабавно!*

— *Это* заказывала, кажется, миссис Раск. Мы с Мэри Куинс обдумывали его. Очень красивое, я считала... Нам всем платье очень нравится.

Платье, должна сказать, было слишком затейливым и, возможно, совершенно нелепым, если принимать во внимание требования моды. Старую кузину Монику Ноулз, не отстававшую от лондонских модниц, оно, очевидно, позабавило, будто какой-то невообразимый телесный изъян, ведь она смеялась буквально до слез; моя же сдержанность и написанное на лице недоумение только провоцировали новые взрывы веселья, и она никак не могла успокоиться.

— Вы не должны сердиться на кузину Монику! — вскричала она, вскочив с кресла. Порывисто обняла меня, сердечно поцеловала в лоб и легонько потрепала по щеке. — Ваша кузина Моника — болтливая, вредная, глупая старуха, которая вас очень любит, запомните это и никогда не обижайтесь на ее вздорные выходки! Значит, вы втроем сошлись на

совет: миссис Раск, вы сказали, Мэри Куинс и вы сама, премудрая... Три ведьмы сошлись. А тогда вступил Остин в ваш круг и, подобно Макбету, спросил: «Чем заняты вы?» Ноулские же ведьмы хором в ответ: «Тем или этим, чему названия нет!»<sup>{15}</sup> Ну а теперь, моя дорогая, шутки прочь. Это совершенно непростительно со стороны Остина — я хочу сказать, со стороны вашего папы — предоставить вас, что касается нарядов, заботам двух старых женщин с причудами. Ведь они старые — да? Это истинное злодейство. Я его отругаю... непременно, моя дорогая. Вы же знаете, вы — наследница; не позволяйте выставлять себя на посмешище.

— Папа намерен отправить меня в Лондон с мадам и Мэри Куинс, а возможно, и сам поедет с нами, если ему доктор Брайерли разрешит. Тогда я куплю платья и все, что необходимо.

— Ну, это уже кое-что. А кто такой доктор Брайерли?.. Ваш папа болен?

— Болен? О нет! Не похоже... А вы думаете, он болен? У него больной вид? — настойчиво спрашивала я, не скрывая испуга.

— Нет, моя дорогая, вид у него прекрасный для его возраста. Но кто этот доктор — позабыла имя... Врач? Из священников? Ветеринар? И почему у него испрашивают разрешение на поездку?

— Я сама не знаю.

— А он... как там... сведенборгианец?

— Да, мне кажется...

— О, понятно! Ха-ха-ха! И бедный Остин должен испрашивать разрешение на отлучку в город. Но он поедет независимо от того, по нраву это доктору или нет, нельзя же отправлять вас в Лондон под присмотром вашей француженки, моя дорогая. Как ее зовут?

— Мадам де Ларужьер.

## Глава X

### Леди Ноулз срывает покровы

Леди Ноулз продолжала расспрашивать:

— А почему же не шьют вам платья мадам, моя дорогая? Ставлю гинею, она модистка. Разве она не обязывалась шить вам платья?

— Я... я не знаю. Она — гувернантка, приглашенная, чтобы совершенствовать мои знания. Из законченных, говорит миссис Раск.

— Из бездельниц законченных! Подумайте, такая важная леди, что не соизволит скроить вам платье и не поможет сшить! А что вообще она делает? Посмею сказать, она не способна научить ничему, кроме дурного. Во всяком случае, вас она не многому научила... пока. Я хочу ее видеть, моя дорогая. Где она? Пойдемте повидаем мадам. Мне не терпится поговорить с ней.

— Но она больна, — отвечала я. С досады я была готова расплакаться, думая о платье, таком нелепом, осмеянном моей искушенной родственницей; я только и мечтала поскорее скрыться у себя в комнате, чтобы не попасться на глаза красавцу капитану.

— Больна? Неужели? И что за болезнь?

— Простуда. Лихорадка и приступы ревматизма, по ее словам.

— О, простуда! Мадам на ногах или в постели?

— Нет, не в постели, но своей комнаты не покидает.

— Я очень хочу ее видеть, моя дорогая. Не из любопытства, уверяю вас. Дело вовсе не в любопытстве. Гувернантка может быть или чрезвычайно полезна в доме, или бесполезна до чрезвычайности, а то и способна нанести чудовищный вред. Научит вас плохому произношению, плохим манерам... Бог весть чему еще. Пошлите домоправительницу, моя дорогая, пусть передаст, что я хочу повидать ее.

— Лучше я сама передам ей, — предложила я, опасаясь, что у миссис Раск может выйти ссора с воинственной француженкой.

— Вот и прекрасно.

Я заторопилась к мадам, чтобы ненароком не встретиться с капитаном Оукли.

Я пересекала галерею и думала: неужели же мое платье так нелепо, как считает кузина; я пыталась припомнить хоть какое-то свидетельство насмешливого презрения со стороны неотразимого, речистого денди — нет, в памяти сохранилось, наоборот, совсем иное. И однако, я не могла унять

нервную дрожь. Девушки в том возрасте, в каком была тогда я, легко поймут, до чего несчастной сделал меня страх оказаться посмешищем в подобных обстоятельствах.

Комната мадам находилась в дальнем конце галереи. По дороге я столкнулась с миссис Раск, спешившей, вместе с горничной, по своим делам.

— Как мадам? — спросила я.

— Превосходно, — сухо ответила домоправительница. — Насколько я разбираюсь, с ней все в порядке. Она сегодня ест за двоих. *Мне бы тоже* посиживать в своей комнате и ничего не делать.

Мадам, когда я вошла, сидела, или скорее полулежала, в низком кресле у камина, по своему обыкновению вытянув ноги к самой решетке и поместив рядом с собой небольшой кофейный набор. Она торопливо сунула книжку под складки юбки и притворилась настолько слабой, что, не услышав утешительных вестей относительно ее самочувствия от миссис Раск, я бы, наверное, испугалась.

— Надеюсь, вам лучше, мадам? — сказала, приблизившись, я.

— Лючше, чем я заслуживаю, моя дорогая дъетка, пресносно. Люди все так добры, для меня всякую мелочь деляют. Вот café<sup>[19]</sup> — випиля глоточек, чтобы порядовать бедни миссис Раск.

— Ваша простуда проходит?

Она слабо покачала головой, склоненной на руку, — она поддерживала голову кончиками трех пальцев, упершись локтем в кресло. Потом вздохнула и томно опустила глаза, всем своим видом изображая крайнюю удрученность.

— Je sens des lassitudes<sup>[20]</sup> во всех мои членах, но я просто счастлива, ведь, хотя страдаю, я утешена... и признательна за des bontés, ma chère, que vous avez tout pour moi<sup>[21]</sup>. — С этими словами она подняла на меня благодарный взгляд и вновь опустила долу.

— Леди Ноуллз очень бы хотела на несколько минут увидеться с вами, если бы вы позволили.

— Vous savez, les malades<sup>[22]</sup> никогда не принимают гостей, — ответила она с внезапной резкостью и силой в голосе. — Кроме того, я не могу поддержать беседу, je sens de temps en temps des douleurs de tête... в голове и в ухе, в правом ухе... это абсолютни parfois<sup>[23]</sup> мука... вот опять...

И она поморщилась, застонала, закрыла глаза, прижав руку к правому уху.

При всем моем простодушии я почувствовала, что мадам притворяется. Она переигрывала — слишком порывисто лишалась сил, к тому же я знала, как хорошо она может говорить по-английски, а злоупотребляет иноязычными выражениями, чтобы внушить, будто крайне угнетена болезнью. И тогда я, с выручавшей меня изредка смелостью, проговорила:

— О мадам, неужели же вас так затруднит встреча с леди Ноуллз — всего на две-три минутки?

— Жестокосердная дьетка! Видите, какой чьюдовищни страдание мне причиняет боль в ухе, и требуете, чтобы я веля разговор с незнакомыми. Не думая, что вы, Мод, будете такая бесчьювственная. Это невозможно, вы должны понимать... просто невозможно. Я никогда, вы знаете, затруднений не избегаю, если есть силы... никогда... *никогда*. — Мадам уронила с десяток слезинок, всегда бывших у нее наготове, прижала руку к уху и едва слышно вымолвила: — Будьте добры, сообщите вашей гостье, в какое состояние вы меня нашли... как я страдаю, и, Мод, оставьте меня, я хочу прилечь, пока боль не отпустит.

Я произнесла несколько слов утешения, требуемых случаем, но выдававших, наверное, мое сомнение в мере страданий мадам, и вернулась в гостиную.

— Заходил капитан Оукли, моя дорогая, и, решив, вероятно, что вы сегодня вечером уже не появитесь, отправился в бильярдную, — обратилась ко мне леди Ноуллз.

Вот, оказывается, почему я слышала грохот и щелканье шаров за дверью бильярдной, когда проходила мимо.

— Я объяснила Мод, до чего гадок ее наряд.

— Вы очень внимательны, Моника! — сказал мой отец.

— Остин, право, вы поступите разумно, если женитесь, необходимо, чтобы кто-то вывозил девушку в свет, заботился о ней. И кто еще это сделает? Она же образчик безвкусицы — неужели не видите? Убожество! И так жаль — ведь она прехорошенькая, а в руках умелой женщины стала бы очаровательной!

Отец воспринял выходку кузины Моника с удивительным добродушием. Она всегда, думаю, пользовалась особыми привилегиями, и мой отец, перед которым мы все трепетали от страха, относился к ее веселым выпадам, как, наверное, в старину какой-нибудь мрачный барон Фрон-де-Беф<sup>{16}</sup> — к дерзкой болтовне шута.

— Я должен принять сказанное за нащупывание почвы? — обратился отец к говорливой кузине.

— Да, именно, но речь не обо мне, Остин... не о моей недостойной особе. Вы помните крошку Китти Уиден, на которой я вам советовала жениться двадцать восемь лет назад, — за ней было сто двадцать тысяч фунтов? Теперь ее состояние значительно возросло, а сама она — приятнейшая старушка, и, хотя вы тогда не пожелали сделать ее женой, она, как я знаю, похоронила уже второго мужа.

— Рад, что не стал все-таки ее первым... — вставил отец.

— Говорят, состояние просто огромное. Ее последний муж, русский купец, завещал ей все, что имел. У нее родных — ни души. Принадлежит к высшему кругу.

— Вы всегда готовы сватать, Моника, — прервал кузину отец, мягко опустив на ее руки свою. — Но ни к чему это. Нет, нет, Моника, надо позаботиться о малышке Мод как-то иначе.

Я почувствовала облегчение. Обычно мы, женский пол, инстинктивно страшимся повторных браков и считаем, что любого вдовца подстерегает эта опасность. Помню, всякий раз, когда отец уезжал в город или с каким-нибудь визитом — что случалось крайне редко, — миссис Раск говорила мне: «Не удивлюсь — да и вы, моя дорогая, не удивляйтесь попусту, — если он привезет с собой молодую жену».

Отец, поглядев с добродушием на кузину и очень ласково на меня, отправился, как это было у него заведено в вечерние часы, в библиотеку.

Я не могла не вознегодовать на леди Ноулз — за то, что она вмешивалась в нашу жизнь с матримониальными планами. Больше всего на свете я боялась мачехи в доме. Добрая миссис Раск и Мэри Куинс, каждая по-своему, случайно рассказанными историями и часто повторяемыми рассуждениями внушили мне, что это была бы ужасная катастрофа. Я думаю, они не желали революции со всеми ее последствиями в Ноуле и считали, что мне не повредит бдительность.

Но на кузину Моника было невозможно долго сердиться.

— Вы же знаете, моя дорогая, ваш отец — чужак, — сказала она. — Я его не принимаю всерьез — никогда не принимала. И вам не советую. Помешанный, моя дорогая, помешанный... решительно помешанный!

И она постучала себя по лбу с таким озорным и комичным видом, что я бы непременно расхохоталась, не будь высказывание столь чудовищно непочтительным.

— Хорошо, дорогая, как там наша модистка?

— Мадам так страдает из-за боли в ухе, что, по ее словам, для нее совершенно невозможно удостоиться чести...

— Честь? Вот уж вздор! Я хочу посмотреть, что это за женщина. Боль

в ухе, вы говорите? Бедняжка! Думаю, дорогая, я излечу ее в пять минут. У меня самой временами бывает... Идемте в мою комнату, возьмем пузырьки.

В холле она зажгла свою свечу и легким быстрым шагом стала подниматься по ступенькам наверх, я следовала за ней. Найдя лекарства, мы вместе направились к комнате мадам.

Наверное, мадам услышала нас еще в другом конце галереи и догадалась, что мы идем к ней, ведь ее дверь внезапно хлопнула, началась возня с замком, но он был неисправным.

Леди Ноуллз постучала в дверь со словами:

— Простите, мы войдем. У меня лекарства, которые, я уверена, вам помогут.

Ответа не последовало, она отворила дверь, и мы обе вошли. Мадам, завернувшись в голубое одеяло и спрятав лицо в подушку, лежала в кровати.

— Может быть, она спит? — произнесла леди Ноуллз, подошла к лежавшей и склонилась над ней.

Мадам в кровати притаилась как мышь. Кузина Моника поставила свои два пузырька на столик, опять склонилась над мадам и стала тихонько приподымать край одеяла, скрывавший лицо. Мадам застонала, будто во сне, еще глубже зарылась лицом в подушку и изо всех сил потянула на себя одеяло.

— Мадам, здесь Мод и леди Ноуллз. Мы пришли, чтобы лечить ваше ухо. Позвольте взглянуть... Она не спит — она так крепко уцепилась за одеяло... О, позвольте же я взгляну!

## Глава XI

### *Леди Ноуллз видит лицо*

Возможно, скажи мадам: «Прекрасно — дайте, прошу, поспать», — она вышла бы из затруднения. Но, играя расслабленность до дремоты, она не могла говорить связно; впрочем, не годилось и силой удерживать одеяло на голове. Присутствие духа покинуло мадам — и кузина Моника сорвала покров. Едва кузина разглядела профиль страдальцы, как добродушное лицо ее вытянулось и потемнело от изумления, даже потрясения. Выпрямившись у кровати — уголки ее плотно сжатых губ, выражая омерзение и возмущение, опустились, — она неотрывно смотрела на больную.

— Значит, это мадам де Ларужьер? — наконец воскликнула леди Ноуллз с высокомерным презрением.

Кажется, никогда я не видела, чтобы кто-то был настолько шокирован.

Мадам села, совершенно пунцовая. Ничего удивительного — так плотно закутаться в одеяло! Она не смотрела на леди Ноуллз, но устремила взгляд прямо перед собой и в пол — чудовищно мрачный взгляд.

Я очень испугалась, я чувствовала, что вот-вот расплачусь.

— Значит, мадемуазель стала замужней женщиной с тех пор, как я в последний раз имела честь видеть ее? Поэтому-то новое имя мадемуазель мне ни о чем не сказало.

— Да, я замужем, леди Ноуллз, все, кто меня знает, я думала, слышали... Очень достойный брак, принимая во внимание мое положение. Нет необходимости далее служить в гувернантках. В этом ничего плохого, надеюсь?

— Надеюсь, нет, — сухо произнесла чуть побледневшая леди Ноуллз, все еще глядя с брезгливым изумлением на красное, до края парика на лбу, лицо гувернантки, которая по-прежнему, в замешательстве, мрачно высматривала что-то перед собой на полу.

— Я полагаю, вы все убедительно объяснили мистеру Руфину, в чьем доме я вас нахожу? — спросила кузина Моника.

— Да, разумеется... все, что его интересовало... хотя, в сущности, *ничего* объяснять. Я готова ответить на любой вопрос. Пускай мистер Руфин спрашивает.

— Прекрасно, мадемуазель.

— *Мадам* — с вашего позволения.

— Забыла. *Мадам*... Я осведомлю его обо всем.

Мадам устремила на леди Ноуллз злобный взгляд и криво усмехнулась — с затаенным презрением.

— Мне нечего скрывать. Я всегда исполняю свои обязанности. О, какая сцена неизвестно из-за чего! Прекрасное лекарство для больной... *ta foi!* Очень признательна за вашу заботу.

— Насколько я вижу, мадемуазель... мадам, я хочу сказать... в лекарствах вы не нуждаетесь. Ваши ухо и голова, кажется, не беспокоят вас в настоящее время. Я думаю, ссылку на боли нужно отбросить.

Леди Ноуллз говорила теперь на французском.

— Миледи отвлекла меня на миг, но я страдаю чьюдовищно. Конечно, я всего лишь бедная гувернантка, а таким болеть не полагается, по крайней мере, не полагается обнаруживать свои страдания. Нам позволено умереть, но — не болеть.

— Пойдемте, Мод, дорогая, дадим больной покой и предоставим действовать природе. Я думаю, больная сейчас не нуждается в моем хлороформе и опии.

— Миледи сама способна поднять с постели и сильнейшим образом воздействует на ухо. Но я тем не менее желаю и смогла бы уснуть в тишине — с позволения миледи.

— Пойдемте, дорогая, — сказала леди Ноуллз, больше не глядя в мрачно ухмылявшееся лицо. — Оставим вашу учительницу исцеляться привычными ей средствами. — Несколько резко прикрыв за нами обеими дверь, леди Ноуллз обратилась ко мне: — Дорогая, у нее ужасно пахнет бренди... Она пьет?

Мой вид, несомненно, выражал крайнее изумление, ведь я никак не могла поверить в приписываемое мадам пьянство.

— О маленькая простушка! — воскликнула кузина Моника, с улыбкой взглянув на меня и быстро поцеловав в щеку. — Пьющей леди не было места в вашем представлении о мироздании! Но с возрастом мы многое узнаем. Давайте выпьем по чашке чая в моей комнате, джентльмены, наверное, уже удалились, каждый к себе.

Я конечно же согласилась, и мы пили чай, уютно расположившись в ее спальне возле камина.

— Как давно у вас эта женщина? — неожиданно спросила кузина Моника, выдержав, по ее мнению, должную паузу.

— С начала февраля... уже почти десять месяцев.

— И кто прислал ее?

— Я не знаю. Папа так мало говорит мне, он сам, наверное, все

устроил.

Кузина Моника звучно сомкнула губы и кивнула, переведя хмурый взгляд на каминную решетку.

— *Очень* странно! — сказала она. — И как люди *могут* быть такими глупцами! — Кузина помолчала. — А эта женщина — она вам нравится?

— Да... то есть я к ней *привыкла*... Вы не скажете? Вообще-то я боюсь ее. У нее нет умысла пугать меня, я уверена, но я ее очень боюсь.

— Она не бьет вас? — спросила кузина Моника. Лицо ее выдавало закипавшую в ней ярость, что меня еще больше расположило к кузине.

— О нет!

— Не обращается с вами жестоко?

— Нет.

— Можете поклясться, Мод?

— Да.

— Что бы вы ни открыли мне, я ей не передам, я только хочу все знать, чтобы пресечь непозволительное.

— Я вам очень благодарна, кузина Моника, но это действительно так — она не обращается со мною жестоко.

— Дитя, она не угрожает вам?

— *Нет*... не угрожает.

— Но как же — право слово, не понимаю — как она вас *пугает*?

— Ну... мне стыдно говорить вам, вы посмеетесь... и я не могу утверждать, что она намеренно пугает меня... однако в ней — не правда ли — есть что-то от привидения?

— От *привидения!*.. Не знаю, но что-то дьявольское в ней точно есть — я хочу сказать, что-то жуликоватое. И я убеждена, что простуда и боли — выдумка; она притворилась больной, чтобы со мной не встречаться.

Мне было ясно, что нелестное мнение кузины Моника о мадам связано с какими-то относившимися к прошлому событиями, о которых кузина не собиралась рассказывать.

— Вы знали мадам прежде? — спросила я. — Кто она?

— Она утверждает, что она мадам де Ларужьер, и французским оборотом сама себя характеризует<sup>{17}</sup>, — ответила леди Ноуллз со смехом, впрочем, скрывая, как мне показалось, некоторое замешательство.

— О дорогая кузина Моника, скажите, она... она очень скверная? Я так боюсь ее!

— Откуда я знаю, Мод? Но мне памятно ее лицо, и она мне не нравится. Можете рассчитывать — я непременно поговорю о ней с вашим отцом завтра утром, но, дорогая, не задавайте больше вопросов, мне

особенно сказать нечего, и я о ней говорить *не желаю* — вот так!

Кузина Моника рассмеялась, потрепала меня по щеке, а потом поцеловала.

— Ну скажите об одном только...

— Ну не скажу... ни об одном, ни о другом — ни о чем, маленькая любопытная леди. Дело в том, что рассказывать почти нечего, и я намерена вести разговор с вашим отцом, а он, думаю, поступит надлежащим образом. Поэтому больше не спрашивайте меня о ней, давайте поговорим о приятном!

Какое-то непередаваемое обаяние было в кузине. Несмотря на годы, она казалась мне удивительно молодой в сравнении с медлительными, безупречно воспитанными юными леди, с которыми я знакомилась, изредка отправляясь в гости к соседям. Я уже не смущалась и доверяла ей полностью.

— Вы многое знаете о мадам, кузина Моника, но не хотите открыть.

— Открыла бы с превеликим удовольствием, будь я вправе, маленькая вы плутишка. Но, в конце концов, я ведь не говорила, *знаю* я о ней или нет и что знаю. А вот вы уверяете, будто в ней есть что-то от привидения, — разьясните!

Я подробно пересказала все случаи, а кузина Моника не только не посмеялась надо мной, но слушала с необыкновенной серьезностью.

— Она часто получает и отправляет письма?

Я замечала, как она писала письма, и предполагала, что и ей приходит достаточно, хотя могла точно припомнить всего два-три.

— А вы — Мэри Куинс? — обратилась леди Ноуллз к Мэри, которая, войдя в спальню гостьи, опускала шторы.

Горничная повернулась и присела в реверансе.

— Вы служите моей маленькой кузине, мисс Руфин, — так ведь?

— Да, мэм, — ответила самым вежливым тоном Мэри.

— Кто-нибудь спит в ее комнате?

— Да, я, мэм, если вам будет угодно.

— И больше никто?

— Нет, мэм, если вам будет угодно.

— А *гувернантка* — иногда?..

— Нет, мэм, если вам будет угодно.

— Никогда? Это так, моя дорогая? — Леди Ноуллз переадресовала вопрос мне.

— О нет, никогда, — ответила я.

Кузина с серьезным видом размышляла, не отводя встревоженного

взгляда от каминной решетки. Потом помешала, чай и отпила, все еще глядя на веселое пламя.

— Мне нравится ваше лицо, Мэри Куинс, я уверена, вы добрая натура, — сказала она, вдруг обернувшись к горничной и приятно улыбнувшись ей. — Счастье, что она служит вам, моя дорогая. И, интересно, Остин уже улегся в постель?

— Я думаю, нет. Я уверена, что папа в библиотеке или в своей комнате... Он часто читает, молится в уединении, ночью, и... и не любит, чтобы его беспокоили.

— Нет, нет, конечно... Подождем до утра!

Леди Ноуллз, как мне показалось, что-то обдумывала.

— Значит, вы боитесь призраков, моя дорогая, — наконец промолвила она с мимолетной улыбкой, обернувшись ко мне. — Но я бы... я бы знала, что делать. Я бы, оставшись в спальне с доброй Мэри Куинс и готовясь ко сну, расшевелила дрова в камине, чтобы огонь был ярок, и заперла бы дверь. Вам ясно, Мэри Куинс? Заперла бы дверь и держала бы свечу всю ночь зажженной. Вы будете к ней очень внимательны, Мэри Куинс, — да? Она не слишком крепкого здоровья, ей следует беречь нервы. Поэтому рано отправляйтесь в постель и не оставляйте ее одну — вам ясно? И... и запирайте дверь, Мэри Куинс. Я буду присылать маленькие рождественские посылочки моей кухне и не забуду о вас. Спокойной ночи!

Поблагодарив леди Ноуллз учтивым реверансом, Мэри быстро покинула комнату.

## Глава XII

### Любопытный разговор

Мы выпили еще по чашке чаю, немного помолчали.

— Нам не следует говорить сейчас о привидениях. Вы — суеверная маленькая леди, и пугаться вам ни к чему.

Кузина Моника опять замолчала, взгляд ее между тем быстро обежал комнату и задержался на маленьком овальном портрете, прелестном, колоритном, во французском стиле, — портрете, изображавшем хорошенького мальчика с роскошными золотистыми волосами, большими нежными глазами, тонкими чертами и с каким-то необыкновенно робким выражением лица.

— Удивительно, я помню этот чудесный портрет издавна. Кажется, с самого детства. Но платье, прическа настолько старомодные, что я нигде подобных не видела. Мне сейчас сорок девять. О да, конечно, его писали задолго до того, как я *появилась на свет*. Какой странный прехорошенький мальчик... таинственный незнакомец. Интересно, был ли правдив портрет? Какие роскошные золотистые волосы! Прекрасная работа... Французский мастер, наверное. И кто же он, этот мальчик?

— Я не знаю. Наверное, кто-то из прошлого столетия. Но внизу есть портрет, о котором я очень хотела бы вас расспросить.

— Да? — пробормотала леди Ноуллз, все еще задумчиво глядя на изображение.

— Портрет — в полный рост — дяди Сайласа. Я хотела бы расспросить вас о нем.

При упоминании этого имени кузина так неожиданно обратила ко мне взгляд, да такой странный, что я вздрогнула.

— Портрет вашего дяди Сайласа, дорогая? Поразительно, но именно о нем я и думала. — Она коротко рассмеялась. — А может, этот мальчик и есть он? — Энергичная кузина тут же вскочила на стул со свечой в руке и тщательно осмотрела портрет, пытаясь отыскать имя или же дату. — Возможно, на обороте? — проговорила кузина.

Она сняла портрет. И действительно, на обороте — не рисунка, но столь же изящной, потускневшей от времени деревянной рамки — мы с трудом различили сделанную чернилами надпись... округлые буквы с наклоном:

Сайлас Эйлмер Руфин. Восьми лет от роду. Мая 15 в году  
1779

— Очень странно, что мне не говорили... что я не помнила, чей это портрет. Наверное, если бы говорили, я б *не забыла*. Но портрет я видела, я почти уверена. Какое неповторимое детское личико!

И кузина склонилась над портретом, освещенным с двух сторон свечами. Заслонившись рукой, она будто пыталась прочесть тайну прелестного лица, на котором еще только проступал будущий характер.

Тайна, наверное, не поддавалась разгадке, ведь кузина, хотя и не сразу, подняла голову, все еще не отводя глаз от детского личика, и вздохнула.

— Необыкновенное лицо, — проговорила она мягко — как говорят глядя в гроб. — Но не лучше ли вернуть портрет на место?

И изящная миниатюра в овальной рамке — бледный непостижимый сфинкс с чудесными золотистыми волосами и большими глазами — заняла свое место на стене. Дитя прекрасное... дитя *funeste*<sup>[24]</sup> будто многозначительно улыбалось, потешаясь над нашими домыслами.

— Лицо на большом портрете тоже *совершенно* необыкновенное... даже, наверное, необыкновеннее этого... и красивее. Здесь — хрупкое дитя, но там, на портрете, лицо такое мужественное, хотя тонкое, прекрасное. Дядя всегда казался мне загадочным героем, но никто в доме не хочет рассказать о нем, и я только фантазирую и задаюсь вопросами.

— Не одну вас заставил он задаваться вопросами, моя дорогая Мод. Не знаю, что о нем думать. Он вроде кумира для вашего отца, и, однако, ваш отец, кажется, не многим помогает ему. Он был исключительно одаренным человеком и так же исключительно неудачливым, в остальном он не загадка и не герой. Совсем не много сверхлюдей... на земных дорогах.

— Вы должны рассказать мне о нем все, что знаете, кузина Моника. Пожалуйста, не отказывайте на этот раз!

— Но зачем вам это? Вы не услышите ничего приятного.

— Вот поэтому мне и хочется услышать его историю. Просто приятная, она была бы банальной. Я люблю слушать о приключениях, опасностях, несчастьях и, главное, люблю тайну. Папа ни за что не расскажет, да я и не осмелюсь просить — не потому, что он недобрый, нет, но я отчего-то боюсь. Миссис Раск, Мэри Куинс тоже не говорят, хотя, подозреваю, многое знают.

— Право, не вижу, дорогая, хорошего в том, чтобы вы узнали эту историю, но и большой беды — тоже.

— Да, *совершенно* верно... что за беда, если я узнаю... ведь я *должна*

узнать историю когда-нибудь, и лучше сейчас и от вас, чем, возможно, от человека постороннего и не столь благосклонно настроенного.

— О мудрая маленькая леди! В самом деле, это разумно.

И мы опять наполнили чашки. С удовольствием попивали мы свой чай у камина, и леди Ноулз рассказывала, а ее выразительное лицо по ходу странного рассказа непрестанно менялось.

— Не много, в сущности, я расскажу. Ваш дядя Сайлас жив — вы знаете?

— Да. Он живет в Дербишире.

— Значит, вы, плутишка, все-таки кое-что о нем знаете! Но не важно. Вам известно, как богат ваш отец, доход же Сайласа, младшего сына в семье, составлял чуть больше тысячи в год. Не играй он и не поторопись с женитьбой, денег ему хватало бы — порой младшие сыновья герцогов имеют меньше. Но он был *mauvais sujet*<sup>[25]</sup> — вы догадываетесь, что это значит. Я не хочу злословить о нем... не хочу говорить больше того, что знаю, но он, думаю, любил удовольствия, — впрочем, как все молодые люди. Он играл, постоянно проигрывал, и ваш отец длительное время оплачивал громадные долги Сайласа. Я убеждена, что он действительно был крайне расточительным и испорченным молодым человеком и, думаю, он не станет теперь отрицать этого, ведь, говорят, он желал бы, будь это в его силах, исправить прошлое.

Я смотрела на портрет — на задумчивого мальчика восьми лет от роду, который несколько весен спустя сделался «крайне расточительным и испорченным молодым человеком», а теперь уже старик и живет страдальцем, изгоем. Смотрела и удивлялась: из какого же крохотного семечка произрастает болиголов и как микроскопично начало Царства Божьего или же греха в человеческом сердце.

— Остин, ваш отец, был к нему очень добр... *очень*. Но потом — а вы ведь знаете, папа — чудака, да-да, дорогая, чудака, хотя, возможно, вам никто этого не говорил, — Остин не смог простить ему женитьбы. Вашему отцу, я думаю, было больше известно об этой леди, чем мне, я была молода тогда. Ходили разные слухи, и все — неприятные. Леди не посещали, и на какое-то время установилось полное отчуждение между вашим отцом и дядей Сайласом. А помирил их, как ни странно, случай, который, казалось, должен был бы их развести окончательно. Вы не слышали ничего... ничего *особенно* поразительного в связи с вашим дядей?

— Нет, никогда. Они не говорят мне, но, я уверена, знают... Продолжайте, прошу вас.

— Хорошо, Мод, раз уж я начала, то расскажу историю до конца, хотя,

возможно, лучше бы не рассказывать. Это был скандал, то есть *ужасный* скандал — его заподозрили в убийстве.

Я изумленно посмотрела на кузину, потом — на мальчика с портрета в овальной рамке, такого благородного, такого прекрасного... *funeste*.

— Да, дорогая, — сказала она, проследив глазами за моим взглядом, — кто бы подумал, что на него когда-нибудь может пасть столь чудовищное подозрение.

— Негодяи! Дядя Сайлас конечно же не виновен? — наконец выговорила я.

— Конечно, моя дорогая, — сказала кузина Моника со странным выражением на лице, — но, знаете ли, есть подозрения, порочащие не меньше самого преступления, а джентльмены в графстве были склонны подозревать его. Они его недолюбливали. Политические взгляды вашего дяди их раздражали. А он возмущался их отношением к его супруге — хотя на самом деле, мне кажется, Сайлас совершенно с ней не считался... Он досаждал им всем, сколько мог. Ваш папа очень гордится своей фамилией и никогда ни в коей мере не подозревал вашего дядю.

— Конечно нет! — с горячностью воскликнула я.

— Так, Мод Руфин, так, — произнесла кузина Моника с мимолетной грустной улыбкой и кивнула. — Ваш папа, как вы догадываетесь, был очень разгневан.

— Еще бы он не разгневался! — вырвалось у меня.

— Но вы не можете вообразить, моя дорогая, *как* он разгневался. Он дал распоряжение адвокату предъявить иск всем без исключения, кто дурно отзывался о вашем дяде. Законоведы отказались слушать дела. Тогда ваш дядя, со своей стороны, попробовал настаивать — но безуспешно. Он жестоко страдал от унижения, и ваш отец отправился к министру, добивался должности лорда-наместника для брата... или какой-то подобной. У вашего папы были большие связи в правящих кругах, помимо власти в своем графстве он тогда представлял два города в парламенте. Но министр опасался предпринять такой шаг, недоброе мнение о вашем дяде разделяли слишком уж многие. Дяде предложили службу в колониях, о чем ваш отец не желал и слышать. Это была бы, как вы понимаете, ссылка. Чтобы уладить вопрос, теперь уже вашему отцу предложили звание пэра; он не принял предложение и порвал с партией. Если не брать во внимание сказанное — а все делалось, как вы понимаете, чтобы поддержать честь семьи, — я не думаю, что ваш отец, учитывая его огромное состояние, много постарался для Сайласа. До женитьбы Сайласа ваш отец отличался терпимостью, но *тогда*, по словам старой миссис Эйлмер, дал обещание:

впредь Сайлас не будет получать больше пяти сотен в год — какие ваш отец, кажется, сохраняет ему и поныне. Ваш отец также разрешил Сайласу остаться в поместье, однако, я слышала, там полное запустение.

— Вы живете в том же графстве — вы бывали у него в недавнее время, кузина Моника?

— Нет, в недавнее — нет, — сказала кузина Моника с рассеянным видом.

## Глава XIII

### *Что случилось до и после завтрака*

На другой день рано утром я отправилась поглядеть на любимый портрет, изображавший в полный рост мужчину в сюртуке коричневого цвета и высоких сапогах с отворотами. Извлечения из темной и эксцентричной биографии, сообщенные кухиной Моникой, хоть и были скупы, все для меня изменили. Душа вселилась в волшебную форму. Истина прошла рядом, неся свой неугасимый светильник, и на мгновение печальный свет пал на загадочное лицо.

Здесь стоял гоуэ<sup>[26]</sup>... дуэлянт, но при всех провинностях он виделся мне героем! В больших темных глазах таилась глубокая исступленная страсть, отмеченная несчастливой звездой. Изысканный, но твердый абрис рта изобличал отважного паладина<sup>[18]</sup>, который с оружием в руках — пусть в одиночку — проложит себе дорогу среди вельможного воинства и в очищающей битве восстановит честь Руфинов. Чуть насмешливо раздутые нервные ноздри для меня означали вызов умнейшего человека своему окружению; этот вызов настроил против Сайласа Руфина земельную олигархию графства, ответившую смельчаку чудовищной клеветой. В трепещущих крыльях тонкого носа, в изгибе бровей и губ был также холод презрения. Я увидела человека и выпавший ему жребий — увидела расточителя, героя, мученика. Я вглядывалась в портрет с девичьим любопытством и восхищением. Разные чувства переполняли меня — гнев, жалость... и надежда. Возможно, когда-нибудь я смогу словом или поступком помочь восстановлению доброго имени этого блестящего романтического страдальца. Меня, как Жанну д'Арк, охватил порыв, ведомый, я думаю, многим девушкам в мои годы. Но тогда я даже не представляла, насколько тесно и каким непостижимым образом судьба моего дяди однажды переплетется с моей.

От размышлений меня отвлек голос капитана Оукли. Капитан заглядывал в раскрытое солнечным утром окно, облокотившись на подоконник и приветственно поднимая кепи в руке. Он улыбался.

— Доброе утро, мисс Руфин! Восхитительнейшее старинное поместье! Подходящие декорации для романтической истории — этот лес и этот прекрасный дом. Я на самом деле люблю такие дома — в простом черно-белом стиле — чудесные образчики старины<sup>[19]</sup>. Между прочим, вчера вы

отнесли к нам скверно... да, клянусь, очень скверно — убежать и пить чай, уединившись с леди Ноуллз, она ведь призналась. Я... я не должен бы вам говорить, но до чего же я рассердился — памятуя, как непродолжительно время, которым я располагаю.

Я была застенчивой провинциальной девушкой, но не глупышкой. Я сознавала: я — наследница, кое-что значу. Я не была тщеславной, но, думаю, это сознание вселяло в меня какое-то чувство уверенности, наделяло способностью владеть собой; впрочем, возможно, именно поэтому я могла показаться высокомерной или же простодушной. Вероятно, мой без опаски устремленный на него взгляд выражал вопрос, потому что капитан принялся объяснять:

— Уверяю вас, мисс Руфин, со всей серьезностью: нам вас очень недоставало.

Он ненадолго замолчал, а я — о, как простушка! — опустила глаза и покраснела.

— Я собирался уехать сегодня, отпуск, к моему великому огорчению, истекает... Это действительно огорчительно. Но не знаю, позволит ли тетушка Ноуллз уехать.

— Я? Конечно, мой дорогой Чарли. Я совершенно в вас не нуждаюсь, — слышался живой голос леди Ноуллз — из открытого рядом другого окна. — И что это вы, дорогой, вообразили?

Окно захлопнулось.

— Она *такая* чудачка, бедная старая тетушка Ноуллз, — пробормотал молодой человек, ничуть не смутившись, и рассмеялся. — Никогда не могу угадать, чего она хочет и как доставить ей удовольствие. Но она — *само* добродушие, а когда на светский сезон она перебирается в город — впрочем, не ежегодно, — ее дом — один из самых веселых, вам даже трудно представить...

Тут его опять прервали — отворилась дверь, и вошла леди Ноуллз.

— К тому же, Чарлз, — продолжила она свою реплику из соседнего окна, — вам не следует забывать про визит к Снодхерстам, вы их уведомили, и у вас остается всего лишь сегодняшней вечер и завтрашний день. А вы только и думаете об охоте — я же слышала, как вы договаривались с егерем. Он егерь, не правда ли, Мод, — тот смуглый человек с большими бакенбардами и в крагах. Мне очень жаль, но я должна сорвать вам охоту, ведь вас ждут у Снодхерстов, Чарли. И потом, вам не кажется, что открытое окно повредит мисс Руфин? Мод, моя дорогая, воздух слишком свеж. Закройте окно, Чарлз, и лучше попросите, чтобы после завтрака послали в город за экипажем. Дорогая, пойдете, —

обратилась она ко мне. — Не к завтраку ли звонят? Почему ваш папа не заведет гонг — так трудно отличить один звонок от другого!

Я заметила, что капитан Оукли задержался ради моего взгляда, но я на него не взглянула и, улыбаясь, вышла из комнаты вместе с кухиной Моникой. Шла, а про себя удивлялась: почему это все старые леди такие ворчливые?

В холле кухня с неожиданно добродушным видом сказала:

— Не позволяйте никаких ухаживаний, моя дорогая, — у Чарлза Оукли ни гинеи, наследница его бы очень устроила. Конечно, он присматривается. Нет, Чарлз не глуп, и я порадуюсь его удачной женитьбе, потому что, думаю, иначе он свои дела не поправит. Но он иногда бывает невыносимо развязен.

Я была восторженной читательницей «альбомов», «сувениров», «кипсеков»<sup>[20]</sup> и всех многочисленных подарочных изданий, ежегодно наводнявших Англию под Рождество, — роскошный переплет, изобилие чудесных гравюр... Изящные безделицы, которыми тогда тешилось юношество, жаждавшее духовной пищи. Все это и формировало мой ум. Я сама завела маленький альбом, украшенный россыпью мыслей, наблюдениями, какие я записывала подходящим слогом. Много позже, переворачивая поблекшие страницы стихов и прозы, я наткнулась на помеченные этим днем мудрые раздумья; под ними стояло мое имя.

«Не живет ли в женском сердце неискоренимая ревность, которая, разжигая страсть юных, побуждает к *советам старых*? Не зависть ли (Небесам ведомо, насколько теснимую сожалением) испытывает старость... из-за чувств, которые она *уже не в силах пробудить*, а возможно, — и *пережить*? И не вздыхает ли в свой черед юность из зависти к *силе, способной губить*? — Мод Эйлмер Руфин».

— Он и не ухаживал за мной, — ответила я довольно резко. — Мне он совсем не кажется развязным, а вообще мне безразлично, уедет он или останется.

Кухина Моника взглянула на меня со своей обычной насмешливой улыбкой и расхохоталась.

— Когда-нибудь вы, дорогая Мод, лучше узнаете этих лондонских денди. Они превосходны, но они любят деньги... не накапливать, разумеется. Любят деньги и знают их власть.

За завтраком отец объяснил капитану Оукли, где поохотиться: если желает, то может поехать — это полчаса верхом — в Дилсфорд, может сам

выбрать собак и найдет свору еще до полудня на месте.

Капитан лукаво улыбнулся мне и поглядел на тетушку. Наступила напряженная пауза. Я старалась, чтобы никто не заметил моего особого интереса к теме, но что с того... Кузина Моника была непреклонна.

— Охота, травля, ловля — вздор! Вы понимаете, Чарли, мой дорогой, об этом нечего и помышлять. Он уезжает в Снодхерст сегодня днем, он не может, — обращалась кузина Моника то к племяннику, то к моему отцу, — вы же понимаете, Чарлз! Не поехать он не может, иначе он допустил бы крайнюю грубость, причем вину бы и меня... Он *должен* ехать и сдерживать обещание.

С вежливым сожалением папа принял отказ и выразил надежду на будущий благоприятный случай.

— О, это вы предоставьте мне. Когда капитан понадобится, только дайте знать, и я пришлю или привезу его, если позволите. Я всегда знаю, где найти его, — верно, Чарли? Мы будем очень рады.

Влияние тетушки на племянника было безграничным, ведь она часто помогала ему значительными суммами, и он, кроме того, рассчитывал на ее завещание. Я, ничего не зная об этих причинах, возмущалась его покорностью, а деспотизм кузины Моника вызывал у меня отвращение.

Как только капитан покинул комнату, леди Ноуллз, не обращая на меня внимания, торопливо обернулась к папе:

— Никогда больше не пускайте этого молодого человека в свой дом. Сегодня утром я застала его произносящим речи перед малышкой Мод. У него и двух пенсов нет за душой — поразительное бесстыдство!

— И какие комплименты ты слышала, Мод? — поинтересовался у меня отец.

Я рассердилась и поэтому отвечала смело:

— Его похвалы предназначались не мне — он хвалил дом.

— Как же иначе? Конечно, он полюбил дом, — вмешалась кузина Моника. И продекламировала:

Вдовьи владенья — вот где он  
Опустился, крылатый стрелок, Купидон.

— Ну-ка, ну-ка, мне не совсем ясно, — хитро проговорил мой отец.

— Неужели, Остин? Чарли — мой племянник, забыли?

— Вот теперь вспомнил, — сказал отец.

— А какой еще может быть интерес у настоящей вдовы, кроме

одного — вас самих с Мод? Я желаю Чарли счастья, но он не получит мою маленькую кузину и ее наследство в свой пустой карман! Нельзя этого допустить! И здесь еще одна причина, Остин, почему вам необходимо жениться. Вы ничего не смыслите в таких делах, а умная женщина сразу бы все разглядела и предотвратила несчастье.

— Да, умная бы сумела... — согласился отец со своим мрачным, озадачивающим видом. — Мод, ты должна попытаться стать умной женщиной.

— Станет... в свое время, но оно еще не пришло. А я повторяю вам, Остин Руфин: если вы не осмотритесь и не женитесь на ком-нибудь, кто-нибудь, весьма вероятно, женит вас на себе.

— Вы, Моника, всегда прорицали, но в данном случае я в полном недоумении, — сказал отец.

— Акулы снуют вокруг вас — с хищными глазами и прожорливой пастью. А вы как раз достигли возраста, когда мужчин проглатывают живьем, как Иону<sup>{21}</sup>.

— Благодарствую за сравнение, но это был несчастливый союз — даже для рыбы. И срок ему был — несколько дней. Я не доверюсь... Да и нет никого, кто бы толкнул меня в пасть чудовища, сам я прыгать туда не намерен; наконец, чудовища никакого нет, Моника.

— А вот в этом я не уверена.

— Но я совершенно уверен, — сказал отец сухо. — Вы забыли, как я стар, как давно живу один, с малышкой Мод. — Он улыбнулся, провел рукой по моим волосам и, как мне показалось, вздохнул.

— Годы не помеха, чтобы делать глупости... — начала леди Ноуллз.

— Или — говорить глупости, Моника. Разговор зашел слишком уж далеко. Разве вы не видите, что ваши шутки напугали малышку Мод?

Да, я действительно испугалась, но не могла понять, как он догадался.

— Полный сил или немощный, в здравом уме или в безумии, я никогда не женюсь, поэтому — прочь эту мысль.

Его слова были обращены скорее ко мне, чем к леди Ноуллз, которая, с чуть насмешливой улыбкой, взглянула на меня и сказала:

— Мод, возможно, вы правы, приобрести мачеху — рискованный шаг, лучше бы я прежде спросила у вас, что вы об этом думаете, и... право слово, — продолжала она весело и добродушно, видя, как мои глаза, не знаю по какой причине, вдруг наполнились слезами, — право слово, я больше никогда не посоветую вашему папе жениться, прежде чем не поинтересуюсь у вас, хотите ли этого брака вы.

Это была большая уступка леди Ноуллз, склонной навязывать советы

друзьям и руководить ими.

— Я очень доверяю инстинкту. Я считаю, Остин, что инстинкт надежнее разума, но вы с Мод, полагаясь на разум, восстаете против меня, хотя, знаю, и разум на моей стороне.

Отец ответил ей суровой улыбкой, тогда кузина Моника поцеловала меня и сказала:

— Я так давно сама себе госпожа, что иногда забываю о вещах, называемых «страхом» и «ревностью». Вы отправляетесь к своей гувернантке, Мод?

## Глава XIV

### *Гневные слова*

Я собиралась к гувернантке, как угадала леди Ноуллз, и ушла. Необъяснимое чувство опасности, охватывавшее меня при виде этой женщины, сделалось еще мучительнее после происшедшего накануне вечером; уже не только инстинкт или предубеждение отвращали меня от нее, ведь я подметила омерзение, с каким леди Ноуллз — пусть чего-то не договаривая — обнаружила, что знает ее.

Тон, которым кузина Моника спросила, не к гувернантке ли я отправляюсь, и крайне мрачное, встревоженное выражение ее лица взволновали меня... А тон был какой-то странный... голос — леденящий, будто от внезапного воспоминания она ощутила озноб. Этот леденящий голос все еще звучал у меня в ушах, ее озабоченное лицо все еще представлялось моему взору, когда я подымалась по широкой темной лестнице к комнате мадам де Ларужьер.

Мадам не появилась в «классной», как называли декорации, на фоне которых я совершенствовалась в науках. Она решила разыграть повторный приступ болезни и поэтому в то утро не спускалась вниз. В галерее было сумрачно и пустынно, я еще больше разволновалась, когда подошла к ее комнате и встала у двери, собираясь с духом, чтобы постучать.

Но дверь неожиданно распахнулась — и будто по щелчку волшебного фонаря прямо перед моими глазами возникло огромное, обвязанное шалью и жутко ухмылявшееся лицо мадам.

— Что вам, дьетка? — спросила она, злобно сверля меня взглядом, а ее лживая улыбка ошеломила даже больше внезапности самого ее появления. — Зачем такой тихи шаг? Я не сплю, как видите, но, возможно, ви опасались, что будете иметь несчастье разбудить меня, и поэтому — верно? — подкрались, чтобы подслушать и подсмотреть тихонько в щельку, как я? *Vous êtes bien aimable d'avoir pensé à moi. Bah!*<sup>[27]</sup> — воскликнула она, не пряча иронии. — Отчего же леди Ноуллз собственной персоне не подкралясь к замочни скважина, чтобы заплотить материал для сплетен? *Fi donc!*<sup>[28]</sup> Какая тут тайна? Никакой! Входите, если хотите. Добро пожаловать всякому! — Она широко распахнула дверь, повернулась ко мне спиной и причитая — я не смогла разобрать слов — шагнула в комнату.

— Я пришла без намерения подсматривать или вторгаться к вам, мадам. Не подумайте... вы *не должны* так думать... вы не должны измышлять таких оскорблений.

Я была очень рассержена, и весь мой страх пропал.

— Не о *вас* речь, дьетка, дорогая, я имела в виду миледи Ноуллз, которая без причин — мой враг. У каждого есть враги, ви сами узнаете, когда будете чьють-чьють старше, и вот без причин она — мой враг. Мод, скажите-ка правдоподобно — не миледи Ноуллз послыла вас *doucement*, *doucement*<sup>[29]</sup> ко мне под дверь? Не так ли, маленьки проказнис?

Мадам обернулась — и мы опять стояли лицом к лицу у нее посреди комнаты.

Возмущенная, я отвергла обвинение; тогда она, не сводя с меня своих хитрых, странного разреза глаз, сказала:

— Корошая дьетка. Ви с такой прямотой, что мне нравится, я ряда услышать. Но, моя дорогая Мод, этот женщина...

— Леди Ноуллз папе кузина, — перебила я ее немного надменно.

— Она меня ненавидит, ви не представляете как. Она питалясь навредить мне несколько раз, она путает невиннейшее создание в свои преступни замысли.

И мадам всплакнула. Я уже заметила, что слезы у нее появлялись по мере надобности. Я слышала об особах с такими способностями, но не встречала их ни до, ни после мадам.

Она была на удивление откровенна — никто лучше нее не умел вовремя пустить в ход искренность. Теперь она, очевидно, заключила, что леди Ноуллз до отъезда из Ноула сообщит все, что знает о ней, и поэтому от сдержанности мадам не осталось и следа, она вела себя с непосредственностью дитяти.

— *Et comment va monsieur votre père aujourd'hui?*<sup>[30]</sup>

— Прекрасно, спасибо, — ответила я.

— А как продолжительно долог будет визит миледи Ноуллз?

— Не могу сказать точно, но она пробудет у нас несколько дней.

— *Eh bien*, моя дорогая дьетка, я нахожу себя лючше сегодня, и ми дольжны вернуться к нашим занятиям. *Je veux m'habiller, ma chère*<sup>[31]</sup> Мод, подождите меня в кляссной.

Мадам, хотя и лениво, уже смогла преодолеть слабость, у нее уже доставало сил на суету — ведь она уже сидела перед зеркалом за туалетным столиком и любовно оглядывала свое бесцветное, худое лицо.

— Какой ужас! Я такая бледна. *Quel ennui!*<sup>[32]</sup> Какой тоска! До какой

немошь я опустилаь за раз-два дня!

И она состроила в зеркало, практикуясь, одну за другой несколько печальных и жалких мин. Но вдруг нахмурилась, кинув острый, пытливый взгляд поверх зеркала на террасу внизу. Один взгляд — а потом истомленно откинулась в кресле, показывая, что собирается с силами, чтобы совершить свой туалет.

Мое любопытство было возбуждено, я не могла не спросить:

— Но, мадам, почему вы вообразили, будто леди Ноуллз не любит вас?

— Не воображала, моя дорогая Мод. Ох-ох, нет! Mais c'est toute une histoire<sup>[33]</sup> — слишком неприятная история, чтобы рассказывать ее вам сейчас... Может, потом когда-нибудь... Ви станете старше и узнаете, что часто самый лютый вражда возникает без наисамой причины. Но, моя дорогая дьетка, время улетает от нас, — я должна одеться. Vite, vite!<sup>[34]</sup> Бегом в кляссную! А после я приду.

У мадам имелся свой несессер и свои секреты, ее внешний вид явно требовалось подправить, поэтому я ушла в комнату для занятий. Называемая «классной» комната частично располагалась под спальней мадам, окна обеих выходили на террасу, и я, вспомнив настороженный взгляд, который мадам бросила за окно, тоже выглянула. По террасе бодрым шагом прогуливалась кухня Моника. Мое любопытство уже не знало границ, я решила, что после занятий присоединюсь к кухне и еще раз попробую вывести тайну.

Я сидела над книгами, когда мне почудился за дверью какой-то шорох. Не мадам ли припала ухом к двери? Я выждала немного, предполагая, что мадам войдет, но дверь оставалась закрытой. Тогда я сама резко распахнула дверь — мадам не было в холле. Впрочем, на лестнице я услышала шелест платья, а затем увидела ее. Мадам спускалась.

Она ищет случай переговорить с леди Ноуллз, надеется умиловить эту опасную леди, думала я, минут десять наблюдая, как кухня Моника энергично вышагивает, будто на плацу, по террасе. Но к леди Ноуллз никто не вышел.

Она конечно же отправилась говорить с папой — тогда решила я. Совершенно не доверяя мадам, я испытала настоящую муку, ведь я догадывалась, что в этих беседах с глазу на глаз злонамеренная ложь, спрятанная под маской благожелательности, множится и множится, оставаясь безнаказанной.

Да, потороплюсь — повидею *nany*! Пусть она не клеветает у меня за спиной, эта ужасная женщина!

Я постучала в дверь кабинета и тотчас вошла. Мой отец сидел у окна с раскрытой книгой, мадам стояла по другую сторону стола, ее плутоватые глаза были орошены слезами, носовой платок прижат ко рту. Она кинула на меня быстрый взгляд. Мадам плакала, эта решительная женщина-гренадер плакала *désolé*<sup>[35]</sup>, вид у нее был на редкость подавленный, смущенный. И однако же, она внимательно изучала лицо моего отца. Он не смотрел в ее сторону, скорее — в потолок, задумчиво опираясь на руку, с выражением не злости, но мрачной досады на лице.

— Я должен был бы узнать об этом раньше, мадам, — говорил мой отец, когда я вошла, — решение не переменял бы — ни в коей мере, заметьте. Но о такого рода вещах я должен был знать, и умолчание с вашей стороны — более чем небрежность.

Мадам плачущим голосом пустилась в многословные объяснения, но отец кивком остановил ее и поинтересовался, что надо мне.

— Я... просто я ждала в классной мадам и не знала, где она.

— Она здесь, как видишь, и через несколько минут придет.

Обиженная, рассерженная, мучимая любопытством, я вернулась в классную и уселась на стул — я утратила самообладание и почти не думала об уроках.

Когда вошла мадам, я не подняла головы и не взглянула на нее.

— Корошая дъетка, она читает! — сказала мадам, пересекая комнату поспешным и уверенным шагом.

— Нет, — объявила я резко. — Я не хорошая, и я не детка. К тому же не читаю — я размышляю.

— *Très bien!*<sup>[36]</sup> — с омерзительной улыбкой проговорила мадам. — Размышление тоже приносит польза, но ви такая грустная, моя дъетка, весьма... Не ревнуйте, что бедни мадам иногда говорит с вашей папой, — ви не дольжны, глупышка... Я пекусь о вашем благо, моя дорогая Мод, и нисколько не возражали бы, чтобы ви тоже присутствовали.

— Так ли, мадам?! — свысока бросила я. Хотя и держалась с достоинством, я была очень задета и не могла этого скрыть — к явному удовольствию мадам.

— Да. Ваш папа, мистер Руфин, любит лючше говорить наедине, а мне безразлично. Я хотела что-то ему рассказать. Не важно, кто что знает, но мистер Руфин — совсем дрюгое.

Мне нечего было ответить.

— Ну же, малишка Мод, не надо сердиться, вам лючше дрюжить со мной по-корошему. Корошим дрюзьям ссоры не нужны. Зачем? Вот

ерюнда! И подумайте — могла бы я обучать молящую особу где-нибудь, не имея возможность говорить с родителями? Какая причюдь! Мне бы хотелось быть вашим другом, если, моя бедная Мод, вы позволите... вместе вы, я — да?

— Дружба начинается с расположения, мадам, а расположение возникает само по себе... здесь не требуют согласия. Мне нравятся люди, которые ко мне добры.

— И мне. Вы так много похожи на меня, моя дорогая Мод! Вам сегодня не поздоровилось? Мне кажется, вы выглядите чьють-чьють изнуренной, и я тоже... совсем не здорова. Давайте перенесем на завтра наши занятия, а? И отправимся в сад la grace<sup>[37]</sup> впрабатывать?

Мадам явно торжествовала. Аудиенция, наверное, была для нее удачной, и как любой человек, у которого дела идут прекрасно, она пребывала в добродушии — вряд ли до конца неподдельном и мало располагавшем к ней; но лучше ущербное добродушие, чем ее привычная мрачность.

К моей радости, наша гимнастика скоро закончилась, и мадам вернулась к себе. Теперь я могла поболтать с кузиной Моникой.

Мы, женщины, настойчивы, если нас мучит любопытство, но она весело уворачивалась от ответов и, думаю, дразнила меня не без удовольствия. Однако, когда мы шли переодеваться к обеду, сказала совершенно серьезно:

— Мне жаль, Мод, что я показала, какие неприятные чувства вызывает у меня ваша гувернантка. Когда-нибудь я буду вправе все объяснить вам, а пока достаточно было бы сказать вашему отцу, которого весь день ищу. Впрочем, возможно, мы придаем слишком большое значение теме, ведь я не могу утверждать, что знаю что-то несомненно порочащее мадам или... вообще что бы то ни было. Но есть причина, и вы не должны больше задавать вопросы... нет, не должны.

В тот вечер, когда я, чтобы развлечь кузину, играла увертюру к «Золушке»<sup>[22]</sup>, от чайного столика, где кузина Моника сидела вместе с моим отцом, донеслась ее пылкая и рассерженная речь. Я обратила глаза к говорившим, увертюра постепенно затихла.

Их разговор начался под прикрытием музыки, а теперь они настолько увлеклись, что не заметили, как исполнительница прервала игру. Первая услышанная мною фраза захватила все мое внимание. Отец закрыл книгу, которую читал, используя вместо закладки палец, и откинулся на стуле, как обычно, когда поддавался гневу, лицо его слегка покраснело, и мне хорошо

был известен этот жесткий невидящий взгляд, выразивший гордыню, удивление и ярость.

— Да, леди Ноуллз, именно предубеждение. Я знаю настроение ума, которое движет вами, — оно не делает вам чести, — произнес отец.

— А я знаю, что *вами* движет *безумие*, — парировала кузина. — И чтобы вы, Остин, в такой степени *помешались!* Что извратило ваш ум? Вы *слепы!*

— Это *вы*, Моника... Ваши собственные странные предрассудки... *странные* предрассудки сделали вас слепой. О чем идет речь? Пустое! Если бы я вас послушал, то оказался бы *трусом*, нарушил бы слово. Я вижу... *вижу* реальность. Я не Дон-Кихот и не буду обнажать меч, чтобы сражаться с химерами.

— В этом случае колебания просто недопустимы. Как вы *можете*... Вы *только подумайте!* Я удивлена, что вы способны дышать одним воздухом с... Я чувствую в доме зло.

Отец только сурово нахмурился, пристально глядя на нее.

— Никто уже не прибывает подковы, не совершает заклинания над порогом, чтобы отогнать злого духа прочь, — продолжала леди Ноуллз, побледневшая и рассерженная ничуть не меньше моего отца, — но ведь вы отворили дверь во тьму... *накликаете беду*. Как вы можете смотреть на дитя, которое... Она *перестала* играть! — резко оборвала свою речь леди Ноуллз.

Мой отец с ворчанием поднялся и в крайнем раздражении, бросив мрачный взгляд в мою сторону, устремился из комнаты. Кузина Моника, чуть покраснев, тоже поглядела на меня; она молчала, покусывала кончик своего крохотного золотого крестика и, наверное, гадала, как много мне удалось услышать из их разговора.

Неожиданно отец вновь, едва закрыв за собой дверь, заглянул в нее и сказал более спокойным тоном:

— Может быть, Моника, вы ненадолго зайдете в кабинет? Я убежден: вы питаете только добрые чувства ко мне и к малышке Мод, я ценю вашу доброжелательность. Но вы должны разобраться в некоторых вещах; думаю, вы способны это сделать.

Кузина Моника молча, лишь возведя очи горе и воздев руки, поднялась и последовала за ним. Я была оставлена в одиночестве — больше прежнего терзаемая любопытством.

## Глава XV

### Предостережение

Я тихо сидела, прислушиваясь и томясь от любопытства, страдая от любопытства и прислушиваясь... хотя должна была понимать, что моего слуха не могут достичь звуки из кабинета отца. Прошло пять минут — отец с кухней не вернулись в гостиную. Десять, пятнадцать минут... Я перебралась поближе к камину и удобно устроилась в огромном кресле. Я смотрела на тлеющие угольки, но в их неверном свете перед моими глазами не возникали сцены, *dramatis personae*<sup>[38]</sup> из моего прошлого, не видела я и ожидавшую меня судьбу — как сподобились бы героини и героини романтических повествований. В кроваво-красном и золотистом свечении мне чудились диковинные крепости и пещеры, побуждавшие мысль унести в сказочную страну с дивными закатами, саламандрами, замками могущественных королей — властителей огня. Возникшее из моего воображения и им же приумноженное, все это пурпурное великолепие уже окружало меня, смежавшую веки, декорациями сна. Я клевала носом и наконец отдалась сладкой дреме, от которой меня пробудил голос кухни Моники. Я открыла глаза и прямо перед собой увидела лицо леди Ноуллз, пристально глядевшей на меня, а потом разразившейся добродушным смехом — в ответ на мой еще затуманенный взгляд.

— Ну-ка, Мод, дорогая, подымайтесь, уже поздно, вы должны были быть в постели час назад.

Я поднялась из кресла и, как только ко мне вернулась власть над слухом и зрением, с изумлением отметила перемену в кухне Моники — она как-то потускнела, погрузнела.

— Ну-ка, зажжем наши свечи и отправимся вместе наверх.

Держась за руки, мы двинулись по лестнице: я — полусонная, она — упорно хранившая молчание. Не обменявшись ни единым словом, мы подошли к моей комнате, где, давно приготовив чай, меня поджидала Мэри Куинс.

— Велите ей на несколько минут выйти, я хочу сказать вам кое-что, — обратилась ко мне леди Ноуллз.

Горничная послушно вышла.

Леди Ноуллз проводила ее взглядом, пока та не закрыла дверь.

— Утром я уезжаю.

— Так скоро?!

— Да, дорогая. Я не могу оставаться здесь, мне бы следовало уехать сегодня, но уже поздно, поэтому я еду завтра.

— Как жалко... *очень жалко!* — воскликнула я, искренне досадуя. Комната, казалось, сделалась сумрачнее, и заведенный гнетуще однообразный порядок, к которому мне предстояло вернуться, надвинулся мрачной тенью.

— Мне тоже, дорогая Мод...

— А вы не можете задержаться еще ненадолго? *Пожалуйста!*

— Нет, Мод, меня огорчил Остин... крайне огорчил ваш отец. Короче говоря, я не в силах вообразить более нелепого, опасного и безумного образа действий, чем у него, — и это теперь, когда я открыла ему глаза! Но перед отъездом я обязана вам сказать кое-что... а именно: вам пора расставаться с детством, вам следует повзрослеть, Мод. Не пугайтесь, вы же умница... выслушайте меня. Эта женщина... Как она себя называет — Ружьер? Эта женщина, судя по всему, ваш враг, вы еще узнаете, что она очень хитрая, дерзкая, посмею сказать, неразборчивая в средствах особа. Держитесь с ней как можно осторожнее. Вы меня хорошо поняли, Мод?

— Да, — едва выговорила я сдавленным от волнения голосом. С ужасом и любопытством я неотрывно смотрела на леди Ноуллз, будто на вещий призрак.

— Оставаясь с ней, вам надо следить за своей речью и мыслями, владеть собой — каждым жестом, даже выражением лица. Трудно скрытничать, но вы должны... должны быть сдержанной, а также бдительной. Внешне старайтесь вести себя как прежде... Не ссорьтесь с ней... Не говорите ей ничего о делах отца, если случайно что-то и знаете... Всегда держитесь настороже и не спускайте с нее глаз. Все подмечайте, ничем себя не обнаруживайте. Вам ясно?

— Да, — опять прошептала я.

— Вас окружают добрые, честные слуги, и они, благодарение Богу, не любят ее. Но вы ни словечка из того, что слышите от меня, не должны им повторять! Слуги обожают делать намеки — отсюда тайное становится явным. В своих ссорах с ней они скомпрометируют вас. Вы меня поняли?

— Да, — выдохнула я, дико тараща глаза на кузину.

— И... и не допускайте, Мод, чтобы она прикасалась к вашей еде и питью.

Кузина слабым кивком головы подтвердила важность сказанного и отвела взгляд.

Я только таращилась на нее, из моего горла вырвался сдавленный стон

ужаса.

— Не пугайтесь так... Будьте умницей. Я просто хочу внушить вам, чтобы вы остерегались. У меня есть подозрения, хотя я могу ошибаться. Ваш отец считает меня глупой женщиной, возможно, я глупа, а возможно, и нет; может статься, ваш отец примет мой взгляд на вещи. Однако вам не следует говорить с ним на эту тему, он человек с причудами, он никогда не поступал и не поступит разумно, если задеты его пристрастия и предрассудки.

— Она совершила какое-то преступление? — спросила я кузину, опасаясь, что вот-вот лишусь чувств.

— Нет, дорогая Мод, я этого не говорила, не пугайтесь так. Я только сказала, что на основании некоторых фактов у меня сложилось о ней плохое мнение, особа же без моральных устоев способна, во власти искушения, многое преступить. Но какой бы злодейкой она ни была, вы можете устоять благодаря тому, что знаете о ее наклонностях и держитесь с осторожностью. Эта женщина хитра и корыстолюбива, ничего не сделает без выгоды. Я бы не предоставляла ей благоприятного случая.

— О Боже! Кузина Моника, не покидайте меня!

— Моя дорогая, я *не могу* остаться, ваш папа и я... мы поссорились. Я знаю, что я права, а он заблуждается, он скоро это поймет, если дать ему время поразмыслить, и тогда все наладится. Но сейчас он не видит моей правоты... и мы надерзили друг другу. Я и думать не могу о том, чтобы остаться, он же не отпустит вас погостить у меня, как мне бы хотелось. Впрочем, скоро все образуется. Уверяю вас, моя дорогая Мод, я очень довольна тем, что теперь вы будете настороже. Зная, что эта особа способна ко всякому вероломству, держитесь с ней соответственно, но не обнаруживайте своей неприязни и недоверия — таким образом вы оградите себя и лишите ее возможности вам навредить. Пишите мне, когда захотите получить совет, а я, если смогу оказать настоящую помощь, несмотря ни на что, приеду. Итак, маленькая мудрая леди, поступайте как я вам говорю, и все будет в порядке. Я же позабочусь, чтобы это отвратительное существо поскорее исчезло из вашего дома.

Утром мне достался лишь поцелуй и несколько торопливых слов от кузины Моника — перед ее отъездом. Папе она оставила прощальную записку. И какое-то время мы не получали от нее никаких известий.

Ноул опять сделался темен — темнее прежнего. Отец, всегда ласковый со мной, возможно, растратив силы на вспышку едва ли не светского веселья при леди Ноулз, стал еще молчаливее, печальнее, замкнутее. Что

касается мадам де Ларужьер, первое время мне не приходилось отмечать ничего особенного. Но если книгу эту читает юная, чувствительная девушка, я прошу ее вообразить мои опасения и догадки, точившее меня страдание, тяжесть которого даже мне самой сейчас трудно представить. Я постоянно пребывала под гнетом тревоги и страха. С этим страхом я ложилась и вставала утром, страх будоражил и омрачал мой сон, превращал дневное бодрствование в кошмар. Сейчас я удивляюсь тому, что пережила выпавшее испытание. Мука была тайной и непрерывной, она вынуждала мозг работать без передышки.

Несколько недель жизнь в Ноуле внешне текла заведенным порядком. Мадам, при всех ее ужасных привычках, меньше прежнего изводила меня, но то и дело напоминала про «наш маленьки сговор дрюжить»; часто, встав рядом со мной у окна, обхватывала меня за талию своей костлявой рукой, а мою насильно тянула вокруг себя — так она, бывало, стояла, глядела в окно, улыбалась и болтала беззаботно, даже игриво. Временами она обращалась в простушку, во весь рот улыбалась, обнажая страшно большие испорченные зубы, и принималась щебетать о «поклённых», насмешничала, хвастала любовниками, что мне было отвратительно слушать.

Она также постоянно вспоминала о нашей «восхитительной прогулке» к церкви Скарздейл и предлагала повторить «чарёвательную экскурсию», чему я, разумеется, противилась, боясь возвращаться туда даже в мыслях.

Однажды, когда я собиралась гулять, добрая миссис Раск, домоправительница, вошла в мою комнату.

— Мисс Мод, дорогая, не слишком ли это утомительно для вас? К церкви Скарздейл путь не близок, а ведь вы такая слабенькая, как я вижу.

— К церкви Скарздейл? — изумилась я. — Я не собираюсь к церкви Скарздейл. Кто сказал, что я иду туда? Меньше всего на свете я хотела бы отправиться к церкви Скарздейл.

— Боже милостивый! — воскликнула домоправительница. — Но внизу мадам требует от меня фруктов и сэндвичей и уверяет, что вы горите желанием отправиться к церкви Скарздейл.

— Не может быть! — перебила я ее. — Мадам знает, как мне не хочется идти туда.

— Знает? — спокойно переспросила миссис Раск. — И вы ничего не говорили ей про корзинку с провизией? Ну не история ли! Что же она замышляет, что же... что у нее на уме?

— Мне неизвестно. Но я туда не пойду.

— Нет, дорогая, конечно, вы не пойдете! Но будьте уверены, в своей старой голове она вынашивает какой-то план. Том Фоукс говорит, она два-три раза навещалась к «Фермеру Грею», попивала в трактире чай, может, задумала женить Грея на себе? — Миссис Раск присела и добродушно рассмеялась, а напоследок презрительно фыркнула: — И ведь такой молодой еще... а жена, бедняжка, и года нет, как умерла... Может, мадам при деньгах?

— Мне неизвестно... Мне это безразлично. Возможно, миссис Раск, вы заблуждаетесь в отношении мадам. Но я спускаюсь, я иду на прогулку.

Мадам держала корзинку — отставив руку далеко в сторону над пышной юбкой — но даже вскользь не упомянула о своих замыслах, о цели прогулки; беспечно и мило болтая, она зашагала рядом со мной.

Мы шли овечьим выгоном, а когда добрались до изгороди, я остановилась.

— Мадам, не довольно ли мы прошли в эту сторону? Может, теперь отправимся к голубятне в парке?

— Вот глупость! Моя дорогая Мод, вам же не по силам этакие расстояния!

— Хорошо, тогда идемте домой.

— А почему нам не пойти дальше в эту сторону? Ми еще не прошли сколько нужно, мистер Руфин будет недоволен, если вы не выгуляете полёженное. Пойдемте по тропе, остановимся, где захотите.

— А куда вы намерены идти, мадам?

— Никуда, в особенность. Идемте, не будьте глупышкой, Мод!

— Но эта тропа ведет к церкви Скарздейл.

— И верно! Что за прелестное место! Впрочем, нам не надо так далеко забираться.

— Но я сегодня не расположена покидать пределы нашего парка, мадам.

— Пойдемте, Мод, не говорите глупостей!.. Какие у вас помысли, мадемуазель? — приступила ко мне суровая гувернантка, вдруг позеленев и перейдя на резкий тон.

— Мне не хочется перебираться через изгородь, мадам. Благодарю, но я остаюсь здесь.

— Вы сделаете, что хочу я!

— Отпустите, мадам, — вырвался у меня крик, — мне больно!

Она крепко сжала мое запястье своей громадной костлявой рукой и, казалось, собиралась тащить через изгородь силой.

— Отпустите! — повторила я хрипло, потому что боль становилась уже нестерпимой.

— Là!<sup>[39]</sup> — крикнула она с гримасой ярости и, расхохотавшись, выпустила мою руку, при этом толкнула назад, так что я довольно неудачно упала и пребольно ушиблась.

Я поднялась, несмотря на мой страх перед ней, крайне рассерженная.

— Я поинтересуюсь у папы, допустимо ли так плохо обращаться со мной.

— Что же я сделаю? — вскричала мадам, из ее запавшего рта вырывался омерзительный хохот. — Я же старалась, помогала вам через изгородь перебраться! Могла я удержать вас, если вы пожелали рвануться назад и свалились? Так всегда и бывает, когда маленькие мадемуазели не слушаются, набьют шишек, а потом у них все кругом виноваты. Говорите что хотите — думаете, я испугалась?

— Очень хорошо, мадам.

— Ви идете?

— Нет.

Она не отрывала чудовищно злобного взгляда от меня, я глядела на нее невидящими глазами — наверное, так птички отвечают на совиный взгляд по ночам. Я не могла двинуться ни вперед, ни назад, только глядела на нее совершенно беспомощно.

— Ви же прелестни воспитаннис, чарёвательни молядой особа! Такой дрюжелюбни, такой вежливи и послушни! Я направляюсь к церкви Скарздейль, — вдруг прервала она поток похвал в ироничном тоне. И резко обратилась ко мне: — Ви, если посмеете, оставайтесь. Но я велю вам следовать за мной — слышите?

Тверже, чем прежде, противясь ее воле, я осталась на месте и наблюдала, как она яростно зашагала прочь, как взмахнула корзинкой, наверное, воображая, что одним ударом сносит мне голову.

Вскоре, однако, она немного остыла, поглядела через плечо и, увидев, что я по-прежнему за изгородью, остановилась, мрачно, кивком, поманила меня. Я не двинулась ни на шаг, и тогда она обернулась, дернулась как разъяренное животное и, казалось, мгновение не могла решить, что же делать со мной.

Она затопала ногами и снова свирепо поманила меня. Я не шевельнулась. Я очень испугалась, представляя, на что она способна в гневе. С пылающим лицом, злобно вертя головой, она уже шла ко мне. Сердце мое забилось, трепеща, я ждала развязки. Мадам подошла совсем близко, так что нас разделяли только приступки, остановилась и поглядела

на меня с ухмылкой, как французский гренадер, который наставил штык, но заколебался — колоть ли.

## Глава XVI

### Появление доктора Брайерли

Чем же я вызвала такую неудержимую ярость? Прежде у нас с ней часто возникали недолгие споры, но она довольствовалась насмешками, поддразниванием, грубым окриком.

— Значить, впредь вы *gouvernante*, а я вам дъетка, которой командуют, — да? И вы указываете, куда идти на прогулку? *Très bien!* Но посмотрим... Мосье Руфин обо всем узнает... Мне никакой разницы... никакой... совершенно. Напротив, я даже буду доволен. Пускай он решает. Если я отвечаю за поведение и здоровье мадемуазель, его дочери, я рюковожу ею... Или она, или я — кто-то один подчиняется... Я только спрошу, котори впредь командует... *Voilà tout!*<sup>[40]</sup>

Я была напугана, но не отступила, впрочем, наверное, казалась раздосадованной и смущенной. Она же, вероятно, подумала, что сможет добиться своего лестью, и принялась упрашивать и уговаривать меня, хлопать по щеке и твердить, что я буду «корошая дъетка», не стану огорчать «бедни мадам» и теперь все буду делать, «как она велит».

Она улыбалась своей чудовищно широкой улыбкой, поглаживала мне руку, хлопала по щеке и в пароксизме умиротворения поцеловала бы, но я отпрянула, на что она ответила лишь коротким смешком и словами:

— Глупая малишка! Но вы сейчас же будете славненький!

— Мадам, — спросила я, подняв голову и прямо поглядев ей в лицо, — почему вы хотите, чтобы я пошла к церкви Скарздейл именно сегодня?

В ответ на мой упорный взгляд она прищурила глаза и недовольно нахмурилась.

— Разве? Я вас не понимаю. Откуда вы взяли, что сегодня какой-то именно день? Ничего подобного. Вот глупость! А почему я люблю церковь Скарздейль? Да потому, что это прелестни место. И все тут! Маленьки глупышка! Ви, наверное, думаете, я хочу вас умертвить и закопать на церковном кладбище? — Она расхохоталась — подходящим для упыря хохотом. — Мод, дорогая моя, не такая вы бестольковая и не скажете: раз *велят* идти сюда, я пойду туда, а *велели бы* туда, пошла бы сюда... Ви разумни маленьки девочка. Идемте! *Alons donc!*<sup>[41]</sup> Ми так приятненько погуляем. Идете?

Но я не двинулась с места. То было не упрямство и не каприз, мной повелевал страх. Я боялась, да, *боялась*. *Чего?* Боялась идти с мадам де Ларужьер в тот день к церкви Скарздейл. И только... Но, думаю, инстинкт меня не подвел.

Она с горечью поглядела в сторону церкви Скарздейл и закусила губу. Мадам поняла, что должна уступить. Чуть злобы во взгляде, чуть издевки... рот, растянутый в фальшивой улыбке — и свинцовая тень надвинулась на это лицо, лучившееся подчеркнутым дружелюбием еще минуту-другую назад, когда мадам через изгородь ворковала и вела сладкие речи.

Злая досада — не что иное — искажала и омрачала теперь лицо мадам, и мое сердце упало, мною овладел ужас. Может, она намеревалась отравить меня? Что в корзинке? Я глядела в ее злобное лицо... На мгновение я утратила разум, в гневе на отца, на кузину Монику, бросившую меня с этой чудовищной обманщицей, я закричала, беспомощно ломая руки:

— Позор... позор... о, какой позор!

Gouvernante смягчилась — наверное, испугалась моего чрезмерного возбуждения. И возможных неприятностей с моим отцом.

— Ну-ну, Мод, вам пора бы научиться владеть собой. Не ходите к церкви Скарздейль, если не хочется, — я лишь приглашала. Ну будет! Куда вам хочется, чтобы ми пошли? К голубятне, ви, кажется, говорили? *Tout bien!*<sup>[42]</sup> Запомните — я вам во всем уступаю. Идемте!

И мы направились лесом к голубятне. Дети в лесу обычно не умолкая говорят с подозрительным провожатым, но я, перепуганная, молчала. Она тоже молчала: размышляла и время от времени искоса поглядывала на меня — узнать, успокоилась ли я. Сама она уже держалась с невозмутимостью; относясь к жизни философски, она быстро подлаживалась к обстановке. Каких-то четверть часа — и следы уныния исчезли с ее лица, которое обрело привычную живость выражения; она принялась петь со злорадным удовольствием и по мере нашего продвижения вперед, казалось, приходила в изредка свойственное ей игривое настроение. Но веселилась она в таких случаях в одиночку. В чем бы ни заключалась причина ее настоящего веселья, мадам не объявила о ней. Когда мы приблизились к разрушенной кирпичной стене — в прежние дни голубятне, — она так оживилась, что немислимо размахивала корзинкой и скакала под свой мотив.

Забавляясь, она *упала* на траву в тени разрушенной стены, увитой плющом, и открыла корзинку. Мадам пригласила меня присоединиться к ней, но я отказалась. Надо отдать ей должное — она мигом рассеяла мои

подозрения в отношении отравы, ведь сама проглотила все, что было в корзинке.

Читателю, однако, не следует думать, будто веселье мадам означало, что я прощена. Ничего подобного. Ни разу не обратилась она ко мне ка обратном пути домой. Когда же мы приблизились к террасе, она сказала:

— Будьте любезны, Мод, погуляйте два-три минуты в голландском саду, пока я побеседую с мистером Руфин в его кабинете.

Она высоко держала голову, говорила и усмехалась. Тогда я гордо, хотя с печалью на сердце, повернулась и без рассуждений пошла в указанный ею затейливый маленький садик.

Я была удивлена и очень обрадована, увидев там отца. Я подбежала к нему с криком:

— О папа! — Потом запнулась и только добавила: — Можно с вами поговорить сейчас?

Он улыбнулся мне доброй и грустной улыбкой.

— Ну, выскажись, Мод.

— О сэръ, я хочу сказать лишь вот что: я умоляю вас ограничить наши с мадам прогулки парком.

— Почему же?

— Я... я боюсь гулять с ней.

— *Боишься?* — переспросил он, строго взглянув на меня. — Ты получила недавно письмо от леди Ноуллз?

— Нет, папа, уже больше двух месяцев не получала...

Он помолчал.

— Но почему ты *боишься*, Мод?

— Однажды она водила меня к церкви Скарздейл — вы знаете, сэръ, какое это уединенное место, — и так напугала, что я отказалась идти с ней на кладбище. Но она отправилась и бросила меня одну у ручья, а там проходил какой-то дерзкий мужчина, он остановился и заговорил со мной. Наверное, хотел надо мной посмеяться... Он совсем меня перепугал. И не уходил, пока не вернулась мадам.

— Мужчина был стар или молод?

— Молод. Он мог быть сыном фермера, но держался крайне бесцеремонно: стоял и говорил со мной, не интересуясь, хочу я того или нет. А мадам нисколько не обеспокоилась и потом еще посмеялась над моим страхом. Мне с ней на самом деле очень тревожно.

Отец вновь окинул меня пронизательным взглядом, потом, нахмурившись, опустил глаза и задумался.

— Ты утверждаешь, что тебе с ней тревожно. Что же именно тебя

тревожит?

— Не знаю, сэр. Она любит пугать меня. Я боюсь ее... Все мы, наверное, ее боимся... слуги и я...

Отец презрительно покачал головой и проворчал:

— Все вы глупы!

— А сегодня она ужасно рассердилась на меня за то, что я не захотела опять идти к церкви Скарздейл. Я так ее боюсь. Я... — Неожиданно я расплакалась.

— Ну-ну, малышка Мод, ты не должна плакать. Она тут только для твоей пользы. Если ты боишься ее — пусть твой страх и *нелепый*, — будь по-твоему: отныне ваши прогулки ограничиваются парком. Я скажу ей.

Сквозь слезы я горячо поблагодарила отца.

— Однако, Мод, остерегайся предвзятости — женщины склонны к неоправданным и резким суждениям. Из-за предвзятости пострадала наша фамилия. Нам надлежит с крайней осторожностью судить о людях, запомни.

В тот вечер в гостиной отец со своей обычной внезапностью объявил:

— Что касается моего отъезда, Мод... Я получил утром письмо из Лондона и, думаю, отправлюсь раньше, чем предполагал. Какое-то время нам предстоит обходиться друг без друга. Не беспокойся, ты останешься не при мадам де Ларужьер, но под присмотром человека из нашей семьи, хотя все равно малышке Мод, наверное, будет не хватать ее отца-старика.

Он говорил таким ласковым голосом, так ласково глядел на меня — с улыбкой и слезами в глазах. Его нежность была мне непривычна. Изумившись, переполненная восторгом, любовью, я странно разволновалась, вскочила, обвила руками его шею и беззвучно расплакалась. Он плакал, я думаю, вместе со мной.

— Вы говорили, кто-то появится... кто-то, с кем вы уедете. О, вы любите кого-то больше меня!

— Нет, дорогая, нет. Не люблю — боюсь... И мне жаль покидать тебя, Мод, малышка.

— Ненадолго... только ненадолго... — молила я.

— Да, дорогая, — сказал он со вздохом.

Я уже собралась расспросить его обо всем подробно, но, вероятно, он догадался о моем побуждении, потому что сказал:

— Давай больше не будем об этом, но помни, Мод, что я говорил про дубовый шкаф, ключ от которого здесь. — И он вытащил ключ, как в тот раз. — Ты не забыла, что должна сделать в случае, если доктор Брайерли придет в мое отсутствие?

— Нет, сэр.

Он держался теперь как обычно, и я вернулась к обычным условностям.

Всего несколько дней спустя доктор Брайерли совершенно неожиданно для всех, кроме, наверное, отца, появился в Ноуле. На одну только ночь.

Доктор дважды запирался в маленьком кабинете наверху с моим отцом, казавшимся мне и даже самому доктору необыкновенно подавленным. А миссис Раск, всегда поносившая *этих фогнусников* (так домоправительница именовала сведенборгианцев), объявила, что «из-за них господин стал плох — просто хуже некуда... и уж долго не протянет, если этот долговязый тощий призрак в черном будет шнырять, будто приживальщик, то из комнаты, то в комнату господина».

В ту ночь я лежала без сна, гадая, какая же тайна могла связывать моего отца с доктором Брайерли. За всем этим крылось что-то еще, помимо их странной религии. Что-то глубоко волновавшее отца... Пусть это и неразумно, но так бывает: человек, чье присутствие явно, хотя и необъяснимо, связано с болью, мучащей кого-то из тех, кем мы дорожим, становится нам отвратителен. Я уже ненавидела доктора Брайерли.

Серым угрюмым утром в сумрачном переходе галереи возле лестницы я столкнулась с нескладным гостем в неизменном черном как вороново крыло костюме.

Наверное, не будь мой ум столь перевозбужден из-за визита доктора, не вызови этот человек у меня столь неодолимую неприязнь, я бы не осмелилась обратиться к нему. Но хитрость обозначалась на темном худом лице, и вид его казался так вульгарен — будто у шотландского мастерового в воскресном платье, — что я внезапно вознегодовала: мой отец, благороднейший из джентльменов, должен страдать, попав под влияние этого человека! И вместо того, чтобы, поздоровавшись, пройти мимо, я неожиданно остановилась.

— Можно задать вам вопрос, доктор Брайерли?

— Да, конечно.

— Вы — тот друг, которого ждет отец?

— Я не совсем понял вас.

— Тот друг, я хочу сказать, с которым отец должен куда-то ненадолго отправиться?

— Нет, — ответил доктор, покачав головой.

— А кто же он?

— Не имею представления, мисс.

— Но ведь отец говорил, что *вы все знаете!* — возразила я.

Доктор искренне удивился.

— Он надолго покинет меня? Прошу вас, ответьте!

Доктор посмотрел мне в лицо пытливым, потемневшим взглядом и, будто наполовину уразумев мою просьбу, сказал торопливо, впрочем, без резкости в голосе:

— Я не знаю, мисс. Вы ошибаетесь, если думаете, что я знаю. — Немного помолчав, доктор добавил: — Но ни о каком друге он речи не вел.

Мне показалось, что я смутила доктора своим вопросом и что доктор хотел скрыть правду. Возможно, я отчасти была права.

— О доктор Брайерли! Прошу вас... *прошу*, скажите, кто этот друг и куда отправляется?

— *Уверяю* вас, — странно раздражаясь, проговорил доктор, — я не знаю. Все это вздор!

И он повернулся, чтобы уйти; он казался раздосадованным и смущенным.

Ужасное подозрение молнией вспыхнуло в моем мозгу.

— Доктор, только одно слово! — в крайнем, наверное, возбуждении потребовала я. — Вы не думаете... не думаете, что отец потерял разум?

— Помешался? — переспросил доктор, поглядев на меня с острым любопытством, и вдруг расплылся в улыбке. — Тьфу, тьфу! Боже упаси! В Англии нет человека разумнее.

С легким кивком он двинулся прочь, унося, несмотря на отговорки, тайну с собой. В полдень доктор уехал.

## Глава XVII

### Приключение

Долго после нашей ссоры мадам почти не разговаривала со мной. Что касается занятий, то от меня не требовали особого усердия. Было также ясно, что отец говорил с мадам, ведь она больше никогда не предлагала прогулок за пределы Ноула.

Ноул, впрочем, занимал весьма значительную площадь, так что ходок куда выносливее меня утомился бы, пройдя поместье из конца в конец. Мы с гувернанткой, гуляя, изредка заходили довольно далеко от дома.

Мадам дулась несколько недель и днями, бывало, не удостаивала меня и двух слов; казалось, ее одолевали мрачные мысли. Но однажды к ней неожиданно вернулось ее обычное расположение духа, и она сделалась очень доброжелательной. Ее веселость и дружелюбие, впрочем, не ободряли, но предвещали какой-то подвох. Дни к зиме становились короче, и красное солнце уже коснулось краем горизонта, когда мадам и я, торопясь с прогулки домой, очутились у охотничьего заповедника.

Узкая проезжая дорога пересекала эту дикую часть парка, в которую попадали через дальние ворота. Ступив на дорогу, почти заброшенную, я удивилась — я увидела стоявший там экипаж. Худой хитроватый фореитор с дерзко вздернутым носом, каким старый карикатурист Вудуард обычно наделял джентльменов из Тьюксбури<sup>[23]</sup>, проводил меня пристальным взглядом. Сидевшая в экипаже леди выглянула, выставив на обозрение свою сверхмодную шляпку, и тоже воззрилась на нас. У нее был необыкновенно яркий румянец на необычайно белом лице, невероятно черные блестящие волосы и жгучие глаза. Она казалась глупой, самодовольной и даже злобной, когда бесцеремонно, с явным любопытством разглядывала нас.

Я не разобралась в ситуации. Однажды так случилось, что гость, которого ждали в Ноуле, попал на эту дорогу в парке и потерял много часов в тщетных поисках дома.

— Спросите человека, мадам, не к дому ли они направляются, мне кажется, они заблудились, — зашептала я ей.

— Eh bien! Выберутся. С извозчиками предпочитаю не заговаривать. Allons!<sup>[43]</sup>

Но я, поравнявшись с человеком, спросила:

— Вы направляетесь к дому?

Он в этот момент возился с упряжью, стоя перед лошадьми.

— Не-е, — протянул он, со странной ухмылкой взирая на лошадиные шоры. Но, вспомнив про приличия, добавил: — Блаадарю вас, мисс... и другую мисс — да только это «пик-ник» называется. Мы щас трогаем.

Теперь он ухмылялся, разглядывая хомут, который как раз поправлял.

— Идемте! Что еще за глупость! — яростно зашептала мадам мне в ухо и потянула за руку. Мы перебрались через низкую изгородь.

Тропа, которой мы шли через охотничий заповедник, вела то в горку, то с горки. Солнце уже село, вокруг нас протянулись голубые тени, казавшиеся стылыми под горящим закатным небом.

Спускаясь по этим невысоким холмам, мы заметили троих мужчин впереди нас, невдалеке от тропы. Двое стояли и курили, изредка обмениваясь репликами. Один — долговязый, худой, в цилиндре, немного сдвинутом набок, в белом пальто, застегнутом до подбородка; другой — среднего роста, полноватый, одетый в темное. Джентльмены, кажется, наблюдали за нами, когда мы спускались с пригорка, но повернулись спиной при нашем приближении, и я хорошо помню, что при этом они оба опустили свои сигары — как по команде. Третья фигура сообщала сцене характер завершающегося пикника — мужчина упаковывал большую корзину для съестных припасов. Он неожиданно выпрямился, когда мы подошли ближе. И до чего же неприятной наружности он был! Низкий лоб, квадратный подбородок и широкий перебитый нос. Я заметила на нем гетры, он был слегка кривоног, очень толст. Мне не понравились его коротко обстриженная круглая голова и глубоко посаженные малюсенькие глазки. Я увидела его, и передо мной тотчас ожил грабитель и задира — образ, который я столько раз, не без скептицизма, разглядывала в «Панче»<sup>[24]</sup>. Стоя над корзиной, он кинул на нас мрачный, пронзительный взгляд, потом поддел носком ботинка меховую кепочку, лежавшую на земле, подхватил ее, надел, натянул на глаза и обратился к своим спутникам — в тот момент, когда мы проходили мимо:

— Мистеры, поглядите сюда! Ну как?

— Годится! — сказал высокий в белом пальто, при этом сердито, как мне показалось, тряся невысокого за руку.

Тот обернулся. Он прятал шею и подбородок в шарф. Выглядел он смущенным, неуверенным; высокий сильно толкнул его локтем, так что человек в шарфе пошатнулся и, наверное, разозлился, потому что недоволено что-то пробурчал.

Джентльмен в белом пальто, стоявший у нас на дороге, впрочем,

приподнял шляпу в приветствии и с насмешкой приложил руку к груди. Всем видом изобличая подпитие, с дерзкой ухмылкой он двинулся к нам.

— В с-самое время, леди... еще пяток минут, и мы бы отправились. Бла-а-дарю вас, миссис Нюх-да-Глаз, мэм, за то, што оказали чес-сь познакомица с вами и, особенно, за удовольс-свие завес-си дружбу с юной леди. Ваша племянница, а, мэм? Дочь? Боже милос-сивый, неужто внучка? Эй, кроткий мой, погоди укладываца! — Последние слова относились к неприятному человеку с перебитым носом. — Дос-с-тань нам пару стаканов и бутылочку кюрасо. Чего вы, миленькая, испугались? Это же лорд Лоллипоп<sup>{25}</sup> — Леденец, для девичих утех малец, он не обидит и мухи — так, Лолли? Разве он не красавчик, мисс? А я — сэр Саймон Сахар, я длинненький, пряменький, мисс, а уж та-а-кой приятный, когда меня поближе узнаете, — што пас-стила. Правду говорю, Лолли, мальчик мой?

— Я мисс Руфин. Мадам, скажите же им, — топнув ногой, проговорила я, однако, очень испуганная.

— Спокойнее, Мод. Если покажете, что ви сердитесь, они нас обидят. Я побеседую с ними, — прошептала мне *gouvernante*.

А они тем временем надвигались со всех сторон. Я бросила взгляд назад и увидела бандитской внешности человека в ярде-двух от себя, он, подняв руку и выставив палец, кажется, делал знак джентльменам впереди.

— Спокойнее, Мод, они подвипили, не показывайте, что боитесь, — шепотом умоляла меня мадам, но тщетно.

Я на самом деле боялась... меня охватил ужас. Окружив, они подступили так близко, что любой мог взять меня за плечи.

— Жентльмены, что угодно? Окажите милость, дайте пройти!

Потрясенная, я лишь теперь обнаружила, что один из двоих, преграждавших нам дорогу — тот, что пониже, — был человеком, который так бесцеремонно вступил со мной в разговор у церкви Скарздейл. Я потянула мадам за руку и зашептала:

— Бежим!

— Спокойнее, Мод, дорогая моя, — только и услышала я в ответ.

— Я вам вот што с-скажу, — заявил высокий, еще небрежнее сдвинув свой цилиндр набок, — мы вас щас поймаем, дичь вы наша дозволенная, а отпус-сим с условием. Не бойтесь, мисс, чего вы? Клянусь чес-сю и своей душой, я вам вреда не сделаю, — так, Лолли? Я зову его лорд Лоллипоп — Леденец потехи ради, а вообще он Смит. И я, Лолли, предлагаю отпус-сить пойманных, но сначала познакомим их с миссис Смит... она там, с-сидит в экипаже. Подходящие условия для вас, а? Потом выпьем по стаканчику кюрасо и расстанемся друзьями. Ну, што? Поладили?

— Мод, нам надо пойти... Что тут такого? — горячо шептала мне в ухо мадам.

— Вы не должны... — начала я, объятая ужасом.

— Мэм проводит вас, а, малышка? — подал голос мистер Смит, как представил его высокий спутник.

Мадам держала меня за руку, однако я вырвалась. Я бы пустилась бежать, но высокий схватил меня, и, хотя делал вид, что все это лишь веселая шутка, хватка у него была железная, он причинил мне сильную боль. Выразить не могу, как я перепугалась после безуспешного сопротивления. Мадам тем временем бормотала: «Мод, глупышка, пойдете со мной? Смотрите, что ви наделяли!» Я начала кричать. Я издавала вопль за воплем, которые мужчина пытался заглушить громким улюлюканьем, взрывами хохота, носовым платком, прижатым к моему рту; мадам же продолжала увещевать меня и редела в ухо: «Спокойнее!»

— Я подхвачу ее, а? — раздался хриплый голос у меня за спиной.

Но в ту же минуту, обезумевшая от ужаса, я отчетливо услышала и другие голоса, что-то кричавшие. Люди, которые обступали меня, мгновенно замолчали и повернули головы в сторону отдаленных голосов, а я принялась кричать с удвоенной силой. Бандит, стоявший позади, своей ручищей зажал мне рот.

— Это егеря! — воскликнула мадам. — Два егеря... Ми спасены, благодарение Богу! — И она стала призывать Дайкса.

Единственное, что я помню, — я вновь была свободна... сделала несколько торопливых шагов вперед... увидела бледное от возмущения лицо Дайкса... схватилась за его руку, поднимавшую ружье, и закричала:

— Не стреляйте! Иначе они всех нас убьют!

Мадам в тот же момент с визгом сорвалась с места.

— Бегите и закройте ворота, я — за вами... — обратился Дайкс к своему напарнику, который тотчас кинулся выполнять поручение, ведь трое разбойников с необычайной поспешностью отступали к экипажу.

Голова кружилась... я ничего не соображала... готова была упасть в обморок, и все же ужас удерживал меня в сознании.

— Мадам Рожер, вы бы взяли на себя молоденькую мисс, а то мне надобно к Биллу на подмогу...

— Нет, нет, не оставляйте нас! — вскричала мадам. — Я сама сейчас упаду без чьих-то чувств, и потом тут могут скриваться еще злодеи.

Но в этот момент мы услышали звук выстрела, Дайкс буркнул что-то и, сжимая ружье, со всех ног побежал в ту сторону.

Мадам, то и дело призывая поторапливаться и напоминая об

опасности, повела меня к дому, куда мы наконец и добрались без дальнейших приключений.

Мой отец встретил нас в холле. Отец пришел в страшную ярость, услышав от мадам о случившемся; с несколькими слугами он тотчас отправился перехватить компанию у ворот парка.

Я опять разволновалась, потому что отца не было почти три часа, и в моем воображении возникали картины одна мрачнее другой. Моя тревога возросла безмерно, когда появился младший егерь, Билл, — бедняга был весь в крови.

Видя, что он намеревается помешать их отступлению, те трое накинулись на него, вырвали ружье, которое в схватке выстрелило, и жестоко его избили. Я упоминаю об этих подробностях затем, чтобы читатель убедился, что компания была настроена необыкновенно решительно и что скандал случился не от озорства забывшихся гуляк, но был частью разработанного плана.

Отцу не удалось перехватить бандитов. Он следовал за ними до станции Лагтон, где они воспользовались железной дорогой, но никто не мог сказать, в каком направлении они уехали и куда делись почтовые лошади.

Мадам была — или притворялась — чрезвычайно расстроенной случившимся. Когда отец подробно расспрашивал нас, оказалось, что ее и мои воспоминания очень различаются касательно *personnel*<sup>[44]</sup> той преступной компании. Мадам упорно твердила свое, и, хотя рассказ егеря подтверждал мои описания, отец пришел в замешательство. Возможно, он не так уж и сожалел, что не получил ясности, ведь если сначала он не остановился бы ни перед чем, чтобы обнаружить, кто были те лица, то, по размышлении, порадовался, что не располагает фактами и не привлечет негодяев к суду, который, предав этот случай огласке, был бы для меня невообразимо мучителен.

Мадам пребывала в странном состоянии: постоянно раздражалась, без умолку говорила, проливали потоки слез и, не вставая с колен, благодарила и благодарила Бога за наше общее избавление из рук этих злодеев. Однако, несмотря на вместе пережитую опасность и возносимую Небесам благодарность, как только мы оставались вдвоем, она начинала гневаться и раздражалась бранью:

— Вот глупая ви, вот глупая! Непослушная, упрямая! Сделай ви, что я говорил, ничего дурного не случилось бы. Те люди... они же были навеселе, а нет опаснее, как спорить с подвипившими. Я бы отвел вас от несчастья подальше... леди показались мне такой добри, приятни, нам бы с

ней было спокойно... и не случилось бы ничего. А вы раскричались, стали выриваться — они рассвирепели, конечно... грубостью, конечно, ответили... И этот бедняга Билл! Его побили, жизни его угрожали, и вы одна, одна виновата!

Мадам говорила со злобой, не оправданной даже при подобных упреках.

— Скотское отродье! — воскликнула миссис Раск, когда мы с ней и с Мэри Куинс остались в моей комнате. — А еще слезы льет да молитвы возносит! Вот бы нам знать об этих мерзавцах то, что наверняка знает она! Никогда такого, сколько себя помню, в Ноуле не случилось, пока она тут не объявилась, костлявая старая ведьма с лысым черепом! Перед одним ухмыльнется, перед другим расплачется и везде нос сует. Ханжа французская!

Мэри Куинс вставила замечание, а миссис Раск, кажется, возразила, но я не вникала в их диалог. Что бы там ни говорила домоправительница, ее слова подействовали на меня странным образом. На мгновение я заглянула через щелочку в обиталище демонов. Не объяснялись ли поведение и советы мадам во время прогулки полученными указаниями? Может, и экскурсия к церкви Скарздейл — тоже? Но что это были за указания? Почему мадам выступала заинтересованной стороной. Неужели подобное безмерное предательство и притворство возможны? Я не могла ни объяснить, ни до конца разобраться в туманном подозрении, которое вместе с мимолетными, но резкими словами старой домоправительницы закралось в мой ум.

Когда миссис Раск ушла, я очнулась от своих мрачных мыслей, но содрогнулась застонала, ощутив угрожающую мне чудовищную опасность.

— О Мэри! — вскричала я. — *Вы* думаете, она действительно все знала?

— *Кто*, мисс Мод?

— Вы думаете, мадам все знала об этих ужасных людях? О нет! Скажите, что это не так... скажите, что вы в это не верите... что она не знала! Я теряю рассудок, Мэри Куинс, я перепугана насмерть!

— Ну-ну, мисс Мод, дорогая! Не волнуйтесь! Откуда ей знать? Нет в этом правды. Миссис Раск, честное слово, соображает не лучше младенца в утробе!

Но я по-настоящему испугалась. Меня мучило страшное подозрение, что мадам де Ларужьер была сообщницей тех людей, которые окружили нас возле охотничьего заповедника, а потом так жестоко избивали нашего бедного егеря. Как мне избавиться от этой чудовищной женщины? Как

долго еще она будет мучить меня и вредить мне?

— Она ненавидит меня... ненавидит, Мэри, и она не остановится, пока не причинит мне непоправимый вред. О, неужели никто не вызволит меня, не прогонит ее? Папа, папа, о, папа! Папа пожалеет о своей дочери, когда будет слишком поздно!

Я рыдала и ломала руки, раскачиваясь из стороны в сторону, я теряла разум, а честная Мэри Куинс тщетно пыталась успокоить и утешить меня.

## Глава XVIII

### Явление в полночь

Пугающее предостережение леди Ноуллз постоянно возникало у меня в памяти. Неужели нет спасения от ужасной компаньонки, посланной мне судьбой? Раз за разом я принимала решение поговорить с отцом и настоять на том, чтобы ее удалили от меня. Обычно он потакал мне, но в этом случае ответил сухо и сурово; было ясно, что он воображал, будто я нахожусь под влиянием кузины Моники, и что у него имеются свои тайные причины поступить вопреки моему желанию. Именно тогда я получила веселое, забавное письмо от леди Ноуллз из какого-то поместья в Шропшире. Но она ни слова не написала о капитане Оукли — напрасно я выискивала взглядом на страницах милое мне имя. Досадуя, я кинула письмо на стол и подумала: как же это не по-дружески и не по-женски.

Позже, впрочем, я прочла письмо и нашла его необычайно приветливым. Кузина получила известие от папы, он «имел наглость простить *ее* за *его* собственную грубость». Ради меня, несмотря на подобные отягчающие обстоятельства, она намеревалась помиловать его и в ответ на его приглашение, как только выдастся свободная неделя, навестить нас в Ноуле, откуда она хотела увезти меня в Лондон, и хотя я еще слишком юная, чтобы быть представленной ко двору и выезжать, там я смогу не только нанять лучших учителей, что само по себе прекрасный повод отделаться от Медузы<sup>[26]</sup>, но увижу многое, что доставит мне удовольствие и удивит.

— Наверно, важни новость от леди Ноуллз? — поинтересовалась мадам, которая всегда знала, кто в доме получал письмо, и даже угадывала, от кого оно. — Два письма... вам и вашему папе... Леди в добри здоровье, надеюсь?

— Да, спасибо, мадам.

Она снова и снова пыталась выудить что-нибудь у меня, но ей это не удалось. И, как обычно, при малейшей неудаче, она мрачнела и злилась.

В тот вечер, дождавшись, пока мы остались одни в гостиной, отец неожиданно закрыл книгу, которую читал, и сказал:

— Я получил сегодня письмо от Моники Ноуллз. Я всегда любил бедняжку Монни; хотя она не вещунья и часто очень ошибается, все же иногда ее сподобит завести речь о предметах, над которыми стоит

подумать. Она не говорила с тобой, Мод, о времени, когда ты станешь сама себе хозяйкой?

— Нет, — ответила я, слегка озадаченная, прямо глядя в его изборожденное морщинами доброе лицо.

— Я предполагал, говорила... Она болтунья, всегда *была* болтуньей, а такой человек скажет первое, что в голову придет. Впрочем, этот вопрос, Мод, давно меня заботит. — Он вздохнул. — Пройдем в мой кабинет, малышка.

Он взял свечу, и мы пересекли холл, а потом двинулись через галерею, обшитую темными панелями, по вечерам, обыкновенно, немного пугающую и сумрачную — в том ее отрезке, за поворотом, куда не достигало косое освещение из холла, — галерею, уводившую нас от наполненной жизнью части дома к уродливой уединенной комнате, о которой в детской и у прислуги рассказывалось столько страшных историй.

Вероятно, отец намеревался что-то открыть мне, приведя в эту комнату. Но если у него и было такое намерение, он передумал или, по крайней мере, решил повременить.

Он задержался перед шкафом, разглядывая ключ, относительно которого я получила столь строгий наказ, и, наверное, хотел объясниться подробнее. Но вместо этого прошел к столу, где помещались его ящики с бумагами, неизменно запертые, зажег стоявшую на столе свечу, взглянул на меня и сказал:

— Ты должна подождать немножко, Мод. Я кое-что тебе сообщу. А пока возьми эту свечу и полистай книгу.

Я привыкла к молчаливому повиновению. Выбрав том с гравюрами, я устроилась в любимом укромном уголке, где часто проводила с полчаса над какой-нибудь книгой. Это была глубокая ниша между камином с одной стороны и массивным старинным секретером с другой. Сюда я принесла скамеечку и уютно устроилась, со свечой и книгой, в моем узеньком кабинетике. Иногда я поднимала глаза и видела, что отец за рабочим столом то пишет, то размышляет с озабоченным выражением на лице.

Время шло — его прошло больше, чем отец для себя намечал, а он, увлекшись, все сидел у стола. Постепенно ко мне подкралась дрема, голова моя стала клониться к груди, книга и комната исчезли, сладостные краткие сновидения вились вокруг, и наконец меня одолел сон.

Я проспала, должно быть, долго, потому что, проснувшись, обнаружила, что моя свеча догорела. Отец, забыв обо мне, покинул кабинет — комнату наполняла тьма. Я заоченела, члены мои онемели, несколько секунд я не могла сообразить, где же я.

Меня разбудили, наверное, звуки, которые я теперь отчетливо слышала, содрогаясь от ужаса. Они приближались. Я различала шелест... дыхание... скрип половицы в галерее, всегда скрипевшей под ногой. Сама я не смела вздохнуть, я вся обратилась в слух, как можно глубже забившись в нишу.

За неплотно прикрытой дверью неожиданно возник резкий свет. Углом, будто перевернутая латинская буква L, свет обозначился на потолке. Наступила тишина. Потом кто-то слабо постучал в дверь. После недолгой задержки дверь медленно открылась. Я ожидала увидеть грозную фигуру факельщика. И испытала не меньший испуг, увидев мадам де Ларужьер... в сером шелковом платье — она говорила о нем: «Мои китайские шелка», — именно в том платье, какое было на ней еще днем. Наверное, она и не раздевалась. Но разулась. А в остальном ее туалет был завершен как днем. Сжав губы, так что ее большой рот собрался в жесткую складку, она злым сосредоточенным взглядом обшаривала комнату, при этом держала свечу высоко над головой.

В глубокой нише, почти на уровне пола, я осталась не замеченной ею, хотя на секунду мне показалось, что мои глаза встретились с глазами этого призрака.

Я сидела затаив дыхание и не мигая смотрела на страшное видение — поднятая рука... жуткая игра резкого света и резких теней на сморщенном лице... Казалось, это ведьма наблюдает за действием своих заклинаний.

Она прислушивалась. Невольно она закусилла нижнюю губу, и я хорошо помню выражение ее лица, будто искаженного бредом... предсмертной агонией. Мой страх быть обнаруженной перешел все границы. А она вращала глазами, бросая взгляд из угла в угол, и все так же прислушивалась, выгнув шею в сторону двери.

Потом она направилась к письменному столу отца. К счастью, она повернулась ко мне спиной. Склонившись над столом и поставив свечу, она стала пробовать ключ — не иначе. Я слышала, как она дула на него, чтобы прочистить выемки на бородке.

Потом она опять прислушивалась у двери со свечой в руке. Крадучись, но непомерно широкими шагами она вернулась к столу, и в следующее мгновение стол был открыт, а мадам осторожно пересматривала бумаги, которые хранились в ящиках.

Два-три раза она прерывалась, скользила к двери и, склонившись так низко, что почти касалась головой пола, слушала, затем возвращалась к столу и продолжала свои поиски, с поразительной методичностью проглядывая бумаги одну за другой и читая некоторые из них.

Пока она предавалась этому преступному занятию, я обмирала от страха, что она случайно обернется и заметит меня. Она бы на все решилась, чтобы сохранить свои злодеяния в тайне.

Иногда она прочитывала бумагу дважды... иногда доносился ее шепот — не громче тиканья часов... иногда сдавленный смешок выдавал интерес, с каким она изучала то или иное письмо либо записку.

Наверное, с полчаса рылась она в бумагах отца, однако мне показалось — вечность. Неожиданно она вскинула голову, прислушалась и тотчас проворно разложила бумаги по ящикам, бесшумно закрыла дверцу — только замок тоненько щелкнул, — погасила свечу и выскользнула из комнаты. Лишь призрачный отпечаток злобного ведьмовского лица, мгновение назад освещенного свечой, витал какое-то время во тьме.

Почему я не издала ни звука, не шелохнулась, когда творилось такое возмутительное безобразие? Не будь я впечатлительной сверх всякой меры девушкой, испытывающей необъяснимый страх перед этой омерзительной женщиной, имей я смелость и присутствие духа, я бы, вероятно, подняла крик и выбежала из комнаты, нисколько не опасаясь. Но, увы, я, как бедная птичка, схоронившись под плющом, наблюдала за белой совой, совершающей свой хищный налет.

Уже после ее ухода я больше часа оставалась в своем укрытии, боясь шевельнуться, — вдруг она затаилась поблизости или вернется и застанет меня врасплох?

Стоит ли удивляться, что после ночи, проведенной подобным образом, наутро я была больна, меня лихорадило. К моему ужасу, мадам де Ларужьер пришла навестить больную, не встававшую с постели. Лицо мадам не обнаруживало и следа угрызений совести за совершенное минувшей ночью. Ничто в ней не выдавало позднего бдения, и туалет ее был безупречен.

Она сидела возле меня, улыбалась, исполненная притворной заботы, разглаживала одеяло преступной рукой, и я вполне поняла обманутого мужа из сказок «Тысяча и одна ночь»<sup>{27}</sup>, который после открытия, сделанного им в ночной час, цепенеет от ужаса при виде жены-вампира.

Больная, я все же поднялась и отыскала отца в комнате, примыкавшей к его спальне. По моему виду он догадался, что случилось нечто необычайное. Я закрыла дверь и подошла к его стулу.

— О папа, я такое расскажу, такое!.. — Я даже забыла свое привычное «сэр». — Это секрет — вы не проговоритесь, от кого узнали его? Давайте спустимся в ваш кабинет.

Он внимательно посмотрел на меня, встал, прикоснулся губами к моему лбу и сказал:

— Не бойся, Мод. Я полагаю, что все это выдумки, но в любом случае, дитя, мы позаботимся, чтобы ты была в безопасности. Идем!

И, взяв за руку, он повел меня в кабинет. Только при закрытой двери, только в дальнем конце комнаты у самого окна я, понизив голос и крепко держась за отцовскую руку, проговорила:

— О сэр, вы не представляете, какая ужасная особа живет с нами... Я имею в виду мадам де Ларужьер. Не впускайте ее, если она постучит. Она догадается, о чем я говорю вам... и, я уверена, так или иначе погубит меня.

— Фу, дитя! Ты *должна* понимать, что это вздор, — сказал отец. Лицо его было бледным, суровым.

— Нет, папа. Я страшно перепугалась... и леди Ноуллз думает так же...

— Глупость заразительна. Нам всем известно, что у Моники в голове.

— Но я *видела*, папа... Мадам выкрала у вас ключ прошлой ночью и отпирала ваш стол, читала ваши бумаги!

— Выкрала ключ?! — воскликнул ошеломленный отец; не сводя с меня глаз, он шарил в кармане. — Выкрала? Вот же он!

— Она отпирала ваш стол и очень долго читала ваши бумаги. Откройте стол, убедитесь, все ли в порядке.

Теперь он взглянул на меня молча, вид у него был озадаченный. Но он открыл стол и достал бумаги — с любопытством и подозрительностью. При этом он не удержался от невнятных — сквозь зубы — возгласов, хотя не сделал ни одного замечания.

Потом он усадил меня на стул возле себя и, сам усевшись, велел успокоиться и подробно рассказать все, что я видела. Я принялась рассказывать, а он слушал меня с большим вниманием.

— Она не брала чего-нибудь из бумаг? — спросил отец, разыскивая, наверное, ту, которая могла быть украдена.

— Нет, я не видела, чтобы она что-то уносила с собой.

— Ты умница, Мод. Будь и дальше благоразумна. Никому ничего не говори — даже твоей кузине Монике.

Если бы это наставление исходило от кого-то другого, я вряд ли придавала бы ему значение, но из уст отца оно прозвучало чрезвычайно выразительно, и, дав себе слово молчать, я поднялась.

— Сядь, Мод... *вот так*. Ты не испытывала большого удовольствия, общаясь с мадам де Ларужьер. Время освободить тебя от нее. Этот случай решил дело.

Он позвонил.

— Передайте мадам де Ларужьер, что я хотел бы иметь честь видеть ее у себя в кабинете.

Отец неизменно был с ней вежлив. Через несколько минут в дверь постучали, и напугавшая меня на этом самом пороге прошлой ночью персона предстала с улыбкой и учтивейшим реверансом.

Сразу же, как только мадам, по обыкновению, в присутствии мосье излучавшая дружелюбие, заняла предложенный ей стул напротив, отец поднялся и перешел к делу.

— Мадам де Ларужьер, я должен просить вас о том, чтобы вы отдали мне находящийся у вас ключ, который отпирает мой письменный стол. — И отец со стуком опустил на стол свой золоченый пенал.

Мадам, не ожидавшая ничего подобного, мгновенно сделалась такой бледной, — если не считать багровой полоски под краем парика на лбу, — что я, видя, как шевелятся ее белые губы, но ни звука не раздается в ответ, решила: сейчас она упадет в обморок.

Она не смотрела в лицо отцу, ее глаза были устремлены вниз, рот и щеки запали, вся физиономия странно перекосилась.

Вдруг она вскочила и, глядя на отца в упор, откашлявшись раз-другой, выговорила:

— Я не в состоянии понять вас, мосье Руфин, если только вы не замислили оскорбить меня.

— Вам ничего не поможет, мадам. Я должен получить *поддельный* ключ. Даю вам шанс спокойно вручить его здесь и сейчас.

— Но кто смеет утверждать, будто он у меня есть? — перешла в наступление мадам, которая, оправившись от столбняка, уже была воинственна и говорлива, — я часто видела ее такой.

— Вам известно, мадам, что я отвечаю за свои слова. И я говорю вам: вас видели минувшей ночью в этой комнате, у вас был ключ, вы отпирали этот стол, читали хранящиеся в нем мои бумаги и письма. Вы немедленно отдаете мне ключ и все прочие поддельные ключи, которыми располагаете, и тогда я удовольствуюсь тем, что без промедления уволю вас. В противном случае я предпочту иные меры. Вы знаете, я судья, и я сейчас же подвергну обыску вас, ваши баулы, вашу комнату наверху, а также возбужу дело против вас. Одно несомненно: вы отягчаете свою вину, отпираясь. Отдайте ключ немедленно, иначе я позвоню вот в этот звонок и вы убедитесь, что я говорю совершенно серьезно.

Наступило недолгое молчание. Он потянулся к звонку. Мадам скользнула вокруг стола и протянула руку, чтобы остановить его.

— Я все исполню, мосье Руфин... все, что ви хотите.

Произнеся это, мадам де Ларужьер совершенно перестала владеть собой. Она разрыдалась, она захлебывалась от слез, жалобно причитала — все мыслимые и немыслимые сетования и мольбы, наверное, заключались в ее малопонятных руладах. С уничтожением, с раскаянием, в поразительном смятении духа, она достала из-за корсажа ключ на шнурке. Моего отца мало растрогали ее рыдания. Он хладнокровно взял ключ и попробовал отомкнуть и замкнуть им стол, что удалось без усилий, хотя бородка ключа выглядела слишком замысловатой. Отец покачал головой и взглянул на мадам в упор.

— Кто изготовил сей ключ? Ключ новый и сделан специально, чтобы открыть мой замок.

Но мадам не собиралась выдавать больше, нежели было условлено, она лишь опять принялась рыдать и причитать, чередуя жалобы со словами раскаяния, оправдываясь и моля о прощении.

— Хорошо, — проговорил отец, — я обещал, что, предоставив ключ, вы сможете быть свободны. Довольно этого. Я сдержу слово. Даю вам полчаса на сборы — приготовьтесь к отъезду. Деньги вам я передам с миссис Раск. И если вы будете искать другое место, лучше не ссылайтесь на меня. А теперь, будьте добры, покиньте нас.

Мадам казалась совершенно растерянной. Она оборвала рыдания, резким движением руки вытерла глаза, присела в низком реверансе и направилась к двери. Но вдруг остановилась, повернула вполоборота мертвенно-бледное, с обострившимися чертами лицо и, закусив губу, бросила взгляд на отца. У двери, взявшись за ручку, она еще раз обернулась, еще раз посмотрела на отца тем же затравленным взглядом. Потом шмыгнула носом, с презрительной ухмылкой на лице опять присела в глубоком реверансе и вышла, надменно вскинув голову и довольно громко хлопнув дверью.

## Глава XIX

### *Au revoir*<sup>[45]</sup>

Миссис Раск любила повторять мне, что мадам меня «не выносит до мозга костей». Инстинктивно я чувствовала недоброжелательность в гувернантке, понимая, что та старается внушить мне прямо обратное. Как бы то ни было, я не хотела видеть мадам перед ее отъездом, тем более что я еще не забыла тот краткий особенный взгляд, который она бросила на меня в кабинете отца.

Нет, у меня не было желания с ней попрощаться. Поэтому я, взяв шляпу и накидку, тихонько выскользнула из дома.

Я отправилась на прогулку и уединилась в парке, укрытом пышной — даже в это позднее время года — листвой. Тропинка вилась меж старых деревьев, я ступала по их переплетенным, узловатым корням. Хотя и рядом с домом, я оказалась в укромном лесном уголке. Тут бежал крохотный ручей, то темен, то искрист; листья земляники и разные травы устилали землю, сладкие голоса и порхание маленьких птичек оживляли густые, тенистые заросли.

Целый час я провела в этом живописном уединенном месте, когда услышала в отдалении стук колес, возвестивший мне, что мадам де Ларужьер благополучно отправилась в путь. Я благодарила Бога, я готова была петь и танцевать от радости; испустив вздох облегчения, я взглянула сквозь ветви в ясное голубое небо.

Но порой происходят удивительные вещи. Именно в этот момент у меня над ухом раздался голос мадам, и ее большая костлявая рука опустилась на мое плечо. Мы с ней вдруг оказались лицом к лицу. Я отшатнулась, потеряв на миг дар речи.

В ранней юности мы не способны оценить сдерживающие злость движения естества и не понимаем, какая защита нам наш страх, когда рассудок молчит. Совсем одна, в этом лесном уединении, выслеженная и застигнутая врасплох моим недругом, чего я могла ждать?

— Испугана, как обычно... — проговорила она ровным голосом и взглянула на меня со зловещей улыбкой. — Да и как же вам, Мод, не беспокоиться! Что же вы придумали, чтобы обидеть бедняжку мадам? Мне кажется, я знаю... и я нахожу, моя миленькая малютка Мод, что вы очень умненьки девочка. *Petite carogne*<sup>[46]</sup> — ха-ха-ха!

Я была слишком смущена и не отвечала.

— Видите, моя дорогая дъетка, — продолжала она, погрозив пальцем с ужасающей игривостью, — вам не скрять свои проделки от бедни мадам. Ви не обманете меня вашим невинны видом, мне понятна ваш гаденьки, гнусненьки скверность, маленькая ви diablesse<sup>[47]</sup>. А за то, что я сделаля, я себя не упрекну. Если бы я могла все объяснить, ваш папа сказал бы, что я права, а вам бы пришлесь благодарить меня на коленях. Но пока я не могу объяснить.

Она говорила, будто абзацы зачитывала, разделяя их короткими паузами, чтобы придать выразительность своим мыслям.

— Решайся я и объясни, ваш папа... да он бы умоляль меня остаться. Но нет, я бы не согласилась — несмотря на то, что у вас такой весели дом и такие чюдесни слюги, несмотря на приятни общество вашего папы и на нежный чистый сердце моей маленьки милой maraude<sup>[48]</sup>.

Я отправлюсь сначала в Лондон, у меня там — о! — такие замечательни дрюзья, а потом я уеду за гранис... на время. Но, верьте мне, моя миленькая, где бы я ни оказалась, я вас не забуду. Ага! Уж *точно*, что не забуду!

И пускай я не всегда буду поблизости, мне будет все известно про мою чарёвательную малютку Мод. Вам и не догадаться как, но я *все-все* буду знать. И поверьте, моя дорогая дъетка, когда-нибудь я смогу представить вам вески доказательства моей признательности и расположения. Ви корошо поняли?

Экипаж задержался у тисовой изгороди — надо идти. Ви не рассчитывалъ встретить меня... здесь. Возможно, и в дрюгой раз я появлюсь нежданно. Вот удовольствие для нас с вами — эта возможность сказать adieu!<sup>[49]</sup> Прящайте, моя дорогая малютка Мод! Я никогда не перестану думать о вас и о том, как отплатить вам за виказанную бедни мадам доброту.

Она взяла не руку — я не в силах была подать ей руку, — но мой большой палец и, стиснув его широкой ладонью, затрясла им и посмотрела на меня так, будто замышляла зло. Потом вдруг сказала:

— *Думаю*, ви навсегда запомните мадам, а уж я вам о себе напому. Пока прящайте и — счастья вам, какого заслуживаете!

Ее большое лицо, с затаенной злобной ухмылкой, было секунду повернуто ко мне, а в следующую, резко кивнув головой, она судорожно в последний раз дернула мой палец, отвернулась, подобрала юбки, открыв громадные костлявые щиколотки, и быстро зашагала прочь по шишковатым

корням под деревьями, а я не могла очнуться, пока она не скрылась из виду.

Отец после этих событий никак не переменялся, но лица всех прочих обитателей Ноула засветились от радости, когда мадам нас покинула. Ко мне вернулось мое привычное оживление, я была в чудесном настроении. Солнце сияло, цветы глядели невинно, опять беззаботно пели, резвились птицы, вся природа упивалась счастьем и ликовала.

Но миновал восторг, вызванный освобождением, и все чаще призрачная тень мадам де Ларужьер стала наползать на озаренное солнцем небо, а от воспоминаний о ее угрозах меня внезапно пронзал страх.

— Ну разве это не *вопыльщённая* дерзость! — воскликнула миссис Раск. — Вы, мисс, не волнуйтесь. Они все такие — когда вы видели, чтобы пойманный мошенник не грозил бы честным людям, убираясь подальше? Был тут Мартин, егерь, и еще Джарвис, лакей, — я хорошо помню, ох и страшно они грозились... и как только не клялись нам навредить. А ушли — и кто о них с тех пор слышал? Такие всегда грозятся, а нам хуже не делается. Нет, она б навредила, если б могла, уж поверьте, но ведь то-то и оно, что не может, локти кусает да проклиняет нас, ха-ха!

Я успокоилась. Однако злобная ухмылка мадам время от времени всплывала перед моими глазами, молчаливо предвещая беду, и я падала духом, и закутанная в черное Судьба, чье лицо оставалось незримым, брала меня за руку, молча вела за собой... Вздрогнув, я возвращалась из этого ужасного призрачного путешествия и избавлялась от мадам... но ненадолго.

Впрочем, она хорошо продумала ту коротенькую сцену прощания. Она замыслила оставить меня во власти своего колдовства и часто являлась ко мне во сне.

Но все же я ощущала себя на свободе. Исполненная надежды, я написала кузине Монике и просила приоткрыть планы отца в отношении меня — останемся ли мы дома, поедем ли в Лондон или отправимся за границу. Думая о последней возможности, в каком-то смысле самой счастливой, я тем не менее испытывала суеверный страх. Меня мучила тайная мысль, что, отправившись за границу, мы повстречаем там мадам, моего злого гения.

Я не раз повторяла, что мой отец был человек странный, и читатели, вероятно, уже убедились — в нем крылось много непостижимого. Я часто задавалась вопросом: будь отец откровеннее, стал бы он мне понятнее или, наоборот, показался бы еще большим чудачком? То, что глубоко меня трогало, его, напротив, ничуть не заботило. Отъезд мадам и связанные с ним обстоятельства представлялись моему детскому уму событиями

крайней важности. Никто в доме не остался безучастным к происходившему — кроме самого господина. Он никогда больше не упоминал о мадам де Ларужьер. Но связанная с разоблачением мадам и ее увольнением или не связанная новая дума теперь неотступно преследовала отца.

— Я много размышляю о тебе, Мод. Я обеспокоен. Я годы так не тревожился... И почему Монике Ноуллз недостает еще чуточки здравого смысла?

Он произнес, остановив меня в холле, эти загадочные фразы, добавил: «Однако посмотрим!» — и исчез столь же внезапно, как появился. Не предвидел ли он месть, что готовила мне злобная мадам?

День-два спустя, гуляя в голландском саду, я увидела отца на ступеньках террасы. Он поманил меня и сделал несколько шагов мне навстречу.

— Тебе, наверное, очень одиноко, малышка Мод, это никуда не годится. Я написал Монике... Что касается частностей, она прекрасный советчик. Возможно, она приедет к нам ненадолго.

Я преисполнилась радостью, услышав новость.

— Ты более пылко, чем я в свое время, готова оправдывать этого человека.

— Кого, сэр? — рискнула я вставить во время последовавшей паузы.

Одна из привычек отца, предавшегося уединению и жизни молчальника, сводилась к тому, что он забывал высказывать свои мысли вслух, будто они и так должны были быть всем понятны.

— Кого? Твоего дядю Сайласа. По естественной логике вещей он должен пережить меня. И тогда он будет представлять нашу фамилию. Мод, принесешь ли ты жертвы, чтобы восстановить его доброе имя?

Я ответила коротко, но на моем лице, думаю, ясно читалась готовность к любым жертвам.

Он наградил меня благодарной улыбкой — будто с полотна Рембрандта.

— Я скажу тебе, Мод, вот что: если бы моя жизнь могла помочь этому свершиться, оно уже свершилось бы... *Ubi lapsus, quid feci?*<sup>[50]</sup> Меня смущала мысль... мысль отказаться от моего намерения и довериться времени... *edax rerum*...<sup>[51]</sup> пусть оправдает или же *истребит*. Но, думаю, малышка Мод хотела бы внести свою лепту в восстановление фамильной чести. Возможно, это достанется тебе не совсем даром — готова ли ты платить? Есть ли — я говорю не о состоянии, состояние тут ни при чем, —

но есть ли благородная жертва, от которой бы ты воздержалась, зная: только благодаря ей рассеется бесстыдное подозрение, из-за которого наше древнее и почтенное имя обречено на то, чтобы исчахнуть?

— О нет! Нет такой жертвы, сэр! Я с радостью принесу любую!

И опять я увидела улыбку из тех, что писал Рембрандт.

— Хорошо, Мод, я уверен, что ты *ничем* не рискуешь, но ты должна быть готова к жертве. И ты по-прежнему согласна?

Я подтвердила.

— Ты достойна крови, которая течет в тебе, Мод Руфин. Будет это скоро, но так же скоро пройдет... Однако не позволяй людям вроде Моники Ноуллз запугивать тебя.

Я терялась в догадках.

— Если ты позволишь... и подчинишься им с их глупостями, тебе лучше вовремя отступить. Они превратят предстоящее тебе испытание в адские муки. В тебе есть пыл, но есть ли у тебя выдержка?

Я считала, что выдержу все.

— Хорошо, Мод. Через несколько месяцев, возможно совсем скоро, тебя ждут перемены. Сегодня утром я получил письмо из Лондона и уверился в этом. Я оставлю тебя ненадолго, в мое отсутствие добросовестно исполняй обязанности, которые на тебя лягут. Кому много поручено, с того много спрашивается. И обещай не рассказывать о нашем разговоре Моники Ноуллз. Если ты болтливая девочка и не доверяешь себе, признайся — в таком случае мы не станем звать ее сюда. И не побуждай ее к разговорам о твоём дяде Сайласе — у меня есть причины настаивать на этом. Мои условия тебе ясны?

— Да, сэр.

— Твой дядя Сайлас, — вдруг заговорил он громким и сильным голосом, почти ужаснувшим меня, ведь отец был стар, — изнемогает под бременем клеветы. Я не обмениваюсь с ним письмами, не разделяю... никогда полностью не разделял его взглядов. Он стал религиозен, и это похвально, но есть вещи, с которыми даже религия не должна примирять человека; он же — лицо прежде всего пострадавшее и невольная причина большой беды, — он, насколько я знаю, поддался апатии, что внушает подозрения и легко может быть истолковано против него; но Руфины ни при каких обстоятельствах не должны позволять себе такой слабости. Я советовал ему, что следует предпринять, и обещал — не поскуплюсь на расходы, однако он не захотел... *ничего не сделал*. Он в действительности *никогда* не слушал моих советов, он поступал по-своему... по наущению грязных, презренных людишек, с которыми связался. Не ради него — зачем

мне? — я стремился и прилагал усилия, чтобы смыть пятно позора, которое из-за случившегося с ним несчастья обесчестило нас всех. Он же мало тревожился, он слишком смиренен — смиреннее меня. Он заботится о своих детях меньше, чем я о тебе, Мод, он эгоистично уповает на будущее, безвольный мечтатель. Я не таков. Я считаю, мой долг — печься не столько о себе, сколько о других. Значение и вес достойного имени — особенное наследство, святое, но подверженное порче, и горе тому, кто губит его или допускает его гибель!

Это была самая длинная речь, которую я когда-нибудь слышала от отца. Неожиданно он заключил:

— Да, мы, Мод, ты и я, мы представим доказательство... свидетельство, которое — коль скоро будет верно понято — убедит всех.

Он оглянулся — мы были одни. В саду почти всегда было пустынно, мало кто подходил к дому с этой стороны.

— Я, наверное, слишком разговорился... В нас до самого конца живет дитя... Оставь меня, Мод. Мне кажется, теперь я знаю тебя лучше, и я доволен тобой. Иди, Мод, — я посижу здесь.

Если он узнал обо мне что-то новое из этого разговора, то, несомненно, и я о нем. Я и представить себе не могла, какая страсть доньше полыхает в его старом теле, сколько жизни и огня может обнаружиться на его лице, обычно жестком и бесцветном, как пепел. Я оставила отца сидящим на грубо сколоченной скамье, и следы бури еще проступали в его чертах: сведенные брови, и сверкающие глаза, и сурово сжатый рот — странно взбудораженное выражение лица все еще выдавало волнение, каким убеленная сединами старость почему-то удивляет и тревожит юных.

## Глава XX

### *Остин Руфин отправляется в путь*

На следующий день пришел преподобный Уильям Фэрфилд, несколько простоватый викарий при докторе Клее, кроткий, сухощавый, с выступающим тонким носом человек, готовивший меня к конфирмации. И когда мы закончили с катехизисом, отец позвал викария в кабинет, где совещался с ним, пока не позвонили к завтраку.

— У нас была интересная, смею сказать, *преинтересная* беседа с вашим папой, мисс Руфин, — объявил, как только подкрепился, мой преподобный *vis-à-vis*<sup>[52]</sup>. Сияя улыбкой, он откинулся на спинку стула, положил руку на стол и осторожно обвил пальцем ножку бокала с вином. — Вы не имели чести, я полагаю, видеть вашего дядю, мистера Сайласа Руфина из Бартрама-Хо?

— Нет... никогда. Он ведет такую уединенную... *очень* уединенную жизнь.

— Нет, конечно же нет... Но я собирался отметить сходство — я имею в виду, конечно, *фамильное* сходство, и *только*, поймите правильно, — между ним и леди Маргарет с портрета в гостиной, который вы были столь добры показать мне в прошлую среду, — ведь я видел леди Маргарет, не так ли? Сходство, несомненно, *присутствует*. Я полагаю, вы согласились бы со мной, если бы имели удовольствие видеть вашего дядю.

— Значит, вы знаете его? Я с ним никогда не встречалась.

— О да, дорогая мисс Руфин, конечно. Я счастлив сказать, что знаю его превосходно. Имею честь знать. В течение трех лет я был викарием в Фелтраме и неоднократно посещал Бартрам-Хо в этот, смею сказать, продолжительный период времени. Я даже не мог и мечтать о большей чести и о большем счастье, нежели знакомство со столь многоопытным христианином, каким являет себя мой замечательный, смею сказать, друг, мистер Руфин из Бартрама-Хо. Я взираю на него, уверяю вас, как на святого — не в том конечно же смысле, в каком толкуют святость паписты, но в высочайшем, вы меня понимаете, смысле, какого придерживается *наша* Церковь: святой — се человек, созданный верой... исполненный веры... веры и милосердия... достойный подражания. И я нередко позволял себе сожалеть, мисс Руфин, что непостижимым произволением Провидения он был так отдален от своего брата — вашего уважаемого

отца; влияние его, позволю себе заметить, несомненно, было бы благом для всех нас, и, возможно, мы — высокочтимый доктор Клей и я — видели бы вашего уважаемого отца в церкви чаще, чем *видим*. — Он чуть покачал головой, глядя на меня с печальной улыбкой сквозь очки в оправе из вороненой стали, и задумчиво пригубил бокал с хересом.

— Вы много виделись с моим дядей?

— *Много*, мисс Руфин, смею сказать, *много*... преимущественно в его собственном доме. Здоровье вашего дяди расстроено... тяжело больной человек... вы, очевидно, знаете. Но недуги, моя дорогая мисс Руфин, как замечательно говорил доктор Клей в прошлое воскресенье — вы помните, — пусть птицы и зловещие, недуги — се вороны, возвещающие о пророке: к праведнику они являются с пищею для души... Он очень стеснен в средствах, должен сказать, — продолжал викарий, человек скорее благожелательный, чем благовоспитанный. — Ему было затруднительно... фактически он был лишен возможности жертвовать в наш скромный фонд, и я обыкновенно со всей искренностью говорил, что для нас большее вознаграждение его отказ, нежели вспомоществование иных, — такой сокровищницей чувств он обладал, и притом такой безудержной щедростью чувств.

— Это папа хотел, чтобы вы рассказали мне о моем дяде? — спросила я, осененная внезапной догадкой, и тут же почти устыдилась вопроса.

Он удивился.

— Нет, мисс Руфин, конечно же нет. О, что вы — нет! Мы просто беседовали с мистером Руфином, он не подсказывал мне ни эту, ни какую-либо другую тему для разговора с вами. Нет-нет.

— Прежде я не имела представления о том, насколько дядя Сайлас религиозен.

Он сдержанно улыбнулся, возведя очи горе — хотя и не совсем в потолок, — а опуская, покачал головой; он сокрушался о моем невежестве.

— Смею сказать, что какие-то, не первостепенной важности стороны в считанных положениях учения ему, возможно, и следовало бы обдумать глубже. Но это, вы понимаете, умозрительные построения, по сути же он принадлежит к Церкви — не в извращенном новом смысле, совсем нет, — к Церкви в самом строгом смысле слова. О, если бы среди нас было больше людей его несравненного ума! Да-да, мисс Руфин, я говорю и о высочайших ступенях нашей иерархии.

Преподобный Уильям Фэрфилд, воюя с сектантами правой рукой, левой горячо поддерживал трактарианцев<sup>[28]</sup>. Викарий был, я уверена, достойным человеком и, очевидно, сведущим в богословии, хотя, мне

кажется, природа не наделила помощника доктора Клея особым умом. Впрочем, из разговора с викарием я узнала нечто новое о дяде Сайласе, что вполне соответствовало вскользь оброненным замечаниям отца. Близкие дяде принципы трактарианцев и подступающая старость не могли не повлиять на него — умерили пыл, с каким он восставал против несправедливости, научили смирению пред судьбой.

Вы, наверное, решили, что я, особа столь юная, рожденная столь богатой наследницей и проводящая дни в столь полном уединении, не знала забот. Но вам уже известно, как омрачали мою жизнь страх и тревога во время пребывания в нашем доме мадам де Ларужьер и как томило мою душу мучительное ожидание проверки, о которой объявил мне отец, ничего не разъяснив.

Он говорил о некоем «испытании»... требующем не только пылкого сердца, но выдержки... об «испытании», на которое, возможно, у меня не останется смелости, которое мне, поддавшейся испугу, возможно, не вынести. Что же это может быть? Что это за испытание, назначенное защитить — нет, не пострадавшего от клеветы старого человека, слабовольного и смиренного, но ни много ни мало — честь нашей древней фамилии?

Иногда я раскаивалась, что так опрометчиво дала согласие... я сомневалась в своей отваге. Не лучше ли отступить, пока еще есть время? Но я стыдилась этой мысли, от нее мне даже становилось не по себе. Как я взгляну в глаза отцу? Ведь дело важное... ведь я обдуманно согласилась... ведь я связана словом. Возможно, он уже предпринял какие-то шаги в этом деле и я подведу его. Кроме того, могла ли я сказать с уверенностью, что, отступи я, в дальнейшем вновь не встану перед необходимостью этой проверки, к чему бы она ни сводилась? Вам ясно: у меня было больше задора, чем храбрости. Я думала, что отважна духом, а выходило — истеричная девица и просто трусиха.

Надо ли удивляться, что я сомневалась в себе, проявляя то волю, то робость. Во мне шла борьба между гордой решительностью и присущей мне боязливостью.

Те, кто брал на себя больше, нежели позволяла их природа, — слабые, честолюбивые, готовые рисковать и жертвовать собой, но не наделенные при этом должным мужеством, — поймут, какую муку я испытывала.

Впрочем, временами наступало облегчение, и мне казалось, что я преувеличиваю тяжесть грядущего испытания; во всяком случае, будь оно связано с реальной опасностью, мой отец, несомненно, никогда бы не пожелал его мне. Но неведение, в котором держал меня отец, было

невыносимо.

Скоро я все пойму, скоро также все узнаю о приближающемся путешествии отца — куда и с кем он отправляется... и почему для меня это пока тайна за семью печатями.

В тот же день, когда произошла описанная беседа за завтраком, мы получили веселое и доброе письмо от леди Ноуллз. Она собиралась приехать в Ноул дня через три. Мне думалось, отец должен быть доволен, но он казался безучастным, подавленным.

— Не каждому с Моникой легко, но малышке она — чудесная компания, благодарение Богу. Хорошо бы она осталась у нас на месяц, на два. Возможно, я уже покину тебя, и я был бы рад — при условии, что она не забудет тебе голову глупостями, — очень рад, Мод, если тогда она задержится еще на неделю-другую.

В тот вечер отец рано пожелал мне спокойной ночи и поднялся к себе... Я еще не успела уснуть, как услышала, что он звонит в колокольчик. У него это не было заведено. Вскоре я услышала, что его слуга, Ридли, говорит о чем-то с миссис Раск в галерее. Я не могла спутать голоса. Я почему-то встревожилась, разволновалась и приподнялась на локте, прислушиваясь. Но они говорили тихо, как говорят, исполняя привычные распоряжения, без торопливости, диктуемой чрезвычайностью обстоятельств.

Затем, я слышала, слуга пожелал миссис Раск доброй ночи и направился по галерее к лестнице. Я заключила, что слуга больше не понадобится отцу, значит, все в порядке. Я опустила на постель, но сердце стучало, и в тишине, почему-то казавшейся мне зловещей, я ожидала услышать шаги... воображала, что уже их слышу.

Я почти засыпала, когда колокольчик прозвенел вновь, и через несколько минут миссис Раск торопливо пересекла галерею. Напрягая слух, я расслышала — или мне почудилось? — как они с отцом разговаривали. Все это было необычно до крайности, и опять, с бьющимся сердцем, я приподнялась на локте над подушкой.

Потом, через какую-то минуту, миссис Раск пошла галереей, остановилась перед моей дверью и тихонько приоткрыла ее. Я, все же не уверенная, что это домоправительница, спросила:

— Кто там?

— Это только я, Раск, мисс. Господи, неужто вы еще не спите?

— Папа болен?

— Болен? Ничуть, слава Богу! Просто тут вот черная книжечка, наверное, ваш молитвенник... точно он. Я и принесла его — господину он

понадобился, а теперь я должна спуститься в кабинет и найти пятнадцатый том... э... не могу разобрать имя... переспрашивать же у господина я постеснялась. Не прочтете ли мне, мисс? Боюсь, мои глаза стали совсем плохи...

Я прочла имя. Миссис Раск довольно легко ориентировалась в библиотеке — она и прежде часто выполняла подобные поручения. Она отправилась вниз.

Наверное, именно этот том разыскать было непросто, потому что она долго не подымалась, и я уже задремала, как вдруг меня заставил очнуться страшный грохот и пронзительный крик миссис Раск. Крик следовал за криком — все чудовищнее, испуганнее. Я не своим голосом позвала Мэри Куинс, спавшую подле меня в комнате:

— Мэри, Мэри! Вы слышите? Что это? Случилось что-то ужасное!

Грохот был столь силен, что даже крепкий пол моей комнаты задрожал; мне подумалось, это какой-то необычайно грузный человек прыгнул в окно, и весь дом зашатался от его падения.

Я уже стояла у своей двери — из горла вырвался вопль:

— Помогите! Убивают! Помогите-и-те!

Ко мне жалась перепуганная до потери рассудка Мэри Куинс.

Я не соображала, что происходит. Но, очевидно, происходило нечто невообразимо ужасное, ведь миссис Раск кричала не умолкая, хотя крик звучал теперь приглушенно, будто за ней закрылась дверь. Из комнаты отца надрывно звенел колокольчик.

— Они хотят убить его! — завопила я и кинулась по галерее к отцовской комнате, за мной бежала Мэри Куинс, чье побелевшее лицо мне никогда не забыть, хотя ее мольбы звучали у меня в ушах бессмысленно, не достигая сознания. — Помогите! Помогите! Да помогите же! — вопила я, пытаюсь открыть дверь.

— Толкайте ее, ради бога! Он поперек... — отозвалась миссис Раск из комнаты, — налегайте на дверь... я не могу его сдвинуть.

Я напрягала силы, но — тщетно. К нам с криком бежали люди.

— Ничего...

— Так-так, возьмемся!

— Еще! Еще!

— Ну вот...

Мы с Мэри вернулись к себе, когда прибежали люди, — обе в неглиже, мы скрылись в моей комнате. И слушали у порога.

Возня возле двери... голос миссис Раск, перешедший в протяжный стон... голоса мужчин, говоривших, перебивая друг друга... И тогда,

наверное, дверь открылась, потому что голоса вдруг зазвучали будто бы из отцовской комнаты. А потом резко смолкли. Слышались лишь очень тихие, редкие возгласы.

— Что это, Мэри? Что это *может* быть? — воскликнула я, не зная, что и думать. И, накинув на плечи покрывало с кровати, стала громко призывать людей, умоляя сказать мне, что же случилось.

Но я слышала только приглушенные озабоченные голоса мужчин, чем-то занятых, и глухой звук передвижаемого тяжелого тела.

К нам подошла миссис Раск, с видом почти безумным, бледная как привидение, и, положив худую руку мне на плечо, сказала:

— Мисс Мод, дорогая, вам надо лечь в постель... Тут вам сейчас делать нечего. Вы, дорогая, все увидите в свое время... увидите. Ну, будьте умницей, идите, идите в постель.

Что это был за чудовищный звук? Кто вошел в комнату моего отца? Гость, которого он давно ждал, с которым ему предстояло, оставив меня одну, отправиться в неведомый путь. Гостем этим... этой гостьей была смерть!

## Глава XXI

### Посещения

Мой отец был мертв — внезапно расстался с жизнью, будто жертва преднамеренного убийства. Одну из этих страшных аневризм расположенного близко к сердцу сосуда, которая внешне никак не обнаруживает себя, но, прорвавшись, убивает мгновенно, уже давно выявил доктор Брайерли. Отец знал о том, что должно случиться, и отдавал себе отчет, что долгой отсрочки ему не будет. И страшился сказать мне, что скоро умрет. Только намекнул о разлуке, прибегнув к аллегории путешествия, но вместе с печальным иносказанием в мой ум проникли и несколько истинных слов утешения, которые навсегда пребудут со мной. Под его сдержанной манерой крылась удивительная нежность. Я не могла поверить, что он действительно мертв. Большинство людей, потрясенных до самых своих основ подобным ударом, на минуту-другую овладевает безумство неверия. Я настаивала, чтобы немедленно послали за доктором.

— Хорошо, мисс Мод, дорогая, я *пошлю* за доктором, чтобы вы успокоились, но все это бесполезно. Если бы вы видели его, вы бы сами поняли. Мэри Куинс, бегите вниз и скажите Томасу, что мисс Мод желает, чтобы он тотчас отправился за доктором Элуэзом.

Каждая минута ожидания казалась мне часом. Не знаю, что я говорила, но, помню, думала, что если отец не мертв, то лишится жизни из-за промедления доктора. Наверное, я слишком безумствовала, потому что миссис Раск сказала:

— Мое дорогое дитя, вы должны пойти, и вы сами увидите... да, вам необходимо пойти, мисс Мод. Он умер уже час назад. Вы поразитесь, сколько из него крови... да, поразитесь... кровать насквозь пропиталась кровью.

— Не надо! Не надо! *Не надо*, миссис Раск!

— Пойдете сейчас, мисс, — посмотрите?

— Нет! Нет! Нет! Нет!

— Хорошо, моя дорогая, конечно, не ходите, если вам не хочется. Не ходите. Может, вам все-таки прилечь, мисс Мод? Мэри Куинс, позаботьтесь о мисс. Я должна ненадолго вернуться в комнату.

В полном смятении я ходила взад-вперед по своей спальне. Ночь была холодной, но я не ощущала холода. Ходила и причитала:

— О Мэри, что же мне теперь делать? Мэри Куинс, что мне делать?

Уже близился, наверное, рассвет, когда прибыл доктор. Я давно оделась. Но так и не осмелилась войти в комнату, где лежал мой горячо любимый отец.

Я вышла из спальни в галерею и поджидала доктора Элуэза. Наконец я увидела его, торопливо следовавшего за слугой, — в сюртуке, застегнутом до подбородка, со шляпой в руке, сиявшего совершенно лысой головой. Вдруг меня пронзил ледяной холод, холод стискивал сильнее... сильнее, и вот мое сердце будто остановилось.

Я слышала, как доктор обратился с вопросом к горничной возле двери — низким решительным непостижимым голосом, который присущ докторам:

— Сюда?

Я видела, как он вошел.

— Вы не желаете поговорить с доктором, мисс Мод? — спросила Мэри Куинс.

Ее голос немного оживил меня.

— Да, спасибо, Мэри, я должна с ним поговорить.

И через минуту я говорила... Он был очень почтителен, очень печален... лицо почти как у гробовщика, никаких недомолвок. Я услышала, что мой дорогой отец «мертв в результате разрыва крупного сосуда вблизи сердца», что «болезнь, несомненно, возникла давно, по своей природе относится к неизлечимым, и утешительно в подобных случаях то, что разрыв происходит мгновенно, поэтому от страданий человек избавлен». Еще несколько замечаний помимо приведенных — это все, что он мне мог предложить. Получив вознаграждение от миссис Раск, с печально-почтительным видом он удалился.

Я вернулась к себе и разразилась горестными рыданиями. Через час я немного успокоилась.

От миссис Раск я узнала, что минувшим вечером отец выглядел, казалось, лучше обычного. Когда она поднялась из кабинета с требуемым томом, он, по обыкновению, помечал в книге перед собой пассажи, имеющие отношение к рукописи, над которой работал сам. Он взял у миссис Раск нужный том, задержал ее зачем-то в комнате и взобрался на стул, чтобы достать с полки еще какую-то книгу. И тут — с чудовищным грохотом, который я слышала, — упал на пол замертво. Он упал поперек двери, отчего и трудно было ее открыть. У миссис Раск не нашлось на это сил. Неудивительно, что ее обуял панический страх. Я бы на ее месте, наверное, потеряла рассудок.

Каждому известны сумрачный вид и молчаливое настроение дома,

одну из комнат которого заняла таинственная страшная гостья.

Не знаю, как миновали эти ужасные дни и еще более ужасные ночи. Воспоминание о них гнетет, оно ненавистно мне. Я оделась в положенный траур — в креп, томивший тяжелыми складками. Приехала леди Ноулз и была ко мне очень добра. Она взяла на себя все те мелкие обязанности, которых я невыразимо пугалась. Кроме того, за меня написала и отправила письма. Она была на самом деле необыкновенно добра и полезна, ее общество оказалось для меня благом. Порой она удивляла, но ее эксцентричность уравнивалась отменным здравым смыслом, и позже я всегда с восхищением и благодарностью думала о том, с каким тактом она отнеслась ко мне в моем горе.

С большой печалью нам не совладать одним лишь усилием воли. Это состояние сродни стихии, и нам следует постичь его законы и подчиниться им, чтобы умерить печаль. Кузина Моника много говорила со мной об отце. Ей это давалось легко, ведь значительная часть ее самых ранних воспоминаний была связана с ним.

Привычный ход мысли у понесших тяжелую утрату нарушен: пространство земного будущего лишено наших мертвых, и мы обращены исключительно к прошлому. Летящий вперед взгляд не находит их, в ответ на любое намерение, любую фантазию или надежду разверзается безмолвная пустота. Но в прошлом они остались, наши близкие остались какими и были. И позвольте мне дать совет тем, кто станет утешать понесших утрату: говорите с ними, сколько это возможно, о прошлом, в котором мертвые еще были живы. Опечаленные утратой охотно предадутся своим воспоминаниям и не менее охотно будут слушать чужие — иногда приятные или даже комичные. Я знаю об этом по собственному опыту. Чудовищная и резкая внезапность беды чуть сглаживается, бранные останки своей бездвижностью уже не так поражают взгляд, а вслед за ним — разум, и появляется способность устоять перед почти гипнотическими иллюзиями, которые могут свести с ума.

Кузина Моника несомненно, замечательно ободряла меня. Я проникаюсь к ней все большей любовью, думая о выпавших ей хлопотах, о ее внимании и доброте ко мне.

Я не забыла про ключ, в отношении которого мой дорогой папа проявлял особое беспокойство. Ключ был извлечен у него из кармана, где он всегда держал его — о чем просил меня помнить, — и только во время сна перекладывал под подушку.

— Так, значит, моя дорогая, ту ужасную женщину фактически застали, когда она отмыкала замок папиного стола. Я удивлена, что папа не наказал

ее, это же кража со взломом.

— Леди Ноуллз, она покинула наш дом, она больше не тревожит меня. Я хочу сказать, мне ее бояться нечего.

— Да, моя дорогая. Впрочем, вы должны называть меня Моникой — хорошо? Я ваша кузина, зовите меня Моникой, иначе я обижусь. Да, конечно же вам ее бояться нечего. Она уехала. Но я человек в годах и не столь мягкосердечна, как вы. Я признаюсь: я была бы очень рада услышать, что эту злую старую ведьму заключили в тюрьму или сослали на каторгу, — правду вам говорю. А что, по-вашему, она искала? Что намеревалась выкрасть? У меня есть догадка. А вы как думаете?

— Ей хотелось узнать, что в бумагах; возможно, она искала деньги... не знаю, — ответила я.

— Ну а я думаю, она, скорее всего, хотела добраться до завещания вашего покойного папы. И моему предположению нисколько не следует удивляться, — заключила кузина Моника. — Вы читали на днях о любопытном судебном процессе в Йорке?<sup>[29]</sup> Нет большей ценности для грабителя, чем завещание, если оно предусматривает передачу крупной собственности. Ведь вам пришлось бы много заплатить ей, чтобы получить бумаги обратно. Быть может, вы, дорогая, спуститесь вниз — и я с вами, — и мы откроем шкаф в кабинете?

— Я не вправе, я обещала передать ключ доктору Брайерли, только он должен открывать шкаф.

Кузина Моника выразила свое изумление и неодобрение ворчливым «ГМ».

— А доктору написали?

— Нет, я не знаю его адреса.

— Не знаете его адреса? О, любопытно! — воскликнула леди Ноуллз с некоторым раздражением.

Ни я, ни кто-либо из обитателей дома не мог высказать ни малейшего предположения относительно места пребывания доктора. Спор возник уже о том, в каком направлении он уехал — на север или на юг? Ведь эти поезда отходят со станции с интервалом в пять минут. Способ к немедленному обретению доктора не оказался бы скрытым от нас более плотной завесой мрака, даже будь доктор Брайерли злым духом, вызываемым силой тайного заклинания.

— И как долго вы намерены ждать, моя дорогая? Впрочем, не важно, вы можете, по крайней мере, открыть письменный стол и, возможно, отыщете бумаги, которые вам помогут... возможно, отыщете там адрес доктора Брайерли... да мало ли что еще!

Я уступила, и мы спустились вниз, открыли письменный стол. Какое ужасное осквернение в этом полном нарушении личной тайны! Как отвратительно стремление преодолеть молчание мертвых!

И отныне все свидетельствует, все возбуждает догадки — каждая записная книжка, каждый клочок бумаги и каждое частное письмо... Их обыскивают напряженным взглядом при свете дня, чтобы стало ясно, чем и кому они могут быть полезны.

В верхнем ящике лежало два скрепленных печатью письма — одно для кузины Моники, другое для меня. Мое было нежным и любящим... кратким словом прощания — не более, — вновь разбередившим душу; и я долго и горько рыдала над ним.

Я не видела, как кузина восприняла адресованное ей письмо, — я уже погрузилась в то, которое предназначалось мне. Вскоре кузина подошла и поцеловала меня — невинно и ласково, как она это умела. Глаза ее наполнились слезами при виде моей скорби. Но время от времени она говорила: «Я помню его фразу...» — и повторяла ее. Что-нибудь мудрое или забавное, но всегда утешительное. И описывала случай, когда услышала от него эту самую фразу, и пускалась в воспоминания... а я отвлекалась от моих сетований и отчаяния — частью благодаря ему самому, а частью благодаря кузине Монике.

Вместе с упомянутыми письмами лежал большой конверт, на котором значилось: «Распоряжения, каковые немедленно исполнить по моей смерти». Одно из них звучало: «*Тотчас* поместить некролог в *местной* и *важнейших лондонских* газетах». Об этом уже позаботились. Адреса доктора Брайерли мы, однако, не обнаружили.

Мы искали везде, за исключением шкафа, который я не позволила бы отпереть никому, кроме как — в соответствии с распоряжением отца — доктору Брайерли. Завещания или иного подобного документа нигде не оказалось. И теперь у меня не было сомнений, что завещание спрятано в шкаф.

Среди бумаг моего дорогого отца мы нашли две пачки писем, аккуратно перевязанных и снабженных пометкой, которая указывала, что это письма от моего дяди Сайласа.

Кузина Моника посмотрела на них со странной улыбкой, заключавшей... иронию? Или только с такой непонятной улыбкой и приближаются к тайне, хранившейся многие годы?

Письма удивляли. Порой тон их бывал раздражителен и даже жалок, но часто встречались также строки, исполненные мужества и благороднейших чувств, к тому же попадались поразительно напыщенные

рассуждения о религии. Иногда письмо постепенно обретало форму молитвы и заканчивалось — без подписи славословием. В некоторых выражались столь путанные и безумные идеи касательно религии, что вряд ли, думаю, дядя смел обнаруживать их перед добрым мистером Фэрфилдом, — они скорее приближались к представлениям Сведенборга, чем, хотя бы отдаленно, к догматам Англиканской церкви.

Я прочла письма с волнением и интересом, но кузину Монику они не растрогали, как меня. Она читала с той же улыбкой — неуловимой, невозмутимой, — с которой впервые взглянула на них. У нее был вид человека, который с любопытством прослеживает становление характера, теперь хорошо знакомого.

— Дядя Сайлас глубоко религиозен? — задала я вопрос леди Ноуллз: меня смущало выражение ее лица.

— Преглубоко... — ответила она все с той же высокомерной улыбкой, не поднимая глаз от одного из писем, не гоня с лица все ту же высокомерную улыбку.

— Но вы так *не думаете*, кузина Моника! — сказала я.

Она подняла голову и в упор посмотрела на меня.

— Почему же, Мод?

— Потому что скептически улыбаетесь над его письмами.

— Разве? — воскликнула она. — Это невольно... Дело в том, Мод, что ваш покойный папа заблуждался в моем отношении. Я не имела никаких предрассудков, что касается Сайласа... никакого сложившегося мнения. Я никогда не знала, что думать о нем. Никогда не принимала его за естественное порождение природы, но видела в нем детище Сфинкса. И я никогда не могла понять его. Вот и все.

— Я — тоже, но это потому, что мне оставались одни догадки, я должна была выискивать ответы на его портрете или где придется. Кроме того, что вы мне рассказали, я слышала о дяде лишь несколько скупых фраз — покойному папе не нравились мои расспросы, он и слугам, наверное, приказал молчать.

— Такое же предписание вашей кузине содержится в этом коротком письме — ну, не совсем такое, но похожее. И смысла я не пойму. — Она вопросительно взглянула на меня. — Что касается Сайласа, вас нельзя *пугать*, а испугайся вы, то сделаетесь непригодны для *важной услуги*, которую взяли оказать вашей фамилии и суть которой мне вскоре станет ясна; пусть и *пассивная*, услуга будет для вас крайне печальной, если *необоснованный страх* прокрадется к вам в душу.

Она смотрела в письмо, написанное рукой моего покойного папы и

адресованное ей, — то, что мы обнаружили у него в столе, — и выделяла голосом слова, очевидно, цитируемые ею.

— Мод, дорогая, вы не догадываетесь, что это за услуга? — поинтересовалась она с серьезным и встревоженным выражением лица.

— Нет, кузина Моника. Но я давно решила, что мой долг — оказать ее добровольно или, по крайней мере, не уклоняться от нее, в чем бы она ни заключалась. И я сдержу обещание, хотя знаю, какая я трусиха, и часто сомневаюсь в своей отваге.

— Но мне нельзя вас пугать...

— А как вы можете меня испугать? И почему же я испугаюсь? Разве дело идет к какому-то страшному разоблачению? Скажите, вы *должны* мне сказать, *должны!*

— Нет, дорогая, я не *это* имела в виду... не это... Я... я сама не очень понимаю, о чем вообще тут речь. Но ваш покойный папа знал его лучше меня. Я его, в сущности, совсем не знала... то есть никогда полностью не понимала. У вашего же покойного папы, я вижу, было достаточно возможностей, чтобы в нем разобраться. — Немного помолчав, кузина заключила: — Значит, вы не представляете, что *должны* будете предпринять или же изведать.

— О кузина Моника, я уверена, вы думаете, что он совершил то убийство! — воскликнула я, почему-то вскочив, и почувствовала, что смертельно побледнела.

— Я ничего подобного не думаю, глупышка! Вы не должны говорить таких ужасных вещей, Мод! — произнесла она, тоже поднявшись, побледневшая и рассерженная. — Не пойти ли нам немного прогуляться? Заприте бумаги, дорогая, и одевайтесь! А если этот доктор Брайерли не появится завтра, вам следует послать за священником, и пусть добрый доктор Клей ищет завещание — ведь там должно быть столько распоряжений. И вот еще что, моя дорогая Мод, не забывайте, что Сайлас *мне* кузен, а вам — дядя. Ну, дорогая, пойдите наденьте шляпку.

И мы вдвоем отправились на короткую прогулку.

## Глава XXII

### *Некто в комнате с гробом*

Когда мы вернулись, то узнали, что прибыл «молодой» джентльмен, — мы заметили его в малой гостиной, минуя окно. Один взгляд — и довольно, чтобы у вас будто фотография на память осталась, которую потом можно рассматривать и изучать. Он так и стоит перед моими глазами, как тогда, — мужчина лет тридцати шести в сером, не слишком добротнo сшитом дорожном костюме, светловолосый, полнолицый и неуклюжий. Он казался одновременно глуповатым и хитрым и совсем не походил на джентльмена.

Нас встретил Бранстон и, сообщив о прибывшем, вручил мне послания незнакомца. Мы с кузиной остановились в холле, чтобы прочесть их.

— *Это* — от вашего дяди Сайласа, — произнесла леди Ноуллз, коснувшись одного из писем кончиком пальца.

— Прикажете подавать ленч, мисс?

— Да, разумеется.

Бранстон удалился.

— Давайте прочтем письмо вместе, кузина Моника, — предложила я. Любопытнейшее то было письмо. Оно начиналось словами:

«Как мне благодарить мою возлюбленную племянницу, которая не забыла о старом, всеми покинутом родственнике в минуту горя?»»

Дело в том, что после смерти отца с первой же почтой я отправила ему сообщение в двух-трех, боюсь, невразумительных строках.

«Но именно в годину лишений мы более всего ценим некогда прочные узы родства и жаждем поддержки близких».

Тут шло двустипшие на французском, из которого мне удалось разобрать только слова *ciel*<sup>[53]</sup> и *l'amour*<sup>[54]</sup>.

«Тихую обитель сию постигла новая скорбь. О, неисповедимы пути Провидения! Я — пусть немногими годами моложе — насколько немогшее, насколько надломленнее

физически и душевно... обуза и только... совершенно de trop... [55] я пощажен в моем печальном прибежище в этом мире, где влачу дни без пользы, где одно занятие у меня — молитва, одно чаяние — могила, а он — на вид так крепок... средоточие безграничного добра... столь вам необходимый, столь необходимый мне, — он, увы, взят от нас! Он обрел покой — и нам осталось только склонить головы, шепотом вопрошая: “Исполнена ль его воля?” Я пишу — и руки мои дрожат, слезы застилают мои глаза. Не думал я, что происходящее в этом брэнном мире может затронуть меня с такою силой. От мира я давно отошел. Когда-то я предавался удовольствиям и, увы, пороку, а теперь веду жизнь аскета. И в прежние дни я не был богат, но даже мой злейший враг не обвинил бы меня в жадности. Мои грехи, спасибо Создателю, относились к искоренимым и уничтожены благодаря епитимье которую мне назначило Небо. Для мирской жизни с ее интересами и удовольствиями я давно умер. Ничего не жажду в немногие оставшиеся мне годы — только покоя... освобождения от суеты и волнений, от забот и борьбы. На Дарителя Всего Благого я уповаю и знаю: что бы ни случилось по велению Божьему — все к лучшему. Счастлив буду, моя дорогая племянница, если окажусь чем-то полезен Вам в Вашем горестном положении, которому соболезнаю. Мой нынешний духовный наставник рекомендовал, чтобы я направил к Вам лицо, которое будет представлять меня при печальной церемонии оглашения завещания, оставленного, несомненно, моим возлюбленным и теперь пребывающим во блаженстве братом. Опыт и компетенция джентльмена, выбранного мною, возможно, будут небесполезны и Вам, а поэтому я с радостью предоставляю в Ваше распоряжение младшего из компаньонов адвокатской конторы “Арчер и Слей”, который временами ведет мои скромные дела. Молю Вас оказать ему гостеприимство в Ноуле на краткий срок. С великим усилием принуждаю себя писать об этих малозначащих вопросах — лишь подчиняясь мучительной необходимости... Увы, мой брат! Чаша горечи до краев полна! Недолгими, несчастными будут дни моей старой жизни. Но пока они не истекли — возлюбленная племянница, даже потратив все свое состояние, не обретет другого такого доброго родственника и верного друга, каким ей остается

*Сайлас Руфин».*

— Ну не сердечное ли письмо? — проговорила я. В глазах у меня стояли слезы.

— Да, — сухо подтвердила леди Ноуллз.

— Неужели вам оно таким не показалось?

— Очень сердечное письмо, — отозвалась кузина в том же тоне, — и, возможно, написанное не без лукавства.

— Не без лукавства?!

— Вы же знаете, я вздорная старая кошка — могу иногда поцарапать, а еще вижу в темноте. Сайлас, я согласна, горюет, но, уверена, он не стал посыпать голову пеплом. У него есть причины горевать и тревожиться, он, думаю, во власти и того и другого чувства. Ему жаль вас и очень жаль самого себя. Ему нужны деньги, а вы — его возлюбленная племянница — имеете много денег. В письме видны его доброта и расчетливость. Он прислал своего поверенного, чтобы получить точные сведения о завещании, и вам надлежит оказать джентльмену гостеприимство. Сайлас предусмотрительно предлагает вам доверить ваши трудности его поверенному. Со стороны Сайласа это очень любезное, но опрометчивое предложение.

— Кузина Моника, но возможно ли, чтобы в такой момент им руководил мелкий расчет, — пусть даже в иных обстоятельствах он способен на низость? Не слишком ли сурово вы судите о нем? Вы... ведь вы с ним так мало знакомы.

— О моя дорогая, я же сказала вам, я — старая злока, и больше я не добавлю ни слова. Мне он безразличен, а, впрочем, я бы предпочла не числить его среди наших родных.

Разве не предубеждение обнаруживали слова кузины? Частью, наверное, так и было. Но тем безогляднее я отдавала дяде свою симпатию. Мы, женщины, всегда склонны держать чью-то сторону, нас природа предназначила скорее в защитники, нежели в судьи. И, полагаю, это назначение привлекательнее, хотя и менее почетно.

В одиночестве я сидела в гостиной у окна, за которым сгущались сумерки, и поджидала, когда спустится кузина Моника.

В тот вечер меня одолевал страх до озноба. Наверное, на моем душевном состоянии отразилась погода. Солнце село под знаком бури: хотя было безветренно, небо казалось мрачным и включенным. Облака, будто в испуге, жались в кучу, готовые бежать, мчаться прочь; их испуг передался и мне. Печаль моя сделалась еще чернее от предчувствия какой-то неясной

угрозы. И меня коснулось леденящее дыхание сверхъестественного. Это был самый горестный и самый ужасный вечер после смерти моего дорогого отца.

В пугающей тишине того вечера меня впервые поверг в дрожь характер его веры. Кто были эти сведенборгианцы, подчинившие себе отца неизвестно каким образом и державшие его в своих сетях до последнего дня? Кто был этот мрачный, укрывавшийся под париком, черноглазый доктор Брайерли, который всем нам не нравился, которого все мы немного боялись? Возникавший будто из-под земли, он приходил неведомо откуда и уходил неизвестно куда, но утвердил, как мне казалось, особую власть над отцом. Была ли эта вера истиной и благом или же ересью и чернокнижием? О мой дорогой отец, все ли было с тобой как должно?

Когда появилась леди Ноулз, я в волнении металась по комнате из угла в угол и проливала потоки слез. Она молча поцеловала меня и принялась вместе со мной ходить взад-вперед по гостиной.

— Кузина Моника, мне кажется, я хочу увидеть его еще раз. Давайте поднимемся.

— Если уж вам действительно очень хочется... а вообще, дорогая, лучше не делать этого. Лучше вспоминать его таким, каким он был, — теперь он подвергся перемене, и вы, моя дорогая, не испытаете облегчения, отмечая ее для себя.

— Но мне действительно очень хочется его увидеть. О, неужели же вы не подниметесь со мной?

Я уговорила кузину, и рука об руку в сумерках, переходивших во тьму, мы поднялись наверх. Остановились в конце галереи. Я, чувствуя, что меня охватывает страх, окликнула миссис Раск.

— Скажите ей, кузина Моника, чтобы она наспустила, — проговорила я шепотом.

— Она хочет видеть его — так ведь, моя госпожа? — переспросила приглушенным голосом домоправительница, бросая на меня таинственный взгляд, в то время как бесшумно вставляла ключ в замок.

— Вы уверены, что хотите этого, Мод, дорогая?

— Да, да.

Но когда миссис Раск вошла в комнату со свечой, свет которой сразу же поглотили сгустившиеся сумерки, когда она подняла крышку большого черного гроба, установленного на возвышении, и, заняв место в ногах гроба, устремила немигающий взгляд вперед, меня покинуло мужество, я попятилась.

— Нет, миссис Раск, она не хочет... И я рада, дорогая, — добавила

кузина, обращаясь уже ко мне. — Идемте, миссис Раск, идемте... Да, моя дорогая Мод, — продолжила кузина, — так будет намного лучше для вас.

И она увлекла меня прочь из комнаты... вниз по лестнице — не сбавляя шага. Но леденящие душу очертания огромного черного гроба остались перед моими глазами, поразив новым и ужасным ощущением смерти.

У меня совсем пропало желание видеть... его. Даже та комната вызывала ужас. И больше часа я была во власти такого отчаяния и такого невыразимого страха, каких не испытывала при мысли о смерти ни прежде, ни потом.

Кузина Моника ночевала теперь вместе со мной в моей спальне, а Мэри Куинс — в смежной со спальней гардеробной. Пусть и не сразу после посещения ужасной гостьи, но меня начал терзать необъяснимый страх, который внушают мертвые. Меня преследовали видения отца: вот он входит в комнату... приоткрывает дверь и заглядывает ко мне... Мы с леди Ноуллз уже были в постелях, но я не могла уснуть. Ветер скорбно завывал снаружи, и от дребезжания, визга ставней, отвечавших ветру, я постоянно вздрагивала, мне чудились шаги, скрип открываемой двери или стук в дверь. Не успев заснуть, я, с бешено колотившимся сердцем, вновь пробуждалась.

Ветер наконец успокоился, прекратились все эти странные стоны, визги, скрип, и я, совершенно обессиленная, забылась тихим сном. Меня разбудил какой-то непонятный звук в галерее. Прошло, должно быть, много времени, потому что ветер совсем смолк. Перепуганная, я села в кровати и, не смеядохнуть, стала прислушиваться.

Я различила крадущиеся шаги в галерее. Тут же осторожно разбудила кузину Моника, и мы обе отчетливо слышали, как щелкнул открываемый кем-то замок, кто-то вошел в комнату, где лежало тело моего покойного отца, а потом дверь закрылась.

— Что это? О Боже! Кузина Моника, вы ведь слышали?

— Да, дорогая. А ведь сейчас два часа ночи.

В Ноуле ложились в одиннадцать. Мы хорошо знали, что миссис Раск была довольно осторожной женщиной и ни за что на свете не пошла бы одна так поздно в ту комнату. Мы разбудили Мэри Куинс. И втроем слушали. Но не расслышали больше ни звука. Я упоминаю здесь об этом потому, что тогда разволновалась до крайней степени.

Кончилось тем, что мы втроем выглянули в галерею. От каждого окна тянулась голубая дорожка лунного света, но дверь, к которой устремлялись наши мысли, была во тьме. Нам показалось, что в замочную скважину

проникал свет свечи из той комнаты. А пока мы шепотом обсуждали, был там свет или нет, дверь открылась, свеча чуть потеснила тьму, и в следующую минуту таинственный доктор Брайерли — нескладный, неуклюжий, в черном сюртуке, слишком просторном для него, будто изготовленный не по мерке гроб, — вышел из комнаты со свечой в руке, бормоча, наверное, молитву, назначавшуюся как последнее «Прости!» тому, на кого он, бледный и мрачный, оглянулся, когда переступал порог. Доктор осторожно прикрыл и запер дверь, за которой остался мертвый, на миг прислушался, а потом мрачная фигура, отбрасывая в свете свечи гигантскую уродливую тень на потолок и стены, почти неслышно двинулась длинной темной галереей прочь от нас.

Я могу говорить лишь за себя и честно признаюсь — я была так напугана, как будто увидела колдуна, который хотел ускользнуть, сделав свое греховное дело. Думаю, кузина Моника испытывала подобное же чувство, потому что, когда мы закрыли дверь спальни, она изнутри повернула ключ в замке. Наверное, в тот момент ни одна из нас не верила, что увидела доктора Брайерли во плоти, однако наутро первое, о чем мы заговорили, был приезд доктора Брайерли. Наш ум ночью и он же при свете дня — совершенно разные инструменты мысли.

## Глава XXIII

### Разговор с доктором Брайерли

Доктор Брайерли действительно приехал в половине первого ночи. Но в нашей удаленной от парадного входа части дома мы и не могли его слышать. А когда сонный, полуодетый слуга открыл ему, долговязый доктор в черной с переливами накидке стоял один, опустив саквояж на ступеньки. Доставивший его экипаж уже скрылся в тени вековых деревьев.

Он вошел — на вид еще более суровый и жесткий, чем обычно.

— Я — доктор Брайерли. Меня ведь ждали? А посему позовите того, кто смотрит за телом. Я должен пройти к покойному незамедлительно.

И доктор присел в малой гостиной, слабо освещенной одинокой свечой. Позвали миссис Раск. Она, ворча и негодуя, оделась, спустилась вниз, где ее раздражение уступило место страху при первом же взгляде на прибывшего.

— Здравствуйте, мадам. Печален мой визит к вам. Скажите, кто-нибудь бдит при теле вашего покойного господина?

— Нет.

— Тем лучше. Нелепый обычай. Будьте любезны, проводите меня в комнату. Я должен вознести молитву там, где лежит он... нет, уже больше не он! И, пожалуйста, покажите отведенную мне спальню. Не дожидайтесь меня, я потом сам ее отыщу.

В сопровождении слуги, несшего его саквояж, доктор последовал за миссис Раск, показавшей спальню. Доктор лишь заглянул в нее и тут же стал осматриваться, запоминая дверь.

— Благодарю вас. А теперь — сюда идти? Поворот направо, затем налево? Так. Он умер несколько дней назад. Уже положен в гроб?

— Да, сэр. Вчера днем.

Бедную домоправительницу все больше и больше пугал этот худой, закутанный в черные блестящие одежды человек, в чьих глазах таились отблески чудовищного коварства, чьи длинные смуглые пальцы шевелились, будто он ощупью и наугад собирался добраться до нужной комнаты.

— Но крышку конечно же не завинтили?

— Нет, сэр.

— Хорошо. Я должен видеть лицо, когда буду молиться. Он пребывает в месте, ему назначенном, — а я здесь, на земле. Он — дух, я — плоть.

Там — нейтральная область. И вибрации переходят из мира в мир, свет земли и небес переносится туда и обратно, туда и обратно... апогазма... [56] чудесный механизм, хотя бесполезный... лестница Иакова, по которой Божьи ангелы — зри их оком своим! — поднимаются и спускаются... [30] Благодарю — ключ я беру. Тайны для тех, кто избрал дом праха, не тайны для прозревших и способных читать откровения. Вот эту свечу мне, пожалуйста, — она длиннее... нет-нет, не нужно двух, благодарю... Эту... я понесу ее. И запомните: все решается мыслящей волей. Что вы пугаетесь? Где ваша вера? Неужели не знаете, что души во всякое время вокруг нас? Откуда же этот страх — находиться рядом с усопшим? Дух есть все, плоть — ничто.

— Да, сэр, — приседая в низком реверансе у порога, проговорила миссис Раск. Она была напугана возбужденной речью доктора, которая вблизи мертвого стала еще неудержимее.

— Запомните: когда вы воображаете, что уединились, сокрывшись во тьме, вы на самом деле стоите в центре сцены, которая простирается из конца в конец звездного неба, и зрители, коих не счесть ни одному смертному, видят вас под потоками света. Поэтому — пускай ваши чувства и лгут вашему телу, будто вы в одиночестве и во тьме, — двигайтесь, как под ярчайшим лучом, как под взглядом множества глаз. Двигайтесь так, и когда час пробьет и вы освободитесь из оков плоти, хотя у нее свой порядок и свое право... — говоря это, он поднял одинокую свечу в дверях комнаты и кивнул в сторону огромного черного гроба, едва различимого во тьме, — тогда вы возрадуетесь; выскользнув из тленной оболочки, вы не окажетесь наги. Тот же, кто прельщается тленным, тлену и обречен. Поразмыслите об этом. Спокойной ночи.

Доктор со свечой ступил в комнату, обернулся и закрыл дверь, спрятавшую от совершенно растерянной миссис Раск, погруженную в тень картину смерти и высохший желтый лик сведенборгианца. Ей пришлось приложить немало стараний, чтобы добраться к себе.

Рано утром миссис Раск заглянула в мою спальню и известила, что доктор Брайерли ожидает в малой гостиной и просит узнать, нет ли у меня для него сообщения. Я была уже одета и, хотя больше прежнего ужасалась встречи с этим странным человеком, взяв ключ от отцовского шкафа, последовала за миссис Раск вниз.

Она вошла в гостиную и, сделав реверанс, объявила:

— Молодая госпожа, сэр. Мисс Руфин.

В трауре, очень бледная, высокая и тоненькая, «молодая госпожа»

ступила в гостиную. Я услышала, как зашуршали газеты, услышала приближающиеся ко мне шаги. Мы оказались с ним лицом к лицу — почти у порога. И я молча низко присела в знак приветствия.

Он взял мою руку (я и не думала подавать ее), крепко сжал и потрянул — не сильно, но бесцеремонно, — заглядывая мне в глаза с каким-то угрюмым любопытством и все не выпуская мою руку из своей. Его плохо сидевший черный как вороново крыло костюм, его нескладная фигура и резкие черты смуглого лица сообщали ему, как я уже говорила, вульгарность. Он походил на мастерового из Глазго, вырядившегося в воскресное платье. Я немедленно попыталась высвободить руку, но доктор не выпускал...

Неприятная фамильярность манер, впрочем, сочеталась с решимостью, пронизательностью и, главное, добротой, отражавшихся на его лице; был в этом лице проблеск истинной порядочности, прямоты. Все это — при некоторой бледности, указывавшей, очевидно, на скрываемое волнение, — побуждало довериться ему.

— Надеюсь, мисс, вы *вполне* оправились? — Он так и произнес слово — с ударением на первом слоге. — Я прибыл согласно торжественному обещанию, которое больше года назад потребовал у меня ваш отец, ныне покойный мистер Остин Руфин из Ноула, к которому я питал глубочайшее уважение, будучи, помимо прочего, связанным с ним узами духовного свойства... Случившееся потрясло вас, мисс?

— Да, сэр.

— У меня докторская степень, я — доктор медицины, мисс. Как святой Лука — проповедник и врачеватель. Когда-то я имел свою практику, но теперешнее мое занятие несравненно полезнее. Вы оступаетесь — а Господь позаботится, чтобы вы обрели новую опору. Поток жизни черен и яростен, я часто удивляюсь тому, сколь многие из нас преодолевают его и не идут ко дну. Лучше всего — не заглядывать далеко вперед, лучше, стоя на камешке, поискать взглядом следующий, вы можете замочить ноги, но Он не даст вам утонуть... как не дал мне. — Доктор Брайерли вскинул голову и подтвердил свои слова решительным кивком. — Вы рождены в богатстве — это великое благо, хотя и великое испытание, великая ответственность для вас, мисс. Но не думайте, что по этой причине вы ограждены от горя более, нежели бедный Эмманьюэл Брайерли. Нет, мисс Руфин, оно неотвратимо! Ваш удобный экипаж может опрокинуться на широкой дороге, как я могу споткнуться и упасть на узкой тропинке. Есть другие несчастья, помимо долгов и нужды. Кто скажет, сколько вам отмерено здоровья и не повредитесь ли вы в уме от какого-нибудь

потрясения, кто скажет, не суждено ли пережить унижение вам, принадлежащей к высшему слою общества, не встанут ли неведомые враги у вас на пути, не опорочат ли клеветники ваше доброе имя? Ха-ха! Чудесно это равновесие, удивительно это распределение! Ха-ха-ха-ха! — Тряся головой, он смеялся, мне показалось, злым смехом, будто ничуть не сожалел о том, что мои деньги не смогут избавить меня от всеобщего горького жребия. — Но что не могут деньги, может *молитва* — запомните, мисс Руфин, запомните. Всем нам по силам молитва, и, хотя тернии, тенета и огнистые камни уготованы всякому идущему, Он вверит нас своим ангелам, а они подхватят и перенесут над преградой, ибо Он зрит и слышит повсюду, ибо сонмы ангелов Его неисчислимы.

Доктор говорил торжественно, тихо и вдруг замолк. Нечаянно он пробудил во мне совсем иные мысли. Я спросила:

— А моего дорогого папу не наблюдал еще какой-нибудь врач?

Он пронзил меня взглядом и слегка покраснел — я действительно заметила краску на смуглом лице. Наверное, медицинское образование было предметом его особой гордости, а мой тон, боюсь, ему показался пренебрежительным.

— *Не наблюдай* мистера Руфина никто больше, кончина могла бы последовать раньше. В моей практике, мисс Руфин, встречалось достаточно тяжелых случаев. Я не могу упрекнуть себя в неудачах, причина коих — невежество. Мой диагноз в случае с мистером Руфином подтвержден исходом болезни. Но я *не был* единственным — сэр Клейтон Барроу обследовал его и разделил мое мнение. Весть дойдет до сэра Барроу в Лондон. Впрочем, сейчас, простите, речь не об этом. Покойный мистер Руфин говорил мне, что я должен получить от вас ключ, открывающий в его кабинете шкаф, где он положил завещание. Так, спасибо! Там, я думаю, могут содержаться распоряжения относительно похорон, а поэтому лучше прочесть завещание незамедлительно. Нет ли джентльмена — родственника или поверенного, — за которым вы хотите послать?

— Нет, никого нет, благодарю вас. Я доверяю вам, сэр.

Наверное, видя и слыша меня, нельзя было усомниться в моей искренности, и он улыбнулся доброй улыбкой, впрочем, не разжимая губ.

— Я не обману ваше доверие, мисс Руфин. — Он помолчал. — Но вы слишком молоды, и вам необходим кто-то, сведущий в делах, кто бы представлял ваши интересы. Позвольте, а доктор Клей, священник? В деревне? Вот и прекрасно. И мистеру Данверзу, управляющему, следует присутствовать. Пошлите также за Гримстоном — видите, мне известны все имена, — за Гримстоном, поверенным. Хотя он не принимал участия в

составлении завещания, он был адвокатом мистера Руфина в течение многих лет. Нам нужен здесь Гримстон, потому что, как вы, вероятно, знаете, завещание пусть и краткое, но весьма странное. Я возражал, но мистер Руфин обычно был непреклонен, приняв решение. Он ведь читал вам завещание?

— Нет, сэр.

— Но, очевидно, сообщил о тех отношениях, в какие поставлены вы с вашим дядей — мистером Сайласом Руфином из Бартрама-Хо?

— Нет, уверяю вас, сэр.

— Лучше бы он это сделал. — Лицо доктора Брайерли потемнело. — А мистер Сайлас — религиозен?

— О, *чрезвычайно!* — ответила я.

— Вы часто с ним виделись?

— Нет. Ни разу.

— Гм. Чем дальше, тем страннее! Но он достойный человек, не так ли?

— Очень достойный человек, сэр, очень набожный.

Доктор наблюдал за выражением моего лица, пока я говорила, пронизывающим встревоженным взглядом, потом опустил глаза и какое-то время изучал узор ковра, будто строки, сообщавшие дурную весть; вновь — искоса — поглядев мне в лицо, доктор сказал:

— Он намеревался присоединиться к *нам*... был весьма близок к этому шагу. Вступил в переписку с Генри Воуэрстом, одним из наших лучших людей. Нас называют сведенборгианцами, как вы знаете; впрочем, пока я больше ничего не добавлю. Что касается оглашения завещания — час дня, думаю, подходящее время, и, надеюсь, мисс Руфин, джентльмены будут присутствовать.

— Да, доктор Брайерли, их известят. Со мной же будет леди Ноуллз — вы не возражаете?

— Нет,нисколько. Я не могу сказать, кто разделит со мной обязанность душеприказчика. Я почти сожалею, что не отказался от этой роли, но к чему теперь сожаления. Одному вы должны верить, мисс Руфин, — я не выступал советчиком, когда составлялось завещание, хотя, узнав об оставленных распоряжениях, протестовал против крайне необычного пункта. Я протестовал горячо, но, увы, безрезультатно. Я высказывал несогласие и по другому пункту — имея на это право — и здесь более преуспел. Ни в чем ином к воле покойного я не был причастен. Пожалуйста, верьте моим словам, а также тому, что я вам друг. Да, сие — мой долг.

Последнюю фразу он произнес, опять опустив глаза, будто вел разговор сам с собой. Поблагодарив доктора, я покинула гостиную.

Уже в холле я пожалела, что не выяснила, каким же именно образом завещание ставит меня в связь с дядей Сайласом, и минуту-другую колебалась: не вернуться ли, не потребовать ли объяснений? Но затем напомнила себе, что до часу осталось потерпеть совсем немного, во всяком случае, *он*, наверное, так считал. Поэтому я поднялась наверх, в классную, которую мы теперь использовали как общую комнату, где нашла поджидавшую меня кузину Монику.

— С вами все хорошо, дорогая? — спросила леди Ноулз. Она подошла и поцеловала меня.

— Да, все хорошо, кузина Моника.

— Вздор, Мод! Вы блее моего носового платка. Что случилось? Вам нездоровится? Вы испуганы? Да вы дрожите... дитя, вы дрожите от страха.

— Наверное, я действительно испугалась. В завещании моего покойного папы *есть* что-то такое о дяде Сайласе и обо *мне*. Я не знаю... это доктор Брайерли говорит, и он сам более чем встревожен, поэтому я уверена, что там что-то ужасное. И я боюсь... боюсь... я очень боюсь. О кузина Моника, вы не покинете меня?

Я обхватила руками кузину за шею, прижалась к ней. Она целовала меня, я — ее... и плакала, будто перепуганное дитя, — я действительно была им, наивным, ничего не ведающим о жизни.

## Глава XXIV

### Вскрытие завещания

Возможно, страх, с каким я ожидала часа дня и прояснения смысла тех обязательств, которыми поторопилась связать себя, был неразумным и свидетельствовал о моей болезненной впечатлительности. Но, признаться, я так не думаю; подобно многим слабым натурам, я обычно подчиняюсь порыву, а потом ищу свою вину в развитии событий, которым не я в действительности дала толчок.

Меня испугал доктор Брайерли — когда упомянул про особый пункт завещания, — испугал выражением своего лица. Я помню лица, являвшиеся мне по ночам в кошмарах, преследовавшие меня, наводя неопикуемый ужас, хотя я и не могла сказать, в чем крылись их чары. Точно так же было с его лицом — в печальном и мрачном взгляде таились угроза и предвестие беды.

— Не надо бояться, дорогая, — уговаривала кузина Моника. — Это глупо, в *самом деле* глупо, они же не отсекут вам голову, не причинят вам никакого непоправимого вреда. Если речь идет о потере незначительной суммы денег, вам и тревожиться незачем. Мужчины — престранные существа, жертва для них измеряется только деньгами. Доктор Брайерли изменился бы в лице именно так, как вы описываете, если бы предвидел, что вы обречены лишиться пятисот фунтов. Но ведь это вас не убьет!

Леди Ноуллз прекрасно умела ободрить, но я не могла вполне успокоиться; я чувствовала, что она сама не очень-то верит в свои доводы.

Над камином в классной висели небольшие французские часы. Я поглядывала на них чуть ли не ежеминутно. И вот — без десяти час.

— Не спуститься ли нам в гостиную, дорогая? — предложила кузина Моника, которой передалась моя тревога.

И мы отправились вниз, задержавшись, по обоюдному желанию, на верхней площадке лестницы перед большим окном, выходящим на подъездную аллею. Под нависшими могучими ветвями по дорожке, ведущей к дому, скакал верхом на своей рослой серой лошади мистер Данверз, и мы подождали, пока он не спешил у входа. Прибывший, в свою очередь, помедлил у двери, наблюдая за энергичным ходом крепкой двуколки приходского священника, которой правил викарий.

Доктор Клей вышел из экипажа и обменялся рукопожатием с мистером Данверзом. Два-три слова викарию — и тот покатило обратно, окинув

огромные окна взглядом, от чего мало кто удержался бы.

Священник с мистером Данверзом подымались, не торопясь, по ступенькам, а я следила за ними, как пациент за сходящимися хирургами, которым предстоит не известная в практике операция. Они тоже подняли глаза на окно, прежде чем войти в дом, и я подалась назад.

Кузина Моника взглянула на часы.

— Осталось четыре минуты. Идемте в гостиную!

Дав время джентльменам преодолеть почти все расстояние от входной двери до кабинета, мы спустились, и я услышала, что священник сокрушается об опасном состоянии Гриндлстонского моста. Я удивилась: он думает о подобных вещах, когда время скорбеть! Эти несколько минут напряженного ожидания не изгладились из моей памяти и поныне. Помню, как джентльмены замедлили шаг и остановились при повороте из дубовой галереи в кабинет, как священник потрепал по мраморной щеке Уильяма Питта<sup>[31]</sup> и попробовал пригладить кудри, «взлохмаченные» резцом скульптора, а сам вникал в детали дела, которое излагал перед ним мистер Данверз. Потом, когда они скрылись за поворотом, вдруг кто-то там оглушительно высморкался, и я решила — да и сейчас не сомневаюсь, — что это был священник.

Мы и пяти минут не провели в гостиной, когда появился Бранстон, он объявил, что упомянутые джентльмены собрались в кабинете.

— Идемте, дорогая! — сказала кузина Моника.

Опираясь на предложенную ею руку, я добралась до двери в кабинет. Вошла. Вслед за мной вошла и кузина. Джентльмены прервали разговор, сидевшие встали, священник же с печальным видом направился ко мне и тихим, очень мягким голосом поздоровался. Его голос, впрочем, не обнаруживал никакого волнения, ведь моего отца — хотя он никогда ни с кем не ссорился — отделяла от всех соседей огромная дистанция, и я не думаю, чтобы нашлась душа, знавшая более чем об одной-двух сторонах его непростого характера.

Однако, даже учитывая затворничество, на которое он добровольно обрек себя, отец, как многие еще не забыли, был удивительно популярен в графстве. Он всякому выказывал благожелательность, но чего не выносил, так это принимать многочисленных гостей и появляться в обществе. Он имел превосходные охотничьи угодья и распоряжался ими с редким великодушием; в Доллертоне он держал свору гончих, с которой половина графства охотилась в его лесах с начала и до конца сезона. Отец никогда не отказывался открыть кошелек, если просьба о вспомоществовании хотя бы облекалась в убедительную форму. Он поддерживал любой фонд и

жертвовал на общественные нужды, на благотворительность, на развитие спорта и сельского хозяйства — не важно, на что, лишь бы фонд создавали честные люди. И всегда давал щедрой рукой. Несмотря на его замкнутый образ жизни, никто бы не сказал, что он недоступен, — ведь он ежедневно тратил часы, отвечая на письма, и при этом то и дело обращался к чековой книжке. Он давно уже отслужил свой срок в должности главного судьи графства — до того, как странность и недоверчивость отгородили его от людей. А тогда он отклонил предложение стать лордом-наместником графства. Он отклонял любую почетную должность. Иногда писал исполненное учтивости и одновременно сердечное письмо — подобным эпистолярным присутствием он воздавал должное публичным собраниям и обедам. И при случае содействовал общественным начинаниям крупными суммами.

Не проявляй мой отец столь беспримерного великодушия в отношении охотничьего азарта соседей, не будь столь щедр на пожертвования, даже не сумей он обнаружить силу ума в письмах, содержащих рассуждения об общественном благоустройстве, боюсь, из-за причуд он стал бы объектом насмешек, а возможно, вызвал бы и неприязнь. Но все влиятельные джентльмены графства говорили мне, что отец был удивительно одаренным человеком и что неудача на общественном поприще объясняется свойственной ему эксцентричностью, но никак не ущербностью мысли и недостатком способностей, которые и делают людей незаменимыми в парламенте.

Мне трудно удержаться от того, чтобы не привести подобные свидетельства, удостоверяющие высокий интеллект и добродетельность моего дорогого отца, который иначе мог бы показаться мизантропом или же слабоумным. Он был человеком благороднейшим, умнейшим, но из-за разочарований и невзгод поддался привычке замыкаться в себе — привычке, крепнувшей с годами и превратившей его, увы, в странного отшельника.

Даже в мягком и церемонном тоне, с каким обратился ко мне священник, отразились смешанные — не без благоговейного страха — чувства, которые мой отец вызывал у окружающих.

Отвечая на приветствие реверансом, я — наверняка без кровинки в лице — успела рассмотреть единственного из присутствовавших, с которым не была достаточно хорошо знакома, — младшего компаньона конторы «Арчер и Слей», представлявшего моего дядю Сайласа. Я увидела тучного бледного мужчину лет тридцати шести, с хитрым и злобным выражением глаз. Мне всегда казалось, что дурной нрав делает наиболее

отталкивающим именно полное и бледное лицо.

Доктор Брайерли стоял у окна и, понизив голос, беседовал с мистером Гримстоном, поверенным нашей семьи.

Я услышала, как достопочтенный доктор Клей шепотом обратился к мистеру Данверзу:

— Не доктор ли Брайерли — вот тот, че... в черном, наверное, парике, — у окна разговаривает с Эйбелом Гримстоном?

— Да, это он.

— Престранная персона. Кажется, один из последователей Сведенборга?

— Да, так мне говорили.

— Вот-вот... — тихо произнес священник. Он скрестил ноги, обтянутые гетрами, сплел пальцы и, вяло перебирая большими, устремил на чудовищного еретика суровый инквизиторский взгляд из-под своих старых правых бровей. Наверное, он готовился завязать богословский спор.

Но тут доктор Брайерли с мистером Гримстоном, не прерывая разговора, отошли от окна. Неожиданно доктор Брайерли обратился ко мне в своем мрачном тоне:

— Простите, мисс Руфин, не будете ли вы так добры указать нам, к которому шкафу в этой комнате подходит ключ, оставленный вашим покойным и горячо оплакиваемым отцом?

Я указала на дубовый шкаф.

— Очень хорошо, мэм... очень хорошо, — сказал доктор Брайерли, вставляя ключ в замок.

Кузина Моника не смогла удержаться и пробормотала:

— О Боже! Какое чудище!

Младший компаньон конторы «Арчер и Слей», держа крупные руки в карманах, заглянул через плечо мистера Гримстона в шкаф, когда дверца открылась.

Поиски не отняли много времени. Отец подписал большой белый пакет, аккуратно перевязанный розовой лентой и запечатанный громадными печатями красного сургуча: «Завещание Остина Р. Руфина из Ноула». Ниже и мельче на пакете была поставлена дата, а в углу стояла пометка: «Сие завещание составлено на основании моих указаний стряпчими Гонтом, Хоггом и Хатчеттом, Грейт Вуберн-стрит Лондон. О. Р. Р.».

— Дайте-ка мне взглянуть на передаточную надпись, джентльмены, будьте любезны, — полушепотом потребовал неприятный поверенный

моего дяди Сайласа.

— Здесь *нет* передаточной надписи. Здесь, на пакете, смотрите, только пометка, — хрипло проговорил Эйбел Гримстон.

— Благодарю... Прекрасно... — отозвался поверенный дяди, переписав пометку карандашом во внушительную книжку с застёжками, которую он извлек из кармана.

Ленту осторожно разрезали, не повредив ни подписи, ни пометки, вскрыли пакет и вынули завещание, при виде которого мое сердце чуть не выскочило из груди... а вернувшись на место, казалось, готово было навсегда остановиться.

— Мистер Гримстон, читайте, пожалуйста, — проговорил руководивший церемонией доктор Брайерли. — Я сяду подле вас и буду просить по мере чтения разъяснить присутствующим специальные выражения и перечитывать, по нашему желанию, некоторые места.

— Завещание краткое, — сказал мистер Гримстон, заглянув в листки, — даже *весьма* краткое. Но есть дополнение.

— Я его не видел, — заметил доктор Брайерли.

— Сделано всего месяц назад...

— О! — воскликнул доктор Брайерли, надевая очки.

Посланник дяди Сайласа, сидевший позади них, незаметно протиснул лицо между головами доктора Брайерли и мистера Гримстона.

— От имени здравствующего брата завещателя, — вмешался посланник как раз, когда Эйбел Гримстон прокашливался, собираясь приступить к чтению, — я прошу позволения сделать копию документа. Тем самым мы избавим себя от лишних хлопот... Впрочем, я должен узнать, не возражает ли молодая леди?

— Вы сможете сделать сколько угодно копий, когда завещание будет утверждено, — сказал мистер Гримстон.

— Мне это известно. Но — предполагая, что документ имеет законную силу, — возражений нет?

— Возражение, как обычно, вызывают действия, нарушающие правила, — отчеканил мистер Гримстон.

— Однако вы, не обинуясь, позволяете себе действия, нарушающие правила хорошего тона.

— Вы поступите в соответствии со сказанным, — отрезал мистер Гримстон.

— Благодарю покорно, — проворчал мистер Слей.

Чтение началось, он же делал подробные пометки по содержанию завещания в своей большой записной книжке.

— «Я, Остин Эйлмер Руфин Руфин, будучи, благодарение Богу, в здравом уме и полной памяти...»

Вслед за принятыми формулами говорилось, что завещатель передает все свое недвижимое и движимое имущество, все свои авторские права, договоры об аренде, деньги, ренту, страховые суммы, все свои привилегии, все свое столовое серебро и посуду, картины, коллекции — все, чем располагает, — четверем лицам: лорду Илбури, мистеру Пенрозу Крезуэллу из Крезуэлла, сэру Уильяму Эйлмеру, баронету, и Хансу Эмманьюэлу Брайерли, доктору медицины, в собственность и владение и прочее и прочее...

На вырвавшееся у кузины Моники: «Как?!» — доктор Брайерли коротко пояснил:

— Четверо попечителей, мэм. Нам достались одни заботы, ничего более, — вы убедитесь. Продолжайте, мистер Гримстон.

Все эти многообразные ценности оказались доверительной собственностью моих четверых попечителей, и я лишалась только пятнадцати тысяч фунтов, завещанных отцом его единственному брату, Сайласу Эйлмеру Руфину, кроме того, по три тысячи пятьсот фунтов получали двое детей вышеупомянутого брата. И дабы после кончины завещателя не возникли споры в отношении прав на аренду имения и фермы, которыми он в настоящее время пользуется, завещатель подтверждал, что передает вышеупомянутому брату дом и поместье в Бартраме-Хо, графство Дербишир, а также те-то и те-то прилегающие земли в означенном графстве в пожизненную аренду на условиях выплаты пяти шиллингов ежегодно и с соблюдением такого пункта, как возмещение ущерба, а также прочих, перечисленных в договоре об аренде.

— Позвольте задать вопрос, поскольку, мне кажется, вы видели завещание прежде, — обратился мистер Слей к доктору Брайерли. — Завещатель не отказывает ничего, помимо оглашенного, моему клиенту, который является его единственным братом?

— Более ничего — если только в дополнении не сказано еще о чем-то, — отозвался доктор Брайерли.

Но в дополнении брат упомянут не был.

Посланник дяди откинулся на спинку стула и презрительно усмехнулся, зажав зубами кончик карандаша. Я думаю, он досадовал за своего клиента. Мистер Данверз подозревал, — о чем впоследствии сообщил мне, — что поверенному дяди, очевидно, рисовалась в воображении тяжба из-за наследства и он уже размышлял о судебных издержках, а возможно, о передаче имущества под управление своего

клиента. Но ожидания младшего компаньона конторы «Арчер и Слей» были абсолютно безосновательны, и мистер Данверз отметил поразительную неопытность поверенного, удивляясь, как мой дядя Сайлас мог поручить такому человеку представлять его.

Итак, в завещании не содержалось ни единой фразы, которая давала бы возможность нашему чрезмерно дотошному другу подать иск в суд. В дополнении тоже шла речь лишь о вознаграждении слуг, о сумме в тысячу фунтов, назначенной — с присовокуплением нескольких добрых слов — Монике, леди Ноуллз, а также о сумме в три тысячи фунтов, назначенной доктору Брайерли, причем завещатель указывал, что, поскольку наследник настоял на изъятии из проекта завещания пункта, оговаривающего передачу ему названной суммы, завещатель, учитывая тяжесть возлагаемых на доктора обязанностей попечителя, проставляет сумму в дополнении. Этими распоряжениями передача имущества и завершилась.

А затем излагалось повеление, на которое намекал при жизни отец, ссылкой на которое меня растревожил доктор Брайерли. Было оно в высшей степени странным. Дяде Сайласу отводилась роль моего единственного опекуна, со всеми правами родителя, до той поры, пока я не стану совершеннолетней. И пока мне не исполнится двадцать один год, я была обязана находиться под присмотром дяди в Бартраме-Хо, моим же попечителям надлежало ежегодно выплачивать дяде как опекуну две тысячи фунтов на мое должное содержание, мое образование и на возмещение моих трат.

Теперь вы имеете достаточно полное представление о завещании отца. Меня привело в смятение только одно, когда я узнала о его распоряжениях, — я лишусь дома. В остальном мысль о предстоящей перемене в моей жизни даже приятно возбуждала. Сколько помню себя, я всегда хранила тайный интерес к дяде, всегда томилась желанием увидеть его. И вот мое желание исполнялось. Там меня встретит кузина Миллисент, почти моя ровесница. Я вела настолько уединенную жизнь, что мои привычки не отличались какой-то искусственностью, обычно свойственной светской молодой особе, которая в силу этих самых привычек иногда не слишком дружелюбно настроена. А ведь кузина живет в таком же уединении, как и я. Сколько прогулок мы совершим вместе! Сколько книг прочтем! Мы доверим друг другу секреты, мечты! К тому же — новый для меня край и чудесное старинное имение... Меня уже влек дух неизведанного, дух приключений, который в ранней юности всегда сопутствует переменам.

В пакете находилось четыре одинаковых по виду письма,

запечатанных большими красными печатями и адресованных, соответственно, четверым попечителям, упомянутым в завещании. Было также письмо Сайласу Эйлмеру Руфину, эсквайру, которое мистер Слей предложил доставить в Бартрам-Хо адресату. Но доктор Брайерли полагал, что почта надежнее. Поверенный дяди Сайласа стал вполголоса объясняться с доктором Брайерли.

Я обернулась к кухне Монике — я испытывала несказанное облегчение и предполагала увидеть у нее на лице чувства, схожие с моими. Я поразилась. Ее лицо было мертвенно-бледным, мрачным. Не отрываясь, я глядела на нее и не знала, что думать. Она считала себя обиженной завещателем? Подобные мысли иногда приходят в голову юным, хотя и принято считать, что они свойственны зрелым и опытным людям. Но можно ли измышлять такое о леди Ноуллз, ничего не ждавшей и не желавшей, — ведь она богата, бездетна, она натура благородная и искренняя. Неожиданное выражение ее лица испугало меня, а вслед за испугом я почувствовала: свершилось что-то недолжное.

Леди Ноуллз вздрогнула, подняла голову над высившимся перед ней плечом мистера Слея и, кусая побелевшие губы, преодолевая хрипоту, спросила:

— Доктор Брайерли, прошу вас, сэр, уточните: чтение завещания завершено?

— Завершено? Разумеется. Более ничего нет, — ответил он, подтверждая слова кивком, и вновь вернулся к разговору с мистером Данверзом и Эйбелом Гримстоном.

— И кому же... — проговорила леди Ноуллз с усилием над собой, — кому же будет принадлежать вся собственность в случае... в случае, если моя маленькая кухня, присутствующая здесь... если она умрет, не достигнув совершеннолетия?

— Э-э... Наверное, наследнику по закону и ближайшему родственнику? — сказал доктор Брайерли, обратив взгляд к Эйбелу Гримстону.

— Да... вне всякого сомнения, — задумчиво произнес поверенный.

— Кто же это? — настаивала кухня.

— Ее дядя, мистер Сайлас Руфин. Он одновременно наследник по закону и ближайший родственник, — уточнил Эйбел Гримстон.

— Благодарю вас, — проговорила леди Ноуллз.

Доктор Клей, поднявшись, выступил вперед, согнулся в низком поклоне, несмотря на жесткий стоячий воротничок, и любезно взял мою руку в свою — мягкую, покрытую паутиной морщинок.

— Позвольте мне, моя дражайшая мисс Руфин, выражая сожаление по поводу того, что вынуждены утратить вас из числа нашей скромной паствы — хотя, я верю, ненадолго, очень ненадолго, — позвольте мне сказать, как же обрадован я особым, только что оглашенным условием в завещании. Наш викарий, Уильям Фэрфилд, некоторое время пребывал в том же духовном звании вблизи вашего, должен сказать, замечательного дяди и был изредка награжден — скажу более, облагодетельствован — общением с истинным сыном Церкви... с христианином без всякого изъяна. Можно ли еще что-то добавить? Счастливейшая, счастливейшая перед вами возможность. — Тут последовал очень низкий поклон, причем доктор Клей почти зажмурился от избытка чувств и мотал головой. — Миссис Клей посчитает за честь принять вас с прощальным визитом, прежде чем вы покинете Ноул, дабы на какой-то срок войти в иные сферы.

С очередным поклоном — ведь я вдруг сделалась важной персоной — он выпустил мою руку так бережно, так осторожно, будто ставил на блюдце хрупкую чайную чашечку. Я, не находя слов, присела в реверансе, адресованном ему, и еще раз присела — благодаря все собрание. Джентльмены ответили поклоном.

— Уйдемте! — торопливо прошептала мне на ухо кузина Моника, взяла мою руку своей — почему-то совсем ледяной, немного влажной — и вывела из комнаты.

## Глава XXV

### Весть от дяди Сайласа

Не проронив ни слова, кузина Моника повела меня в классную, а когда мы вошли, закрыла дверь — без раздраженной поспешности, но спокойно и решительно.

— Да, дорогая, — произнесла она с тем же выражением необыкновенного волнения на бледном лице, — вот уж разумное и благое распоряжение! Я бы не поверила, что такое возможно, не услышь я этого собственными ушами.

— Вы о том, чтобы мне жить в Бартраме-Хо?

— Да, именно. Прожить два... *три* самых важных для вашего развития года под крышей... под опекой Сайласа Руфина! Когда вы, дорогая, так тревожились из-за предстоявшего, как вы говорили, испытания, вы *это* имели в виду?

— Нет, я даже не представляла, в чем заключается испытание. Я опасалась чего-то серьезного, — ответила я.

— Мад, дорогая моя, а разве ваш покойный папа не дал вам понять, что это нечто *серьезное*? И это на самом деле серьезное, *очень* серьезное испытание; я убеждена, что лучше вам не знать такого опыта, и, конечно, *постараюсь* оградить вас от него, если смогу.

Леди Ноуллз привела меня в крайнее замешательство силой своего возмущения. Я смотрела на нее, ожидая объяснений, но она хранила молчание и не сводила глаз с колец на своей правой руке, которыми постукивала о стол в ритме походного марша — необыкновенно бледная, с горящими глазами, очевидно глубоко погруженная в свои мысли. Я решила, что у нее *действительно* предубеждение против дяди Сайласа.

— Да, он не очень богат... — начала я.

— Кто? — подала голос леди Ноуллз.

— Дядя Сайлас, — ответила я.

— Нет конечно же. Он в долгах, — сказала она.

— Но с каким восхищением говорил о нем доктор Клей, — продолжала я.

— Не упоминайте про доктора Клея! Большого простака мне не доводилось встречать! Не доводилось слышать! Не выношу подобных людей, — заявила она.

Я пыталась понять, что вздорного сказал доктор Клей, и терялась... Не

панегирик же моему дяде относить к пустословию?

— Данверз — порядочный человек и прекрасный, наверное, счетовод, но он или очень скрытен, или глуп... Я думаю, глуп. Что до вашего поверенного, то, мне кажется, он знает свое дело и не забывает о своих интересах; он, не сомневаюсь, всегда постарается для собственной выгоды. Начинаю думать, что лучший из них, самый проникательный и самый надежный человек — этот грубиян мистик в черном парике. Я заметила, как он смотрел на вас, Мод, и мне понравилось его лицо, хотя в этом лице столько уродства, вульгарности, хитрости! И все же, я думаю, он человек совести и способен на благородные чувства, да, я уверена в этом.

Мне были совершенно непонятны выводы кузины.

— Я поговорю с доктором Брайерли. Убеждена, он разделяет мое мнение. И мы вместе должны серьезно поразмыслить, что предпринять.

— Кузина Моника, в завещании есть что-то сказанное не прямо? — спросила я, поддаваясь тревоге. — Не скрывайте от меня! О каком мнении вы упомянули?

— Ни о каком в особенности, но только старый запущенный парк и дом *забытого всеми* старого человека, крайне бедного и в прошлом крайне безрассудного, — не слишком подходящее место для вас, особенно в ваши годы. Я потрясена, и я *непременно* буду говорить с доктором Брайерли. Можно позвонить в этот звонок, дорогая?

— Конечно! — И я сама позвонила.

— Когда доктор покидает Ноул?

Я не знала. Тогда мы послали за миссис Раск, и от нее узнали, что доктор сообщил о своем намерении уехать вечерним поездом из Драклтона и должен отправиться на станцию в половине седьмого вечера.

— Миссис Раск не затруднит передать ему мою просьбу, дорогая? — обратилась кузина ко мне.

Разумеется, миссис Раск была готова исполнить требуемое.

— Тогда, пожалуйста, передайте, что я прошу его перед отъездом уделить мне несколько минут для краткой беседы.

— О добрая моя кузина! — воскликнула я, кладя руки ей на плечи и с горячей мольбой заглядывая в лицо. — Вы обеспокоены из-за меня больше, чем показываете. Неужели же вы не скажете: почему? Я намного несчастнее — да, в самом деле — оттого, что не знаю причины вашего беспокойства.

— Но, дорогая, разве я не говорила? Два или даже три года, за которые вы должны окончательно сформироваться, вам назначено провести в полном одиночестве и, я уверена, в заброшенности. Вы не способны

уяснить себе вред этого решения. В нем один вред! И как пришло такое в голову покойному Остину! Впрочем, мне не следует удивляться, я догадываюсь. Но как он мог оставить подобное распоряжение в завещании? Совершенно непостижимо. Неслыханная глупость и гнусность! Я воспрепятствую этому, если смогу.

Тут вошла миссис Раск и объявила, что доктор Брайерли перед отъездом готов увидеться с леди Ноуллз в любое удобное для нее время.

— Значит, сейчас же! — сказала решительная леди, поднялась и торопливо поправила свой туалет у зеркала, что при любых обстоятельствах и независимо от того, чьи глаза ее увидят, — святой долг каждой женщины перед самою собой.

Через минуту я уже слышала, как она с верхней площадки лестницы просила Бранстона передать доктору Брайерли, что ждет его в гостиной.

После ее ухода я принялась размышлять и строить догадки. Почему кузина Моника так разволновалась из-за совершенно понятного, в конце концов, распоряжения? Мой дядя, кем бы он ни был прежде, теперь добродетельный... набожный человек. Возможно, немного суровый. При этой мысли в глазах у меня потемнело.

Жестокий фанатик! Читала, читала я о таких! Будет держать под замком на хлебе с водой... в одиночестве! Просидеть взаперти всю ночь в темной отдаленной комнате старого дома, населенного привидениями... а живая душа не ближе, чем в другом его крыле? О! Одна подобная ночь сведет с ума! А мне жить там годы... Не тут ли объяснение колебаниям моего покойного отца и явно чрезмерному негодованию кузины Моника? Когда ужас проникает в юный ум, воображение не обуздать — оно преодолевает границы возможного и правдоподобного.

Мой дядя теперь представлялся мне чудовищным ревнителем дисциплины, заведшим тягостные обычаи: чтение Библии долгими часами, зубрежка проповедей и катехизиса, а также страшные наказания за леность и мнимую непочтительность. Я попаду в ужасное исправительное заведение, где впервые в жизни подвергнусь суровому и, возможно, варварскому воспитанию.

Все это лишь рисовалось моему воображению, но я уже задыхалась в чаду собственных фантазий. Одна в комнате, я бросилась на колени и стала молиться об избавлении, молиться о том, чтобы кузина Моника восторжествовала вместе с доктором Брайерли, чтобы оба они отстояли меня, чтобы спасли... вместе с лордом-канцлером, главным судьей... или кто там будет мой истинный освободитель. Вернувшись, кузина Моника нашла меня в настоящем отчаянии.

— Маленькая глупышка! Какой вздор на этот раз проник в вашу голову?

Узнав о моих новых страхах, она рассмеялась коротким смехом — чтобы ободрить меня. Потом сказала:

— Мое дорогое дитя, с дядей Сайласом вам придется забыть о долге по отношению к ближнему, вас ждет там праздность и свобода... боюсь, слишком много праздности и свободы. Меня тревожит не ригоризм, а пренебрежение дисциплиной в этом доме.

— Мне кажется, кузина Моника, вас тревожит что-то пострашнее пренебрежения дисциплиной, — проговорила я, впрочем, успокоившись.

— Меня *тревожит* что-то пострашнее... — поспешила ответить она, — но надеюсь, мои опасения напрасны, и, возможно, мне не придется ими мучиться. А теперь, по крайней мере на несколько часов, давайте зайдем себя иными мыслями. Мне, скорее, даже нравится этот доктор Брайерли. Я не услышала от него того, что ожидала. Не думаю, чтобы он был шотландцем, но человек он весьма осторожный и, хотя не говорит этого вслух, разделяет мой взгляд на вещи. По его мнению, те благородные люди, которые в завещании названы вместе с ним попечителями, не станут обременять себя лишними хлопотами и предоставят действовать ему одному. Я уверена, он не ошибается. А поэтому, Мод, нам нельзя с ним ссориться и произносить в его адрес оскорбительные замечания, хотя он действительно невыносимо вульгарен и безобразен, порой просто дерзок — возможно, не подозревая об этом... или явно намеренно.

Нам нашлось о чем поразмыслить, и мы говорили без умолку. Временами я давала волю своим горестным чувствам, и добрая кузина утешала меня. Как часто — уже позже — она внушала мне, что печалиться неразумно; и я удивляюсь терпению, в ту пору обнаруженному ею. Потом мы с ней немного читали из книги, к которой всегда обращаемся в минуту скорби. А затем гуляли под тисами — в причудливом уединенном месте парка, самом темном, угрюмом, погружавшем в думы о давно минувших днях.

— А теперь, дорогая, я должна покинуть вас на два-три часа. Мне нужно написать столько писем! Мои близкие, без сомнения, уже решили, что меня нет в живых.

И до вечернего чая мне составляла компанию бедняжка Мэри Куинс, то принимавшаяся простодушно болтать, то томившая меня, казалось, безучастным молчанием. Но тот, кто способен вспоминать и вспоминать прежние досужие разговоры о ныне мертвом, его привычки, как выглядел, что любил, — пусть за этими словами скрывается не столько верное

суждение о характере, сколько восхищение человеком, которого никогда не критиковали, выказывая ему только преданность, питая к нему только привязанность, — тот тоже утешит. И утишит боль.

Непросто в часы покоя и умиротворения вызывать в памяти миновавшую печаль, которая разрывала сердце. По милости Божьей ни от чего так надежно не отгорожены мы забвением, как от боли. Один или два мучительнейших приступа той поры я не забыла, ими и могу измерить всю тяжесть выпавших мне тогда страданий.

На следующий день — о, эта чудовищная неотвратимость! — были похороны. Выносимый под шепот — будто совершается нечто тайное, — выносимый близкими в черном дорогой человек, не простившись, покидает дом, чтобы никогда больше не переступить его порога, но отныне лежать где-то там... вдали от дома... покинутым... и в томящий летний зной, и во дни, когда безмолвно падает снег, и в ночи, когда ревет буря... оставаясь без света и тепла, без родных голосов. Смерть, мрачная владычица, пред тобой слабеет дух, трепещет плоть! Напрасно, закрыв лицо ладонями, кричать, протестовать — страшный образ неистребим. С нами только слово, сказанное восемнадцать веков назад. И наша вера. И луч вифлеемской звезды.

Я почувствовала облегчение, когда все закончилось. До этого момента я терзалась ожиданием развязки. И вот — конец.

Странно пустой дом. Нет владельца, нет господина. Я, на краткий срок свободная, лишена любви, которую не возместить и никогда не оценить, не утратив. Большинству людей, переживших такие дни, памятен таящийся под горькой скорбью страх.

Обиталище бедного изгнанника из круга сей жизни предано уничтожению. Постель и занавеси сняты, мебель переставлена, ковер убран, окна раскрыты, а двери заперты. Той спальне и передней комнате на долгие дни теперь назначено пустовать. Сердце мое сжималось при виде этих перемен, каждая ранила будто укор.

В тот день я видела кузину Монику заплаканной — впервые, наверное, с ее приезда в Ноул. И я еще больше полюбила ее, даже испытала какое-то утешение. Видя слезы в чьих-то глазах, я часто сама переставала плакать, хотя никогда не могла объяснить, почему. Думаю, многим это знакомо.

Похороны свершились согласно кратким, но категоричным распоряжениям, содержавшимся в завещании, очень скромно, в присутствии близких. Конечно, были провожающие: все обитатели Ноула тоже шли за гробом к расположенному в парке мавзолею, где отца положили рядом с моей дорогой матерью. На том ужасная церемония

завершилась. Горе осталось при нас, но изнуряющее нервное напряжение отступило и на смену ему пришел относительный покой.

Сентябрь был на исходе, дико завывал ветер — по осени тянул погребальную песнь, за которой уже слышались бурные походные марши зимы. Я всегда любила эту величественную, грозную и печальную музыку, в которой переплетены голоса свободы и скорби.

Мы сидели в гостиной, внимая звукам бури, когда с вечерней почтой в Ноул было доставлено адресованное мне письмо — огромная черная печать, черная кайма по конверту, будто из крепа... знак глубокого траура. Почерк показался незнакомым, но, открыв письмо, я узнала, что написано оно дядей Сайласом. Вот оно.

«Дражайшая племянница! Это письмо Вы получите, возможно, в тот день, когда бранные останки моего возлюбленного брата Остина, а Вашего дорогого отца, будут преданы земле. Печальная церемония, участия в коей я не принимаю ввиду моих лет, слабого здоровья и расстояний. Верю, что в сию годину скорби Вам не причинит боли напоминание о том, что чтимого и только что утраченного Вами родителя назначен — его волей — заменить Ваш дядя, недостойный чести, но жаждущий оправдать доверие. Мне известно, что Вы присутствовали при оглашении завещания; надеюсь, единственно ко взаимному удовольствию отныне установятся меж нами новые отношения. Они послужат спокойствию моей совести, Вашему благополучию и, верю, пользе. Оставайтесь в Ноуле, моя дорогая племянница, пока не будут завершены некоторые скромные приготовления, предпринятые в связи с Вашим скорым появлением у нас. А затем я побеспокоюсь о Вашем переезде, дабы он оказался как можно более удобным и незатруднительным. Смирненно молюсь и уповаю, что это испытание послано нам во очищение от грехов и что в наших новых обязанностях мы будем наставлены, поддержаны и утешены. Мне незачем напоминать Вам, что теперь я для Вас пребываю в loco parentis, то есть в роли отца, а посему Вы не должны покидать Ноул, не дождавшись вестей от меня.

Ваш любящий дядя и опекун

*Сайлас Руфин.*

Р. S. Кланяйтесь леди Ноуллз, которая, как я догадываюсь, длит свой визит в Ноуле. Должен заметить, что леди, питающая, как я имею основания опасаться, недобрые чувства к Вашему дяде, — не самая подходящая компания для его подопечной. Но при условии, что я не буду предметом Ваших бесед — а это никак не способствовало бы появлению у моей племянницы верного и уважительного мнения обо мне, — не прибегну к доверенной власти, дабы пресечь Ваше общение незамедлительно».

Я дочитала постскрипtum и почувствовала, что мои щеки горят, будто от пощечин. Дядя Сайлас сделался мне еще более непонятен. Неожиданной и новой была эта его грозная власть надо мной, и внутренне я горько посетовала на положение, в котором оказалась по воле моего дорогого отца.

Молча я передала письмо кухне, которая читала его с подобием улыбки на лице, пока, как я предполагаю, не дошла до постскриптума, а тогда ее лицо — я следила за ним — изменилось; залившись краской, она со стуком опустила на стол руку, сжимавшую письмо, и воскликнула:

— Неслыханно! Разве это не дерзость? Что за старик *такой!* — Потом леди Ноуллз недолго помолчала, вскинув голову и нахмурясь. Негромко фыркнула. — Я не намеревалась говорить о нем, но теперь буду! И скажу, что захочу. И останусь здесь, сколько вы, Мод, мне позволите. А вы ни капельки не бойтесь его. «Пресечь» наше общение «незамедлительно»? Как бы не так! Оказался бы он сейчас здесь! Уж он бы услышал! — И кухня Моника выпила залпом свою чашку чаю, а потом воскликнула — уже в присущей ей манере: — Мне лучше! — Она сделала глубокий вдох и коротко — с вызовом — рассмеялась. — Оказался бы он здесь, перед нами, Мод! Разве мы не высказали бы ему, что думаем? И он позволяет себе это, не дожидаясь утверждения завещания!

— Я довольна, что он не удержался от постскриптума. Хотя он и не вправе выказать свою власть и пресечь наше общение, пока я нахожусь под своей собственной крышей, а значит, я не должна повиноваться ему, — проговорила я, развивая мысль в рамках дозволенного, — этот постскрипtum открыл мне глаза на мое действительное положение.

Я вздохнула — наверное, совсем безутешно, потому что леди Ноуллз подошла и поцеловала меня с необыкновенной нежностью.

— Похоже, Мод, что у него есть сверхъестественные способности и он слышит за пятьдесят миль. Помните, вчера, как раз, когда он, вероятно, сочинял постскрипtum, я вас убеждала уехать ко мне и сообщила о своих планах склонить доктора Брайерли на нашу сторону? И я от этого не

отступлю, Мод. Вы поедете *ко мне*. Запомните, вы будете моей гостьей. Я с радостью приму вас. А если Сайлас окажется в затруднительном положении, пусть сам ищет выход. Не вам же участвовать в его битвах! Он долго не проживет. И подозрения, в чем бы они ни состояли, умрут вместе с ним. Забвению обречена и непоколебимая вера покойного Остина в невиновность Сайласа, которую он подтвердил этим особым распоряжением в завещании. Что за страшная буря! Комната будто дрожит. Вам нравится этот звук? Его называют «волчий вой» — когда играет старый орган в Дорминстере!

## Глава XXVI

### История дяди Сайласа

Да, так и слышались в этом звуке смешавшиеся вой и вопль — вой призрачных гончих, вопль охотников... множась эхо гона... неистовая, величественная, сверхъестественная музыка, казавшаяся мне удивительно подходящей к рассказу о загадочном персонаже — мученике... ангеле... демоне... — дяде Сайласе, с которым моя судьба была теперь так странно соединена и которого я начинала страшиться.

— Ветер дует оттуда, — указала я рукой и глазами, хотя окна были закрыты ставнями и шторы опущены. — Вечером я видела, куда клонились деревья. В той стороне — одинокая роща, где лежат мои дорогие мать и отец. О, как страшно в такую ночь думать о них... о склепе — сыром, темном, заброшенном в бурю.

Кузина Моника задумчиво посмотрела в ту сторону и с коротким вздохом сказала:

— Мы размышляем слишком много о прахе и слишком мало о духе, который живет вечно. Я уверена, *они* счастливы. — Кузина вновь вздохнула. — Хотела бы я так же крепко верить, что и я буду... Да, Мод, это печально. Мы настолько материалисты, что не печалиться не способны. Мы забываем, какое благо в том, что наше настоящее тело дано нам не навсегда. Оно создано для времени и места скорбей — это всего лишь механизм, который изнашивается, постоянно обнаруживая недостатки, поломки... механизм, чудовищно подверженный боли. Да, тело одиноко лежит — так ему и *должно*, потому что в этом воля Создателя. Только душа, а не ее вместилище, обретает после смерти, говорит святой Павел, «жилище на небесах»<sup>{32}</sup>. Пусть, Мод, печаль возвращается снова и снова — она пуста: мертвые тела — лишь *ими* покинутые руины... какие останутся и после нас. А этот сильный ветер, вы думаете, дует из тех лесов? Если так, Мод, то он дует из Бартрама-Хо, он проносится над деревьями и кровлями старого поместья, над головой таинственного старика, который прав, считая, что я к нему не расположена. Мне легко вообразить его старым чародеем в замке, посылающим с ветром своих домашних духов, чтобы добыли и доставили ему вести отсюда.

Я подняла голову и прислушалась к завываниям ветра, порой затихавшим вдали. Казалось, мои мысли, множась, теснясь вокруг нас и

над нами, срывались и — через тьму, пустоту — уносились к Бартраму-Хо, к дяде Сайласу.

— Это письмо, — произнесла я наконец, — переменяло для меня его образ. Дядя — суровый старик. Верно?

— Двадцать лет прошло с тех пор, как я его видела, — ответила леди Ноуллз. — Я предпочитала не посещать его дом.

— Вы видели его еще до того ужасного происшествия в Бартраме-Хо?

— Да, дорогая. Тогда он не был *одумавшимся* распутником — он успел лишь погубить себя. Остин очень пекся о нем. По словам мистера Данверза, Сайлас ухитрялся спускать огромные суммы, то и дело получаемые от брата. Но он, моя дорогая, играл. А пытаться помочь человеку, который играет и которому в игре не везет, — некоторым, я думаю, не везет постоянно, — все равно, что наполнять сосуд без дна. Между прочим, мой многообещающий племянник Чарлз Оукли, подозреваю, тоже играет. Потом Сайлас пустился во всевозможные спекуляции, и ваш бедный отец опять нес расходы. Сайлас потерял какие-то невообразимо крупные капиталы из-за банка, разорившего многих джентльменов в графстве, — бедный сэр Гарри Шаклтон из Йоркшира даже был вынужден продать половину имения. Но ваш добрый отец продолжал помогать Сайласу, вплоть до его женитьбы, таким же образом — абсолютно бесполезно.

— Тетя давно умерла?

— Двенадцать... пятнадцать лет назад. Нет, больше. Она умерла прежде вашей бедной мамы. И была очень несчастлива с Сайласом. Я уверена, она дала бы отрубить себе правую руку, только бы никогда не выходить за него.

— Вам она нравилась?

— Нет, дорогая. Она была грубой, вульгарной женщиной.

— Грубая, вульгарная — и жена дяди Сайласа! — изумилась я, ведь дядя Сайлас в свое время считался светским человеком, денди и мог, несомненно, жениться на женщине высокого происхождения, с большим состоянием. Я так и сказала леди Ноуллз.

— Да, дорогая, мог, и покойный Остин страстно желал такого брака, думаю, он помог бы устроить его, но Сайлас предпочел жениться на дочке трактирщика из Денбишира.

— Невероятно! — воскликнула я.

— Почему же, дорогая. Это случается чаще, чем вы способны вообразить.

— Как? Благовоспитанный джентльмен женится на...

— ...на подавальщице! — договорила леди Ноуллз. — Думаю, я смогу назвать вам с полдюжины благовоспитанных джентльменов, которые, как мне известно, погубили себя подобным образом.

— Да, следует признать, что он нарушил приличия.

— Нарушил приличия? Это зовется развратом, — уточнила леди Ноуллз с презрительным смешком. — Она была хороша, удивительно хороша для женщины ее происхождения. Утонченной красотой очень напоминала леди Гамильтон, околдовавшую Нелсона<sup>[33]</sup>. Но была совершенно невежественна и глупа. Надо признать, он, обесчестив ее, не ожидал, что ему придется жениться. Брака она добилась хитростью. Мужчины, которые потворствуют своим слабостям и привыкли достигать желаемого любой ценой, не остановятся ни перед чем — если питают penchant<sup>[57]</sup>.

Я не до конца проникла в смысл этой житейской мудрости, которая казалась леди Ноуллз смешной.

— Бедный Сайлас! Он, конечно, честно прилагал усилия, противостоя последствиям, — по окончании медового месяца он пытался доказать, что брак недействителен. Но священника с его истинно валлийским характером и папашу-трактирщика Сайласу было не сломить — молодая леди удержала своего отбивавшегося ухажера в узах законного брака. И осталась в проигрыше.

— Умерла убитая горем, как я слышала.

— Умерла, как бы там ни было, десять лет прожив в этом браке. О ее сердце ничего сказать не могу. Думаю, она знала весьма плохое обращение, но не уверена, что именно это ее убило; вряд ли она умерла от переживаний, скорее, от того, что пила. Я слышала, валлийки нередко пьют. Конечно, были ревность, жестокие ссоры, немало ужасных происшествий. Первые год-два я посещала Бартрам-Хо, хотя больше туда никто не ездил. Впрочем, Остин, мне кажется, не догадывался о том, как плохо они жили. А потом случилась эта отвратительная история с мистером Чарком. Вы ведь знаете, он... он покончил с собой в Бартраме-Хо.

— Никогда не слышала...

Мы обе молчали, леди Ноуллз устремила напряженный взгляд на огонь. А буря ревела, дико хохотала, так что старый дом опять задрожал.

— Но дядя Сайлас не мог это предотвратить, — наконец сказала я.

— Нет, не мог, — подтвердила она неприятным голосом.

— И дядю Сайласа... — Я в испуге запнулась.

— ...заподозрили в убийстве, — еще раз договорила за меня леди

Ноуллз.

Вновь наступило долгое молчание. Буря завывала и гудела, будто разъяренная толпа у самых окон требовала жертву на растерзание. Немыслимо омерзительное чувство охватило меня.

— Но *вы* не подозреваете его? — спросила я, не в силах унять дрожь.

— Нет, — ответила она очень резко. — Я уже говорила вам раньше. Конечно нет.

Опять наступило молчание.

— Кузина Моника, — сказала я, придвигаясь к ней ближе, — лучше бы вы не произносили *тех* слов о дяде Сайласе... что он чародей, который послал с ветром подвластных ему духов, чтобы подслушивать. Но я очень рада, что вы никогда не подозревали его.

Я просунула свою холодную руку меж ее ладоней и заглянула в лицо кузине — не знаю, что было написано на моем. Она ответила, мне показалось, жестким, высокомерным взглядом.

— Я никогда, *конечно*, не подозревала его. Но больше *ни разу* не задавайте мне *этого* вопроса, Мод Руфин.

Фамильная гордость или... что так яростно полыхало сейчас в ее глазах? Я испугалась... почувствовала обиду... расплакалась.

— Из-за чего моя крошка плачет? Я совсем не сержусь. *Разве* я сердилась? — И суровый призрак леди Ноуллз мгновенно отступил перед вновь доброй, славной кузиной Моникой, обвившей руками мою шею.

— Нет, нет... просто я, наверное, огорчаю вас... думаю о дяде Сайласе и волнуюсь... Но я ничего не могу с собой поделать, я думаю о нем почти непрестанно.

— Я тоже. Впрочем, мы обе легко найдем предмет поинтереснее, чтобы занять мысли. Попробуем? — предложила леди Ноуллз.

— Но прежде я должна узнать об этом мистере Чарке, о подробностях, позволивших врагам дяди Сайласа на основании этой смерти так низко оклеветать дядю, отчего никто не выиграл, а некоторые испытали столько горя! Ведь дядя Сайлас, смею сказать, погублен клеветой, и всем нам известно, как она омрачила жизнь моего дорогого отца.

— С молвой не справиться, моя дорогая. Ваш дядя Сайлас уронил себя в глазах людей в его графстве еще до этого происшествия. Он был, в сущности, паршивой овцой. О нем рассказывали прескверные истории. Женитьбой он, конечно, навредил своей репутации. А отвратительные сцены, которые происходили в его пользовавшемся дурной славой доме? Все это настроило людей против него.

— Как давно случилась та смерть?

— О, очень давно, мне кажется, еще до вашего рождения, — ответила кузина.

— И до сих пор живет несправедливость — тот случай до сих пор не забыт! — воскликнула я. Столь долгого времени мне казалось достаточно, чтобы забыть все, самой своей природой забвению предназначенное.

Леди Ноулз улыбнулась.

— Расскажите мне, кузина, я вас прошу, всю историю, как вы ее помните. Кто был мистер Чарк?

— Мистер Чарк, моя дорогая, был бросовый джентльмен — думаю, это такое особое выражение. Он был одним из тех обитателей Лондона, без происхождения, без воспитания, которые, только потому что хватки и швыряют деньгами, допущены в круг молодых щеголей, одержимых псовой охотой, лошадьми и всем подобным. В этом кругу его хорошо знали, но больше — нигде. С Мэтлокских скачек ваш дядя позвал его в Бартрам-Хо, и этот Чарк, еврей или кто он там был, вообразил, что удостоился чести, какую на самом деле и не предполагал визит в Бартрам-Хо.

— Для подобного человека, как вы его описываете, мне кажется, *редкая* честь быть приглашенным в дом, принадлежащий кому-то из фамилии Руфин.

— Возможно, и так, ведь, хотя завсегдатаи скачек хорошо его знали и обычно водили с собой обедать по ресторанам, никто, конечно, не допустил бы его в свой дом, уважая жен. Но Сайлас не особенно считался с женой. В действительности она мало показывалась; каждый вечер, бывая в подпитии, бедная женщина закрывалась у себя в спальне.

— Какой ужас! — воскликнула я.

— Не думаю, что это слишком волновало Сайласа, ведь она, бедняжка, пила, говорили, джин, значит, расходы были не так уж и велики. А вообще, я уверена, он даже радовался тому, что она пила, — на глаза ему не попадалась и приближала свой конец. Тогда уже ваш покойный отец, у которого этот брак вызывал глубокое отвращение, прекратил давать деньги, и Сайлас — а вы знаете, он был крайне беден, оголодавшим волком накинулся на богатого лондонского игрока в расчете добраться до его денег. Я рассказываю вам то, что стало известно потом. Скачки продолжались уже и не помню сколько дней, и мистер Чарк оставался все это и еще какое-то время в Бартраме-Хо. Предполагалось, что Остин заплатит за Сайласа проигрыш, и гнусный мистер Чарк делал крупные ставки на скачках, кроме того, они безоглядно играли в Бартраме-Хо. Ночи просиживали за картами. Все эти подробности, как я говорила, стали известны позже, ведь

проводилось дознание, и Сайлас опубликовал свое, как он его назвал, «заявление». Газеты столько всякого писали.

— Почему же мистер Чарк покончил с собой? — спросила я.

— Начну с того, о чем потом спорить не приходилось. На другую ночь после скачек ваш дядя и мистер Чарк сидели, совершенно одни, в гостиной до двух-трех часов ночи. Слуга мистера Чарка оставался на постоялом дворе «Оленья голова» в Фелтраме и не мог знать, что происходило в Бартраме-Хо, но появился там, у двери в комнату своего хозяина, исполняя его распоряжение, в шесть утра. Хозяин обыкновенно запирался, оставляя ключ в замке, что позже приняли к сведению как важное обстоятельство. Слуга стучался и не мог добудиться хозяина; не мог, потому что, когда дверь взломали, его хозяин был обнаружен мертвым в постели. Он лежал с перерезанным горлом, даже не в луже крови, а, как описывали, в настоящем пруду.

— О, ужас! — вскричала я.

— Да, было так. Позвали вашего дядю Сайласа, и он, будучи, конечно, потрясен, поступил, мне кажется, наилучшим образом. Оставил все, как увидел, ничего не тронув, и послал своего слугу за коронером<sup>[34]</sup>. Сам же, храня присутствие духа, взял у слуги мистера Чарка письменные показания, пока случившееся еще было свежо у того в памяти.

— Можно ли поступить честнее, правильнее и разумнее! — сказала я.

— О нет, конечно, — ответила на это леди Ноуллз, как мне показалось, несколько холодно.

## Глава XXVII

### *Еще о самоубийстве мистера Чарка*

— Итак, было проведено дознание, и мистер Манеринг из Уэйл-Фореста оказался единственным при коронере присяжным, принимавшим в расчет возможность смерти мистера Чарка от чьей угодно руки, но только не от собственной.

— И как он мог такое вообразить! — возмущенно воскликнула я.

— Осмотрев место, другие пришли к выводу — о чем и сообщили, — что мистер Чарк умер по своей воле. Окно было закрыто изнутри на болт — окно открывала горничная в девять утра, и никто не сумел бы проникнуть через него. К тому же комната находилась на третьем этаже, потолки были высокие, от земли было далеко ни одна лестница не достала бы до окна. Дом был с внутренним глухим двором, с четырех сторон ограниченным стенами, куда и выходила комната мистера Чарка. Во двор вела из дома единственная дверь, по-видимому не открывавшаяся уже годы. И дверь в комнату была заперта изнутри, причем ключ оставался в замке, значит, этим путем тоже никто не мог проникнуть, ведь вы понимаете, что в таком случае невозможно открыть дверь снаружи.

— Как же сомневаться в столь очевидных вещах! — вновь воскликнула я.

— Однако оставалась неясность, связанная с самим мертвым и позволявшая недоброжелателям Сайласа высказывать всяческие подозрения, хотя никто не находил разгадки этой тайны. Оказалось, что мистер Чарк отправился в свою спальню в сильном подпитии, в доме слышали, как он распевал и шумел в своей комнате, ложась спать. В таком настроении люди не кончают с собой. Далее, хотя его собственную бритву нашли — страшно услышать все это! — валявшейся в крови возле его правой руки, пальцы левой были отрезаны по основанию. И далее — нигде не удалось отыскать книжку, в которую он вносил записи о долгах, что, понятно, удивляло до крайности. Ключи его висели на цепочке, он носил много золотых вещиц и брелоков. Я видела его, несчастного, в ходе дознания. Тогда и на него, и на вашего дядю уже пала тень.

— Он походил на джентльмена? — задала я вопрос, какой, наверное, любая молодая девушка задала бы на моем месте.

— Он походил на еврея, моя дорогая. Какое-то отвратительное коричневое платье с бархатной пелериной, вьющиеся черные волосы на

воротнике, огромные бакенбарды, высоко поднятые плечи. Куря сигару, он выпускал дым резко вверх. Я была шокирована, когда увидела Сайласа в такой компании.

— Его ключи помогли что-нибудь установить? — спросила я.

— Открыв его дорожный сундук, а затем помещавшуюся там лакированную шкатулку, нашли намного меньше денег, чем думали, можно сказать, ничего. Ваш дядя объявил, что часть денег он выиграл у мистера Чарка накануне вечером и что тот в подпитии жаловался, будто бы, выиграв на скачках, теперь потерял почти все за картами, к тому же еще не полностью получил выигранное на скачках. Что касается записной книжки... Какие-то пометки о долгах были обнаружены на обратной стороне его писем; говорили, он иначе и не помечал для себя ставки; впрочем, последнее вызывало сомнения. Среди обнаруженных пометок ни одна не относилась к Сайласу. Но не оказалось никаких ссылок еще на двух хорошо известных мистери Чарку джентльменов, поэтому сей факт особых подозрений не вызвал.

— Конечно, все объяснилось, — проговорила я.

— Но тогда вставал вопрос, — продолжала кузина, — о мотивах предполагаемого самоубийства мистера Чарка.

— А разве подобные трудности не возникают в большинстве случаев? — заметила я.

— Говорили, будто бы в Лондоне у него были какие-то неприятности, на которые он порой намекал. Одни утверждали, что он вообще замешан в грязной истории, другие спорили, уверяли, что он просто шутил. Но никому не приходила мысль заподозрить вашего дядю в причастности к этой смерти — кроме как мистери Манерингу с его ужаснейшими вопросами.

— Какими вопросами?

— Я точно не помню, но они очень задели вашего дядю, и он тогда не удержался от громкого возмущения. Мистер Манеринг, кажется, думал, что кто-то каким-то образом проник в комнату. Это было невозможно сделать ни через дверь, ни через дымоход — железная заслонка закрывала его почти вровень с кладкой камина. Окно выходило во внутренний двор, не превышавший размерами бальную залу. Проводившие дознание спускались во двор, осматривали его: земля была влажной, но никаких следов не обнаружилось. Насколько они могли судить, мистер Чарк заперся в комнате и перерезал себе горло собственной бритвой.

— Да, конечно же, — вставила я, — окно, дверь — все было заперто изнутри. И никаких доказательств, что кто-то пытался проникнуть в

комнату.

— Именно так. А когда осмотрели стены и сняли, по распоряжению вашего дяди Сайласа, панельную обшивку несколько месяцев спустя — тогда скандал достиг кульминации — стало ясно, что никакого потайного хода в комнату нет.

— Вот и простой ответ всем этим газетным писакам: злодеяние немислимо, — проговорила я. — Ужасно, что на клевету вообще требуется отвечать!

— И все равно дело было до крайней степени неприятным, хотя не могу сказать, чтобы Сайласа кто-то подозревал в убийстве. Но, видите ли, на его голову все равно падал позор, ведь мистер Чарк — не делающий чести гость, происшествие — чудовищное, и, кроме того, стараниями газетчиков скандалы в Бартраме-Хо стали известны широкой публике. А вскоре — и неожиданно — дело приняло совсем плохой оборот. — Кузина помолчала, припоминая подробности. — Об этих людях из Лондона, увлекавшихся сомнительным спортом, ходили всякие слухи. Этот Чарк написал два письма. Да, два. Они были адресованы негодяю-вымогателю, который опубликовал их месяц-другой спустя. Вначале о письмах много говорили в том особом кругу людей, но только письма стали достоянием читающей публики и вызвали сенсацию, как их принялись комментировать чуть ли не все газеты в стране. Первое из писем не слишком настораживало, но второе приводило в замешательство, по-настоящему тревожило.

— Кузина Моника, о чем оно было? — шепотом спросила я.

— Могу пересказать только в общих чертах, ведь я читала его очень давно, причем в обоих писавший употреблял какой-то жаргон и некоторые места были для меня все равно что бокс — так же трудно поддавались уразумению. Надеюсь, вам никогда не придется читать ничего подобного.

Я отметила про себя беспокойство леди Ноулз в отношении моего воспитания, она же продолжала:

— Боюсь, вы меня едва слышите, — ветер завывает так громко. Хорошо, придвиньтесь ближе. В этом письме говорилось совершенно определенно, что он, мистер Чарк, сделал очень выгодный визит в Бартрам-Хо, и точно называлась сумма, на которую он взял долговые расписки у вашего дяди Сайласа, поскольку заплатить Сайлас не мог. Не скажу, какая называлась сумма, только помню, что она пугала. У меня перехватило дыхание, когда я увидела цифры.

— Дядя Сайлас проиграл эти деньги? — спросила я.

— Да, и был должен. И вручил тому бумаги — долговые расписки, —

в которых обещал уплатить долг. Бумаги мистер Чарк конечно же прятал в шкатулке вместе с деньгами. Письмо заставляло думать, что Сайлас покончил с гостем, чтобы избавиться от долга, и, кроме того, завладел большей частью денег мистера Чарка... Я вспомнила, что особенно ужасало, — продолжала, помолчав, леди Ноулз, — письмо было написано вечером в последний день жизни несчастного, у Сайласа уже не оставалось времени, чтобы отыграть проигранное, потом же он твердил, что не должен мистеру Чарку ни гиней. В письме указывалась огромная сумма долга Сайласа и содержалось предостережение адресату, агенту мистера Чарка, не разглашать обстоятельства, поведшие к долгу, потому что Сайлас мог расплатиться, единственно прибегнув к помощи своего состоятельного брата, а здесь потребуются уловки. Писавший ясно говорил, что учитывает просьбу самого Сайласа. Это было очень опасное письмо, и хуже всего был его отвратительно бодрый тон — человек, пишущий в таком тоне, не помышляет уходить из жизни. Вам трудно вообразить, какую сенсацию вызвала публикация этих писем. Мгновенно взметнулась волна возмущения, но Сайлас встретил ее с настоящим мужеством, храбро, достойно. Как жаль, что прежде он не проявлял подобных свойств! Но что теперь сожалеть. Сайлас высказал предположение, что письма подложные. Он заявил, что мистера Чарка знали как бахвала, сочинявшего небылицы о своем везении в игре и уж совсем безудержно лгавшего в письмах. Он напомнил, что часто люди именно в состоянии аффекта решаются на самоубийство. Без высокомерия, но веско Сайлас говорил о том, к какой фамилии принадлежит и какова ее репутация. Он был настроен грозно и утверждал, что измышления противников совершенно нелепы, потому что физически невозможно сделать то, в чем его подозревали.

Я спросила, где и как дядя выступил в свою защиту.

— Он выступил с письмом-памфлетом. Все оценили его здравый смысл, тонкость мысли и убедительность; письмо появилось поразительно скоро.

— И по стилю оно напоминало его письма? — невинно спросила я.

Кузина рассмеялась.

— О нет, конечно! С тех пор как он заявил себя человеком набожным, из-под его пера выходит только нудная и вялая, маловразумительная писанина. Ваш покойный отец обычно пересылал мне его письма для прочтения, и порой я всерьез думала, что Сайлас лишился ума. Но, по-видимому, он просто старался войти в образ.

— Надеюсь, общественное мнение склонилось на его сторону, — сказала я.

— Не уверена, что везде. В его графстве все были единодушно настроены против Сайласа. Какой смысл спрашивать «почему»? Таков факт, и я думаю, ему, лишенному посторонней помощи, легче удалось бы сровнять с землей горы Пика<sup>[35]</sup>, чем переубедить джентльменов в Дербишире. Все они были против него. Разумеется, не без причин. Ваш дядя в памфлете сделал резкий выпад в их адрес, обрисовав себя жертвой их общего сговора. Я помню, он подчеркивал, что с того часа, как в его доме случилось известное происшествие, он навсегда позабыл о скачках и прочих подобных занятиях. В ответ же посмеивались и говорили, что он просто боится быть с позором изгнанным из своего круга.

— По этому делу состоялся судебный процесс? — спросила я.

— Все полагали, что суда не избежать, поскольку обе стороны публично подвергли одна другую самым яростным нападкам, и, думаю, особо враждебно настроенные против Сайласа ждали, что вот-вот всплывут улики, доказывающие его вину в преступлении. Годы идут; многие из тех, кто помнил трагедию в Бартраме-Хо, выступал яростным обвинителем Сайласа и подверг его остракизму, умерли; годы идут, но свет на это таинственное происшествие так и не пролит, а ваш дядя Сайлас остается изгоем. Вначале он неистовствовал, он уничтожил бы целое графство, человека за человеком, попадись они ему. Но он давно уже стал иным; изменил, как он выражается, свои помыслы.

— Сделался религиозен.

— Единственное, что ему остается. Он в долгах, он беден, он отторгнут обществом и, по его словам, болен телом, но укрепил верой дух. Ваш покойный отец, всегда непреклонный, неумолимый, ни разу не преступил им же назначенные пределы, в каких оказывал поддержку Сайласу, пошедшему на *mésalliance*<sup>[58]</sup>. Ваш отец хотел продвинуть его в парламент, обещал оплатить расходы, назначить пособие, но Сайлас, то ли поддавшись лени, то ли понимая свое положение лучше покойного Остина, или же, будучи действительно больным и не веря в свои силы, отказался. У вашего покойного отца новый Сайлас, занятый самобичеванием святоша, вызывал неодобрение; покойный Остин считал, что пострадавший человек может утвердиться в себе, обретая доверие людей, но Сайлас слишком давно ушел от мира — идея не осуществилась. Нет ничего труднее, чем вернуть в общество однажды запятнанного человека. Сайлас, думаю, был прав. Идея не могла осуществиться... Дорогое дитя, как же поздно! — вдруг воскликнула леди Ноуллз, взглянув на украшавшие камин часы в стиле Людовика Четырнадцатого.

Было около часу ночи. Ветер немного утих, и мое представление о дяде Сайласе стало чуть логичнее и последовательнее, чем вечером, когда только сгущались сумерки.

— А что вы о нем думаете? — спросила я.

Леди Ноуллз барабанила пальцами по столу, глядя в огонь.

— Я не сведуща ни в метафизике, моя дорогая, ни в колдовстве. Временами верю в сверхъестественное, временами — нет. Сайлас — «вещь в себе», я не знаю, как определить его, потому что не понимаю его. Возможно, иные души — не человеческие — иногда входят в этот мир, облеченные плотью. И я веду речь не только о том ужасном случае — Сайлас всегда приводил меня в смущение. Тщетно старалась я понять его. Но в его жизни была пора, когда он, по-моему, являл собой крайне безнравственного и в своей безнравственности эксцентричного человека: он был беспутным, дерзким, скрытным, опасным. В ту пору, мне кажется, он мог вынудить покойного Остина сделать для него все, но, женившись, он навсегда утратил влияние на вашего отца. Нет, не понимаю я его. Он всегда смущал меня, как зыбкий, иногда смеющийся, но неизменно зловещий лик из дурного сна.

## Глава XXVIII

### *Меня убеждают*

Итак, я наконец узнала таинственную историю бесчестия дяди Сайласа. Какое-то время мы сидели молча, и я, глядя в пустоту, посылала пышную, разукрашенную гирляндами и бубенцами триумфальную колесницу — через воображаемый город — за ним, возглашая: «Невинен! Невинен! Да будет увенчан мученик!» Все достоинства и добродетели, справедливость, совесть в мириаде оттенков на лицах людей — а люди теснятся всюду: на тротуарах, в окнах, на крышах, — соединились в ликующем кличе; трубы трубят, барабаны бьют, под величавый орган из раскрытых врат храма гремит хор — поет хвалу и благодарение... колокольный звон... залпы из пушек... воздух трепещет от бурных созвучий вселенской радости, а Сайлас Руфин как на портрете, в полный рост, — стоит в блистающей колеснице, с гордым, печалью затуманенным ликом, не веселясь с веселящимися... за его спиной раб — тонок как призрак и бледен — что-то глумливо нашептывает ему в ухо... я же и голоса всего города — мы оглашаем: «Невинен! Невинен! Да будет увенчан мученик!» Но вот видение пропало, и передо мной осталось лишь задумчивое, серьезное, не без тени сарказма лицо леди Ноуллз, а снаружи гудела, в отчаянии стенала буря.

Как хорошо, что кухня провела со мной столько времени. Но, боюсь, это было невыразимо утомительно. Теперь же она заговорила о делах дома и открыто готовилась к отъезду. Сердце у меня защемило.

Я и тогда не могла разобраться, какие чувства приводили меня в смятение, не уверена, что могу сделать это сейчас. Любые подозрения в отношении дяди Сайласа, казалось, подрывали бы основы моей веры, были бы святотатством. И все же, наверное, именно подозрения, неотчетливые, то гаснувшие, то вновь вспыхивавшие в глубине моей души, и причиняли боль, от которой я так страдала.

Мне нездоровилось. Леди Ноуллз гуляла, долгие променады освежали ее. Солнце садилось. Вошла Мэри Куинс — с письмом, только что доставленным почтой. Мое сердце учащенно забило. Я не решалась сломать большую черную печать Письмо было от дяди Сайласа. Пытаясь смягчить возможный удар, я перебирала в уме все рескрипты, которые оно могло содержать. Наконец я вскрыла письмо. В нем было повеление приготовиться к переезду в Бартрам-Хо. Было сказано, что я могу взять с

собой двух горничных, если уж мои потребности в прислуге столь нескромны. О деталях предстоявшего мне путешествия и о дне отъезда в Дербишир он сообщит дополнительно. На время отсутствия мне предлагалось распорядиться в отношении Ноула, но дядя заявлял, что не считает себя достаточно осведомленным в подобных вопросах, чтобы давать мне советы. Засим он молился чтобы ему достало сил исполнить долг для вящего спокойствия его совести, а также призывал, чтобы я, вступая в новый круг, укрепила молитвой и свой дух.

Я окинула взглядом комнату, такую знакомую и ставшую мне такой дорогой при мысли о том, что скоро расстанусь с ней. Старый дом, милый, о милый Ноул, как я оставлю тебя и твоих благожелательных обитателей, добрые улыбки и голоса... ради чужбины!

С тяжелым вздохом взяла я письмо дяди Сайласа и спустилась вниз, направляясь в гостиную. Помедлив у окна в холле, я разглядывала деревья в лесу, который так хорошо знала. Солнце село. Уже настали сумерки, и дыхание ночи белым туманом затянуло поредевшую, пожелтевшую листву. Все источало грусть. Как же мало завидовавшие молодой, сказочно богатой наследнице подозревали о тяжести у нее на сердце и как радовались за нее в миг, когда она почти прощалась с жизнью!

Леди Ноулз все не возвращалась. Быстро темнело, в небе, на западной его стороне, собирались мрачные тучи, меж ними еще виднелся слабый сероватый блеск потухшего дня.

В гостиной уже сгустились тени; если бы не этот слабый холодный свет, я бы не увидела черную фигуру, стоящую у зашторенного окна.

Человек в скрипучих башмаках порывисто двинулся мне навстречу. Это был доктор Брайерли.

Я испугалась и удивилась — как же он проник сюда? Я застыла на месте, не сводя с него глаз; боюсь, я показалась ему ужасно неловкой.

— Здравствуйте, мисс Руфин, — произнес он, протягивая руку с длинными пальцами, жесткую, коричневую, как у мумии. Он слегка наклонился — в сумрачной гостиной разглядеть лицо было трудно. — Вы удивлены, я полагаю, видя меня здесь снова так скоро?

— Я не знала, что вы приехали. Рада вас видеть, доктор Брайерли. Ничего неприятного не произошло, надеюсь?

— Нет, мисс, ничего неприятного. Завещание представлено и в свое время будет утверждено. Но у меня есть некоторые соображения, есть два-три вопроса к вам, на которые лучше отвечать не торопясь, обдуманно. Леди Ноулз еще не уехала?

— Она в Ноуле. Но пока не вернулась с прогулки.

— Я рад, что она здесь. Я думаю, у нее здоровый взгляд на вещи. И женщины скорее поймут друг друга. Что касается меня, мой долг — высказать вам мои соображения и предложить, в случае вашего согласия, свои услуги в устройстве дела иным образом. Ведь вы не знаете вашего дядю, как говорили недавно?

— Нет, я никогда не видела его.

— Вам понятно намерение вашего покойного отца, назначившего мистера Сайласа Руфина вашим опекуном?

— Я думаю, мой покойный отец желал показать, сколь высоко оценивает дядину пригодность к такого рода ответственности.

— Совершенно верно, но характер опеки в данном случае необычен.

— Не понимаю вас.

— Если вы умираете, не достигнув двадцати одного года, все ваше состояние переходит к нему — вам ясно? Пока же он держит вас под своей опекой — вы живете в его доме под его наблюдением и под его властью. Думаю, теперь вам все ясно. Когда ваш отец читал проект завещания, я высказался против этого распоряжения, мне оно не понравилось. А вам?

Я молчала — не уверенная, что правильно поняла доктора.

— И чем больше я думаю об этом распоряжении, тем меньше оно мне нравится, мисс, — произнес доктор ровным, жестким голосом.

— Господи милосердный! Не хотите же вы сказать, доктор Брайерли, что под крышей моего дяди я буду в меньшей безопасности, чем была бы у лорда-канцлера? — воскликнула я, прямо глядя доктору в глаза.

— Но разве вы не понимаете, мисс, что он окажется в сложном положении, — несколько поколебавшись, сказал доктор в ответ.

— Допустим, *он* так не думает. Думай он так, он отклонил бы ответственность.

— Верно, но он не сделал этого. Вот письмо, — доктор показал письмо, — где он официально выражает согласие принять опеку над вами. Считаю, до его сведения следовало бы довести, что он поступает *неделикатно*, учитывая все обстоятельства. Вам ведь известно, мисс, что о вашем дяде, мистере Сайласе Руфине, шла дурная молва?

— В связи... — начала я.

— В связи со смертью мистера Чарка в Бартраме-Хо.

— Да, мне известно об этом, — сказала я, пугаясь слишком уверенного тона доктора.

— Мы, конечно, обязаны считать, что говорили *без оснований*, но многие думают совершенно иначе.

— Возможно, доктор Брайерли, именно по этой причине мой дорогой

отец назначил его моим опекуном.

— Несомненно, мисс. Ради того, чтобы очистить его от подозрений.

— А если он пообещал с честью исполнить долг и оправдать доверие, не кажется ли вам, что, сделав это, он заставит клеветников замолчать?

— Сложись обстоятельства благоприятно, возможно, толков будет и меньше, впрочем, вы ждете слишком много. Но предположим, вы *умрете*, мисс, не достигнув совершеннолетия. Все мы смертны, а речь идет о сроке в три года и несколько месяцев. Что тогда? Разве вы не понимаете? Только вообразите, что будут говорить тогда!

— Кажется, вы знаете, мой дядя — человек набожный, заметила я.

— И что же, мисс? — спросил доктор.

— Он... он столько страдал, — продолжала я. — Он давно удалился от мира, он очень религиозен. Поинтересуйтесь у нашего vicария, мистера Фэрфилда, если вы сомневаетесь.

— Я не оспариваю сказанного, мисс, просто я рассуждаю о том, что может случиться несчастье. Например, оспа или дифтерия. *Такое* часто бывает. Три года и три месяца — долгий срок. Вы едете с поклажей в Бартрам-Хо, думая, что запаслись на годы, но Господь говорит: «О, глупое создание! Сегодня твоя душа берется от тебя». Вы едете и... Что думать о вашем дяде, мистере Сайласе Руфине, которого давно в его графстве именуют «вором-карманником» и даже похуже, как я слышал?

— Вы, доктор Брайерли, — религиозный человек... в соответствии с вашими представлениями?

Сведенборгианец улыбнулся.

— Вы сами испытали могучее воздействие веры и знаете, что он тоже верует, — так не думаете ли вы, что ему можно предаться без опасения? Не думаете ли вы, что эта возможность — доказать одновременно чистоту своих помыслов и справедливость мнения моего дорогого отца о брате — открыта перед ним ко благу и что нам следует предоставить все в руки Господни?

— Очевидно, в том была воля Господа, — произнес доктор Брайерли очень тихо; выражения его лица я не видела, ведь он опустил глаза и тростью чертил какие-то диаграммы на темном ковре, — да, воля Господа, что о вашем дяде до сей поры шла дурная слава. Противодействуя Провидению, нам следует прибегать к нашему разуму и стараться честно оценивать средства: если ими можно как навредить, так и принести пользу, мы не вправе наш эксперимент обращать в испытание. Я думаю, вам необходимо все хорошо взвесить, я убежден, что принятое вами решение можно оспорить. Если вы считаете опеку над собой желательной,

знайте — ее можно передать леди Ноуллз. Я приложу все усилия, чтобы устроить это.

— Но ведь без его согласия такое решение невозможно, — заметила я.

— Невозможно, — подтвердил доктор, — однако у меня не пропала надежда добиться его согласия — на определенных условиях, разумеется.

— Я не совсем понимаю вас.

— Предположим, ему выплатят сумму, предназначавшуюся на ваше содержание. Что вы на это скажете?

— Я очень ошибаюсь в дяде, — сказала я, — если эти деньги представляют для него хоть что-то в сравнении с неопределенной моральной выгодой назначенной ему роли. Лишившись ее, он, уверена, откажется и от денег.

— Наше дело попробовать. — На смуглом жестком лице доктора Брайерли даже при скудном свете, едва проникавшем из окна в гостиную, я различила улыбку.

— Возможно, я кажусь вам крайне наивной, полагая, что он способен руководствоваться любыми целями, кроме корыстных, — сказала я. — Но он мой близкий родственник, и я не могу думать о нем иначе, сэр.

— Все это очень серьезно, мисс Руфин, — ответил доктор Брайерли. — Вы еще так молоды и сейчас не можете понять того, что поймете позже. Он человек пренабожный, говорите вы, но его дом — неподходящее для вас место. Зброшенное поместье, хозяин-изгой, стены, видевшие скандалов без счета и одно страшное злодеяние. Леди Ноуллз убеждена, что, поселившись там, вы навредите себе непоправимо и на всю жизнь.

— Да-да, Мод, — подтвердила леди Ноуллз, незаметно вошедшая в гостиную. — Здравствуйте, доктор Брайерли! Навредите себе непоправимо, Мод. Вы не представляете, как осуждают тот дом, как его сторонятся; даже имена обитателей под запретом.

— Чудовищно!.. Чудовищная жестокость! — воскликнула я.

— Очень неприятно, моя дорогая, но совершенно естественно. Вам следует помнить, что независимо от истории с мистером Чарком о доме всегда отзывались плохо и что джентльмены в графстве отвергли вашего дядю Сайласа задолго до этого случая. Что касается надежды, будто ваше пребывание под опекой Сайласа хоть в малой степени послужит восстановлению его репутации в графстве, — а эта надежда толкнула на особое распоряжение вашего покойного отца, который с самого начала придерживался крайне одностороннего взгляда на дело, — вы должны оставить ее. Кроме меня — если я буду допущена — и священника, ни одна

душа не посетит Бартрам-Хо. Вас, возможно, пожалеют, решат, что так распорядиться вашей судьбой — предел безрассудства и бессердечия, но не захотят, как не хотели прежде, ездить в Бартрам-Хо и водить знакомство с Сайласом и его домочадцами.

— Они узнают, по крайней мере, как смотрел на дело мой дорогой отец.

— Они давно это знают, — сказала леди Ноуллз, — и его мнение для них не имело и не может иметь никакого значения. Там есть люди, считающие свой род ничем не ниже и даже выше рода Руфинов, а идею вашего покойного отца, будто он сможет убедить их подобной демонстрацией, правильнее назвать просто нелепой фантазией человека, который забыл, что такое свет, и привык мерить все своей меркой, живя в долгом затворничестве. Мне известно, что под конец он сам сомневался в правильности своего замысла, а будь ему отпущен еще год, он вычеркнул бы этот пункт завещания.

Доктор Брайерли кивнул и сказал:

— Если бы он писал завещание *сейчас*, разве он оставил бы это распоряжение — с любой точки зрения ошибочное и вредящее вам, его дочери? Предположим, вы умираете, находясь под крышей вашего дяди, под его опекой. Прискорбным образом рухнет замысел завещателя, волна подозрения, расспросов прокатится по всей Англии, и о старом скандале заговорят столь же громко, как прежде.

— Доктор Брайерли все устроит, я не сомневаюсь. В действительности, думаю, будет нетрудно договориться с Сайласом. А если вы не согласны на предложение доктора, запомните мои слова, Мод: вам придется раскаиваться до конца дней.

Двое людей были передо мной — со своим взглядом на вопрос, оба совершенно чуждые корысти, оба, каждый по-своему, проникательные, наверное, даже мудрые. И оба искренне пытались удержать меня от исполнения воли покойного отца, но лишь растревожили мое воображение и взволновали мой ум. В наступившем молчании я переводила взгляд с одного лица на другое. Уже принесли свечи, и я могла хорошо видеть их лица.

— Я жду только вашего решения, мисс Руфин, — сказал попечитель, — и тогда встречусь с вашим дядей. Если его выгода являлась главной целью, преследуемой сим распоряжением, ваш дядя будет самым лучшим судьей тому, действительно ли *приняты* во внимание его интересы, и я полагаю, он ясно увидит, что это *не так*. И даст соответствующий ответ.

— Я ничего не могу сказать вам сейчас... Позвольте подумать... Я постараюсь... Я вам *очень* признательна, дорогая моя кузина Моника, вы так добры. И вы тоже, доктор Брайерли.

Доктор Брайерли в этот момент изучал свою записную книжку и не ответил на мою благодарность даже кивком.

— Мне необходимо быть в Лондоне послезавтра. Бартрам-Хо — примерно в шестидесяти милях отсюда, и только двадцать из них по железной дороге. Сорок миль на почтовых через горы Дербишира — дело долгое. Но если вы говорите: «*Пробуем!*» — я увижусь с ним завтра утром.

— Вы должны сказать: «*Пробуем!*» *Должны*, моя дорогая Мод.

— Но я не могу решить так сразу! О дорогая кузина Моника, я в совершенной растерянности.

— Но *вам* не надо ничего решать — решение за *ним*. Он знает больше вас. Вы только *должны сказать* «да».

Опять я переводила взгляд с кузины на доктора Брайерли и с доктора на кузину. Я кинулась ей на шею и, крепко обнимая, вскричала:

— О кузина Моника, дорогая кузина Моника, дайте совет мне, несчастной! Дайте же мне совет!

Я и не подозревала до того момента, насколько я нерешительная.

Не видя ее лица, я догадалась, что она улыбается, когда услышала ее слова:

— Но, дорогая, я дала вам совет. Я *советую* вам... — И она с горячностью добавила: — Я умоляю и заклинаю вас *последовать* моему совету. Вы обязаны предоставить вашему дяде Сайласу, который, поверьте, знает больше, чем вы, право решать — когда он переговорит с доктором Брайерли, осведомленным о взглядах и намерениях вашего покойного отца лучше нас с вами.

— Сказать «да»? — говорила я, беспомощно прижимаясь к кузине, целуя и целуя ее. — О, велите... велите мне сказать «да».

— Да, конечно же *да*. Она согласна на ваше предложение, доктор Брайерли.

— Мне вас так и понимать? — переспросил он.

— Хорошо... да, доктор Брайерли, — ответила я.

— Мудрое и правильное решение, — проговорил он тоном человека, скинувшего гору с плеч.

— Я забыла предложить, доктор Брайерли... это так неучтиво с моей стороны... Вы должны остаться на ночь у нас.

Он *не может*, моя дорогая, — вмешалась леди Ноуллз, — путь долог.

— Но пообедать... Вы пообедаете у нас, доктор Брайерли?

— Нет, он не может. Вы же знаете, что не можете, сэр, — проговорила она категоричным тоном. И опять обратилась ко мне: — Не беспокойте его, моя дорогая, любезностью, на какую он не может ответить согласием. Он прощается с нами. До свидания, доктор Брайерли. Напишите сразу же, не откладывая до возвращения в Лондон. попрощайтесь с доктором, Мод. Я должна сказать ему несколько слов в холле.

И она буквально увела его из гостиной, оставив меня в смятении, в замешательстве, лишенной возможности что-либо изменить и недовольной этим.

Я стояла там, где меня оставили, смотрела им вслед, и вид у меня был, наверное, глупейший.

Леди Ноулз вернулась через считанные минуты. Будь я менее взволнована, я бы догадалась, что она отправила бедного доктора Брайерли искать ночлег где-нибудь на полпути к Бартраму-Хо, чтобы только удалить доктора от меня и тем самым сделать мое решение — если оно вообще принадлежало мне — бесповоротным.

— Bravo, моя дорогая, — сказала кузина Моника, в свою очередь заключая меня в сердечные объятия. — Вы — маленькая умница и поступили именно так, как должны были поступить.

— Надеюсь... — проговорила я неуверенно.

— Вы еще сомневаетесь? Что за глупости! Это же ясно как день.

И тут вошел Бранстон, объявляя, что обед подан.

## Глава XXIX

### Как ездил посол

Когда мы сели за обеденный стол при ярких свечах, леди Ноуллз, судя по ее лицу, была, как и я, чрезвычайно взволнована, но вместе с тем утешена и обрадована. Она говорила не умолкая, делилась со мной ранними воспоминаниями о моем дорогом отце. Большею частью я их уже знала, но готова была слушать снова и снова.

И однако, в мыслях я иногда — а на самом деле *часто* — возвращалась к тому разговору — столь непредвиденному, столь неожиданно решающему и, возможно, необыкновенно важному. И меня все тревожил вопрос: правильно ли я поступила?

Думаю, кузина понимала мой характер лучше, чем я сама понимаю себя даже сейчас, после всех моих честных попыток разобраться в себе. Подверженная колебаниям и внезапно меняющая свои же решения, импульсивная в действиях, я, по ее мнению, была способна лишиться полномочий доктора Брайерли и послать ему вдогонку контрприказ, чего она и опасалась.

Поэтому, добрая душа, она старалась занять мои мысли и, истощив одну тему, находила другую, в постоянной готовности увести меня от вопроса, который она после стольких усилий, казалось, закрыла.

В ту ночь я измучилась. Я уже укоряла себя. Не в силах заснуть, я наконец села в кровати и дала волю слезам. Я сожалела о своей слабости, из-за которой уступила доктору Брайерли и кузине. Разве не нарушаю я клятву, принесенную моему дорожному отцу? Не согласилась ли я, чтобы дядю Сайласа склонили подкрепить мою чудовищную измену не менее страшным предательством?

Кузина Моника поступила мудро, поспешно отослав доктора Брайерли, потому что, останься он в Ноуле, вне всякого сомнения, наутро я, увидевшись с ним, отменила бы свое поручение.

В тот день в кабинете я обнаружила четыре бумаги, растревожившие меня еще больше. Каждая была подписана рукою дорогого отца: «Копия моего письма к...» И назывались имена четверых попечителей, упомянутых в завещании. Итак, передо мной были копии запечатанных писем, возбуждивших у меня и у леди Ноуллз любопытство в тот волнующий день, когда огласили последнюю волю отца.

Вот что я прочла.

«Называю моего пострадавшего и бедного брата, Сайласа Руфина, проживающего в принадлежащем мне имении Бартрам-Хо, опекуном моей дорогой дочери, чтобы уверить свет, если возможно, — а если невозможно, дать всем потомкам нашей фамилии доказательство, — что брат, который лучше других знает брата исполнен доверия к нему и этот последний его заслуживает. Не вижу более верного способа положить конец низкой и абсурдной клевете, порожденной политическим злоумыслом и никогда бы не запятнавшей брата, не будь он лишен средств и опрометчив в поступках. Все мое имущество переходит к брату в случае смерти моей дочери до достижения ею совершеннолетия, опеку над дочерью поручаю ему одному, веря, что мое дитя будет в такой же безопасности, предавшись его заботе, в какой было при мне. Полагаюсь на вашу память о дружбе, давно связавшей нас, и надеюсь, что при всякой возможности вы упомянете о сказанном мною в сем письме, присовокупив слова, к каким побуждает справедливость».

Содержание всех четырех писем было схожим. Сердце у меня упало, когда я прочла их. Я дрожала от страха. Что я наделала? Осмелилась помешать мудрому и благородному замыслу отца защитить нашу опороченную фамилию. Как трус, уклонилась от своего участия в деле, такого простого, такого незначительного. И еще — о Боже милосердный! — предала мертвого!

С письмами в руке, бледная от страха, я кинулась в гостиную, где была кузина Моника, и попросила ее прочесть их. По лицу кузины я поняла, как ее встревожил мой вид, но она промолчала. Пробежала глазами письма, а потом воскликнула:

— И только-то, мое дорогое дитя? Я уже воображала, что вы нашли другое завещание и потеряли все на свете! Мод, дорогая, мы это знали. Мы прекрасно понимаем мотивы покойного Остина. Вас так легко растревожить!

— Но, кузина Моника, я думаю, он прав, теперь я вижу, что это разумно, и мне — о, я преступница! — мне надо остановиться.

Мод, дорогая моя, прислушайтесь к голосу разума. Доктор Брайерли встретился с вашим дядей в Бартраме, по крайней мере, два часа назад. Вы не можете переменить свершенного, и зачем вам, зачем — даже если могли бы? Вы не считаете, что мнение вашего дяди следует принимать во внимание?

— Но он уже *решил*. Есть же письмо, где говорится о деле как о решенном. А доктор Брайерли... о кузина Моника, доктор поехал *искушать* его.

— Вздор, девочка! Доктор Брайерли, несомненно, порядочный и честный человек. О каком *сворачивании* речь? Доктор поехал *искушать* его? Вот выдумали! Доктор поехал представить факты и предложить ему поразмыслить над ними. И я вижу — учитывая то, что часто подобную ответственность принимают на себя по легкомыслию, и то, как долго Сайлас ведет жизнь в праздном уединении, отгородившись от мира, разучившись слушать других, — я вижу в этом благородство и разумную предусмотрительность доктора, поехавшего в Бартрам, чтобы Сайлас представил себе во всех подробностях и со всех сторон дело, прежде чем по лености мысли подвергнет себя самому большому риску, на который когда-либо отваживался.

Так возражала мне леди Ноуллз, с присущей женщинам горячностью и, должна признать, часто повторяясь, что, как я иногда замечала, отличает логиков женского пола. Она запутала меня, не убедив.

— Не знаю, зачем я пошла в кабинет, — проговорила я, очень взволнованная, — и почему взялась за эти бумаги. Мы их никогда там не видели — как же случилось, что именно сегодня они попались мне на глаза?

— Что вы хотите сказать, дорогая? — спросила леди Ноуллз.

— Я хочу сказать... я думаю, я была *приведена* туда... это *призыв* моего покойного папы ко мне, столь же явственный, как если бы его рука появилась и оставила знак на стене. — Я почти перешла на крик, завершая свое безумное признание.

— У вас разгулялись нервы, дорогая, сказываются ночи, лишённые здорового сна. Давайте выйдем — вам полезно подышать воздухом. И я уверяю вас, очень скоро вы поймете, что мы правы, и искренне порадуетесь принятому решению.

Но радость не приходила, хотя возбуждение несколько улеглось. Моя вечерняя молитва была полна раскаяния. А когда я коснулась головой подушки, я испытала мук вчетверо больше прежнего. Каждой нервической, легко возбудимой натуре знакомо это: призрачные лица, искаженные на всякий лад, одно за другим появляются перед вами, не успели вы смежить веки. В ту ночь меня беспокоило лицо отца — то бледное и резко очерченное, как будто вырезанное из слоновой кости, то странно прозрачное, как из стекла, то с ужасающе обвисшей кожей мертвеца, но неизменно — обезображенное немыслимой гримасой сатанинской ярости.

Избавиться от этого чудовищного видения я могла, только сесть в кровати и неотрывно глядя на свечу. Наконец, истомленная, я заснула. И во сне отчетливо услышала папин резкий голос из-за полога: «Мод, мы опоздаем в Бартрам-Хо!»

В ужасе я пробудилась; стены, казалось, еще звенели от громкого клича, и мне почудилось, что говоривший стоял за пологом кровати.

Но страшная ночь миновала. И утром я в ночной сорочке, похожая на призрак, уже сама стояла у кровати леди Ноуллз.

— Меня предупредили, — сказала я. — О кузина Моника, ночью со мной был папа, он велел ехать в Бартрам-Хо. И я должна ехать.

Она с тревогой глядела в мое лицо, а потом попыталась обратить все в шутку, но я поняла, что она была обеспокоена странным состоянием, в которое привели меня волнения и напряженное ожидание вестей из Бартрама-Хо.

— Не слишком торопитесь с выводами, Мод, — сказала она. — Сайлас Руфин, весьма вероятно, не даст согласия на предложение доктора и настаит на том, чтобы вы приехали в Бартрам-Хо.

— На все воля Господня! — воскликнула я. — Но если дядя и согласится, мне все равно — я еду. Пусть он прогонит меня, но я попробую искупить свое вероломство.

Еще несколько часов оставалось до прибытия почты. Часы эти мы обе провели в тревожном и тягостном ожидании... я — едва не в агонии. Наконец — в минуту, ничем не похожую на вожделенную, — вошел Бранстон с почтовой сумкой. Было письмо, адресованное леди Ноуллз, — большой конверт со штемпелем Фелтрама. Депеша от доктора Брайерли. Мы вместе прочли ее. Она была датирована предыдущим днем, и говорилось в ней следующее:

«Достопочтенная мадам, сим днем в Бартраме-Хо я встречался с мистером Сайласом Руфином, и он категорически, не принимая никаких условий, отказался сложить с себя обязанности опекуна, а также позволить мисс Руфин проживать где бы то ни было, кроме как в его доме. Поскольку он обосновал свой отказ, во-первых, препятствиями морального свойства, заявив, что не вправе, из боязни каких-либо случайностей частного характера, отречься от обязательства, которое свято, будучи возложенным покойным на него как на единственного брата, и, во-вторых, указал на последствия, какие подобный отказ, ответь он на просьбу исполняющего обязанности

попечителя, имел бы для его репутации, — а это в глазах света было бы равносильно самообличению, — и также поскольку он не снизошел до обсуждения со мной указанных мотивов, мне от него ничего не удалось добиться. Убедившись, что он не отступит от своего решения, я вскоре расстался с ним. Он упомянул, что приготовления к приему его племянницы завершаются и что через несколько дней он пошлет за ней, а посему, полагаю, мое присутствие в Ноуле было бы желательно для мисс Руфин, которой я смог бы помочь советом перед ее отъездом, дабы она рассчитала слуг и провела опись имущества, вверяя дом и земли попечению вплоть до ее совершеннолетия.

С почтением к Вам, мадам,

*Ханс Э. Брайерли».*

Я не в силах описать лицо кузины, изумленной и разгневанной. Она фыркнула раз-другой, а потом язвительно произнесла приглушенным голосом:

— *Теперь*, надеюсь, вы довольны.

— Нет, нет, нет, вы же *знаете*, что нет! Я огорчена до глубины души, о мой единственный друг, дорогая моя кузина Моника! Но теперь меня не мучает совесть. Вы не представляете, что это за жертва для меня, — несчастная я, несчастная! Я предчувствую беду... я так боюсь. Но ведь вы не оставите меня, кузина?

— Нет, дорогая, никогда, — ответила она с грустью.

— И будете навещать, когда сможете?

— Да, дорогая... если Сайлас позволит. А я уверена, что позволит, — поспешила добавить она, увидев, наверное, ужас на моем лице. — Не сомневайтесь, я сделаю все, что смогу. И возможно, он согласится время от времени отпускать вас ненадолго ко мне. Я живу всего в шести милях от него — чуть больше получаса езды, — и хотя я ненавижу Бартрам и презираю Сайласа... да, я *презираю Сайласа*, — повторила она, отвечая на мой удивленный взгляд, — я буду наезжать в Бартрам... то есть буду, если он мне позволит. Видите ли, я не бывала там уже четверть века, и, хотя я не понимаю Сайласа, мне кажется, он ничего не прощает.

Я недоумевала — какая застарелая обида заставляла кузину всегда с такой желчью говорить о дяде Сайласе? Я считала это несправедливым. С моим героем у меня на глазах с недавнего времени обращались столь неуважительно, что, подобно идолам, он утратил какую-то толику святости.

Но как объект поклонения он по-прежнему сохранял для меня божественную свою суть, а косвенные внушения изгнать нечистую силу я отвергала, принимая их за злой умысел. Но я ошибалась, приписывая леди Ноуллз скрываемую обиду, или злобу, или еще что-то. Было только стремление держаться твердого мнения — характерное, как некоторые считают, для женского пола.

Итак, робкую надежду на опекунство кузины Моники — что, будь на то воля моего покойного папы, сделало бы меня безмерно счастливой — действительность опрокинула, план погиб окончательно. Я утешала себя обещанием кузины возобновить связь с Бартрамом-Хо, и мы немного успокоились.

Помню, на следующее утро, когда мы очень поздно сидели за завтраком, леди Ноуллз читала какое-то письмо. Неожиданно, издав возглас удивления, она рассмеялась и стала читать дальше с удвоенным интересом. Затем, опять рассмеявшись и опустив руку с раскрытым письмом возле своей чайной чашки, она подняла глаза.

— Вам не догадаться, о ком я читала, — сказала она с лукавой улыбкой, чуть склонив голову набок.

Я почувствовала, что вся залилась краской: щеки, лоб до корней волос; пунцовели даже кончики пальцев. Она веселилась. Неужели... неужели же капитан Оукли женился?

— Не представляю, — ответила я с тем притворным безразличием, какое всегда нас выдает.

— По вашему виду совершенно ясно, что не представляете, но знали бы вы, как мило вы покраснели, — заметила она, забавляясь моим смущением.

— Я на самом деле не имею ни малейшего представления, — проговорила я в тщетной попытке не уронить достоинство и краснея все сильнее.

— Попробуйте угадать!

— Я не могу.

— Сказать вам?

— Если хотите.

— Хорошо, скажу, то есть я прочту вам страничку из этого письма, и вы все поймете. Вы знакомы с Джорджианой Фаншо?

— С леди Джорджианой? Нет, — ответила я.

— Не важно, она сейчас в Париже, это письмо от нее, и она пишет... Дайте-ка найду место... «Вчера — что бы вы думали, нет, вы только вообразите! Вот так видение! Вчера мой брат Крейвен настоял, чтобы я

сопровождала его в лавку Le Bas, приютившуюся на старой улочке возле Гревской площади<sup>[36]</sup>, — там торгуют всякими забавными древностями. Забыла, как у них зовутся такие лавки. Мы оказались чуть ли не единственными, кто желал потешить себя стариной, и в лавке действительно было столько всяких любопытных вещей, что вначале я не заметила высокую женщину в сером шелковом платье, черной бархатной накидке и в прехорошенькой, по последней парижской моде, шляпке. Между прочим, вы будете очарованы новым фасоном. Он вошел в моду всего три недели назад. Неописуемо элегантная шляпка, по крайней мере, я так считаю. Я уверена, ими уже торгуют у Молница, и больше ничего не добавлю. Но раз уж я заговорила о нарядах, то скажу, что кружево вам приобрела, и, думаю, с вашей стороны будет неблагодарностью не прийти от него в восторг; очаровательное кружево». Так, это пропустим... вот... И кузина продолжила чтение: — «Но вы спросите о моей таинственной даме в модной шляпке. Дама восседала на стуле у прилавка и, очевидно, не покупала, но хотела продать камешки и всякие безделушки, которыми у нее была полна коробка для визитных карточек, человек же брал из коробки вещицы одну за другой и, наверное, оценивал. Я уже присмотрела прехорошенький маленький крестик, усыпанный жемчугом, — с полдюжины действительно дивных жемчужин! — и уже мечтала дополнить им свой гарнитур, как тут леди окинула меня взглядом и узнала... Мы узнали друг друга. И кто бы, вы думали, она была? Вы за неделю не отгадаете! А я не могу ждать так долго, поэтому лучше скажу вам сразу. Она была той ужасной старухой — мадемуазель де Бласмар, — которую вы однажды показали мне в Элверстоне. У меня навсегда запечатлелось в памяти ее лицо, а она, кажется, не забыла мое, потому что в ту же минуту отвернулась, и когда я взглянула на нее опять, ее вуаль была опущена». Разве вы, Мод, не говорили мне, что потеряли жемчужный крестик как раз во время пребывания той отвратительной мадам де Ларужьер в вашем доме?

— Да, но...

— Но что у нее общего с мадемуазель де Бласмар, хотите вы спросить? Это одно и то же лицо.

— О, я поняла, — сказала я, и меня охватила смутная тревога, страх — вы испытываете их, вдруг услышав имя врага, которого на время потеряли из виду.

— Я напишу Джорджи и попрошу купить этот крестик. Жизнью могу поклясться, он ваш, — убежденно сказала леди Ноулз.

Слуги не скрывали своего мнения о мадам де Ларужьер и все

пропажи — а их было немало — относили на ее счет. Даже Энн Уикстед, пользовавшаяся непонятной благосклонностью гувернантки, по секрету рассказывала, что мое кружево — я тогда заметила пропажу — та обменяла у цыгана-разносчика на французские перчатки и ирландский поплин.

— А как только я уверюсь, что крестик ваш, я объявлю розыск воровки.

— Но только не надо вести меня в суд, — проговорила я, равно обрадованная и встревоженная.

— Ни в коем случае, моя дорогая. Мэри Куинс и миссис Раск смогут все подтвердить.

— А почему она вам так не нравится? — спросила я.

Кузина Моника откинулась на спинку стула и, подняв глаза к потолку, обыскала взглядом лепной карниз в поисках причины, а потом рассмеялась, довольная собой:

— Видите ли, совсем не легко сказать, почему, тем более что не следует забывать о снисходительности к чужим недостаткам, но одно я твердо знаю: я не выношу ее; да и вам, моя маленькая притворщица, она так же отвратительна, как и мне.

Мы обе рассмеялись.

— Но вы должны рассказать мне ее историю.

— Ее историю? — переспросила кузина. — Я, в сущности, почти ничего о ней не знаю, я только видела ее временами вблизи того места, о котором упоминает Джорджиана, я слышала о ней скверные вещи, но все это, возможно, выдумки. Самое скверное, что я о ней *знаю*, это то, как она обращалась с вами, и то, что совершила кражу в вашем доме — из письменного стола (кузина Моника неизменно упоминала о случае как о *краже*), чего, по-моему, довольно, чтобы ее повесить. Может быть, пойдём погуляем?

И мы отправились на прогулку. Я пробовала возобновить разговор о мадам, но больше ничего не услышала — возможно, больше нечего было рассказывать.

## Глава XXX

### Дорога

Все в Ноуле указывало на скорое прощание. Доктор Брайерли приехал, как обещал, и закружился в делах. Они с мистером Данверзом, управляющим, посоветались, и было решено сдавать в аренду земли, парки, но только не дом, который доверяли попечению миссис Раск. Оставались на службе егерь, еще несколько слуг — конюхи и другие со двора; прочих же рассчитали, за исключением Мэри Куинс — ей предстояло сопровождать меня в Бартрам-Хо в качестве горничной.

— Не расставайтесь с вашей Куинс, — категорично заявила мне леди Ноуллз, — они будут добиваться этого, но вы ни за что *не расставайтесь*.

Кузина без конца твердила свои наставления — по десять раз на день.

— Вам скажут, что она не годится в горничные для леди, и это конечно же *так*, если бы речь шла не о заброшенном Бартраме-Хо. Но она преданна, надежна, правдива, а такие качества везде ценятся, особенно когда предстоит жить в уединении. Не соглашайтесь на безнравственную молодую модистку из француженок вместо нее.

Иногда слова кузины неприятно будоражили меня, внушая безотчетную тревогу.

— Я знаю, она вам преданна, она добрая душа, но достаточно ли проникательна?

Или, с озабоченным лицом, кузина произносила:

— Надеюсь, Мэри Куинс не из пугливых?

Или неожиданно спрашивала:

— Мэри сможет известить письмом в случае, если вы заболете?.. Сможет точно выполнить поручение?.. А она находчива, выдержанна, не теряет голову в непредвиденных обстоятельствах?

Конечно, эти вопросы не следовали один за другим, как здесь у меня, кузина задавала их время от времени и поспешно переходила на повседневные темы, но вопросам всегда предшествовало глубокое и мрачное ее молчание. И хотя ничего определеннее этих вопросов я от нее не слышала, они, как мне казалось, указывали на некую предполагаемую опасность, занимавшую мысли моей дорогой кузины.

А еще — без сомнения, постоянно — она возвращалась в мыслях к выкраденному у меня жемчужному крестику. Она составила записку на основе описания вещицы, полученных от Мэри Куинс, миссис Раск и от

меня. Я думала, она упомянула о розыске в минутном порыве, но, судя по методичности, с какой она нас допрашивала, мне стало ясно, что ее намерения совершенно серьезны.

Узнав, что мне очень скоро предстоит покинуть Ноул, она решила не оставлять меня до самого моего отъезда в Бартрам-Хо и день за днем, с приближением часа прощания, становилась все добрее, ласковее. То было для меня лихорадочное и горестное время.

Доктора Брайерли, хотя он находился в доме, мы почти не видели — разве что за чаем. Завтракал он очень рано, обедал в одиночестве и в самое разное время, когда позволяли дела.

На другой день после приезда доктора кузина Моника пожелала услышать о посещении доктором Бартрама-Хо.

— Вы конечно же видели его? — спросила леди Ноуллз.

— Да, он принял меня. Он был нездоров. Когда узнал, кто я, велел пройти к нему в комнату, где сидел в шелковом халате и в домашних туфлях.

— О деле, — лаконично потребовала леди Ноуллз.

— О деле говорили коротко, поскольку он был тверд и обосновывал свой отказ причинами, на которые трудно что-либо возразить. Впрочем, трудно или нет — он, заметьте, объявил, что более не желает слышать о предмете, на том деловой разговор и завершился.

— А что там его набожность? — в непочтительном тоне поинтересовалась кузина Моника.

— Об этом мы говорили с большим успехом. Ваш кузен глубоко вник в так называемую у нас «доктрину о корреспонденциях», много читал Сведенборга и, кажется, весьма настроен обсуждать некоторые моменты учения с теми, кто его разделяет. Признаюсь вам, я не ожидал, что он так начитан и так увлечен данным предметом.

— Он был рассержен, когда вы предложили ему отказаться от опекуинства?

— Нисколько. Напротив, заметил, что вначале и сам держался этой мысли. Годы, привычки, в каком-то смысле неподходящие условия, удаленность Бартрама-Хо от мест, где возможно найти хороших учителей, — обо всем этом он подумал сразу же и почти решил отказаться от ответственности. Но потом пришли соображения, которые я пересказал в письме, — они возобладали, и ничто, заявил он, не в силах отменить их или вынудить его заново пересмотреть вопрос.

Доктор Брайерли передавал свой разговор с главой дома в Бартраме-Хо, моя же кузина в ответ фыркала на все лады и усмехалась — казалось,

больше досадуя, чем выражая презрение.

Я обрадовалась тому, что сообщил доктор Брайерли. Я почувствовала, как тревога отступает, и на краткий миг допустила в сердце надежду. Неужели же Бартрам-Хо может быть уединеннее Ноула? Разве не найду я там кухню Миллисент, примерно моих лет? И возможно, о жизни в Дербишире, счастливой, хоть и очень однообразной, я потом всегда буду вспоминать? Почему нет? Какая пора, какое жилище озарится счастьем, если мы отдадим себя во власть мрачных фантазий?

И вот пришла весть от дяди Сайласа. Мне оставалось провести в Ноуле считанные часы.

Накануне отъезда, вечером, я навестила дядин портрет в полный рост и в последний раз изучала его долго, пристально, с глубоким интересом, но проникла в характер дяди не больше прежнего.

При брате, столь великодушном и богатом, всегда готовом прийти на помощь, при талантах, при тонкой и благородной красоте, запечатленной на картине, — чего бы только не достиг Сайлас Руфин, кого бы не пленил? И однако, где он и кто он? Бедный, всеми покинутый старик, живущий в заброшенном доме, который ему не принадлежит, униженный браком и приневоленный провести последние годы жизни в горьком одиночестве, а после смерти обреченный на скорое забвение.

Я неотрывно смотрела на портрет, чтобы сохранить его в памяти отчетливым, непотускневшим. Возможно, что-то от этого абриса, от изысканной этой палитры я еще замечу в живом оригинале, который мне доведется завтра увидеть впервые в жизни.

И вот настал день прощания, последний из длинной вереницы дней в Ноуле, обращенный к нови и отягченный грустью. Почтовый дилижанс ждал у входа. Собственный экипаж кухни Моника уже увез ее на станцию железной дороги. Обнимаясь, мы едва удерживали слезы, ее доброе лицо все еще оставалось у меня перед глазами, в ушах все еще звучали ее утешения и обещания. Я ощущала всем своим существом пронзительную сырость раннего утра, отводя взгляд от окна — от стекол в сверкавшей студеной росе. Завтракали торопливо, я выпила всего чашку чаю. Какой странный вид у дома! Ни ковров на полу, ни шагов... почти все двери закрыты. Слуги, кроме миссис Раск и Бранстона, разъехались. Дверь в гостиную была открыта — поденщица мыла пол. Я в последний раз окидывала взглядом дом — кто мог сказать, как надолго я его покидаю? — и медлила. Багаж уже отнесен. Я отправила Мэри Куинс устроиться в дилижансе первой — бесценна, бесценна каждая минута отсрочки... Но вот миг настал. В холле я обнимала и целовала миссис Раск.

— Благослови вас Бог, мисс Мод, дорогая. Не тревожьтесь, время — оно быстро пройдет, и не заметите, как пробежит, а вы вернетесь с молодым красавцем, с джентльменом — кто знает, может, ровней самому герцогу Веллингтону<sup>{37}</sup>? — который станет вам мужем, я же обо всем позабочусь лучше не надо... о птицах, собаках... пока вы не вернетесь, и я навещу вас с Мэри, если позволите, в Дербишире... — говорила и говорила она.

Я села в дилижанс, сказала Бранстону, закрывавшему за мной дверцу, «прощайте» и послала воздушный поцелуй... другой, третий миссис Раск, которая все улыбалась, вытирала глаза и кланялась, стоя на ступеньках у входной двери. За экипажем радостно устремились собаки, но Бранстон позвал их обратно и повел в дом — недоумевавших, настороживших уши и поджавших хвосты, с тоской глядевших вслед экипажу. Меня тронула их привязанность, я мысленно благодарила их, почувствовав себя вдруг чужой всем и очень несчастной.

Было ясное безоблачное утро. Решили, что из-за двадцати миль по железной дороге мне не стоит обременять себя пересадкой, и весь путь, все шестьдесят миль, я ехала почтовым трактом — нет приятнее путешествия, если не тревожат думы. Из окна железнодорожного вагона мы видим пейзаж во всем его величии; но вызывает любопытство, дает пищу уму — будто занимательная история, передаваемая из уст в уста, — именно передний план, которым в прежние дни мы могли насладиться, едучи в дилижансе и глядя в окошко. Многообразная жизнь — роскошь и нищета... благородные души и низкие... всевозможные платья, наряды, лохмотья, всякие шляпы... лица цветущие, лица сморщенные, лица добродушные, лица злые... нет конца загадкам, догадкам — многообразная жизнь является нам сцена за сценой, и сцены эти — немые, но яркие, в декорациях самых красочных. Золотые от снопов поля... старые тенистые сады... главные улицы древнейших городов. Приснятся ли сны чудеснее! Найдутся ли книги, способные так же сильно увлечь!

Мы ехали мрачным лесом — мне всегда казалось мрачным место, отведенное «мавзолею», — где покоились мои дорогие родители, теперь уже оба. Я взирала на темную громаду «мавзолея», испытывая не просто щемящее чувство, но особенно острую сердечную боль, и вздохнула с облегчением, когда мы его миновали.

За все утро я не пролила и слезинки. Добрая Мэри Куинс плакала, покидая Ноул, глаза кузины Моника увлажнились, когда она целовала и благословляла меня, обещая навестить в скором времени, а смуглое, худое и живое лицо домоправительницы исказилось, мокрые щеки ее блестели,

что не укрылось от меня, когда я выглядывала из тронувшегося дилижанса. Но я — а горше моего горя не было — не пролила и слезинки. Я только судорожно переводила взгляд с одного знакомого предмета на другой, бледная и взволнованная, не вполне осознавая, что все это оставляю, и удивлялась собственному хладнокровию.

Но когда мы достигли старого моста, охраняемого высокими ивами, и оглянулись на наш бедный Ноул, показавшийся таким сказочно-прекрасным, таким печальным издалика (а с моста лучше всего виден старинный дом под остроконечной крышей, и холмистые луга, и вековые деревья, что держатся, будто кланами, отдельными группами), — наконец пришли слезы, и я тихо, долго плакала, пока сказочная картина не скрылась за взгорьями.

После слез пришло облегчение. Мы меняли лошадей, а потом очутились в краю для меня неизвестном, и новые виды, само чувство дороги оказали свое привычное действие на юную путешественницу, знавшую лишь на редкость уединенную жизнь, — я поняла, что испытываю приятное, в общем, волнение.

Мэри Куинс и я, обе неопытные путешественницы, уже принялись тешить себя надеждой, что до Бартрама-Хо совсем близко, но были горько разочарованы, когда, примерно около часу дня, услышали от провожатого (неприятного человека, скорее конюха, чем слуги, занимавшего место подле нас, охранявшего путниц с их багажом и олицетворявшего тем самым особую заботу моего опекуна обо мне), что до Бартрам-Хо ехать еще добрых сорок миль, в основном через высокогорные районы Дербишира.

Дело в том, что на усилиях лошадей никак не сказывалось наше нетерпение. И когда, остановившись на постоялом дворе, затейливо выстроенном, хотя и небольшом, мы обнаружили, что придется подождать, пока отыщут гвоздь-другой, чтобы закрепить ослабевшую подкову у одной из наших сменных лошадок, то я и Мэри Куинс держали совет: мы обе проголодались и единодушно решили скоротать время за ранним обедом, которым и насладились, приятно беседуя, в причудливом маленьком зале с эркером; в окно был виден прелестный садик, а дальше открывался необычайно красивый вид.

Добрая Мэри Куинс, подобно мне, уже осушила глаза, и мы обе — я с толикой тревоги — гадали, когда же попадем в Бартрам-Хо и как нас встретят. Какое-то время было, конечно, потеряно в приятном зальце, прежде чем мы продолжили путь.

Медленнее всего мы одолевали протяженный подъем по горной дороге, двигаясь зигзагом, как моряки, идущие галсами при встречном

ветре. Забыла название крохотной деревушки — да и деревушкой ли величать группку миленьких домиков, окруженных деревьями, — где нам выделили даже *четырёх* лошадей и двух фореиторов, ведь подъем предстоял трудный. Помню лишь, что там мы с Мэри Куинс, очень уютно устроившись, пили чай и купили имбирных пряников, чудеснейших на вид, но совсем несъедобных.

Большую часть подъема, уже оказавшись в горах, одолевали шагом, а на самых крутых участках нам приходилось покидать дилижанс и идти пешком. Я только радовалась. Прежде я никогда не бывала в горах; и папоротники, вереск, бодрящий воздух, а главное, величественный вид богатого края, который мы оставляли позади, — теперь, на закате, облакавшегося в пастельные тона под легким туманом, что стелился далеко-далеко внизу, — все это совершенно очаровало меня.

Мы едва успели достичь вершины, когда солнце село. Край с этой стороны гор уже накрыла холодная серая тень. Я попросила человека, сидевшего подле нас, указать, где Бартрам-Хо. Туман сгущался, высоко в небе проступил неотчетливый диск луны, которая должна была светить нам, но дожидалась, пока сумерки сменятся ночью. И тщетно высматривала я темную громаду леса, упомянутую нашим провожатым. Чтобы воочию узреть место и его хозяина, мне оставалось запастись терпением на час или на два.

Теперь мы быстро спускались по горному склону. Природа была непривычно суровой и дикой. Дорога граничила с огромным, поросшим вереском болотом. Луна разлила вокруг тусклый серебристый свет, когда мы проезжали мимо цыганского табора. Горели костры, в котлах что-то варилось. Это было первое, что я заметила. Два-три низких шатра... темная, сморщенная старуха... еще одна — настоящие ведьмы... поодаль стояла грациозная девушка, глядевшая нам вслед, впереди в ленивых позах застыли мужчины в странных шапках, пестрых жилетах, в ярких шейных платках и гетрах. Все фигуры казались выписанными резкими, кричащими красками, а темным фоном шатрам, кострам и фигурам служила группа ольховых деревьев.

Я открыла переднее окошко и попросила фореиторов остановиться. Ехавший на задке грум спешил и подошел к окну.

— Это цыгане, да? — спросила я.

— Они и есть, кто ж еще, мисс. — Он поглядел в их сторону со странной улыбкой, выразившей одновременно презрение и суеверный страх; потом я не раз отмечала, что именно таким взглядом крестьяне Дербишира награждали своих вороватых и опасных соседей.

## Глава XXXI

### Бартрам-Хо

Мгновение — и высокая гибкая девушка, черноволосая, черноглазая, как мне показалось, невыразимо красивая, уже стояла у окна и, обнажив в улыбке два ряда жемчужных зубов, то и дело почтительно кланяясь, предлагала — а говорила она с каким-то особым, совершенно не здешним акцентом, — открыть леди ее судьбу.

Я никогда прежде не видела это дикое племя. Дети тайны, дети дорог... Сколько вольности и красоты было в фигуре предо мной! Я взглянула на шатры, вспомнила про ночь, окружавшую нас, подивилась независимости этих скитальцев и почувствовала, что не я — они меня превосходят. Я не могла противиться, а она уже протянула свою тонкую руку уроженки Востока.

— Хорошо, откройте мне мою судьбу, — сказала я, невольно отвечая улыбкой на улыбку пророчицы.

Я повернулась к горничной.

— Мэри Куинс, дайте мне денег. Нет, *не эту* монету. — Я отвергла шестипенсовик, протянутый бережливой Куинс, потому что слышала, будто предсказания сих прорицательниц тем благоприятнее, чем щедрее дающая рука, я же твердо решила приехать в Бартрам со счастливыми предсказаниями. — Вон ту — в пять шиллингов, — потребовала я, и честная Мэри неохотно рассталась с кроной.

Кланяясь, повторяя свое «благодарю» и улыбаясь, красавица с кошачьей грацией тут же спрятала монету, будто украденную, поглядела, продолжая улыбаться, на раскрытую ладонь леди и — к моему удивлению — объявила, что у меня к *кому-то* большая любовь (я уже боялась, она назовет его по имени: капитан Оукли), что он станет невероятно богат и что я выйду за него замуж, что мне предстоит много ездить из края в край в будущем. А еще сказала, что у меня есть враги и они будут временами совсем близко, даже в одной комнате со мной, но не смогут причинить вреда. Я увижу, еще сказала она, как прольется кровь, но — не моя. После всего сделаюсь так счастлива и богата, как сказочная принцесса.

Не заметила ли эта чужеземка обманщица у меня на лице признаков страха, когда говорила о моих врагах, не посчитала ли меня трусихой, чьей слабостью можно воспользоваться? Весьма возможно. Как бы то ни было, она извлекла из складок платья медную булавку с круглой бусинкой-

головкой и, зажав острый конец в пальцах, поднеся сокровище к моим глазам, объявила, что и мне нужна такая же, заговоренная, какую ей дала ее бабка. И пустилась бойко описывать все колдовство, затраченное бабкой на булавку, поспешно добавив, что ни за что с ней не расстанется, а сила ее в том, что если воткнешь булавку в одеяло, то пока ее не вытащишь, ни крысе, ни кошке, ни змее, ни... — тут шли еще два слова из реестра, думаю, на цыганском наречии, которые, как она объяснила, означают — правильно ли я поняла? — первое — злого духа, а второе — «малого, что способен перерезать тебе горло», — так вот им до тебя не добраться и вреда тебе не причинить.

Такой амулет, дала она мне понять, я должна приобрести любой ценой. У нее нет другого. И ни у кого в таборе подобного нет. Стыдно признаться, но я вручила ей почти фунт за ее медную булавку! Поступок отчасти свидетельствовал о моем темпераменте, с которым никогда нельзя было совладать без борьбы и который всегда заставлял опасаться, что «настанет день, когда я пожалею о недопустимой своей горячности», а отчасти поступок объяснялся избытком тревог, выпавших мне в ту пору жизни. Но так или иначе я получила ее булавку, она — мой фунт, и рискну утверждать, что из нас двоих счастливее была я.

Она стояла на дорожной насыпи, кланялась и улыбалась — первая колдунья, с которой мне довелось столкнуться. Мы быстро покатали прочь, и я не могла оторвать взгляд от удалявшейся картины в ярких пятнах костров, с темными людскими фигурами, с ослиами, повозками, белевшими в лунном свете подобно скелетам.

Подозреваю, они без удержу насмешничали над моим торгом и веселились, рассевшись у костров, за ужином из краденых на соседних фермах кур, по праву гордые своей принадлежностью к высшей породе людей.

Мэри Куинс, шокированная моим мотовством, попыталась выразить протест:

— Не по душе мне это, мисс, нет. Они же все, что молодые, что старые, — воры, бродяги, а многие и жалкие побирушки.

— Будет вам, Мэри, не важно. Всем когда-нибудь надо узнать свою судьбу. Но как вы узнаете о своем счастье, не заплатив? Мне кажется, Мэри, мы вблизи Бартрама.

Дорога спускалась по крутому склону горы к петляющей речке; другой ее берег, столь же крутой, порос лесом, темным, ужасным во мраке, а луна светила на беспокойную, судорожно струившуюся внизу воду.

— Тут красивые места, наверное, — сказала я, обращаясь к Мэри

Куинс, которая жевала в углу бутерброд, и тогда она, поправив шляпку, произвела обзор из *своего* окна, откуда можно было увидеть, впрочем, лишь поросший вереском склон.

— Да, мисс, наверное, но уж столько тут этих гор! — И чистосердечная Мэри опять откинулась на подушки и взялась за бутерброд.

Мы мчали теперь на большой скорости. Я чувствовала, что мы подъезжаем... Привстав, насколько это было возможно в дилижансе, я пыталась рассмотреть что-нибудь поверх голов фореиторов. Меня охватило нетерпение, но также и страх, я разволновалась от приближения решающего момента. Наконец внизу завиднелась протяженная, довольно ровная, неравномерно поросшая лесом местность — склон, по которому мы неслись, внезапно закончился.

Мы оказались внизу — и картина прояснилась. Высокая парковая ограда... буйно тянется трава к могучим деревьям, вознесшим над оградой свои ветви... Но мы все несемся, несемся вперед — почти галопом. С одной стороны — старая, сплошь серая стена, с другой — чарующая своей пасторальностью живая изгородь из стоящих вольным строем ясеней.

Но фореиторы натягивают поводья, и, взяв чуть в сторону, следуя за делающей полукруг и ярко освещенной луной оградой, мы проезжаем еще немного и останавливаемся перед громадными фантастическими железными воротами меж двух высоких, с каннелюрами, колонн из белого камня, заросших травой, увитых плющом, над которыми по широкому антаблементу — щитодержатели со щитами, герб Руфинов, омываемый дождями Дербишира уже века, знавшие долгую чреду поколений этой фамилии... почти сглаженный временем след резца... и колонны, выбеленные, призрачные, стоят как два гигантских стража, соединивших руки, чтобы не пропустить нас в заколдованный замок, железные же ворота, в узоре из красных прожилок, кажутся широкими одеждами, ниспадающими до земли с их вытянутых рук.

Провожатый выбрался из дилижанса, распахнул громадные ворота, и мы двинулись — меж двух рядов сумрачных деревьев-старожилов — по прямой, просторной аллее, ширина которой соизмерялась с величественным фасадом дома. Дом был выстроен из белого камня, напоминавшего кейнский, добычей которого славится Дербишир.

Итак, вот он, Бартрам, здесь живет дядя Сайлас. У меня перехватывало дыхание, когда мы приближались к старинному дому. Луна ярко светила на белый фасад, открывая взору не только богатую архитектурную отделку дома, колонны, портал, вычурную резьбу, роскошную лестницу у входа, но и пятна мха, расплзавшиеся по белизне. Два старых дерева-великана,

поваленных последней бурей, лежали, обнажив корни, и желтые листья трепетали на ветвях, которым уже никогда не покрыться почками, не вознестись в весеннее небо. Деревья упали в правой части двора, сплошь поросшего, как и аллея, буйными сорными травами.

Все эти знаки запустения и распада сообщали Бартраму удручающий вид, почти наводили ужас, контрастируя с величавыми пропорциями постройки и грандиозностью архитектурного стиля.

Резким красным светом светилось широкое окно во втором ряду, и мне показалось, кто-то украдкой выглянул и отпрянул. В ту же минуту яростно залаяли собаки, стремительно выбежавшие во двор из полуоткрытой боковой двери, и под лай, под громкие окрики человека, соскочившего с задка экипажа, чтобы отогнать собак, под щелканье кнутов, пущенных в ход фореяторами, мы подъехали к пышной лестнице, которая вела в этот печальный дом.

Не успел наш провожатый взяться за дверной молоток, как дверь открылась, и перед нами в неярком свете свечей предстали три фигуры. Ветхий старичок, высохший, чрезвычайно сторбленный, в белом шейном платке и черном одеянии, которое казалось непомерно свободным для него, будто бы сшитым для кого-то другого, стоял, держась рукой за дверь; рядом была юных лет толстушка, впрочем, прехорошенькая, из под ее невероятно короткой юбки виднелись обутые в башмаки полные ноги с изящными щиколотками; а неряшливо одетая горничная, похожая на старую поденщицу, выглядывала из-за спины толстушки.

Строй домочадцев, собравшихся приветствовать гостью, конечно же не поражал великолепием. Наши сундуки были осторожно сняты с дилижанса провожатым, который, не умолкая, кричал — то на собак, то обращаясь к старичку у двери. Старичок тоже что-то глухо говорил дрожащим голосом, на что-то указывал, но я не расслышала его слов.

«Возможно ли это... неужели этот жалкий старик — дядя Сайлас?»

Мысль ошеломила меня, но почти мгновенно я осознала: он слишком мал. И я почувствовала облегчение, даже обрадовалась. Мне показался странным такой порядок — уделять внимание прежде всего сундукам и коробкам, оставляя путниц закрытыми в экипаже, который к этому времени им уже невыразимо наскучил. Об отсрочке я, впрочем, не сожалела: волнуясь, каким будет первое впечатление от встречи, невольно желая его отдалить, я боязливо отодвинулась в темноту экипажа и разглядывала происходящее при свете свечей и луны, сама — невидимка.

— Скажи «да» или «нет» — моя кухня здесь, в экипаже? — в короткую минуту затишья разразилась криком сдобная юная леди, топнув

ногой в своем черном крепком башмаке.

Да, конечно же я была здесь.

— А чего ж ты — вот нечисть! — держишь ее, не выпускаешь, ты, болван! Беги, Жужель, — ничего не сделаешь, пока не напомнят, — выпусти кузину Мод. Добро пожаловать в Бартрам! — Это приветствие было выкрикнуто на удивление высоким голосом и повторено, прежде чем я успела опустить стекло и сказать «благодарю». — Я бы сама вам открыла... хороший, хороший пес, ты не укусишь, нет, никогда не укусишь кузину, — последние слова относились к громадному мастиффу, который крутился возле нее, теперь почти совсем успокоившись. — Только я не могу сходить с этого места вниз. Хозяин сказал, мне нельзя.

Дряхлый старик, звавшийся Жужель, уже открыл дверцу, наш провожатый — он больше походил на «коридорного» по роду своих обязанностей — откинул подножку, и я, с трепетом, превосходившим пережитый мною позже, когда я была представлена монаршей особе, соскользнула вниз, принося себя на суд слишком непосредственно выражавшейся юной леди, которая стояла на самом верху лестницы, с намерением оказать мне церемонный прием.

Она крепко обняла меня, удостоила, как она это называла, сердечным лобзанием в обе щеки и потянула в холл, явно радуясь встрече.

— Ты устала чуток, я точно знаю... А кто та старуха, кто? — припав к моему уху, спросила она напряженным шепотом, с каким на сцене говорят реплики «в сторону» и от какого я оглохла на пять минут. — Ой-ой-ой, горничная! А старая-а-а, ха-ха-ха-ха! Но посмотри-ка — важная! И накидка черного шелку на ней, и креп. А я в бумажной сарже. Да в дрянном заношенном кобурге<sup>[38]</sup> — по воскресеньям. Так не годится, срам! Но ты устала, устала. Подъем тяжел, говорят, от Ноула. Тракт я знаю чуток — до того места, где «Кошка и весельчак», у дороги на Лондон. Идем, а? Может, сперва зайдешь поговорить с Хозяином? Папаша, знаешь, чуток блажной теперь. — Дальше выяснилось, что просто немощен *телом*. — У него по пятницам его авралгия — или как там он свою болезнь называет, — а ревматизм — это когда он требует старого Жужеля... Хозяин в своей комнате. Или, может, хочешь, сперва пройти к себе в спальню? Перепачкаешься, говорят, путешествуя.

Да, я предпочитала вначале освежиться. Мэри Куинс прикрывала меня со спины. Моя говорливая родственница между тем выстреливала словами без передышки и, казалось, не думала умолкать — настало время для каждой из нас оценить противную сторону. Юная леди, не колеблясь, дала мне понять, что я заслуживаю ее одобрения, она направила взгляд мне

прямо в лицо, выхватывая черту за чертой, успела пощупать материю моей накидки, осторожно зажав меж большим и указательным пальцами, долго перебирала мою цепочку с брелоками и, взяв мою руку, как взяла бы перчатку, пристально изучила кольцо.

Не могу, конечно, сказать в точности, какое впечатление я произвела на нее. Что до меня, то кузина Милли показалась мне моложе своих лет, я увидела девушку полноватую, хотя и с тонкой талией, с волосами светлее моих, с глазами необыкновенной голубизны, почти круглыми, а вообще — прехорошенькую. Она выступала с поразительной важностью, вскидывала голову, в ней чувствовались надменность и дерзость, хотя выражение лица было скорее добродушным, бесхитростным. Она говорила громко — чистым звенящим голосом — и шумно смеялась.

Если я безнадежно отстала от моды, что бы кузина Моника сказала о ней? Она была одета — о чем сама объявила — в черную бумажную саржу — в знак скорби, — но короткая ее юбка вызывала в памяти баварских подметальщиц с изображений, виденных мною в журналах. На ней были белые чулки и черные кожаные башмаки с пуговками из кожи, с подошвами, поразительно толстыми для дамской обуви, — я тотчас вспомнила ботинки землекопов, какие часто приводили меня в восхищение на страницах «Панча». Должна добавить, что руки, столь прилежно обследовавшие мой наряд, были хотя и красивы, но черны от загара.

— А как ее имя? — в требовательном тоне осведомилась юная леди и кивнула в сторону Мэри Куинс.

У старой девы, охваченной ужасом, глаза округлились, будто она, всю жизнь проведя вдали от моря, вдруг узрела кита. Однако Мэри присела в реверансе А я ответила.

— Мэри Куинс, — повторила юная леди. — Добро пожаловать, Куинс. Как же назвать ее? У меня они все как-нибудь прозываются. Старый Джайлз — Жужель. Имечко сперва пришлось ему не по вкусу, но теперь откликается — и еще как проворно. Старуха Люси Уайт, — говорившая кивком указала на пожилую женщину, — Лючия Ди л'Амур у меня. — Я поняла, что это было несколько искаженное «Ламмермур», — моя кузина временами допускала ошибки, к тому же не слишком хорошо знала итальянскую оперу<sup>[39]</sup>. — У меня забава такая, и, чтобы короче, — я кричу ей: «Л'Амур!» — Кузина рассмеялась заразительным смехом, и я невольно присоединилась к ее веселью. Она, подмигнув мне, крикнула во весь голос: — Л'Амур!

На что сморщенная, в громадном чепце старуха — настоящая матушка

Хаббард<sup>{40}</sup>, — присев, ответила:

— Да, мэм.

— Сундуки и коробки внесли?

Оказалось, уже внесли.

— Хорошо, теперь идемте. Но как же мне назвать тебя, Куинс?

— К... как вам будет угодно, мисс, — проговорила Мэри, сдержанно поклонившись.

— Что это ты квакаешь, точно простуженная лягушка, Куинс. Будешь Хрипис пока. Вот так. Идем с нами, Хрипис!

И кузина Милли, взяв под руку, потянула меня наверх, но на ступеньках лестницы отпустила, отклонилась назад и увидела мой наряд под иным углом зрения.

— Эй, кузина! — вскрикнула она, хлопнув ладонью по моему турнюру. — Какого черта тебе понадобились все эти подушки-подкладки? Ты потеряешь их, девчонка, в первый же раз прыгая через крапиву!

Я была в изумлении. И едва удержалась от смеха. При исполненном важности пухлом личике, при неописуемо нелепом наряде речь ее звучала для меня настолько странно, что я оказалась бы в меньшем затруднении, сведи меня случай с дикаркой из-за дальних морей.

Но до чего же роскошной была лестница, по которой мы поднимались, — с внушительными резными перилами из дуба, а на площадке — с громадными столпами, увенчанными резными фигурами щитодержателей со щитом, на котором красовался герб. Великолепные дубовые панели закрывали стены. О внутреннем убранстве дома я, однако, не могла судить, ведь у дяди Сайласа ни холл, ни галерея не освещались, для нас же мерцала единственная свеча; впрочем, я знала, что еще успею все разглядеть при свете дня.

Ступая по темному дубовому настилу, мы приблизились к моей комнате. И я получила возможность не спеша созерцать величественные пропорции дома. Два больших окна за потускневшими шторами были высоки, лишь вполовину ниже окон Ноула (а Ноул — в своем роде, красивый дом). Дверные рамы, как и оконные, покрывала богатая резьба. Здесь был огромный размеров камин — с облицовкой, вновь поражающей причудливым резным орнаментом. Я не ожидала увидеть такое великолепие... Никогда прежде мне не доводилось спать в столь пышном покое.

Но мебелировка, должна отметить, никак не соответствовала претенциозности интерьера. Французская кровать с ковром возле нее в три квадратных ярда, небольшой стол, два стула, туалетный столик — это все,

что я обнаружила в отведенной мне спальне; не было ни шкафа, ни комода. Мебель, выкрашенная в белый цвет, такая легкая на вид, незначительная и просторно расставленная, занимала лишь половину внушительного, изысканного покоя, другая же его половина представала в наготе, горестно величавой.

Кузина Милли убежала, чтобы доложить о нашем прибытии Хозяину, как она именовала дядю Сайласа.

— Ну, мисс Мод, никогда не думала увидеть такое! — воскликнула чистосердечная Мэри Куинс. — А вы видели подобную юную леди? Она столько же леди, сколько я, видит Бог! А во что одета? Ну и ну! — Мэри, сокрушаясь, покачала головой и огорченно прищелкнула языком, так что я не смогла удержаться от смеха. — Мебель, мебель-то где здесь? Ну и ну! — Она снова прищелкнула языком.

Вскоре, впрочем, вернулась кузина Милли. Она с любопытством дикарки наблюдала за тем, как распаковывали мои сундуки, и выражала свое восхищение сокровищами, занимавшими место на полках стенных шкафов, которые, будто в буфетной, находились в нишах и закрывались массивными дубовыми дверьми, с торчавшими из них ключами.

Пока я торопливо поправляла свой туалет, она то и дело развлекала меня замечаниями уже совсем личного свойства:

— Твои волосы чуток темнее моих, но оттого не лучше, а? Мой цвет, говорят, такой, как надо. Не знаю... А что скажешь ты?

По этому пункту я великодушно уступила ей право первенства.

— Вот бы у меня были твои белые руки. Тут ты меня побила! Я знаю, это все перчатки, — не выношу их. Стану надевать теперь... руки и *вправду* белым-белы. — Она недолго помолчала. — А кто, интересно, красивее — ты или я? Не знаю, вот уж я — не знаю. Ты-то как думаешь?

Я встретила откровенным смехом этот вызов, и она чуть покраснела — в первый раз, по-видимому, смутилась.

— Ты и *вправду* на полдюйма выше меня — ведь так?

Я была выше на целый дюйм, поэтому с легкостью согласилась на ее допущение.

— Да, ты статная видом! Верно, Хрипс? Но платье у тебя прямо до пят! — Она перевела взгляд с моего на свое и вскинула ногу в ботинке землекопа, чтобы убедить себя, что ее платье теперь могло бы сравниться с моим. — Мое чуток короче, чем надо? — неуверенно предположила она. — Кто там? А, это ты! — обратилась она к появившейся в дверях матушке Хаббард. — Входи, л'Амур, тебе всегда рады, входи!

Горничная пришла сообщить, что дядя Сайлас был бы счастлив видеть

меня, как только я буду готова, а кузина Миллисент проводит в комнату, где он ожидает гостью.

В тот же миг дух комедии, посетивший нас благодаря неопишуемой эксцентричности моей кузины, улетучился, и меня объял благоговейный страх. Вот сейчас я увижу его — он будет поблекшим, сломленным, постаревшим, но все же тем самым человеком, чей живописный образ пробуждал фантазию и мучил меня многие и многие дни моей, пусть и недолгой, жизни.

## Глава XXXII

### Дядя Сайлас

Кузина, думаю, тоже испытывала некий страх, хотя и несоизмеримый с моим, потому что я заметила тень, набежавшую на ее лицо; она хранила молчание, когда мы, бок о бок, шли галереей в сопровождении древней старухи, несшей свечу, к покою, какой я бы назвала приемным залом дяди Сайласа.

Милли зашептала, обращаясь ко мне, вблизи двери:

— Не топай так, у Хозяина слух точно у горностая, и шум его раздражает.

Сама она ступала на цыпочках.

Мы остановились перед дверью возле верхней площадки внушительной лестницы, и л'Амур робко постучала костяшками распухших пальцев, обезображенных ревматизмом.

Внятный, звучный голос изнутри пригласил нас войти. Старая служанка распахнула дверь, и в следующее мгновение я оказалась пред дядей Сайласом.

В дальнем конце просторной, обшитой панелями комнаты подле камина, в котором держалось невысокое пламя, за маленьким столиком — на нем горели четыре свечи в высоких подсвечниках из серебра — сидел необычного вида старик.

Благодаря темным панелям у него за спиной, огромным размерам комнаты, в углах которой свет, ярко освещавший его лицо и фигуру, почти совсем терялся, вдруг возник... написанный мастерской рукой голландского живописца впечатляющий и странный портрет.

Лицо словно мрамор... устрашающе тяжелый взгляд памятника, но глаза — для старика поразительно живые и непостижимые; непостижимость их только усиливалась от того, что брови оставались все еще черными, хотя шелковистые волосы, длинными прядями спускавшиеся почти до плеч, были чистейшее серебро...

Он поднялся, высокий, худой, чуть сутулый, в широкой тунике черного бархата, походившей скорее на халат, чем на куртку... весь в черном, если бы не видневшаяся из-под широких рукавов туники белоснежная сорочка, застегнутая на запястьях тогда уже не модными, аристократично поблескивавшими запонками-бриллиантами.

Я знаю, мои слова бессильны выразить суть этого образа, на который

потребовалось две краски — черная и белая, образа, внушавшего благоговейный трепет, бескровного, наделенного непостижимым взглядом горящих глаз, таким властным, таким смущающим. Что в нем было — насмешка... мука... ожесточенность... терпение?

Фантастические глаза странного старца неотрывно смотрели на меня, когда он поднялся, и сохраняли все тот же привычный прищур, сообщавший лицу при определенном освещении злобное выражение, когда старец, с улыбкой на тонких губах, шагнул мне навстречу. Он сказал что-то своим внятным, спокойным, но холодным голосом — смысл сказанного я от волнения не уловила, — взял обе мои руки в свои, приветствуя меня с грацией иного века, и мягко подвел, подробно расспрашивая — я едва понимала о чем, — к креслу, стоявшему рядом с тем, которое занимал он сам.

— Мне незачем представлять вам мою дочь — я пощажен от сего унижения. Вы найдете ее, думаю, добродушной и искренней, *au reste*<sup>[59]</sup>, боюсь, — деревенской Мирандой, подходящей скорее в общество Калибану, нежели немощному старому Просперо<sup>[41]</sup>. Не так ли, Миллисент?

Старик ждал ответа от моей эксцентричной кузины, которая, под его неотрывным, насмешливо-презрительным взглядом вспыхнула и в замешательстве обратила глаза на меня — не подскажу ли.

— Не знаю, кто она... эти... что один, что другой.

— Прекрасно, моя дорогая, — проговорил он с пародийным поклоном. — Вы видите, Мод, какая почитательница Шекспира у вас кузина. Однако с некоторыми нашими драматургами она, несомненно, познакомилась: она так твердо заучила роль мисс Хойден!<sup>[42]</sup>

Негодование дяди по поводу необразованности бедной кузины, приправленное язвительностью, было, конечно, более чем странным: возможно, и не его следовало в этом винить, но уж ее — ни в коей мере.

— Вот она, бедняжка, перед вами — вот чем оборачивается отсутствие благородного воспитания, благородного окружения и, боюсь, врожденного благородного вкуса. Но пребывание в хорошей французской монастырской школе делает чудеса, и я надеюсь устроить сие со временем. А пока мы смеемся над нашими бедами и, верю, сердечно любим друг друга. — С ледяной улыбкой он протянул тонкую белую руку Милли, и та, испуганная, подскочила, схватила ее, а он повторил, кажется, едва сжимая в ответ руку Милли: — Да, я верю, очень сердечно... — И, вновь оборачиваясь ко мне, опустил ее руку на подлокотник своего кресла с видом человека,

бросающего что-то ненужное из окна экипажа.

Принеся извинения за бедную Милли, явно смущенную, он перевел разговор, к ее и моему облегчению, на иные темы: то и дело он высказывал опасение, что я утомлена дорогой, выражал беспокойство, что я еще не ужинала, не пила чаю, но эта озабоченность мною, высказанная вслух, кажется, тотчас покидала его, и он продолжал разговор, вскоре сосредоточившись — его расспросы были крайне мучительны для меня — на болезни моего дорогого отца, симптомах — о чем я ничего не могла сообщить — и на его привычках — о чем я рассказала.

Возможно, он вообразил, что существует какая-то фамильная предрасположенность к органическому заболеванию, от которого умер его брат, и вопросы показывали, что он скорее волновался о продлении собственной жизни, чем желал глубже вникнуть в причины смерти моего дорогого отца.

Как мало оставалось ему того, что делает жизнь желанной, и как страстно он — впоследствии я поняла это — цеплялся за жизнь! Разве не видел каждый из нас тех, кому жизнь не только *нежеланна*, но — настоящая мука... череда телесных пыток, и, однако, они держатся за нее с отчаянным и жалким упорством — неразумные состарившиеся дети.

Посмотрите, с каким упрямством уже сонное дитя противится неизбежно наступающему часу сна. Глазки смыкаются, и надо с усилием раскрыть их пошире, надо затеять игру, суетиться, чтобы не уступить дреме, а ее жаждет само естество. Бодрствование для дитяти — попытка, капризный несмышлениш измотан, но умоляет отсрочить час, отказывается от отдыха, твердит, что не хочет, не хочет спать, — до того самого момента, когда мать возьмет его на руки и понесет, сладко заснувшего, в детскую. Так же и с нами, состарившимися детьми земли, для которых назначен долгий сон — смерть, добрая мать которым — природа. Так же противясь, мы расстаемся с сознанием, картина перед глазами до последнего мига пробуждает у нас интерес, птица в руке, пусть больная, линяющая, нам дороже всех ослепительных обитателей райских кущ. Картина перед глазами плывет, речи, музыка звучат будто дальние ветры, далекие реки, но — не время еще, мы еще не устали, дайте нам еще десять... еще пять минут, и, противясь назначенному, мы запинаемся — падаем... в сон без сновидений, уготованный природой пресытившимся и утомленным...

Потом он произнес краткую хвалу брату, изысканную и, в своем роде, красноречивую. Он в высшей мере обладал достоинством, слишком мало ценимым, думаю, нынешним поколением, — выразить мысли с

безупречной точностью безупречно плавной речью. Было в его речи также довольно уместных цитат, цветистых французских оборотов, делавших ее одновременно изящной и несколько искусственной. Неторопливая, легкая, отточенная и совершенно для меня новая, она не могла не очаровывать.

Дальше он сказал, что Бартрам — это храм свободы, что благополучие всей жизни закладывается в юности: недолгие, но проведенные на чистом воздухе, в подвижных занятиях юные годы — вот основа этого благополучия; и добавил, что образованности, а значит, и жизненному успеху обычно сопутствует здоровье. А поэтому, пока я в Бартраме, я вольна располагать своим временем, и чем чаще я буду совершать набеги в сад, чем больше буду бродить в лесу, тем лучше.

Какой он несчастный инвалид — сетовал он затем, — как же доктора ограничивают страдальца с его неприхотливыми вкусами. К стакану пива, к бараньей отбивной — образец обеда для него — он не смеет и прикоснуться. Доктора вынудили его пить легкие вина, которые ему отвратительны, поддерживать жизнь этой вздорной пищей, аппетит к которой проходит вместе с молодостью.

На приставном столике, на серебряном подносе, стояла высокая бутылка рейнского, рядом — тонкий, розового стекла, фужер, и страдалец с капризным видом указал на них дрожащей рукой.

Но если вскоре он не почувствует себя лучше, он сам займется своим здоровьем и предпочтет диету, оправданную природой.

Он указал рукой на шкафы с книгами и объявил, что книги в моем распоряжении, пока я в этом доме; впрочем, забегаю вперед, скажу, что разочаровал в обещаниях. Наконец, заметив, что я, должно быть, утомлена, он поднялся, с церемонной нежностью поцеловал меня и опустил руку на громадную, как я поняла, Библию с двумя широкими шелковыми закладками, красной и золотистой, — одна, догадалась я, отмечала место в Ветхом Завете, другая — в Новом. Библия лежала на маленьком столике, где стоял подсвечник со свечами, и рядом я заметила прелестный граненый флакон одеколona, золотой, усыпанный драгоценными камнями пенал, украшенные гравировкой часы с репетиром, цепочку, печатки. Никаких признаков бедности комната дяди Сайласа, разумеется, не обнаруживала. Опустив руку на Библию, он выразительно произнес:

— Помните об этой книге, в ней пребывала вера вашего отца, в ней он обрел награду; на нее только и уповаю. Обращайтесь к ней, возлюбленная моя племянница, днем и ночью как к непреложной истине жизни.

Он возложил свою тонкую руку мне на голову, благословил и приложился губами к моему лбу.

— Ну-у-у-о-ой, — раздался громкий голос кузины Милли.

Я совсем забыла о ее присутствии и, чуть вздрогнув, обратила взгляд на нее. Кузина сидела в очень высоком старомодном кресле, она явно успела вздремнуть и теперь, мигая, смотрела на нас своими круглыми, остекленевшими глазами и болтала ногами в белых чулках и башмаках землекопа.

— Ной? Вы хотите высказаться о сем праведнике? — осведомился ее отец, с ироничной учтивостью склонившись к ней.

— Ну-у-у-о-ой, — повторила она, преодолевая сон. — Ведь я не храпела? Ну-у-у-о-ой...

Старик презрительно улыбнулся и, слегка передернув плечами, обернулся ко мне.

— Покойной ночи, моя дорогая Мод. — Обращаясь вновь к Милли, с утонченной язвительностью он проговорил: — Не лучше ли вам проснуться, дражайшая? Ваша кузина не откажется, вероятно, поужинать — побеспокойтесь об этом. — И он проводил нас к двери, за которой дожидалась л'Амур со свечой.

— Я страшно боюсь Хозяина... Я храпела?

— Нет, дорогая, я, по крайней мере, не слышала, — сказала я, не в силах сдержать улыбку.

— Если и нет, то еще чуток — и захрапела бы, — задумчиво проговорила она.

Мы застали бедную Мэри Куинс дремавшей возле камина, но уже скоро пили чай со всякими вкусностями, и Милли несколько не смущалась своего аппетита.

— Ох и *перетряслась* я, — сообщила Милли, уже пришедшая в себя. — Когда он подмечает, что я дремлю, боюсь, как бы не стукнул своим пеналом по голове! Чего дивишься, девчонка? Это ж больно!

Сравнивая благовоспитанного и велеречивого старого джентльмена, только что виденного мною, с этим поразительным образчиком леди, я сомневалась: его ли она дочь.

Впоследствии, впрочем, мне стало известно, как мало он достаивал ее — не скажу «своего общества» — просто своего присутствия, я узнала, что возле нее не было ни единого человека, хоть сколько-нибудь образованного, что она без всякого присмотра носилась по Бартраму, что никогда — разве что в церкви — не встречала людей, равных себе по положению, что чтению и письму, которыми едва владела, она училась — в редкие полчаса — у особы, которую не только не заботили ее манеры и внешний вид, но которая, возможно, забавлялась ее гротескностью, и что

никто из принимавших в ней участие не сумел бы — по причине собственной неосведомленности — хоть на крупицу сделать из моей кухни девушку более воспитанную, чем я нашла ее. Чему удивляться? Мы не представляем, сколь мало получаем в наследство, сколь многому просто учимся, — пока не возникнет пред нами печальное зрелище, подобное бедняжке Милли.

Когда я легла в постель и стала перебирать в памяти события дня, он показался мне целым месяцем чудес. Дядя Сайлас не покидал мои мысли: такой серебристый голос для старика, такой сверхъестественно нежный... манеры такие приятные, мягкие... лицо улыбочное, страдальческое, призрачное. Он уже не был тенью, я узрела его наконец во плоти. И однако — больше ли он для меня, чем тень? Я смежила веки и увидела его, неподвижного, пред собой — в черном одеянии медиума; мертвенная бледность его лица наполняла меня страхом и болью... ослепительной белизны лицо... и эти ввалившиеся, горящие, ужасные эти глаза! Казалось, приоткрылся полог кровати и ко мне приблизилось привидение.

Я узрела его, но он по-прежнему тайна для меня... чудо из чудес. Живое лицо не больше разъясняло прошлое, чем портрет обозначал будущее. Он по-прежнему был загадкой и грезой. С этими мыслями я уснула.

Мэри Куинс, спавшая в гардеробной — ведущая туда дверь, вблизи моей кровати, оставалась открытой, — Мэри Куинс, оберегавшая нервическую девушку от привидений, разбудила меня, и, осознав, где нахожусь, я в тот же миг вскочила с постели и устремилась к окну. Оно выходило на аллею и во двор, но от входа нас отделял целый ряд окон, под нашим же распростерлись две гигантские липы с вывороченными корнями — те самые, которые я заметила, когда мы подъезжали к дому.

В ярком свете утра я еще отчетливее увидела знаки запустения и разрушения, поразившие меня накануне вечером. Двор зарос травой, изредка приминаемой колесами экипажа или ногами посещавших Бартрам гостей. Эта унылая трава особенно густо росла по краям двора, а под окнами, вдоль стен влево, к тому же буйно разрасталась крапива. Всю аллею тоже скрывала трава, и только по самой середине узкая полоска земли еще напоминала, что здесь проходит дорога. Красивая, с резными перилами, лестница у входа темнела от пятен лишайника, в двух местах балюстрада была разрушена. Картину запустения усугубляли два поваленных дерева, в ветвях, в пожелтой листве которых прыгали малые птички.

Я еще не успела завершить свой туалет, когда в комнату бодрым шагом

вступила кузина Милли. В то утро нам предстояло завтракать одним. «Вот радость», — прокомментировала она. Иногда Хозяин велит ей завтракать вместе с ним. И тогда будет «уедасть» ее, пока ему не принесут газету, часто такого наговорит, что она «ревмя ревет», он же только больше ее «подкусывает», а потом «выпроводит — чтоб шла к себе». Но она намного лучше его, какие бы там «разговоры он ни разговаривал».

— Ведь *лучше*? Лучше? Лучше?

Она с такой настойчивостью, с таким пылом требовала ответа, что я уклоняясь от присуждения пальмы первенства либо родителю, либо дочери была вынуждена сказать: мне очень нравится моя кузина. И подтвердила слова поцелуем.

— Я точно знаю, кто из нас, по-твоему, лучший, уж это-то я понимаю, просто ты боишься его, а ему нечего было вчера подкусывать меня... ведь подкусывал, вот только я его ни чуточки не разберу. Но разве он не ябеда, разве не ябеда?

Вопрос вопроса труднее. Я опять поцеловала ее и попросила никогда не вынуждать меня говорить о дяде в его отсутствие то, что я не посмела бы сказать ему в глаза.

Мои слова ее удивили, она пристально смотрела на меня какое-то время, а потом сердечно рассмеялась и, повеселев, кажется, постепенно смягчилась к отцу.

— Иногда, когда заглядывает священник, Хозяин требует меня... на него находит набожность в шесть по вечерам... они читают Библию и молятся. Ого еще как! Тебе, девчонка, тоже доведется испробовать... и не скажу, чтобы мне это было совсем не по вкусу, нет, не скажу!

Мы завтракали в крохотной комнатке — почти в отдельном кабинетике, примыкавшем к большой гостиной, явно никем не посещаемой. Трудно было вообразить сервировку скромнее и мебель беднее, чем в нашей комнатке. Но почему-то мне там понравилось. Все переменилось для меня — но «опрощение» вначале всегда забавляет.

## Глава XXXIII

### Уиндмиллский лес

Мне не достало времени удовлетворить любопытство, пройдя по старому величественному дому, — Милли уже тянула меня в «ежевичный дол», и я смогла увидеть не больше того, что открывалось взгляду на пути из моей комнаты и обратно.

Полному разрушению дома воспрепятствовал мой дорогой отец: кровля, окна, каменная кладка стен, деревянная отделка — все постоянно чинилось. Но помимо ветшания всюду были следы бедности и запустения, вызывавшие у меня горечь. Несомненно, лишь ничтожно малая часть дома оставалась жилой, длинные коридоры и галереи тянулись пыльные, безмолвные, пересекались другими коридорами и галереями — их отдаленные темные своды пробуждали чувство гнетущей тоски. Это было одно из тех громадных сооружений, в каких можно легко заблудиться... Сладостная дрожь прошла по мне, когда я подумала: как же оно, должно быть, похоже на ту, описанную миссис Радклиф, восхитительную, окруженную угрюмым лесом старинную обитель, где среди молчаливых лестниц, сумрачных переходов, длинных анфилад величественных, но пустынных комнат семья де ла Мот нашла свое печальное убежище<sup>[43]</sup>.

Нам с кузиной Милли, однако, предстояло блуждать под открытым небом, и несколькими коридорами она вывела меня к двери на заросшую террасу. Мы спустились с террасы по широкой лестнице. И двинулись дальше, ступая по невысокой траве под старыми деревьями. Милли, обнаруживая прекрасное расположение духа, болтая без умолку, вышагивала в своем куцем платье, ботинках землекопа и выдавшей виды шляпке, с палкой в руке и без перчаток. Она удивила меня своими речами, которые, мне казалось, очень бы подошли школяру, вспоминающему о веселых каникулах; порой она употребляла словечки, над которыми я, не в силах сдержаться, открыто смеялась, что ей, по-видимому, совсем не нравилось.

Она хвасталась тем, как далеко прыгает, как «закидывает снежками парней» зимой, и сообщила, что может проскользнуть по льду на две своих палки дальше, чем Бриддлз, пастух.

Подобными рассказами она меня и развлекала.

Поместье было восхитительно диким. Мы вошли в огромный парк, где

чередовались, радуя глаз, низины и горки, где по склонам, по равнинным участкам стояли могучие деревья — то плотными купами, то расступаясь. И вот наконец мы спустились в глубокую живописнейшую лощину: серые камни проглядывали меж папоротников и цветов, уступы по ее склону, покрытые мягкой травой, темнели под серебряными стволами берез, красневшим шиповником и дубами — здесь в туманные ночи король эльфов с дочерьми, наверное, скользили на воздушных конях.

И этот прелестный дол скрывал в своей глубине кусты ежевики, подобных которым по красоте я не видела, — со сказочно крупными ягодами. Срывая ягоды, отдавшись непринужденному разговору, мы наслаждались прогулкой.

Вначале меня только забавляли нелепые манеры и речи Милли, которые я не смогу изобразить правдиво просто потому, что время стерло из памяти много подробностей. Впрочем, ее нелепость была неопишуемой — я почти беспрерывно боролась со смехом.

За бурлеском, однако, я увидела драму.

Это создание, образованное не больше коровницы, обладало — как я постепенно поняла — врожденной одаренностью, которую следовало бы развить. У Милли был мелодичный голос и удивительно тонкий слух; она, несомненно, намного превосходила меня в рисовании. Словом, оказалась необычайно талантливой.

Бедная Милли и думать не желала о книгах — за всю жизнь она справилась едва ли с тремя. Одной из них, над которой она привычно зевала, вздыхала, в которую всматривалась с утомленным видом по часу каждое воскресенье, подчиняясь требованиям Хозяина, были проповеди — внушительный том времен начала правления Георга III<sup>[44]</sup>. Скучнее собрания не найти. Не думаю, что она читала еще что-нибудь, но была в десять раз сообразительнее половины пользующихся библиотекой юных леди, которых встречали и вы и я. Мне предстояло провести долгие месяцы в Бартраме-Хо, я узнала от Милли — да и прежде слышала, — на какое уединение обречена круглый год, и я поддалась нелепому страху, что невольно усвою ее чудовищный диалект, а затем обращусь в некое ее подобие. Поэтому я решила сделать для нее все, что могла: обучить всему, что знала сама, если она согласится, и понемногу, если это будет возможным, привить бедняжке правильную речь и приличные, как выражаются в пансионах, манеры.

Но вернусь к нашей прогулке в Бартрам-Чейз, или на Ловлю, как называлось то место. Нельзя, разумеется, бесконечно лакомиться ежевикой — спустя какое-то время мы двинулись дальше этим прелестным

долом; он спускался в широкую лесистую котловину, замыкаемую разорванным кольцом гор, то отступавших, образуя своего рода заливы, то выдававшихся мысами, на которых темнели деревья.

Там, где узкий дол нисходил, расширяясь в котловину, его пересекал высокий дощатый забор, обветшавший на вид, но все еще крепкий.

В заборе виднелась калитка, грубо сколоченная, но такая же крепкая; подойдя ближе, мы увидели возле нее девушку — она стояла, прислонясь к толстому столбу-опоре и положив руку на верхний край калитки.

Роста девушка была не высокого и не низкого, впрочем, выше, чем казалась издали. Тонкой талии я не разглядела. Как сажа чернели ее волосы, лоб был выпуклый, но узкий, глаза — темные, блестящие, чудесные; еще, пожалуй, хороши у нее были только зубы — ровные и очень белые. Лицо было довольно круглое, смуглое, как у цыганки, при этом настороженное и угрюмое. Она не двинулась с места, лишь с притворным равнодушием изучала нас из-под темных ресниц. Весьма живописно смотрелась она в своей запыленной красной юбке из грубой шерсти, в потрепанном, порыжевшем, когда-то бутылочно-зеленого цвета жакете с рукавами до локтя, обнажавшими ее загорелые руки.

— Чурбанова дочка, — сообщила Милли.

— Кто это — Чурбан? — спросила я.

— Мельник. Вон там... гляди. — И она указала на ветряную мельницу, венчавшую холм, что одиноким островком торчал над верхушками деревьев.

— Мельница не мелет сегодня, Красавица? — выкрикнула свое приветствие Милли.

— Не-а... красавица... — мрачно ответила девушка, не шелохнувшись.

— А куда подевались приступки? — в ужасе вскричала Милли. — Их-то возле забора нету!

— Стало быть, нету, — подтвердила лесная нимфа в красной юбке и лениво улыбнулась, обнажив свои великолепные зубы.

— И кто же это наделал? — строго спросила у нее Милли.

— Не ты и не я, — ответила та.

— Это старый Чурбан, папаша твой! — распаляясь, выкрикнула Милли.

— Может, оно и так, — молвила нимфа.

— И калитка заперта?

— Заперта, — угрюмо проговорила дочка мельника, искоса бросая дерзкий взгляд на Милли.

— Где ж Чурбан?

— С той стороны где-то... откуда мне знать... — сказала угрюмая нимфа.

— А ключ где?

— Где ему, девчонка, быть, как не тут, — ответила нимфа и хлопнула рукой по карману.

— И ты смеешь задерживать нас? Отомкни калитку сейчас же, негодная! — вскричала Милли, топнув ногой.

Нимфа лишь улыбнулась зловеще.

— Отомкни калитку! Сейчас же! — продолжала кричать Милли.

— *И не подумаю.*

Я ожидала вспышки ярости от Милли в ответ на подобную дерзость, но моя кузина казалась удивленной и озадаченной — выходка девушки ее смутила.

— Эй, дуреха, ты не успеешь и глазом моргнуть, как я буду за забором, только вот не хочу. Что на тебя нашло? Отомкни калитку, говорю, а не то я тебе покажу!

— Оставь ее, дорогая, — вмешалась я, опасаясь, что они накинутся друг на друга. — Наверное, ей приказали не отпирать калитку. Так, любезная девушка?

— А ты, вижу, поумнее из вас двоих, — наградила она меня похвалой. — Угадала, девчонка.

— Кто тебе приказал? — потребовала ответа Милли.

— Папаша.

— Старый Чурбан! Ну, от *эдакого* точно расхохочешься: наш слуга — и не пускает в наш собственный лес!

— Слуга — да не твой!

— Эй, девчонка, что хочешь сказать?

— У старого Сайласа он в мельниках, а ты ни при чем тут!

Сказав это, нимфа поставила ногу на засов калитки и легко перепрыгнула через нее.

— Ты можешь так, а, кузина? — повернувшись ко мне, зашептала Милли и нетерпеливо подтолкнула меня локтем. — *Хорошо бы* — смогла.

— Нет, дорогая... Милли, уйдем. — Я двинулась прочь.

— Гляди, девчонка, тяжкий денек тебе выпадет, когда я Хозяину расскажу, — пригрозила Милли нимфе, стоявшей на бревне за забором и не сводившей с нас мрачного взгляда. — Мы и без тебя будем на той стороне.

— Врешь! — крикнула та.

— А чего ж не будем, негодная? — проговорила моя кузина в

меньшем, чем я ожидала, гнев. Все это время я тщетно пыталась увести ее.

— Твоя подружка не из диких кошек, как ты, — вот чего! — сказала бойкая сторожиха.

— Ну перепрыгну! Ну тебя стукну! — пообещала Милли.

— А я — тебя, — ответила та, злобно мотнув головой.

— Идем, Милли, я уйду, ты — как хочешь, — проговорила я.

— Но нельзя же нам уступать, — горячо зашептала кузина, схватив меня за руку. — И ты перепрыгнешь... и увидишь, что я с ней сделаю!

— *Не перепрыгну.*

— Тогда я вышибу дверь, и ты *пройдешь!* — вскричала Милли, толкнув тяжелым башмаком крепкий забор.

— Мяу-мяу-мя-а-а-у! — ухмыляясь, замяукала нимфа.

— А ты знаешь, кто эта леди со мной? — вдруг воскликнула Милли.

— Девчонка красивее тебя, — ответила сторожиха.

— Это *моя* кузина Мод, мисс Руфин из Ноула... она богаче самой королевы, а Хозяин — опекун у кузины, и он заставит старого Чурбана тебя образумить!

Нимфа угрюмо оглядела меня — с легким любопытством, как мне показалось.

— Погоди, заставит! — грозила Милли.

— Пойдем же, нам *надо* идти, — сказала я Милли и потянула ее за собой.

— Так мы пройдем наконец? — в последний раз выкрикнула свое требование Милли.

— Даже на столечко не пройдете, — отрезала сторожиха и показала на пальцах, прижав кончик большого к кончику указательного, а потом дерзко щелкнула пальцами и ухмыльнулась, открыв красивые зубы.

— Я сейчас в тебя камень брошу! — крикнула Милли.

— Проваливай, а не то — давай побросаемся, сколько ты, девчонка, захочешь. Ну, берегись! — И Красавица подняла круглый камень величиной с мяч, каким играют в крикет.

Не без труда удалось мне увести Милли, прежде чем начался бой, и я очень досадовала на себя, что не отличалась особым проворством.

— Ничего, кузина, пойдем, я знаю, где можно пробраться, — возле речки, там берег высокий, — сказала Милли. — Ну не тварь она, а?

Отступая, мы видели, как девушка не спеша направилась к ветхому, крытому соломой домишке, выглядывавшему из-за небольшого скалистого, поросшего лесом взгорья. Она крутила на пальце бечевку с ключом,

который чуть не привел к баталии.

Берег речки оказался довольно высоким, мы легко обошли по нему кончавшийся тут забор и продолжили путь. Милли была, как прежде, невозмутима, а наша прогулка — вновь на редкость приятна.

Наш путь лежал вдоль реки, деревья росли все гуще, все выше, и наконец мы очутились под сводами величественного леса, а за неожиданным поворотом реки увидели живописные развалины старого моста с остатками сторожки у ворот на той стороне.

— О Милли, дорогая! — воскликнула я. — Вот чудесное место, чтобы порисовать! Мне так хочется сделать этюд.

— Точно... И *нарисуй!* Конечно же нарисуй! Вот камень — чистый, удобный; садись, ты выглядишь очень уставшей. Рисуй, а я посижу рядом с тобой.

— Да, Милли, я *на самом деле* устала, я *присяду*, но рисунок получится в другой раз — ведь у нас нет ни карандашей, ни бумаги. Такое красивое место, однако, нельзя пропустить — давай придем сюда завтра.

— К черту завтра! Ты сделаешь это сегодня, разрази меня гром — *сделаешь*. Я умираю — хочу видеть, как ты рисуешь; я принесу эти твои штуковины, в ящике у тебя найду. И попробуй только не нарисуй мне!

## Глава XXXIV

Самиэль {45}

Напрасно я протестовала — она клялась, что по камням, недалеко от того места, где мы сидели, переберется на другой берег реки, пустится напрямик к дому и вернется с моими карандашами и альбомом через четверть часа. Она побежала со всех ног — ее престранные белые чулки и ботинки землекопа так и мелькали, — поскакала по выступавшим из воды камням, таким ненадежным; я не осмелилась по ним догонять ее и была вынуждена вернуться на «чистый, удобный» камень, сидя на котором, наслаждалась величавым лесным уединением и видом разрушенного моста. Его очертания, темные на том берегу, все больше светлели к середине реки — воздушные, высоко вознесенные над водой, — и сквозь щели обветшавшего сооружения струились солнечные лучи, а меж дремавшими вблизи от меня лесными деревьями-великанами тут и там открывались сумеречные просеки. Настоящие декорации романтической грезы.

Где, как не здесь, зачитываться германским фольклором: меж темневших стволов в глухих уголках под сводами леса мне уже чудились прелестные эльфы и мудрые карлики.

Я сидела, упиваясь уединением и фантазиями, как вдруг в низких ветвях справа послышался треск. Я разглядела коренастую фигуру в перепачканном военном мундире и широких коротких брюках, обвисших на одной ноге — она была деревянной. Человек выбрался из ветвей. Его лицо было грубым, морщинистым, темным от загара, так что казалось корой векового дуба; темные, близко посаженные глаза-бусины смотрели злобно; как сажа черные, густые волосы спускались из-под широкополой фетровой шляпы почти до плеч. Хромая, резко дергаясь, устрашающего вида человек шел ко мне, он то и дело грозно взмахивал палкой, встряхивал своими космами, словно дикий бык, готовящийся к нападению.

Я невольно вскочила в страхе и замешательстве — мне показалось, предо мной тот старик с деревянной ногой, в облике которого злой лесной дух преследовал Вольного стрелка.

А человек, приблизившись, крикнул:

— Эй! Слышь, как попала сюда?

Пыхтя, поторапливаясь, временами сердито дергая свою деревянную

ногу, глубоко уходящую в мягкую почву, он еще приблизился. От этих усилий он под конец совсем разъярился, и, когда оказался рядом и встал предо мной, широкие ноздри приплюснутого носа на темном от копоти и пыли лице раздувались и дрожали, будто рыбы жабры, — свирепее и уродливее лица невозможно было вообразить.

— Являются, када захотят, а? Потешиться им надо, и только! Кто ж такая, слышь, *кто такая*, спрашиваю, и какого дьявола забралась сюда в лес? Ну-ка, говори живей!

Этот широкий рот с громадными, пожелтевшими от табака зубами, злобный взгляд, зычный, режущий слух голос, хотя и устрашали, вызвали у меня чрезвычайное раздражение. Ко мне вернулось самообладание, и вместе с ним пришла смелость.

— Я — мисс Мод Руфин из Ноула. Мистер Сайлас Руфин, ваш господин, мне дядя.

— Ого-го! — воскликнул он голосом чуть добрее. — А раз Сайлас те дядюшка, ты, стало быть, не из тех, что остаются на ночку-другую, а?

Я ничего не сказала в ответ, но, рассерженная, посмотрела на него, полагаю, с заметным презрением.

— А чё тут поделываешь одна? И почем я знаю, што оно так, как говоришь? Ни Милли при те нету, ни еще кого... Но Мод — не Мод, я самому герцогу не дам ступить сюда, за забор, пока Сайлас не скажет: «Пусти!» Вот и передай Сайласу, так и так говорил Дикон Хокс, а я-то своим словам хозяин, да што там — *сам* ему скажу, точно, скажу. Скажу, чё толку стараться для него, надсаживаться день и ночь, ночь и день, выслеживать браконьеров, воров, цыган да всяких малых, какие тащат где чё плохо лежит, коль правил будто и нету, кто чё захочет, то и сделает. Черт, ты счастливая, што я в тя камнем не кинул, увидевши.

— Я пожалуюсь на вас дяде, — проговорила я.

— И жалуйся, только как бы не промахнулась: я чё — собак на тя спустил, чё — словом нехорошим обидел иль камнем кинул, а? Ну и жаловаться, жаловаться-то на што?

Я лишь сказала с горячностью:

— Будьте любезны, оставьте меня.

— Я ничё те против не говорю, слышь? Я те верю, ты — Мод Руфин, может, так оно, может, нет... почем мне знать... да я те верю. А хочу, штоб сказала только вот што: те Мэг калитку открыла?

Я не ответила — к моему огромному облегчению, я заметила Милли, то шагавшую, то прыгавшую по камням, кое-где выступавшим из реки.

— Здорово, Чурбан! К чему цепляешься? — крикнула она,

приблизившись.

— Этот человек был чудовищно дерзок. Тебе он известен, Милли? — воскликнула я.

— Да это же Дикон Чурбан! Старый Хокс вонючий, что в жизни не мылся! Я тебе обещаю, ты, малый, узнаешь, что Хозяин думает про такие дела, ага! Уж он с тобой поговорит.

— Ничё я не сделал... и не сказал, нет, а *должен бы...* фахт — куда ей от него деться... не сказал плохого словечка. А кто чё мелет — меня оно во-о-он как та макушка чертополоха пугает. Но те, Милли, говорю: я положу конец *кой-каким* твоим проделкам, а то и воще... Ты у меня перестанешь швырять камни в скотину.

— Рассказывай, рассказывай! — вскричала Милли. — Ох, не было меня, когда ты кухню отчитывал! И жаль, Уинни нету, она б схватила тебя зубами за твой деревянный обрубок да и опрокинула б на спину!

— Ай, умница б она была, коли б на тя кинулась, — со злобной ухмылкой парировал старик.

— Брось спорить, и чтоб духу твоего тут не было! — выкрикнула она. — Не то кликну Уинни, Уинни поломает тебе твою деревянную ногу.

— Ага! Она небось умница и есть. Умница? — съязвил старик.

— Тебе не по вкусу пришлось ее озорство на прошлую Пасху, когда она тебя лапой пихнула.

— То лошадь меня лягнула, — проворчал он, кинув взгляд в мою сторону.

— Никакая не лошадь — то Уинни была... — И, повернувшись ко мне, Милли со смехом добавила: — Он неделю, как опрокинулся на спину, так и лежал, пока плотник не смастерил ему новую ногу.

— Хватит мне тут с вами дурака валять — время терять; не на того напали. Но, слышь, Сайласу я скажу.

Собравшись уходить, он взялся рукой за свою помятую широкополую шляпу, посмотрел на меня и с грубоватой почтительностью проговорил:

— До свиданьица, мисс Руфин, до свиданьица, мэм, и уж, пожалуйста, помни: я тя не хотел рассердить.

С важным видом он поковылял прочь и скоро скрылся в лесу.

— Хорошо, что он чуток напугался, а то я его таким злым и не видела — он же совсем шальной.

— Может быть, он даже не понимает, как он груб? — предположила я.

— Я его не терплю. Нам было куда лучше с беднягой Томом Драйвом, тот ни к кому не цеплялся и всегда ходил пьяный. Старина Джин — так его прозвали. Но эта скотина — ох, не терплю его! — он, кажется, приехал из

Уигана; и он любой потехе помеха, а еще он колотит Мэг, ну ту, Красавицу, помнишь; если б не он — она бы пакостила вполтину меньше. Он свистит — слышишь?

Я действительно слышала свист в отдалении за деревьями.

— Не собак ли кличет? Давай забирайся сюда!

Мы взобрались на склоненный ствол гигантского орешника и, напрягая глаза, стали вглядываться в ту сторону леса, откуда ожидали появления злющей Чурбановой своры.

Тревога, впрочем, оказалась ложной.

— Вряд ли бы он такое сделал, вообще говоря, но что скотина он — это уж точно!

— А та смуглая девушка, которая не пропустила нас, — его дочь?

— Да, Мэг... Красавица — так я ее прозвала, а он у меня был Скот. Но теперь я зову его Чурбаном, а ее — всё Красавицей. Так вот.

Только мы спустились с дерева, где искали убежища, как она потребовала:

— Давай садись, сиди теперь и рисуй!

— Боюсь, у меня не получится, не сумею прямую линию провести — руки дрожат.

— Я очень хочу, Мод, чтоб получилось, — сказала она с такой мольбой в глазах, что я, учитывая путь, проделанный кузиной за моими карандашами, не посмела ее разочаровывать.

— Хорошо, Милли, попробуем, но если не получится, что ж... Садись возле меня, я объясню, почему принялась за эту часть, а не за какую-нибудь другую, ты увидишь, как я нарисую деревья, и реку, и... да, *тот* карандаш, пожалуйста, он даст красивый и четкий контур... Но надо начинать с начала, надо поучиться копированию рисунков, прежде чем подступаться к видам наподобие этого. Если хочешь, Милли, я согласна научить тебя всему, пусть немногому, что умею сама. Как же будет весело рисовать один и тот же пейзаж, а потом сравнивать!

Я продолжала, а Милли, счастливая, жаждавшая начать обучение, опустилась на камень возле меня в совершенном восторге; она кинулась обнимать, целовать меня, проявив такую пылкость, что удивительно, как мы не свалились с камня, на котором сидели. Ее бурная радость и доброжелательность вернули мне должное настроение, мы обе от души посмеялись, и я предалась рисованию.

— Боже мой! Кто это? — вдруг воскликнула я. Подняв глаза от альбома, я вдруг увидела стройного мужчину в небрежном утреннем туалете, направлявшегося через разрушенный мост в нашу сторону: он с

осторожностью ступал вдоль парапета, где только и уцелел пролет моста.

День неожиданных появлений! Милли сразу узнала мужчину. Это был мистер Кэризброук. Он взял в аренду Ферму всего на год. Жил в совершенном уединении, пекся о бедных и оказался единственным джентльменом, за долгое время посетившим Бартрам, причем, как ни странно, никуда больше не ездил. Он испросил разрешение гулять по имению и, получив оное, повторил визит, но, скорее всего, потому, что Бартрам не славился гостеприимством и визитер мог не опасаться, что встретит там кого-нибудь из соседей.

С внушительной тростью в руке, в короткой охотничьей куртке, в широкополой шляпе — куда наряднее, чем у Самизэля, — он появился из зарослей, укрывавших опоры моста с нашей стороны, шагая быстрым и легким шагом.

— Сдается мне, он держит путь к старому Сноддлзу, — сказала Милли с испугом и любопытством на лице, ведь Милли, что совершенно ясно, была простушкой, манеры, изобличавшие в человеке истинного джентльмена, приводили ее в благоговейный трепет, хотя храбростью она не уступала льву; о таких, как она, говорят: челюстей осла да убоится всякий филистимлянин<sup>{46}</sup>. — Вот бы он нас не заметил, — с надеждой сказала она, понизив голос.

Но он заметил и, приподняв шляпу и обнажив в широкой улыбке отменной белизны зубы, остановился.

— Прекрасный день, мисс Руфин!

Я, привычная к тому, что так обращались ко мне, поспешно подняла голову; движение не укрылось от его глаз, потому что он почтительно приветствовал меня, еще раз приподняв шляпу, а затем продолжил, обращаясь к Милли:

— Надеюсь, мистер Руфин в добром здоровье? Впрочем, мне незачем спрашивать, вы кажетесь такой счастливой. Будьте добры, передайте ему, что книгу, о которой я упоминал, я жду со дня на день и, как только получу, либо пришлю с кем-нибудь, либо сам доставлю незамедлительно.

Мы обе уже поднялись с камня, но Милли лишь глядела на джентльмена во все глаза, онемев, зардевшись, и джентльмен — дабы поспособствовать диалогу — повторил:

— Надеюсь, он в добром здравии?

От Милли не последовало ни звука, и я, досадуя, но и немного смущаясь, ответила:

— Благодарю вас, мой дядя, мистер Руфин, здоров. — Сказав это, я почувствовала, что сама покраснела.

— Ах, умоляю, простите за вольность, но позвольте осведомиться, вы — мисс Руфин из Ноула? Не сочтете ли вы меня дерзким — боюсь, вы так и решите, — если я представлюсь?.. Мое имя Кэризброук, я имел честь знать покойного мистера Руфина, еще будучи маленьким мальчиком, он всегда был добр ко мне, и я надеюсь, вы великодушно простите бесцеремонность, на которую я осмелился. Я полагаю, мой друг леди Ноуллз также вам родственница... Обаятельнейший человек!

— О да, она просто прелесть! — воскликнула я и опять покраснела, так откровенно обнаружив свою привязанность.

Но он улыбнулся доброй улыбкой, — кажется, ему понравилась моя непосредственность — и сказал:

— Вы понимаете, что я не осмелюсь выразиться подобным образом, но, признаюсь, вижу правоту ваших слов. Она сохранила молодость, ее веселый нрав и добродушие истинно девичьи... Какой чудесный вид вы избрали! — неожиданно переменяет он тему. — Я так часто останавливался здесь, чтобы оглянуться, полюбоваться изящным старым мостом. Вы заметили — у вас, несомненно, глаз художника, — заметили нечто особенное в этом сером цвете, испещренном тающим алым и желтым?

— Да, действительно... Я только что говорила об удивительной игре красок — ведь так, Милли?

Милли воззрилась на меня и проронила «да» в крайнем испуге и растерянности, будто пойманная на воровстве.

— И задний план чудесен, — продолжал мистер Кэризброук. — Хотя перед бурей вид еще живописнее. — Он немного помолчал, потом несколько неожиданно спросил: — А вы знаете этот край, это графство?

— Нет, совершенно не знаю... то есть дорогой видела, и виденное очень меня заинтересовало.

— Места, когда вы узнаете их лучше, вас очаруют — нет благодатнее для художника. Я сам несчастный бумагомаратель, ношу в кармане вот эту книжицу. — Он скептически рассмеялся, вытаскивая тоненькую записную книжечку. — Здесь всего лишь пометки. Я много времени посвящаю прогулкам и неожиданно обнаруживаю такие замечательные уголки, что не могу не пометить себе для памяти; впрочем, здесь скорее словесные зарисовки, нежели этюды художника, моя сестра говорит, что это тайнопись, какую, кроме меня, не разберет никто. Но я попробую указать вам два примечательных уголка — вы непременно должны увидеть их. О нет, не это... — рассмеялся он, когда случайно перевернулась страница, — это «Кошка и весельчак», любопытная маленькая пивная, где мне однажды подали чудесный эль.

При этих его словах Милли, казалось, готова была заговорить, но я, не зная, что мы услышим, поспешила восхититься вдохновенными миниатюрами, к которым он желал привлечь мое внимание.

— Я выбираю для вас места неподалеку, туда можно, быстро добраться в экипаже или верхом.

И он, вдобавок к первым двум, показал еще два-три рисунка, а потом еще... показал миниатюрный набросок (едва прочерченный контур, но, несомненно, жемчужина в его причудливой коллекции) старого островерхого дома кухни Моника. Каждую миниатюру сопровождал словесный штрих — коротенький разбор, или описание, или связанный с местом случай.

Собравшись положить книжицу зарисовок в карман, продолжая непринужденную беседу со мной, он вдруг вспомнил о бедняжке Милли, которая стояла с довольно угрюмым видом, но она просияла, когда он протянул ей сокровище и произнес краткую речь, для нее явно оставшуюся непонятной, поскольку она ответила одним из своих немыслимых реверансов и, кажется, хотела спрятать книжицу в свой большущий карман, приняв ее за подарок.

— Посмотри на рисунки, Милли, и возврати книжицу, — зашептала я ей.

Я позволила мистеру Кэризброуку, по его просьбе, взглянуть на мой неоконченный рисунок моста; он оценивал, не погрешила ли я в пропорциях, переводя взгляд с изображения на натуру, а Милли сердитым шепотом заговорила мне в ухо:

— Почему это... возвратить?

— Потому что он дал тебе посмотреть... оказал внимание, — зашептала я.

— *Оказал внимание?* После тебя?! Разрази меня гром, если я взгляну хоть на страницу! — проговорила она с неопишуемым возмущением. — Бери ее, девчонка, сама отдавай... я не стану... — Она сунула мне книжицу в руки и, дуясь, отступила на шаг.

— Моя кухня благодарит вас, — сказала я, возвращая альбом миниатюр и улыбаясь вместо нее.

Он, тоже с улыбкой, взял книжицу и сказал:

— Если бы я знал, как замечательно вы рисуете, мисс Руфин, я бы, наверное, не решился показывать вам мои жалкие зарисовки. Но это не самые удачные у меня, леди Ноуллз подтвердит вам, что я способен рисовать лучше, много лучше, надеюсь.

И еще раз принесся извинения за то, что он называл «дерзостью»,

мистер Кэризброук покинул нас, я же почувствовала себя чрезвычайно польщенной.

Ему не могло быть больше двадцати девяти — тридцати лет, он был, несомненно, красив, то есть красивыми были глаза, и зубы, и чистое смугловатое его лицо; фигура, движения отличались изяществом; но прежде всего невыразимое обаяние тонкого ума отмечало этого человека, и мне показалось — хотя конечно же я бы никому не повторила своих слов, — он, едва заговорив с нами, тотчас заинтересовался мной. Не хочу показаться тщеславной — он проявил *сдержанный* интерес. Но все же интерес был: я заметила, что он изучал мое лицо, когда я переворачивала страницы его тоненького альбома, и моим вниманием, как он решил, всецело завладели рисунки. Льстила также его обеспокоенность тем, что мне могут не понравиться увиденные миниатюры, и поэтому он желал, чтобы я услышала мнение леди Ноуллз. Кэризброук — упоминал ли когда-нибудь мой дорогой отец это имя? Я не могла припомнить. Но если — по своей привычной молчаливости — и не упоминал, что ж из того?

## Глава XXXV

### Комната в верхнем этаже

Мои мысли занимал мистер Кэризброук, и, пока мы не повернули к дому, я не замечала, что Милли погрузилась в молчание.

— Ферма, должно быть, красиво выстроена, если судить по той зарисовке. Отсюда далеко до Фермы?

— Две мили будет.

— Ты рассердилась? — спросила я, обратив внимание на ее раздраженный тон и мрачный вид.

— Как тут не рассердиться, девчонка!

— Что такое?

— Ну и ну — ей непонятно! Этот Кэризброук, он же на собаку чаще взглядывал бы, чем смотрел на меня; только и говорил с тобой про свои рисунки, прогулки, про родственников... У свиньи воспитания больше!

— Но, Милли, дорогая, ты забыла, он же пробовал говорить с тобой, а ты не отвечала.

— Разве я не про то же? Не умею вести разговор, как все... ну, как леди. Каждый надо мной потешается. А одета? Посмешище, да и только. Стыд какой! Я видела, Полли Шивз — вот леди так леди — смеялась надо мной в церкви в прошлое воскресенье. Еще чуток — я бы ей сказанула... Я знаю, я чудная... чудная. Стыд! Почему я такая? Стыд! Срам! Не хочу быть такой... а я не виновата...

И бедняжка Милли разревелась, затопала ногами. Она подняла подол своего куцега платьица, чтобы спрятать мокрое от слез лицо. Более курьезной фигуры мне видеть не доводилось.

— Ничего не могла разобрать, что он там говори-и-ил, — тянула бедная Милли из-за своего хлопкового, плотнее буйволового кожи подола, — а ты... ты все до словечка по-поняла-а-а-а. И почему я такая? Стыд! Сра-а-а-ам! О-о-о-ой! Срам!

— Но, Милли, дорогая моя, мы говорили о *рисовании*, а ты рисовать еще не научилась, но научишься, я тебя научу. И тогда ты все поймешь.

— Каждый надо мной потешается... даже ты. Ты, Мод, хочешь удержаться, а иногда все равно... все равно надо мной смеешься. Что ж я могу сказать тебе, раз я знаю, что я чудна-а-а-я. И не умею быть другой, не умею... Срам!

— Милли, дорогая, если ты согласна, я обещаю научить тебя музыке и

рисованию. Ты жила замкнуто, не у кого было учиться, но ты права, леди отличаются от прочих умением изысканно выражаться.

— Да, и джентльмены тоже... Хозяин или этот Кэризброук. А язык-то затейливый — дьявол его разберет! Я меж вас дура дурой. Хоть топись! Ой, стыд! Стыд!

— Но я научу тебя говорить таким языком, если хочешь, Милли. Ты будешь знать все, что знаю я. И я позабочусь, чтобы у тебя были платья получше.

Теперь она смотрела мне в лицо горестно, но очень внимательно — круглые глаза покраснели, нос распух, на щеках не просохли дорожки от слез.

— Хоть бы чуток они были длиннее... твои-то — длиннее... — И она опять всхлипнула.

— Ну-ну, Милли, довольно плакать; если захочешь, ты станешь такой, как любая леди, и все будут восхищаться тобой, поверь мне. Только тебе надо постараться и забыть твои словечки, привычки, надо одеваться иначе — я позабочусь об этом, если позволишь. Я думаю, ты очень умна, Милли, и считаю, что ты прехорошенькая.

Зареванное лицо бедняжки Милли расплылось в невольной улыбке, но кузина покачала головой и опустила глаза.

— Не-а, Мод, не получится.

И в самом деле, не подвиги ли Геракла бралась я совершить?

Но кузина отличалась природным умом, сообразительностью и, когда обуздывала поток своей нелепой речи, умела точно излагать мысли. Только бы ей хватило настойчивости, только бы обнаружилось прилежание! От своих обязательств, по крайней мере, я решила не отказываться.

Бедная Милли! Она была мне искренне благодарна и идею потрудиться над ее образованием приняла пылко, при этом показав себя одновременно послушной и своевольной.

Милли убеждала меня, что на обратном пути мы должны вновь атаковать позицию Красавицы и с этой стороны взять забор силой, но я настояла на том, чтобы возвращаться прежним путем, и мы обошли забор по высокому берегу речки, а потом были встречены вызывающей улыбкой Красавицы — она через калитку разговаривала со щуплым молодым человеком в бумазее и невообразимой кроличьей шапке, которую он, завидев нас, в смущении надвинул на глаза; он стоял, опершись рукой на калитку, а подбородком — на руку.

После памятного столкновения в тот день Красавица вознамерилась впредь встречать нас презрительной усмешкой.

Милли, думаю, опять развязала бы боевые действия против нее, не прояви я свою новую власть и не напомни кузине о принятых обязательствах.

— Взгляни на этого труса, на Чурбана, — вон идет по тропинке к мельнице! Притворяется, будто не видит нас, — как же, все он видит, но боится, что мы пожалуемся Хозяину и Хозяин не даст ему воли над тобой. Не терплю этого Чурбана! Он прогнал меня, когда я — в прошлом году это было — хотела прокатиться верхом на корове, да, прогнал.

Я считала, что от Чурбана можно ждать и худшего. Здесь требовалось коренное преобразование — я прекрасно понимала это и радовалась, что Милли, кажется, сама желала его, что намерение кузины сделаться больше похожей на людей ее положения, пусть вызванное обидой и ревностью, было столь же искренним, сколь и твердым.

Я до сих пор не осмотрела дом в Бартраме-Хо. О его истинных размерах я имела весьма смутное представление. Вдоль большой галереи, по одну ее сторону, тянулся ряд комнат — закрытые ставнями окна, запертые по большей части двери. Старая л'Амур рассердилась, когда мы зашли в эти комнаты, а мы ничего не могли разглядеть там, ведь Милли не хотела открывать окна — не из страха прикоснуться к какой-нибудь тайне Синей Бороды, а просто памятуя о распоряжении дяди Сайласа: все должно быть как есть. Ее мятежный дух трепетал перед моим дядей до такой степени, что, учитывая дядину благовоспитанность и очевидную мягкость нрава, оставалось только удивляться.

В дядином доме было, впрочем, то, чего не существовало в Ноуле... я никогда их не видела, хотя, наверное, в других старинных домах они устроены — я имею в виду высокие фрамуги, в которые можно заглянуть, если подпрыгнуть. Они попадались в длинных коридорах, в больших галереях, некоторые были откинута и закреплены, так что закрывали проход, каждый раз вынуждая нас повернуть обратно.

Но Милли знала про причудливую, узенькую, очень крутую и темную лестницу в задней части дома, ведущую на верхний этаж; мы взобрались по ней и долго блуждали в комнатах, много меньше и проще тех величественных покоев, которые располагались этажом ниже. Из комнат открывался вид на прекрасное, но запущенное владение. Мы пересекли галерею и неожиданно оказались в комнате, выходящей во внутренний двор — небольшой и мрачный, — замыкаемый с четырех сторон стенами этого большого дома и спланированный архитектором, конечно, лишь для того, чтобы дать необходимый свет и воздух помещениям.

Я протерла оконное стекло носовым платком и выглянула во двор.

Крыши вокруг были крутые, высокие, стены — потемневшие, в грязных пятнах, окна покрылись пылью, обрамлявшая их каменная кладка местами поросла мхом, травой, крестовником. На эту сумрачную площадку вела дверь с полукруглым навесом; трава, буйно поднявшаяся на сырой земле, пригнулась к двери, тоже потемневшей от грязи и пыли. Ясно, что нога редко ступала на этот глухой и зловещий двор, который я осматривала со странным волнением и тяжестью на душе.

— Верхний этаж... замкнутый внутренний двор... — произнесла я невольно.

— Чего это ты испугалась, Мод? Ты, похоже, привидение увидела! — Милли подошла к окну и выглянула во двор из-за моего плеча.

— Я вдруг вспомнила, Милли, о том ужасном случае.

— О каком, Мод? Что, черт побери, у тебя в голове? Скажи! — потребовала Милли, несколько озадаченная.

— В одной из этих комнат... возможно, в этой... да, конечно же в *этой* — видишь, панели сняты со стен, — мистер Чарк покончил с собой.

Я, подавленная, оглядела сумрачную комнату, в углах которой уже сгустились ночные тени.

— Чарк? О чем ты? Кто такой Чарк? — спросила Милли.

— Но ведь ты должна была слышать о нем.

— Ничего я не слышала. Он покончил с собой, говоришь? Повесился? Или пустил себе пулю в лоб?

— Горло себе перерезал в одной из этих комнат... в *этой*, я уверена, ведь твой папа велел снять обшивку стен, чтобы доказать, что здесь нет второй двери, через которую в комнату мог проникнуть убийца. Стены, как видишь, голые, и заметно, что панели сняли, — ответила я.

— Ой, вот ужас! И как у них духу хватает горло себе перерезать; я бы лучше приставила пистолет к виску и выстрелила — так, рассказывают, сделал молодой джентльмен в пивной, ну, в той, что «На дне бутылки» прозывается. Но чтоб горло себе перерезать! Чертовски храбрый малый должен быть, я считаю, ведь резать надо кусок изрядный.

— Молчи, молчи, Милли! Давай уйдем отсюда, — сказала я, видя, как быстро сумерки сгустились в ночную тьму.

— Эй, разрази меня гром, тут и кровь! Ты не видишь — вон большое черное пятно расползлось на полу, не видишь? — И Милли наклонилась, очерчивая вблизи пола пальцем контур, возможно, воображаемый.

— Нет, Милли, ты не можешь увидеть этого, — темно, на полу лежит тень. Все это — твоя фантазия, и комната, наверное, не та.

— А я думаю... я уверена — оно, пятно. Да ты посмотри только!

— Мы поднимемся сюда завтра утром и, если ты права, увидим... все ясно увидим. Идем! — сказала я, леденея от страха.

Мы не успели сделать еще и двух шагов, как бледное, в обрамлении белого чепца лицо старой л'Амур просунулось в дверь.

— Гляди-ка! А тебя чего сюда занесло? — вскричала Милли, не меньше меня испуганная неожиданным появлением.

— Чего это сюда занесло вас, мисс? — просвистела л'Амур, растерявшая к старости половину зубов.

— Мы смотрим, где Чарк горло себе перерезал, — ответила Милли.

— Этот дьявол Чарк! — проговорила старуха голосом, в каком странно смешались презрение с яростью. — Не его, не его это комната; и уходите отсюда, пожалуйста. Господину не понравится, когда он узнает, что вы таскаете мисс Мод из комнаты в комнату вверх-вниз по всему дому.

Она ворчала, довольно сердитая, но присела в почтительном реверансе, когда я проходила мимо нее, потом обшарила глазами комнату от потолка до пола, резко захлопнула дверь и заперла.

— Кто тут говорит о Чарке? Вранье это, ей-же-ей. Я так думаю, вы собрались поугадать нашу мисс Мод... — еще один торопливый поклон, — привидениями да ерундой всякой.

— Промашка! Не я, а Мод мне рассказывала... и столько! Да привидения — тьфу на них! Повстречайся я с привидением, еще неизвестно, кто кого испугается! — рассмеявшись, сказала Милли.

Старуха сунула ключ в карман, с мрачным беспокойством скривив свой морщинистый рот.

— Дитя безобидное... и доброе, но напугается... напугается... напугается, что и себя забудет! — прошептала л'Амур мне на ухо в наступившей тишине, слабо кивнула в сторону Милли, впереди нас спускавшейся по лестнице, и, еще раз отвесив поклон с реверансом, направилась в сторону дядиной комнаты.

— Хозяин чудит сегодня вечером, — объявила Милли за чаем. — Не видала ведь его, когда он чудит?

— Милли, скажи яснее, что ты имеешь в виду. Он не болен, надеюсь?

— Ну, я не знаю, что это, но он временами в самом деле чудной — можно подумать, что мертв уже, по крайней мере, три дня и две ночи. Сидит, будто старуха в обмороке, — и все. Ой-ой, прямо страшно!

— Он что, без чувств в таком состоянии? — спросила я, очень встревоженная.

— Ничего не понять. От этого, я думаю, ему не конец; старая л'Амур все знает про его... состояние. Я и не вхожу к нему в комнату, когда он

такой, только если пошлет за мной: он иногда, бывает, очнется, и на него блажь найдет послать за кем-то. Раз он велел, чтоб Чурбан явился к нему прямо с мельницы, тот пришел, а он только глядел на мельника минуту-другую и выгнал из комнаты. Он почти как дитя, когда вот так оцепенеет.

Я всегда потом знала, когда дядя «чудит»: старая л'Амур шикала и шипела на нас, перегнувшись через перила, стоило нам вступить на лестницу, и приказывала не шуметь возле дядиной комнаты, куда то и дело почему-то забегали слуги.

Я очень редко видела его. Иногда, из прихоти, он звал нас завтракать вместе с ним, но через неделю каприз проходил, и наша жизнь возвращалась в привычное русло.

Я получила два сердечных письма от леди Ноуллз, которую какие-то дела задерживали в другом графстве. Она была рада узнать, что мне нравится моя тихая жизнь, и обещала обратиться к дяде Сайласу за разрешением навестить меня.

На Рождество она собиралась приехать в Элверстон — это всего шесть миль от Бартрама-Хо, — и я предвкушала приятную встречу.

Она добавляла, что Милли тоже приглашена к ней, и я уже видела перед собой красивое лицо капитана Оукли, изумленно взиравшего на бедняжку Милли, за которую я теперь чувствовала себя ответственной.



**Tom II**

## Глава I

### Ночной визит



Меня иногда спрашивают, почему я ношу странное колечко с бирюзой, — на взгляд непосвященных, оно не представляет никакой ценности и совершенно не приличествует бриллиантам на моей руке, оскорбленным таким соседством, судя по их холодному блеску. Оно было подарено мне на память в то время, о котором я повествую.

— Эй, девчонка, как мне звать тебя? — вскричала пугающе возбужденная Милли, однажды утром ворвавшись в мою комнату.

— Моим именем, Милли.

— Нет, у тебя должно быть прозвище, как у всех.

— Я обойдусь, Милли.

— А я хочу, чтобы было. Может, мне звать тебя Вертихвосткой?

— Ни в коем случае.

— Но должно же быть у тебя прозвище!

— Я отказываюсь...

— А я все-таки дам тебе его, девчонка.

— Я не приму...

— Но я все равно стану как-нибудь называть тебя.

— Я могу не откликаться.

— А я тебя заставлю, — краснея, сказала Милли.

Возможно, ее рассердил мой тон, ведь мне была просто отвратительна ее прежняя грубость.

— Не заставишь, — спокойно возразила я.

— Еще посмотрим... А то дам тебе прозвище безобразнее этого.

Я презрительно улыбнулась — чтобы не выдать испуга.

— По-моему, ты кокетка, ты развязная... и вообще дура! — выпалила она, совершенно пунцовая.

Я улыбалась той же немилосердной улыбкой.

— И ты у меня сейчас получишь пощечину — глазом моргнуть не успеешь!

Она размахнулась, хлопнула рукой по платью и в ярости метнулась ко мне. Я на самом деле решила, что она вызывает меня меряться силой.

Но я остановила ее, присев в реверансе, и горделиво прошествовала из комнаты в кабинет дяди Сайласа, где нам подавали завтрак в тот и последующие дни.

За столом мы, отгородившись надменностью, молчали: кажется, мы даже не взглянули друг на друга.

В тот день мы не ходили вместе гулять.

Я сидела в полном одиночестве вечером, когда ко мне в комнату вошла Милли. Глаза у нее были красные, взгляд — очень печальный.

— Дай руку, кузина, — сказала она, беря меня за запястье, и вдруг потянула и звонко ударила моей рукой себя по пухлой щеке, так что в пальцах у меня закололо. Я не успела справиться с изумлением, как она исчезла.

Я позвала ее, но она не откликнулась, я бросилась вдогонку, но она бегала быстро, и я потеряла ее в пересекающихся галереях.

Я не видела ее ни за чаем, ни отправляясь спать, но, когда легла и уже заснула, Милли разбудила меня. Она изливала потоки слез.

— Мод, кузина, ты простишь?.. Ты уже никогда меня опять не полюбишь? Нет, я знаю, что нет... Я такая тварь... Как противно... как стыдно! Вот тебе пирожное-банбери — я в город за ним посылала... вот тебе конфеты — съешь, а? Вот тебе колечко... твои, конечно, красивее, но, может, ты будешь носить его из дружбы ко мне... в память дружбы с бедной Милли, которая еще ничего плохого тебе не сделала... Если бы ты простила меня... Я за завтраком погляжу: на руке у тебя колечко — значит, у нас опять дружба, а нет — я больше не стану тревожить тебя, просто возьму и утоплюсь — чтобы глаза тебе не мозолила дрянная Милли.

Не задержавшись ни на мгновение и покинув меня, не вполне проснувшуюся, с чувством, что все это мне пригрезилось, она выбежала из комнаты — босая, кутая плечи в задранную юбку.

Она оставила свою свечу возле моей кровати, а свои скромные подношения — на моем одеяле. Не бойся я встречи с гоблинами, я бы пустилась за ней, но страх удержал меня. Тоже босая, я стояла у постели и целовала жалкое маленькое колечко; я надела его на палец, где ношу его с тех пор и всегда буду носить. А когда я легла, мечтая, чтобы поскорее настало утро, ее бледное лицо, умоляющее и покаянное, не давало мне уснуть, и я час за часом с горечью укоряла себя за жестокое бесстрашие... я думала, откровенно говоря, что виновата в тысячу раз больше Милли.

До завтрака я напрасно разыскивала ее. За завтраком мы наконец

встретились, впрочем, в присутствии дяди Сайласа, молчаливого, апатичного, но грозного, и, сидя за чрезмерно большим столом под холодным странным взглядом моего опекуна, говорили только по необходимости и то — понизив голос, потому что, если Милли вдруг произносила словечко достаточно громко, дядя Сайлас обычно вздрагивал, прикрывал ухо своими тонкими белыми пальцами с таким видом, будто боль пронзала его до самого мозга, а потом пожимал плечами и страдальчески улыбался в пространство. Когда дядя Сайлас не был настроен говорить — это иногда случалось, — мы понимали, что разговор за столом едва ли уместен.

Увидев на моей руке колечко, Милли ахнула и округлила глаза — она казалась такой обрадованной. Она чуть не вскочила с места, но удержалась; лицо бедняжки исказилось, она закусила губу. Неотрывно, с мольбой, смотрела она на меня, на ее глазах выступили слезы и потекли ручейками по пухлым щекам.

Я, несомненно, раскаивалась даже больше нее. Я плакала и улыбалась, мне так хотелось поцеловать бедняжку. Наверное, мы выглядели пренелепо; впрочем, это хорошо, что мелкие происшествия могут глубоко взволновать нас в ту пору жизни, когда серьезные испытания выпадают редко.

Но вот мы наконец остались вдвоем, и объятия, которыми наградила меня Милли, походили скорее на спортивную борьбу. Милли вертела меня так и этак, прятала лицо у меня на груди и громко причитала сквозь слезы:

— Я жила совсем одна, пока ты не приехала. Ты ко мне — по-доброму, а я... я — сатана. Я никогда тебя не назову никаким другим именем, а только — Мод... моя милая Мод!

— Милли, ты должна назвать меня Вертихвосткой. Я буду Вертихвосткой, буду кем ты захочешь. Ты должна... должна... — Я ревела под стать Милли и обнимала ее изо всех сил. Удивительно, как мы удержались на ногах.

Так наша дружба с Милли еще больше окрепла.

Между тем зима вступила в свои права, дни сделались короче, ночи — длиннее; долгими стали разговоры у камелька в Бартраме-Хо. Меня тревожили странные приступы, которым столь часто был подвержен дядя Сайлас. Вначале, поддаваясь привычке, усвоенной Милли, я не слишком много размышляла о дядиной болезни. Но однажды, когда дядя «чудил», он послал за мной, я увидела его и неописуемо испугалась.

Он лежал в белой рубашке, свернувшись клубком в громадном кресле. Я бы подумала, что он мертв, но старая л'Амур, сопровождавшая меня,

вполне разбиралась в этой болезни со всеми ее жуткими симптомами.

Она мрачно, многозначительно подмигнула мне и, кивнув, прошептала:

— Не шумите, мисс, ни-ни — пока не заговорит сам. Он сию минуту подаст голос.

Я не заметила у него судорог, но лицо его исказилось как у эпилептика в припадке.

Наморщенный лоб... безумная ухмылка... незрячие, с открывшимися полосками белков глаза.

Неожиданно, поежившись, будто от холода, он выпучил глаза, сомкнул губы, заморгал и уставился на меня бессмысленным, неуверенным взглядом. Наконец на губах его проступила слабая улыбка.

— А! Девочка... дитя Остина. Дорогая моя, я едва способен... я поговорю с вами завтра... в другой раз. Это тик... невралгия или что-то вроде... *Мука*... Скажите ей...

И, сжавшись в комок, он уже лежал в громадном кресле в той же позе невыразимой беспомощности, а его лицо опять обратилось в ужасную маску.

— Уйдемте, мисс, он передумал, он не сможет... нет, никак не сможет поговорить с вами сегодня, — зашептала старуха.

И мы выскользнули из комнаты. Мне трудно описать пережитое потрясение. Он, казалось, был при смерти, и я, разволновавшись, сказала об этом старухе Уайт, которая, позабыв свою обычную церемонность в обращении с «мисс», подняла меня на смех.

— Помирает? Да он как святой Павел — помирает что ни день!

Я взглянула на нее, задрожав от ужаса. Думаю, она не беспокоилась о том, какие чувства могла пробудить, потому что продолжала с презрением ворчать себе под нос. Я молчала, а потом, все еще не оправившись от страха, заставила себя заговорить с ней:

— Вы не считаете, что это опасно? Не послать ли за доктором?

— Господь с вами, мисс, доктор давно все знает, — на ее лице промелькнула циничная усмешка, тем более ошеломляющая, что искажала черты немощной старости.

— Но это же *припадок*... паралитический или еще какой-то... ужасный припадок... *Нельзя рисковать* и оставлять дядю на волю случая, верить, что организм сам справится!

— Не бойтесь вы за него — никакой это не припадок, ничего ему не сделается. Просто дурь находит время от времени. Уже с десятков лет, а то и больше... Доктор все знает, — решительно ответила старуха. — Он, дядя

ваш, такой бедлам устроит, ежели вздумаете вмешаться!

Тем же вечером я обсуждала вопрос с Мэри Куинс.

— Они многого недоговаривают, мисс, но я думаю, он слишком уж пристрастился к настойке опия, — заключила Мэри.

Я и сейчас не в состоянии указать на природу тех периодических приступов. Потом я часто говорила о них с медиками, но ни разу не слышала, чтобы кто-то объяснял все пристрастием к опию. Несомненно, однако, что дядя употреблял лекарство в ужасающих дозах. Он действительно иногда жаловался, что невралгия вынуждает его держаться этой печальной привычки.

Образ дяди Сайласа, каким я увидела его в тот день, тревожил мое воображение и вселял страх. Я крепко спала по ночам в Бартраме. И это естественно, если ежедневно проводить по многу часов на открытом воздухе и в движении. Но той ночью я была взбудоражена и не могла заснуть; шел третий час, когда мне послышался на аллее звук подъезжавшего экипажа и конский храп.

Мэри Куинс была рядом, поэтому я осмелилась подняться с постели и выглянула в окно. Мое сердце учащенно забилося — я увидела, как почтовый дилижанс въехал во внутренний двор. Переднее окошко экипажа было опущено, миг-другой — и фореитор осадил коренную.

Получив какое-то распоряжение, он направил — уже шагом — экипаж ко входу, где на ступеньках я заметила поджидавшую их фигуру. Возможно, это была старуха л'Амур, а возможно, и нет. С перил лестницы, возле двери, светила лампа. Фонари почтового дилижанса тоже горели, ведь ночь выдалась темная.

Почтальон вытащил из дилижанса, как мне показалось, сумку и саквояж, снял с верха коробку, и вещи внесли в холл.

Чтобы видеть происходившее там, мне пришлось прижаться щекой к стеклу и все время протирать его ладонью, ведь оно мгновенно запотевало от моего дыхания. Но я разглядела, как некто высокого роста, закутанный в плащ, спустился с подножки дилижанса и быстро вошел в дом. Однако действительно ли то был мужчина? А может, женщина? Я так и не поняла.

Сердце мое заколотилось. Я сделала заключение: моему дяде хуже, он умирает... и это доктор, за которым послали слишком поздно.

Я прислушивалась: вот сейчас доктор поднимется, войдет к дяде — я думала, что в ночной тишине я все услышу, но до меня не донеслось ни звука. Целых пять минут я напрягала слух — понапрасну. Я вернулась к окну, но обнаружила, что экипаж исчез.

Я испытывала сильное искушение разбудить Мэри Куинс, держать с

ней совет и убедить ее провести расследование. Не сомневаясь, что мой дядя при смерти, я жаждала узнать мнение доктора. Но ведь я поступила бы жестоко, оторвав добрую душу от освежающего сна. Поэтому, продрогшая от холода, я вернулась в постель и лежала, продолжая прислушиваться и строить догадки, пока не заснула.

Утром, по обыкновению не дав мне одеться, в комнату влетела Милли.

— Как дядя Сайлас? — поторопилась я узнать.

— Старая л'Амур говорила, что еще чудит, но уже не так плох, как вчера, — ответила Милли.

— Разве за доктором не посылали? — спросила я.

— За доктором?.. Вот странно, она и словом не обмолвилась... — отвечала кузина.

— Я только спрашиваю.

— Не знаю, приезжал ли, нет, — проговорила она. — Но с чего ты взяла — про доктора?

— Прошлой ночью, между двумя и тремя часами, здесь был почтовый дилижанс.

— Да ну? А кто сказал? — живо заинтересовалась Милли.

— Я сама видела. И некто — я решила, доктор, — покинул дилижанс и вошел в дом.

— Враки! Кто бы за доктором посылал, девчонка? Не доктор это, говорю тебе. Каков из себя? — спросила Милли.

— Я только видела, что мужчина — а может, *женщина*? — высокого роста... в плаще, — сказала я.

— Тогда не он. И не другой, о котором я подумала... Будь я проклята, если это не Корморан<sup>[11]</sup>, — вскричала Милли, нетерпеливо отбивая дробь костяшками пальцев по столу.

Именно в этот момент в дверь постучали.

— Войдите, — сказала я.

В комнату вошла старая л'Амур и присела в реверансе.

— Я пришла сказать Мэри Куинс, что ее завтрак готов, — произнесла старуха.

— Кто прибыл на почтовых? — потребовала у нее ответа Милли.

— Какие еще почтовые? — взвизгнула старая карга.

— Я про почтовый дилижанс, который останавливался тут в третьем часу ночи, — проговорила Милли.

— Вранье! Подлое вранье! — выкрикнула старуха. — Не было тут у дверей никакого дилижанса с тех пор, как мисс Мод приехала из Ноула.

Я с изумлением смотрела на старуху служанку, смеющую так дерзить.

— Был дилижанс, и привез, надо думать, Корморана, — сказала Милли, наверное, привыкшая к смелым речам л'Амур.

— Опять подлое вранье, под стать прежнему! — отрезала старая карга, и ее изможденное, сморщенное лицо сделалось красным, как медь.

— Прошу вас никогда не выражаться подобным образом в моей комнате, — сказала я, очень рассерженная. — Я *видела* почтовый дилижанс у дверей; то, что вы лжете, не имеет особого значения, но вашу грубость я здесь не потерплю. И если это повторится, я, несомненно, пожалуюсь дяде.

При моих словах старуха покраснела еще сильнее, сбитая с толку; она уставилась на меня, поджав губы, так что лицо ее исказила зловещая гримаса. Однако она поборолa гнев и только раздраженно фыркнула, говоря:

— Я не хотела обидеть вас, мисс, мы, в Дербишире, как подумаем, так и сказанем. Я не хотела обидеть вас, мисс. Вы ж не обиделись, а? — И она еще раз почтительно присела в реверансе. — А вам, мисс Милли, я позабыла сказать, что господин требует вас сию же минуту.

Милли молча поспешила из комнаты, л'Амур, не отставая, следовала за ней.

## Глава II

### Появляется доктор Брайерли

У Милли, присоединившейся ко мне за завтраком, глаза были красные и припухшие. Она еще ловила воздух с тем тихим всхлипом, который выдает — даже при отсутствии других признаков — недавние бурные рыдания. Она села молча.

— Ему хуже, Милли? — встревоженно спросила я.

— Нет, с ним ничего плохого, с ним все в порядке, — резко ответила Милли.

— В чем же дело тогда, Милли, дорогая?

— Вредная старая ведьма! Наговорила Хозяину, что я сказала про Корморана, ну, что почтовый дилижанс прошлой ночью привез Корморана.

— А кто это — Корморан? — любопытно спросила я.

— Ох, вот оно... Ты хочешь, чтобы я рассказала, и я хочу рассказать, а только не смею, ведь он тут же отошлет меня во французскую школу, черт бы ее побрал! Черт бы их всех побрал!

— А почему дядя Сайлас обеспокоился? — очень удивившись, спросила я.

— Так ведь врут!

— Кто?

— Л'Амур — вот кто. Она как наябедничала Хозяину про меня, так он за нее и взялся, потребовал сказать, были ли приезжие прошлой ночью, а она клялась, что никого не было. Ты уверена, Мод, — ты действительно что-то видела? Может, тебе приснилось?

— Не приснилось, Милли, я видела это, как вижу тебя, — ответила я.

— Хозяин все равно не поверит, он взъярился на меня, грозит Францией, чтоб она под воду ушла! Не люблю Францию... да, чертовски не люблю. Ты ж, наверное, тоже?.. Они меня застращали Францией — отошлют, посмей я еще хоть словечко сказать про почтовых и... про кого бы то ни было.

Меня уже мучило любопытство: кто это — Корморан? Но я поняла, что ничего не услышу от Милли, и она в действительности знала не больше моего насчет таинственного ночного посетителя.

Через несколько дней я была удивлена, увидев доктора Брайерли — он поднимался по лестнице. Я стояла в темной галерее, когда он пересекал площадку, направляясь к дядиной двери, — не сняв шляпы, с какими-то

бумагами в руках.

Он не заметил меня, и, как только он вошел к дяде Сайласу, я спустилась вниз. В холле я нашла поджидавшую меня Милли.

— Значит, доктор Брайерли здесь, — сказала я.

— Это худой, что ли, с колючим взглядом, в лоснящемся черном сюртуке? Который только что поднялся наверх? — спросила Милли.

— Да. Он вошел в комнату к твоему папе, — сказала я.

— А может, как раз он приехал той самой ночью? Он оставался в доме, хотя мы его и не видели, — здесь проще простого затеряться... в таком-то доме!

Эта же мысль пришла и мне в голову, но я сразу ее отвергла. Конечно, я видела *не доктора Брайерли*, а кого-то другого.

Не прояснив ничего, мы взялись за наши занятия — отправились порисовать разрушенный мост. Калитка оказалась, как и прежде, запертой, и, поскольку Милли не удалось убедить меня перелезть через калитку, мы обошли забор по берегу реки.

Рисуя, мы заметили смуглое, под копной черных как сажа волос, лицо и полинявшую красную куртку Самизэля; укрывшись за деревьями, он смотрел на нас злобным взглядом и стоял недвижимо, как вырезанная из камня фигура в боковом приделе собора. Когда мы вновь поглядели в его сторону, он уже исчез.

День для зимы выдался теплый, но мы, хотя и закутанные, не усидели за этюдами дольше десяти–пятнадцати минут. По дороге обратно, минуя небольшую рожицу, мы вдруг услышали рассерженные голоса и увидели под деревьями старого злодея Самизэля и его дочь: он дважды ударил ее своей палкой, причем раз — по голове. Красавица отбежала совсем недалеко, злобный же лесной демон поспешно заковылял вдогонку, изрыгая проклятия и размахивая своей дубинкой.

Я вскипела. Я была так потрясена, что на миг лишилась речи, но в следующий — закричала:

— Изверг! Как вы смеете бить бедную девушку?!

Она, отбежав всего на несколько шагов, обернулась к преследователю — и к нам — лицом: глаза ее полыхали, она была бледна и едва сдерживала слезы. Две струйки крови стекали по ее виску.

— Эй, папаша, погляди-ка сюда! — проговорила она со странной дрожащей улыбкой, подняв руку, перепачканную кровью.

Возможно, он устыдился и поэтому пришел в еще большую ярость, поскольку громко выругался и вновь пустился за девушкой, крутя палкой перед собой. Наши голоса, однако, остановили его.

— Мой дядя узнает о вашей жестокости. Бедная девушка!

— Дай ему, Мэг, если он еще раз тебя тронет! И зашвырни его ногу в речку сегодня, когда он заснет!

— Щас я *тя* тем же попотчую! — услышали мы брань. — Так ты научаешь ее бить отца родного? Ну смотри!

И он повернул голову к Милли, устремив на нее свирепый взгляд и размахивая дубиной.

— Успокойся, Милли, — шепнула я, ведь она уже готовилась схватиться с ним. А его я еще раз заверила, что дома сообщу дяде о том, как он обращается с бедной девушкой.

— Вас-то пуцай и блаадарит за все — подъехали к ней, упростили открыть калитку, — прорычал он.

— Вранье! Мы обогнули забор по ручью, — закричала Милли.

Я считала, что препираться с ним незачем. Он же, на вид очень сердитый и, как мне показалось, немного растерянный, дергаясь и раскачиваясь, пошел своей дорогой. А на мою повторную угрозу сообщить о происшествии дяде он, уходя, через плечо проревел:

— Сайлас не сделает даже вот *так*. — И он щелкнул мозолистыми пальцами.

Девушка стояла на прежнем месте, она стирала кровь с лица и смотрела на ладонь, прежде чем вытереть ее о фартук.

— Бедная моя, — обратилась я к девушке, — не плачьте. Я поговорю с дядей о вас.

Но она не плакала. Подняв голову, она исподлобья, с каким-то угрюмым презрением взглянула на утешительниц.

— Возьмите вот эти яблоки, хорошо? — В нашей корзинке лежало два-три яблока, которыми так славился Бартрам.

Я не решалась приблизиться к ней: эти Хоксы, что Красавица, что Чурбан, были такие дикари... Поэтому я покатила яблоки по земле к ее ногам.

Она так же угрюмо смотрела на нас, потом сердито пнула докатившиеся до ее ног яблоки. Вытерла висок и лоб фартуком, молча повернулась и медленно двинулась прочь.

— Бедняжка! Наверное, нелегкая у нее жизнь. Какие же они странные и недружелюбные люди!

Когда мы вернулись домой, старуха л'Амур поджидала «мисс» на верху парадной лестницы; с почтительным реверансом она сообщила, что господин был бы рад видеть меня.

Не затем ли, чтобы услышать подтверждение, что я наблюдала

прибытие того таинственного почтового дилижанса? Манеры дяди Сайласа, при всей мягкости, чем-то пугали меня, и меньше всего на свете мне хотелось встретить дядин обличающий взгляд.

К тому же я не знала, в каком состоянии найду дядю, и ужасалась при мысли, что опять застану его таким, как в последний раз.

Я входила в комнату с неким трепетом, но мгновенно почувствовала облегчение. Дядя Сайлас был явно в прежнем здравии и, насколько я могла помнить, одет в тот же изящный, хотя и небрежный наряд, в котором я впервые увидела его.

Доктор Брайерли — какой чудовищный контраст, какая грубая внешность и, однако, какой ободряющий в этом его присутствии знак! — сидел подле дяди Сайласа за столом и перевязывал бумаги. Он изучал меня, мне показалось, встревоженным и испытующим взглядом, когда я подходила ближе, и только после того, как я поздоровалась с ним, он, очевидно, вдруг вспомнил, что еще не встречался со мной в Бартраме: он встал и приветствовал меня в обычной резкой и несколько фамильярной манере — вульгарный, неловкий, но все же искренний и по-своему добрый.

С места поднялся и дядя — внушавшая странное благоговение фигура в свободно ниспадавших рембрандтовских одеждах черного бархата. Как же мягок, как благосклонен, как оторван от всего земного и непостижим!

— Мне нет необходимости говорить вам о ее самочувствии. Эти лилеи и розы на девичьем лице — свидетельство того, сколь живителен воздух Бартрама, доктор Брайерли. Я почти удручен тем, что скоро прибудет ее экипаж. Только и надеюсь, что она не сократит прогулки. Ее вид, определенно, оздоравливает меня. Это яркость цветов в зимнюю пору, это благоухание поля, благословенного Господом!

— Сельский воздух, мисс Руфин, — прекрасная приправа к сельской пище. Мне нравится, когда молодые женщины едят с аппетитом. Вы приобрели несколько фунтов говядины и баранины после того, как мы встречались в последний раз.

Произнеся эту лукавую речь, доктор какое-то время пристально изучал мое лицо, чем привел меня в смущение.

— Мою систему взглядов вы, доктор Брайерли, как ученик Эскулапа, должны одобрить — сначала здоровье, потом образование. Европа — лучшее место для усвоения уроков утонченности, и мы, Мод, конечно, в скором времени немножко посмотрим мир, но, думается, если речь идет о здоровье, то я находил бы несравненную, хотя и грустную прелесть в окружении, где протекают столь многие счастливые, пусть праздные и глупые младые дни мои, и это живописное уединение влекло бы меня еще

сильнее. Помните дивные строки старого Шолье?<sup>[2]</sup>

Désert, aimable solitude,  
Séjour du calme et de la paix,  
Asile où n'entrèrent jamais  
Le tumulte et l'inquiétude<sup>[60]</sup>.

Не стану утверждать, что забота и печаль совсем не посещают нас в нашем лесном убежище, но мирская суета не проникает сюда — благодарение Небу! — никогда.

На суровом лице доктора Брайерли проступил скептицизм, и, едва отзвучало впечатляющее «никогда», он произнес:

— Забыл спросить про ваш банк.

— «Бартлет и Холл», на Ломбард-стрит, — сухо, коротко ответил дядя Сайлас.

Доктор пометил себе это в блокноте с выражением лица, говорившим: «Не приму вас за анахорета».

Я заметила, как дядя Сайлас торопливо кинул на меня пронизывающий взгляд, будто оценивая, постигла ли я смысл демарша доктора Брайерли; доктор же, расставив бумаги по вместительным карманам своего сюртука, тем временем встал и откланялся.

Когда он ушел, я решила, что самое время высказать жалобу на Дикона Хокса. Дядя Сайлас поднялся из кресла, а я, поколебавшись, начала:

— Дядя, вы позволите мне рассказать о происшествии, которому я была свидетельницей?

— Разумеется, дитя, — ответил он, устремив на меня свой пронизывающий взгляд. Наверное, он вообразил, что я заведу речь о том таинственном почтовом дилижансе.

Я описала сцену в Уиндмиллском лесу, которая потрясла нас с Милли всего час назад.

— Видите ли, дорогое дитя, они грубые люди, их представления далеки от наших, а их чада подвергаются наказаниям, какие нам могут показаться чрезмерно суровыми. Но я не нахожу нужным и не стану вмешиваться в семейные ссоры.

— Но ведь он сильно ударил ее по голове тяжелой палкой, дядя, и она просто истекала кровью.

— Ах! — сухо произнес дядя.

— И только потому, что мы с Милли пообещали непременно

рассказать обо всем вам, он не ударил ее еще раз. Я действительно думаю, что, если он будет обращаться с ней так же жестоко, он может серьезно изувечить девушку, даже убить.

— Мое романтическое дитя! Люди этого разряда не придадут значения проломленной голове, — отозвался дядя в том же тоне.

— Но, дядя, разве это не чудовищная жестокость?

— Разумеется, чудовищная жестокость, однако вам надо запомнить, что они чудовища и что им надлежит быть жестокими, — сказал он.

Я испытала разочарование. Я воображала, что дядя, при его мягкой натуре, исполнится ужаса и возмущения, узнав о таком насилии. Увы, дядя оказался заступником этого отъявленного негодяя Дикона Хокса.

— Он к тому же всегда груб и дерзок с Милли и со мной, — не отступала я.

— О! Дерзок с вами? Это другое дело. Я разберусь. Больше ничего, мое дорогое дитя?

— А этого недостаточно?..

— Он полезный слуга, этот Дикон Хокс, и хотя наружность у него не располагающая, а манеры грубы, тем не менее он предобрый отец и честнейший человек... человек высокой морали, пусть и суров. Неотшлифованный алмаз. Не ведает о правилах утонченного общества. Отважусь сказать, он искренне думает, что неизменно был донельзя почтителен с вами; посему мы должны проявить снисходительность. — И дядя Сайлас провел по моим волосам своей тонкой старческой рукой и поцеловал в лоб. — Да, мы должны проявлять снисходительность и доброту. Что говорит нам Святая книга? «Не судите, да не судимы будете». Ваш дорогой отец руководствовался этой максимой — столь же возвышенной, сколь и ужасной. На то же направлены и мои усилия... Увы! Дорогой Остин... *longo intervallo*...<sup>[61]</sup> ты далеко от нас, ты обрел покой, а я несу свое бремя, я все еще на трудной горной тропе в непроглядной ночи.

O nuit, nuit douloureuse! O toi, tardive aurore,  
Viens-tu? vas-tu venir? est-tu bien loin encore?<sup>[62]</sup>

И, повторив эти строки из Шенье<sup>[3]</sup>, с возведенными горе глазами и вздетой рукой, с интонацией непередаваемой скорби и усталости, он, оцепеневший, опустил в свое кресло, закрыл глаза и какое-то время оставался нем. Потом, торопливо поднес к глазам надушенный носовой платок, он взглянул на меня очень ласково и произнес:

— Что-нибудь еще, дорогое дитя?

— Нет, дядя, благодарю вас. Я только и хотела сказать об этом человеке, о Хоксе. Думаю, он без умысла был столь груб с нами, но я действительно боюсь его, из-за него наши прогулки к реке лишены приятности.

— Я вас прекрасно понимаю, моя дорогая. Я позабочусь об этом. А вам надо запомнить: ничто не будет досаждать моей возлюбленной племяннице и подопечной, пока она в Бартраме, — ничто, чему ее старый родственник Сайлас Руфин в силах воспрепятствовать.

И с мягкой улыбкой, давая понять, что желает наконец расстаться со мной без «хлопанья дверью», он выпроводил меня.

Доктор Брайерли не ночевал в Бартраме, он остановился в маленькой гостинице в Фелтраме и после визита к нам отправился прямо в Лондон, как потом я узнала.

— Твой безобразный доктор умчал на пролетке, — сказала мне Милли, когда мы столкнулись с ней на лестнице: она торопилась наверх, я — вниз.

Зайдя в небольшую комнату, служившую нам гостиной, я, однако, обнаружила, что она ошиблась. Доктор Брайерли, в шляпе, в толстых шерстяных перчатках, в поношенном темно-сером, застегнутом до самого подбородка пальто, в котором он казался еще более долговязым, поместив свой черный кожаный саквояж на стол, читал у окна томик, принесенный мною сюда из дядиной библиотеки.

Это было повествование Сведенборга об иных мирах — о рае и об аде<sup>{4}</sup>.

Когда я вошла, он закрыл книгу, — но прежде заложил в нее палец на нужной странице, — и, позабыв снять шляпу, шагнул ко мне в своих скрипучих несуразных башмаках. Кинув быстрый взгляд на дверь, он произнес:

— Рад коротко повидаться с вами наедине... очень рад.

Между тем лицо его выражало крайнюю тревогу.

## Глава III

### Отъезд в ночь

— Я сейчас уезжаю. Я... я хотел узнать, — он вновь посмотрел на дверь, — вам действительно хорошо здесь?

— Хорошо, — торопливо ответила я.

— Вы проводите время только в обществе вашей кузины? — продолжил он, окинув взглядом стол, накрытый для двоих.

— Да. Но мы с Милли очень счастливы вдвоем.

— Замечательно. Однако, наверное, здесь нет учителей, что обучали бы рисованию, пению — всему, положенному молодым леди. Нет? *Никаких* учителей?

— Нет. Мой дядя считает, что мне следует запастись здоровьем.

— О, это мне известно. А коляску с лошадьми так и не доставили? Когда ждете?

— Я на самом деле не могу сказать. И уверяю вас, особенно не беспокоюсь из-за отсутствия коляски. Бродить по поместью — настоящее удовольствие.

— Вы пешком добираетесь до церкви?

— Да. У экипажа, принадлежащего дяде Сайласу, требуется сменить колесо, как он объяснил.

— Молодой леди вашего положения не пристало, знаете ли, обходиться без экипажа. У вас есть верховая лошадь?

Я покачала головой.

— Ваш дядя, как вам известно, располагает средствами на ваше содержание и образование.

Да, что-то об этом было в завещании... И Мэри Куинс сетовала на то, что опекун «старается и фунта в неделю не потратить на наш пансион».

Я промолчала и опустила взгляд.

Черные пронзительные глаза доктора Брайерли вновь на миг обратились к двери.

— Он добр к вам?

— Очень добр... ласков и нежен.

— Почему он лишает вас своего общества? Он когда-нибудь обедает вместе с вами, пьет чай, беседует? Вы много видите с ним?

— Он несчастный инвалид, у него особый режим. Мне бы на самом деле хотелось, чтобы вы вникли в этот случай: он, я думаю, часто подолгу

пребывает в беспамятстве, и разум его иногда странно слабеет.

— Осмелюсь сказать — испорчен с юных лет. Я заметил опий, приготовленный у него во флаконе... Ваш дядя им злоупотребляет.

— Почему вы так решили, доктор Брайерли?

— Средство приготавливается на воде... повышение концентрации ведет к помутнению сознания. Вы даже не вообразите, сколько этого зелья они способны проглотить. Почитайте «Любителя опиума»<sup>[5]</sup>. У меня было два случая, когда доза превышала ту, что у де Квинси. Новость для вас? — И доктор невозмутимо рассмеялся над моей наивностью.

— Что же, по-вашему, его беспокоит? — спросила я.

— Не имею представления, но, возможно, он только и делает, что тем или иным способом воздействует на свои нервы и мозг. Эти любители удовольствий, не ведающие иных стремлений, совершенно изнашивают себя и дорого платят за свои грехи. Значит, он добр и ласков, но передал вас на руки вашей кухне и слугам. Люди здесь воспитанные, любезные?

— Не знаю, что и сказать... Здесь есть человек по имени Хокс и его дочь, которые очень грубы, порой ведут себя даже оскорбительно; они говорят, мой дядя приказал им не пускать нас в некоторые уголки поместья, но я не верю, ведь дядя Сайлас не упомянул об этом, когда я сегодня пожаловалась на Хокса.

— Куда именно вас не пускают? — живо поинтересовался доктор Брайерли.

Я объяснила как можно подробнее.

— Отсюда видно? — Он выглянул в окно.

— О нет.

Доктор пометил что-то в своей записной книжке, а я добавила:

— Я совершенно уверена, что дядин запрет — это выдумка Дикона; он такой нелюбезный, неучтивый человек.

— А что вы скажете про ту старую служанку, которая все заходила в комнату вашего дяди?

— О, это старуха л'Амур, — ответила я, впрочем, ничего не прояснив своим ответом, ведь я употребила прозвище, которым наградила ее Милли.

— А *эта* вежлива? — спросил он.

Нет конечно же. Она была неприятнейшей, даже зловредной старухой. Мне почудилось, что я вновь слышу, как она грубо бранится.

— Не слишком хорошее у вас общество, — проговорил доктор Брайерли. — Но где один, там появятся и другие. Вот, я как раз читал... — Он открыл томик, заложив палец, и прочел несколько фраз, смысл которых я хорошо помню, хотя точные слова, конечно, позабылись.

Фрагмент был из той ужасной части книги, где описывалось состояние проклятых, и в нем говорилось, что, независимо от физических причин, которые сводят этих несчастных под одной крышей и усиливают их отторгнутость от высших духов, существуют симпатии, склонности, нужды, сами собой порождающие жалкую стадность, но вместе с тем и отверженность.

— А другие слуги? Лучше? — продолжил он расспросы.

Мы мало видели других, исключая старого Жужеля, дворецкого: будто крохотное механическое создание, с каркасом из сухих косточек, он возникал то тут, то там, нашептывая что-то, ни к кому не обращаясь, и улыбался, когда накрывал на стол, а в остальном, казалось, совершенно не осознавал внешнего мира.

— Убранство комнаты совсем не во вкусе мистера Руфина, разве ваш дядя не мог позаботиться, чтобы меблировка была чуть изящнее? Это его прямая обязанность, я считаю! — Доктор Брайерли немного помолчал, а потом, все так же посматривая на дверь, проговорил тихо, с настороженностью, но очень отчетливо: — Вы больше не думали о том деле? Не желаете, чтобы ваш дядя отказался от опекунства? Не следует придавать большое значение его решению. Вы могли бы оплатить его отказ, если... цена будет разумной. И я считаю, вы позаботитесь о своих интересах, мисс Руфин, поступив таким образом... только бы выбраться, если возможно, из этого места.

— Но я совсем не думала об этом. И я счастливее здесь, чем ожидала. Я так привязалась к кухне Милли.

— Сколько времени вы уже здесь, если говорить точно?

Я ответила, что два — нет, три месяца.

— Вы видели вашего кузена, молодого джентльмена?

— Нет.

— Гм. Вам не одиноко? — поинтересовался он.

— Здесь не принимают гостей, но меня же предупредили.

Доктор насупившись изучал свой выдавшей виды башмак и тихонько постукивал каблуком об пол.

— Нет, вам все же очень одиноко, и общество здесь негодное. Вам было бы веселее где-нибудь в другом месте. У леди Ноуллз, например, а?

— О, там — конечно. Но мне хорошо и здесь: на самом деле я провожу время очень приятно, и мой дядя добр. Стоит только сказать, что мне досаждают, и он постарается все исправить — он постоянно твердит мне об этом.

— Нет, здесь неподходящее место для вас, — повторил доктор

Брайерли. — Разумеется, что касается вашего дяди, — продолжил доктор, видя удивление на моем лице, — все верно; но он совсем беспомощен. Как бы то ни было, *подумайте* еще раз. Вот мой адрес: Ханс Эмманьюэл Брайерли, доктор медицины, Кинг-стрит, семнадцать, Ковент-Гарден, Лондон. Смотрите не потеряйте... — Он вырвал листок с адресом из своей записной книжки. — Моя пролетка у дверей. Вы должны... вы должны... — Он смотрел на часы. — Запомните, вы *должны* серьезно подумать. И никому не показывайте листок. Не оброните его где-нибудь. Лучше всего нацарапать адрес на дверце шкафа изнутри, но не ставьте мое имя — вы его запомните, — только адрес. А листок сожгите. Куинс с вами?

— Да, — сказала я, довольная, что могу хоть чем-то его порадовать.

— Хорошо, не отпускайте ее от себя, это тревожный знак, если они захотят удалить ее. Не соглашайтесь, смотрите... И дайте мне знать, я тут же приеду. Все письма, которые вы получаете от леди Ноуллз, — она ведь, как вам известно, очень откровенна в речах, — лучше сразу жечь. Я слишком задержался, однако... Запомните, что я сказал вам: булавкой нацарапайте адрес, листок сожгите и не проговоритесь ни единой живой душе об этом. До свидания. О, я унес вашу книгу!

И в лихорадочной спешке, коротко мне кивнув, он подхватил свой зонтик, саквояж, жестяной сундучок и стремительно вышел из комнаты. Через минуту я услышала стук колес его экипажа.

Я посмотрела ему вслед и вздохнула: тяжелые предчувствия, мучившие меня еще до отъезда в Бартрам-Хо, вновь пробудились в душе.

Мой уродливый, вульгарный и при всем том истинный друг исчез за гигантскими липами, прятавшими Бартрам от мира, — пролетка, с саквояжем доктора наверху, скрылась из виду, и я вновь тяжело вздохнула. Когда тени от сплетавшихся в вышине ветвей вновь легли на дорогу, я почувствовала себя беспомощной, покинутой. Опустив глаза, я увидела, что держу в руке адрес доктора Брайерли.

Я сунула листок за корсаж и быстро и бесшумно вошла по лестнице, опасаясь, как бы старуха опять не поджидала меня на площадке, чтобы позвать в комнату дяди Сайласа, — под его взглядом я выдала бы себя.

Но я благополучно достигла своей комнаты незамеченной и заперла за собой дверь. Прислушиваясь, я трудилась: острием ножниц царапала адрес там, где посоветовал доктор Брайерли. Потом, все время страшась, что кто-нибудь постучит и застанет меня, достала спички и обратила опасный клочок бумаги в пепел.

Впервые я испытала неприятное чувство, связанное с необходимостью хранить тайну. Это обособляющее положение причиняло мне непомерную

боль, ведь по натуре я была очень открытой и нервической девушкой. Я непрерывно спохватывалась в последний момент, что вот сейчас обнаружу свою тайну à propos de bottes<sup>[63]</sup>, непрерывно укоряла себя за двуличие. И всякий раз меня охватывал ужас, когда чистосердечная Мэри Куинс приближалась к шкафу или добрая душа Милли желала узреть чудеса моего гардероба. Я бы все отдала, только бы подойти, указать на буквы, тоньше волоса, и сказать: «Это адрес доктора Брайерли в Лондоне. Я нацарапала эту надпись острием ножниц, приняв все предосторожности, чтобы никто — даже вы, мои добрые друзья, — не застал меня врасплох. С тех пор я хранила секрет ото всех и дрожала, когда ваши не ведающие притворства лица заглядывали в шкаф. Теперь вы все знаете. Сможете ли вы когда-нибудь простить мне этот обман?»

Но я не решалась открыть им надпись, не решалась и уничтожить ее, о чем тоже подумывала. Наверное, нет другого такого нерешительного человека на свете. Только в минуты глубокого волнения или в страстном порыве я могу действовать. Тогда я преображаюсь, становлюсь проворной и смелой.

— Кто-то, по-моему, уехал отсюда прошлой ночью, мисс, — однажды утром сообщила с загадочным кивком Мэри Куинс. — Было два часа, у меня так болели зубы, что я сошла вниз за щепотью перца, а зажженную свечу оставила при вас на случай, ежели вы проснетесь. И когда я уже поднималась по лестнице, нет, когда уже была на площадке, со двора, от того конца галереи, что бы вы думали, я услышала? Лошадиный храп и редкие, приглушенные людские голоса, вот что. Я — к окну, выглянула. И точно: лошади, вижу, стоят, впряженные в экипаж, и малый на верх коробку грузит; тут и сундук с саквояжем подоспели. А в дверях, мне кажется, была старая Уайт... л'Амур, если вам угодно, — так ведь мисс Милли ее прозвала? — и говорила старуха с кучером.

— А кто сел в экипаж, Мэри? — спросила я.

— Ну, мисс, я ждала, сколько могла, но зубы так болели, я так замерзла, что в конце концов я бросила это и вернулась в постель, ведь кто его знает, сколько еще пришлось бы ждать. И попомните мои слова, мисс, опять будут держать все в секрете, как на прошлой неделе. Не нравятся мне их привычки, их секреты, не нравится эта старая Уайт. Она только и делает, что сочиняет, — ведь правда? А ей бы поостеречься, раз время-то ее подходит, раз старая такая. Ужас, такая старая и так врет!

Милли проявила любопытство не меньше моего, но тоже оказалась не в силах прояснить хоть что-то. Впрочем, мы сошлись во мнении: уехала, очевидно, та персона, приезде которой я была случайной свидетельницей.

В этот раз экипаж останавливался у левой боковой двери за углом дома и, без сомнения, покати́л проселочной дорогой.

Итак, о ночном отъезде мы узнали вновь по причине неприятного случая. Было очень досадно, однако, что у Мэри Куинс не хватило терпения дожидаться появления путешественника. Мы решили: будем хранить молчание, и даже старухе Уайт — ладно, стану звать ее по-прежнему — л'Амур, — даже ей Мэри Куинс не намекнет о том, что видела. Но растревоженное любопытство, подозреваю, дало знать о себе, и Мэри вряд ли исполнила свое намерение.

Как бы то ни было, бодрящее зимнее солнце и морозные небеса, долгие вечера с ясными звездами и уютным огнем в камине, а значит, разговоры, истории, временами чтение, короткие прогулки по неизменно дивному Бартраму-Хо, а больше всего — ничем не нарушаемое течение нашей жизни, спокойствие которой не оставляло места мыслям об опасности и несчастьях, — все это постепенно подавило во мне дурные предчувствия, ожившие было под влиянием доктора Брайерли.

Кузина Моника, к моей невыразимой радости, вернулась в свое поместье, и активная дипломатия, осуществленная через почту, повела к переговорам о возобновлении дружественных связей между Элверстоном и Бартрамом.

Наконец, в один прекрасный день, кузина Моника, сияющая, не снявшая ни накидки, ни шляпки, румяная от резкого ветра с Дербиширских гор, вдруг предстала предо мной в нашей гостиной. Мы встретились, будто давно не видевшиеся школьные подруги. Кузина Моника всегда оставалась юной в моих глазах.

О, какие были объятия, какой шквал поцелуев, восклицаний, вопросов, какие ласки! В конце концов я не без труда усадила ее в кресло, а она, смеясь, сказала:

— Вы и представить себе не можете, какого самоотречения стоило мне устройство этой встречи. Я целых пять писем написала Сайласу (а я ненавижу писать) и, кажется, ни в одном не позволила себе дерзкого слова! Что за чудо ваш кроха дворецкий! Я не знала, как с ним обойтись у входной двери. Он струлдбруг<sup>{6}</sup>, эльф или всего-навсего привидение? Где ваш дядя выискал его? Уверена, он появился в канун Дня всех святых в ответ на заклинания... надеюсь, он не ваш суженый<sup>{7}</sup>... и как-нибудь ночью обратится в серый дым и вылетит в трубу. Такого древнего маленького существа я в жизни не видела! Я упала в экипаже на подушки и решила, что умру от смеха. Он пошел доложить вашему дяде о моем приезде, и я

очень рада: я покажусь теперь Сайласу юной как Геба<sup>[8]</sup> — после него. Но кто это? Кто вы, моя дорогая?

Последние фразы были обращены к пухлощекой бедняжке Милли, которая стояла сбоку у камина и круглыми от страха и удивления глазами глядела на странную леди.

— Ох, простите меня! — воскликнула я. — Милли, дорогая, познакомься, это твоя кузина, леди Ноуллз.

— Значит, вы Миллисент. Дорогая, я очень рада вас видеть. — Кузина Моника вмиг была опять на ногах и уже держала руку Милли в своих, уже целовала ее в обе щеки и гладила по волосам.

Милли, надо сказать, выглядела намного достойнее, чем в тот раз, когда знакомилась с ней я. Платье ее теперь было, по крайней мере, на четверть ярда длиннее. И хотя вид у нее был, несомненно, деревенский, но она уже не казалась нелепой до крайности.

## Глава IV

### Кузина Моника и дядя Сайлас встречаются

Кузина Моника, обнимая Милли за плечи, заглянула ей в лицо веселым и добрым взглядом:

— Мы обязательно подружимся, вы, забавное создание, и я. Мне позволено быть самой дерзкой старухой Дербишира — привилегия за неисправимость; никто никогда не обижается на меня, поэтому я постоянно говорю возмутительнейшие вещи.

— Я сама немножко такая, и я думаю... — делая усилие и чудовищно краснея, проговорила бедная Милли, но потом совсем растерялась и не смогла закончить фразу.

— Думаете? Послушайтесь моего совета и никогда не тратьте время на то, чтобы думать, моя дорогая. Сначала говорите, думайте потом. Таково мое обыкновение; по правде говоря, я и вовсе не думаю. Что за малодушие! Наша хладнокровная кузина Мод иногда думает, и это приносит только вред, но я к ней снисходительна! Интересно, когда ваш допотопный кроха дворецкий вернется? Наверное, он изъясняется на языке пиктов и древних бриттов<sup>{9}</sup> и вашему отцу требуется немало времени, чтобы перевести его речи. Милли, дорогая, я очень голодна, поэтому не стану дожидаться вашего дворецкого, который предложит мне, наверное, лепешку, испеченную еще королем Альфредом<sup>{10}</sup>, и датского пива в чаше из черепа, но попрошу у вас всего лишь кусочек отменного хлеба с маслом.

Им тут же и угостили леди Ноуллз; за трапезой она ничуть не утратила словоохотливости.

— Девушки, будете вы готовы за час-другой, если Сайлас позволит вам уехать со мной? Я хотела бы взять вас обеих в Элверстон.

— Ой, восхитительно! Какая вы милая! — вскричала я, обнимая и целуя ее. — Что до меня, то я буду готова через пять минут. А ты, Милли?

Гардероб бедняжки Милли на самом деле и не заслуживал называться таковым; впрочем, она и меня удивила, когда испуганно зашептала мне на ухо:

— Моя лучшая юбка у прачки. Скажи — через неделю, Мод.

— Что она говорит? — спросила леди Ноуллз.

— Говорит, она не будет готова, — ответила я уныло.

— Барахло, чуть ли не все, в стирке, — выпалила бедняжка Милли,

глядя в лицо гостье.

— Разрешите мои сомнения — что кузина имеет в виду? — обратилась ко мне леди Ноуллз.

— Ее вещи у прачки, — пояснила я.

В этот момент появился наш кроха дворецкий и объявил леди Ноуллз, что господин ждет ее, как только она соблаговолит оказать ему честь, а также добавил, что господин приносит свои извинения, поскольку принужден из-за болезни побеспокоить ее просьбой подняться к нему.

Кузина вмиг была у двери и бросила нам через плечо:

— Идемте, девушки!

— Простите, моя леди, пока зовут вас одну. Но он велел молодым леди оставаться поблизости, он вскоре придет и за ними.

Я уже начинала восхищаться бедным Жужелем, так сохранившим что-то от вполне почтительного слуги.

— Чудесно. Возможно, нам действительно лучше расцеловаться и возобновить дружбу для начала без свидетелей, — проговорила леди Ноуллз со смехом. И ушла в сопровождении мумии.

Позже она пересказала мне tête-à-tête<sup>[64]</sup>.

— Когда я увидела его, дорогая, — сказала она, — я глазам не могла поверить: эти белые волосы, совершенно белое лицо; этот безумнейший взгляд; эта улыбка, подобная оскалу мертвеца. В последний мой приезд, помню, он был темноволос, одевался как современный английский джентльмен и хранил сходство с тем Сайласом, что изображен на портрете, в который вы, дорогая, влюбились. Но, ангелы небесные, этакое привидение! Я спрашивала себя: в чем причина превращения? Некромантия? Или это результат белой горячки? А он с мерзкой улыбкой, от которой я сама едва не обезумела, произнес:

«Моника, вы видите перемену во мне?»

О! Какой мелодичный, мягкий, колдовской голос был у него. Мне однажды рассказывали про хрустальную флейту, тон которой у некоторых вызывал истерику, и я все время думала об этой флейте. В его голосе всегда крылось что-то особенное.

«Да, я вижу перемену в вас, Сайлас, — произнесла я наконец, — и вы, без сомнения, тоже видите во мне... немалую перемену».

«Со времени вашего последнего посещения могла произойти и большая перемена, чем та, что я имею честь наблюдать», — сказал он.

Он, подумала я, по обыкновению, язвит и имеет в виду, что время не исправило меня и я такая же дерзкая, какой он меня издавна помнит. А я такая и есть, и ему не следует ждать любезностей от старой Моника

Ноуллз.

«Давно мы не виделись, Сайлас, но вы же знаете, в том нет моей вины», — сказала я.

«В том ваш инстинкт, дорогая, — не вина. Мы все склонны к подражанию: меня подвергли остракизму сильные мира сего — остальные следуют за ними. Мы все как индюки: у нас столько же здравого смысла и столько же великодушия! По воле судьбы моя голова оказалась поврежденной, и вся стая кинулась на меня — клюют и кулдычат, кулдычат и клюют. И вы среди них, дорогая Моника. В том нет вашей вины — только ваш инстинкт. Поэтому я прощаю вам. Но стоит ли удивляться, что клюющие крепче заклеванных. Вы здоровы, а я... каков есть».

«Сайлас, я приехала не для того, чтобы ссориться. Если мы поссоримся сейчас, мы никогда уже не помиримся — мы слишком стары. А поэтому давайте все забудем и простим друг другу, что можем. Если мы не в силах сделать ни то, ни другое, пусть перемирие длится хотя бы пока я здесь».

«Мои личные обиды я способен простить и прощаю искренне — Бог тому свидетель, но есть вещи, которые нельзя прощать. Вследствие известных вам печальных событий погублены мои дети. Возможно, я, милостью Провидения, буду оправдан для света и, как только время наступит, я вспомню, кто я, и начну действовать. Но мои дети... Вы увидите эту несчастную девушку, мою дочь... образование, общество — все придет для нее слишком поздно... Мои дети погублены».

«Я ничего им не сделала, но знаю, о чем вы, — сказала я. — Вы грозите тяжбой в случае, если у вас будут средства. Но вы забыли, что Остин предоставил вам в пользование этот дом и это поместье, взяв обещание, что вы никогда не станете оспаривать мои права на Элверстон. Вот вам мой ответ, если вы это имеете в виду».

«Что уж имею в виду, то имею», — произнес он с прежней улыбкой.

«Вы хотите сказать, — проговорила я, — что ради удовольствия измучить меня тяжбой вы согласны лишиться предоставленных в ваше пользование дома и поместья?»

«Предположим, я действительно хочу сказать именно это, но почему я должен чего-то лишиться? Мой возлюбленный брат, по завещанию, подарил мне право пожизненного пользования Бартрамом-Хо, не добавив никаких нелепых условий, выдуманых вами».

Сайласа посетило отвратительнейшее из свойственных ему настроений, он наслаждался, запугивая меня. Его злопамятность поглощала все его силы, но он знал так же хорошо, как и я, что никогда не преуспеет,

оспаривая права моего дорогого покойного Гарри Ноуллза на владение. Я ничуть не встревожилась из-за его угроз, я так и сказала ему — тем же невозмутимым тоном, каким говорю сейчас.

«Хорошо, Моника, — проговорил он, — я подверг вас испытанию на прочность — у вас нет в ней недостатка. На миг враг рода человеческого овладел мною: мысль о детях, бывшие беды, нынешние несчастья и позор вызвали озлобление, и я обезумел. Всего на миг... судорога гальванизированного трупа. Не найдется сердца, которое было бы мертвее моего для страстей и амбиций света. Сие не пристало белым волосам, как эти, и человеку, по неделе всякий месяц пребывающему у врат смерти. Пожмем руки? *Вот* моя — я действительно за перемирие и я действительно забыл и простил все».

Не знаю, зачем ему понадобилась эта сцена. Не догадываюсь: то ли он притворялся, то ли потерял голову... почему... как это могло случиться? Но я рада, дорогая, что, против обыкновения, сохранила спокойствие и не дала вовлечь себя в ссору.

Когда настала наша очередь войти к дяде, вид у него был привычный, но краска на лице кухни Моника, блеск ее глаз ясно свидетельствовали о прозвучавших здесь только что резких и злых словах.

Дядя Сайлас в своей манере высказался об эффекте воздуха и вольности в Бартраме, кои только и мог предложить, и побудил меня оценить их. Затем поманил Милли, нежно поцеловал ее, печально улыбнулся, глядя на нее, и, обернувшись к кухне Монике, проговорил:

— Моя дочь, Милли. О, вероятно, вам представили ее внизу. Вам, без сомнения, она интересна. Хотя я пока не сэр Танбели Кламзи, она, как я уже заметил ее кухне Мод, законченная мисс Хойден<sup>{11}</sup>. Так ведь, Милли, бедняжка? Своими отличиями ты обязана, моя дорогая, тем, кто с момента твоего рождения воздвигал стену, отгородившую Бартрам от мира. Ты в большом долгу, Милли, перед всеми, кто силою естественных или *противоестественных* причин укреплял эту невидимую, но неодолимую преграду. За свою исключительность, вряд ли способную снискать благосклонность света, ты должна быть признательна, в частности, твоей кухне леди Ноуллз. Не так ли, Моника? *Поблагодари* кухню, Милли.

— Вот как вы соблюдаете *перемирие*, Сайлас! — воскликнула, едва подавляя раздражение, леди Ноуллз. — Мне кажется, вы, Сайлас Руфин, желаете, чтобы я заговорила перед этими юными девушками в тоне, о котором мы все пожалеем.

— О, мои шутки задевают вас, Монни? Подумайте, что бы вы

чувствовали, найди я вас растерзанную разбойниками с большой дороги и упрись я ногой вам в горло, плюнь вам в лицо? Но довольно. Зачем я говорю это? Только чтобы придать выразительности прощению. Смотрите, девушки, леди Ноуллз и я, давно отдалившиеся родственники, забыли прошлое и простили друг друга, соединив руки над похороненными обидами.

— Так тому и *быть*, только давайте откажемся от колкостей и скрытой иронии.

С этими словами их руки соединились в пожатии, а потом дядя Сайлас ласково погладил ее руку своей, посмеиваясь очень тихо и холодно.

— Мне бы хотелось, дражайшая Моника, — проговорил он, завершая немую сцену, — предложить вам ночлег, но я не располагаю ни единой лишней кроватью и боюсь, что мое приглашение остаться вряд ли будет принято.

В ответ прозвучало приглашение со стороны леди Ноуллз, адресованное Милли и мне. Он выразил признательность и размышлял, сохраняя на губах улыбку. Мне показалось, он был озадачен. Все с той же улыбкой он раз-другой вскинул свои безумные глаза, подозрительно изучая открытое лицо кузины Моника.

Нашлось препятствие... *неопределенное* препятствие, не позволявшее нам поехать в тот день. Но в скором времени... очень скоро... он будет весьма и весьма рад...

Итак, о скромных надеждах пришлось позабыть, по крайней мере, на этот раз. Кузина Моника была слишком хорошо воспитана и не настаивала больше положенного.

— Милли, дорогая моя, не наденете ли шляпку, не покажете ли мне парк рядом с домом? Вы позволите, Сайлас?.. Мне хотелось бы освежить впечатления от Бартрама-Хо.

— Вы найдете поместье запущенным, Монни. Бедный человек вынужден доверить отраду своих глаз, свой парк, природе. Впрочем, что до прекрасного леса, обилия холмов, гор и долов, то тут мы наслаждаемся живописностью, какой люди в суеде роскоши пренебрегают.

Тогда, объявив, что в нашем сопровождении она через парк по тропинке доберется до своего экипажа и отправится домой, кузина Моника простилась с дядей Сайласом: церемонию завершил — как мне показалось, довольно холодный с обеих сторон — поцелуй.

— Ну, девушки, — проговорила кузина Моника, когда мы отошли довольно далеко от дома, — как думаете, отпустит он вас или нет? Мне трудно об этом судить; но я считаю, дорогая, — обратилась она к

Милли, — что он должен позволить вам немножко посмотреть мир за пределами горных долин и зарослей Бартрама. Они хороши, как и вы сами, но такие дикие, уединенные. Где ваш брат, Милли? Ведь он старше вас?

— Не знаю где. А старше он на шесть лет с небольшим.

Позже, когда Милли отвлеклась — она носилась по берегу реки и размахивала руками, вспугивая цапель, — кузина Моника зашептала:

— По моим сведениям, он убежал из дому — хотела бы я в это поверить — и записался в полк, отбывавший в Индию. Что, возможно, самое лучшее в его положении. Вы видели его, прежде чем он благоразумно избрал изгнание?

— Нет.

— Вы ничего не потеряли. Из того, что смог разузнать доктор Брайерли, получается, что ваш кузен очень скверный молодой человек. А теперь, дорогая, скажите: Сайлас *добр* к вам?

— Да, всегда ласков, как сегодня, в вашем присутствии. Но мы на самом деле видим его крайне мало.

— Вам нравится жить здесь, нравятся здешние люди?

— Жить — да, очень. И люди... *не такие уж плохие*. Есть старуха, которая нам не нравится, — старуха Уайт. Она злобная, скрытная, лживая, по крайней мере, я так думаю, и Мэри Куинс со мной согласна. Есть еще отец с дочерью, по фамилии Хокс, которые живут в Уиндмиллском лесу. Они донельзя неучтивые, хотя мой дядя уверяет, что грубят они без всякого умысла. Но это действительно пренеприятнейшие люди. Кроме этих, мы мало видим слуг и кого бы то ни было. Должна вам сказать, кто-то тайно приезжал сюда однажды поздней ночью и оставался несколько дней, но ни Милли, ни я не встречались с приезжим, только Мэри Куинс видела экипаж у боковой двери в два часа ночи.

Кузина Моника проявила такой интерес к последним моим словам, что остановилась, заглянула мне в лицо и, сжимая мою руку в своей, принялась расспрашивать; она слушала меня и, казалось, терялась в ужасавших ее догадках.

— Это неприятно, — вздохнула я.

— Да, это неприятно, — проговорила леди Ноуллз очень мрачно.

Тут к нам присоединилась Милли, кричавшая, чтобы мы взглянули на цапель в небе. Кузина Моника подняла голову, улыбнулась, кивком поблагодарила Милли и опять погрузилась в задумчивое молчание, как только мы продолжили путь.

— Вы должны приехать ко мне обе, запомните, девушки, — вдруг проговорила она. — *И приедете*. Я устрою это.

Какое-то время мы шли молча, Милли опять убежала — проверить, видно ли в спокойной воде под мостом старую форель. А кузина Моника, пристально глядя на меня, тихо спросила:

— Вы ничего не замечали, что бы вас встревожило, Мод? Не пугайтесь так, дорогая, — добавила она с коротким смешком, не слишком, впрочем, веселым. — Я не хочу сказать, на самом деле встревожило... нет, не встревожило. Я хочу сказать... не могу найти слово... разволновало... раздосадовало?

— Нет. Вот только та комната, в которой мистера Чарка нашли мертвым...

— О! Вы видели ее? Как бы мне хотелось ее увидеть! Ваша спальня не рядом с ней?

— Нет, она этажом ниже, с фасада. Со мной разговаривал доктор Брайерли, и мне показалось, у него было что-то на уме, о чем он предпочел промолчать, поэтому после его отъезда я сначала, как вы выразились, встревожилась. Но, кроме этого случая, других причин не назову. А почему вы спросили?

— Вы боитесь, Мод, привидений, бандитов и вообще *всего* на свете, и я хотела узнать, не досаждают ли вам сейчас что-нибудь... кто-нибудь, — и только, уверяю вас. Я знаю, — продолжила она, внезапно меня легкий тон на исполненный страстности, — о чем говорил с вами доктор Брайерли, и я умоляю вас, Мод, подумать серьезно. Когда вы приедете ко мне, вы должны будете остаться в Элверстоне.

— Кузина Моника, где же честность? И вы, и доктор Брайерли одинаково меня запугиваете; вы не представляете, какой нервной я иногда бываю, и, однако, никто из вас не хочет сказать, что на самом деле имеет в виду. Кузина Моника, дорогая, неужели же вы мне не скажете?

— Ну, дорогая моя, здесь так уединенно; место странное, а ваш дядя — и того пуще. Мне не нравится это место, не нравится и он сам. Я пыталась полюбить его, но не могу и, думаю, никогда не смогу. Возможно, он — как там глупый викарий в Ноуле его называл? — совершеннейший христианин, вроде бы так. Я надеюсь, что он стал им. Но если он прежний, полная изолированность от общества устранила единственные препоны, исключая чувство страха, — он же, сколько я его знаю, не слишком поддается этому чувству, — единственные препоны перед очень дурным человеком. А вы, моя дорогая Мод, — для него такая добыча, ведь речь идет об огромной собственности. — Неожиданно кузина Моника смолкла, будто опомнившись, что слишком далеко зашла. — Но, возможно, *теперь* Сайлас очень благонравен, хотя он был необуздан и эгоистичен в молодые

годы. Я действительно не могу разобраться в нем, однако я уверена: обдумав все, вы согласитесь со мной и с доктором Брайерли, что вам тут оставаться не следует.

Тщетно я призывала кузину высказаться определеннее.

— Надеюсь, что увижусь с вами в Элверстоне через считанные дни. Я *пристыжу* его и заставлю отпустить вас. Мне не по нраву, что он противится этому.

— А может быть, он понимает, что Милли нужны хоть какие-то наряды для визита к вам?

— Не знаю. Хорошо, если причина только в этом. Но, как бы то ни было, я *заставлю* его отпустить вас, и *незамедлительно*.

После ее отъезда меня порою охватывала та же безотчетная тревога, которая мучила и после разговора с доктором Брайерли. Однако я была искренна, когда говорила, что довольна жизнью здесь, ведь Ноул приучил меня к затворничеству почти столь же полному.

## Глава V

### Я знаколюсь с кузеном

Моя переписка в то время была не слишком обширной. Примерно раз в полмесяца письмо от честной миссис Раск сообщало о том, как поживают собаки и пони; на причудливом английском, с престранной орфографией, она передавала некоторые местные сплетни, обсуждала последнюю проповедь доктора Клея или викария — с присовокуплением суровой отповеди сектантам, — посылала привет Мэри Куинс и желала мне всех благ. Иногда приходили с нетерпением ожидаемые мною письма от неунывающей кузины Моники. И вот, разнообразя привычные, пришло письмо со стихами без подписи, исполненными обожания... по-настоящему байроническими, как мне казалось тогда, хотя теперь я нахожу их довольно безвкусными. Гадала ли я, от кого они?..

Я уже получала — месяц спустя после приезда в Бартрам — той же рукой написанные стихи, точнее печальную балладу в солдатской манере, и сочинитель признавался, что как живет одною мыслью — доставить мне радость, так и умрет — мечтая обо мне; послание заключало еще немало поэтических вольностей, но взамен писавший всего лишь молил меня — когда отгремит буря битвы — «пролить слезу, при виде поВерженного дУба КЛИч горести издав»<sup>{12}</sup>. Разумеется, имя сочинителя не осталось для меня загадкой — капитан Оукли обозначил себя. И, очень растроганная, я больше не могла хранить тайну: в тот день на прогулке, под каштанами, я поведала Милли, моей простодушной слушательнице, о кратком романе. В строках было столько любовной тоски, но при этом столь ощутим был вкус крови и пороха, пьянивший героя, что мы с Милли решили: писались они накануне жестокой битвы.

Увы, непросто оказалось добраться до излюбленных дядиных газет — «Таймс» и «Морнинг пост»<sup>{13}</sup>, — в которых мы чаяли найти объяснение ужасным намекам сочинителя. Но Милли вспомнила про сержанта милиции из Фелтрама, знавшего наименование и расположение каждого полка на службе Ее Величества; от этого авторитетного лица окольным путем мы, к моему великому облегчению, и узнали, что полку капитана Оукли еще два года предстоит пребывать в Англии.

Однажды вечером старуха л'Амур позвала меня в комнату к дяде. Хорошо помню его в тот вечер: голова, откинута на подушки, белки

заведенных глаз, слабая страдальческая улыбка.

— Вы простите меня, дорогая Мод, что я не встаю? Я так болен сегодня.

Я почтительно выразила ему сочувствие.

— Да, меня *надо* пожалеть, хотя жалость — вещь бесполезная, моя дорогая, — проговорил он брюзгливо. — Я послал за вами, чтобы познакомиться с кузеном, моим сыном. Где вы, Дадли?

При этих словах с низкого кресла, по другую сторону камина, медленно поднялась прежде не замеченная мною фигура — так вставал бы охотник, с восхода до заката травивший дичь и теперь едва владевший задеревенелыми членами, — а я, потрясенная настолько, что дыхание мое прервалось и глаза чуть не вышли из орбит, узнала человека, с которым столкнулась у церкви Скарздейл в день той злополучной, затеянной мадам прогулки и который, как я была убеждена, принадлежал к бандитской шайке, до смерти напугавшей меня в охотничьем заповеднике в Ноуле.

Наверное, весь мой вид выражал крайний испуг. Встань предо мной привидение, я была бы меньше потрясена.

Когда я смогла перевести взгляд на дядю, то обнаружила, что он не смотрит на меня, но с подобием восхищенной улыбки, появляющейся на губах отца при виде молодого и привлекательного сына, обратил бледное свое лицо к тому, чей облик не вызывал у меня ничего, кроме отвращения и страха.

— Подойдите, сэра, — произнес мой дядя, — нам не пристала такая застенчивость. Это ваша кузина Мод. Что нужно сказать?

— Как поживаете, э... мисс? — проговорил тот с глуповатой ухмылкой.

— «Мисс»! «Мисс» — это когда «Эй, оглянис-с-с!» — сказал дядя Сайлас, изображая подвыпившего весельчака. — Ну же, ну! Она — Мод, а вы — Дадли. Или я путаю? Или, может, прикажете называть вас Милли, мой дорогой?.. Думаю, она не откажется дать вам руку. Ну же, молодой человек, смелее!

— Как поживаете, Мод? — произнес тот с подчеркнутой любезностью и, приблизившись, протянул руку. — Добро пожаловать в Бартрам-Хо.

— Сэр, поцелуй! Поцелуй — кузине! Где благородство джентльмена? Честное слово, я от вас отрекусь! — вскричал дядя с несвойственным ему оживлением.

Неуклюже, с глупой и дерзкой ухмылкой, тот схватил мою руку и потянул к губам. Под угрозой этого приветствия во мне прибавилось сил, и я отскочила на шаг-два назад. Дадли в нерешительности остановился.

Дядя разразился несколько раздраженным смехом.

— Хорошо, хорошо, довольно и этого. В мое время двоюродные брат с сестрой не встречались будто чужие. Но, возможно, мы нарушили правила. Мы все теперь учимся у американцев застенчивости, а старые добрые английские обычаи уже грубы для нас.

— Я... я видела его прежде, вот в чем дело... — начала я и осеклась.

Дядя обратил свой странный взгляд, теперь мрачный и вопрошающий, в мою сторону.

— О! Это новость. Я не слышал... Где вы встречались, а, Дадли?

— В жизни ее не видал. Память у меня пока не отшибло, — проговорил молодой человек.

— Нет? Ну тогда *вы*, Мод, наверное, все разъясните нам? — холодно молвил дядя Сайлас.

— Я действительно видела этого молодого джентльмена прежде, — дрожащим голосом произнесла я.

— *Меня*, что ли, мэм? — поинтересовался тот невозмутимо.

— Да, разумеется, *вас*. Дядя, я *видела*... — сказала я.

— И где же, моя дорогая? Не в Ноуле, думаю. Покойный Остин не тревожил меня и моих чад приглашениями.

Он взял не слишком любезный тон, говоря о своем покойном брате и благодетеле, но в тот момент я была так взволнована, что не придавала этому значения.

— Я встречала... — я не могла произнести «кузен», — я встречала его, дядя... вашего сына... этого молодого джентльмена... точнее, я *видела* его у церкви Скарздейл и затем — в обществе некоторых других лиц — в охотничьем заповеднике в Ноуле. В тот вечер наш егерь был избит.

— Ну, Дадли, что скажете на это? — спросил дядя Сайлас.

— В жизни *не бывал* в тех местах, ей-богу. Знать не знаю, где они. И в глаза не видал эту молодую леди раньше, клянусь спасением души, — сказал он, ничуть не переменявшись в лице, и держался так уверенно, что я засомневалась, не стала ли я жертвой одного из тех случаев удивительного сходства, которое, говорят, приводит к тому, что вы будто бы опознали человека в суде, а потом выясняется, что вы обознались.

— Мод, вы так *встревожены* мыслью о мнимой встрече с ним, что я не удивляюсь горячности, с какой он все отрицает. Очевидно, вы пережили нечто неприятное, но что касается его, то вы явно ошиблись. Мой сын всегда говорит правду, вы можете полностью полагаться на его слова... Вы *не были* в тех местах?

— Да ежели был бы... — начал ловкач с удвоенным пылом.

— Довольно, довольно... Ваша честь и слово джентльмена — а вы из них, пусть и бедны, — порука для вашей кузины Мод. Я прав, моя дорогая? И заверяю как джентльмен: я не знал за ним лжи.

Тогда мистер Дадли Руфин разразился — нет, не проклятиями — клятвами и твердил, что не видел ни меня, ни мест, мною названных, «с тех еще пор, черт побери, как про грудь кормилицы позабыл».

— Довольно. А теперь пожмите друг другу руки, если не хотите расцеловаться как брат и сестра, — прервал его мой дядя.

Я очень неохотно протянула руку.

— Вас ждет ужин, Дадли, поэтому мы с Мод вас извиним и отпустим. Доброй ночи, мой мальчик! — Дядя, с улыбкой, сделал ему знак покинуть комнату. — Прекрасный юноша, каким, я думаю, мог бы гордиться любой отец в нашей Англии, — честен, отважен, добр и настоящий Аполлон. Вы обратили внимание, как дивно сложен, какие тонкие черты лица? Он по-деревенски простодушен, даже грубоват (вы, очевидно, это заметили), но год-два в милиции — мне обещали офицерское звание для него... он уже вышел из возраста, чтобы служить в пехотных частях, — год-два сформируют и отшлифуют его. Ему недостает только манер, и, уверяю вас, когда он немножко им обучится, во всей Англии не найдется другого такого славного кавалера.

Я слушала в изумлении. Я находила неприятнейшим этого ужасного мужлана, и подобный пример родительской слепоты или пристрастности казался мне невероятным.

Я опустила глаза, пугаясь очередного откровенного требования со стороны дяди произнести суждение, но дядя Сайлас, очевидно, приписал мой потупленный взор девичьей стыдливости и, удержавшись от новых вопросов, не стал подвергать меня испытанию.

Невозмутимость и решительность, с какой Дадли Руфин отрицал, будто видел хоть когда-нибудь меня или места, мною упомянутые, не дрогнувшее ни единым мускулом лицо весьма поколебали мою уверенность. Я и без того немало сомневалась, что человек, появившийся у церкви Скарздейл, был тем же самым, с которым мне пришлось столкнуться в Ноуле. А теперь, по прошествии столь долгого времени, могла ли я надеяться, что память, обманутая некоторым сходством, не подводит меня и не заставляет без всяких оснований думать дурно о моем кузене, Дадли Руфине?

Впрочем, дядя Сайлас все же ждал, что я соглашусь с теми похвалами, которые он расточал своему дитяти, и был уязвлен моим молчанием. Немного повременив, он произнес:

— Я повидал свет в былые годы и могу сказать, не опасаясь пристрастности, что Дадли — настоящий английский джентльмен. Я не слепой — ему, несомненно, требуется воспитание: год-другой хорошего общества, достойные образцы для подражания, навык самокритичности. Я только говорю, что в нем есть *порода*. — Он снова выдержал паузу. — А теперь, дитя, доверьте мне ваши воспоминания, связанные с церковью... церковью...

— Скарздейл, — подсказала я.

— Да, благодарю... связанные с церковью Скарздейл и Ноулом.

Я пересказала те случаи как можно подробнее.

— Дорогая Мод, происшествие у церкви Скарздейл не столь ужасно, как я мог предположить, — заключил дядя Сайлас с коротким холодным смешком. — И я не вижу причин, почему бы ему, будь он действительно героем вашего рассказа, не признаться в том. Я бы признался. Не скажу, что пикник в Ноуле ужасает меня намного больше. Леди в экипаже, двое-трое подвыпивших молодых людей... Присутствие леди, мне кажется, подтверждало, что никакого злодейства не замышлялось. Но где шампанское — там шалости, и ссора с егерями — естественное следствие. Я как-то впутался в похожую историю лет сорок назад, когда был сумасбродом, молодым щеголем, — пожалуй, в пренеприятнейшую историю из всех, какие помню. — Дядя Сайлас увлажнил одеколоном край носового платка и коснулся им висков. — Если бы мой мальчик был там, уверяю вас, ведь я знаю его, он бы сразу сказал. Наверное, он даже *похвастал* бы этим. Я никогда не слышал, чтобы он лгал. Вы узнаете его лучше и согласитесь со мной, что он не лжет.

С этими словами дядя Сайлас в изнеможении откинулся на спинку кресла, смочил ладони своим любимым одеколоном, томно кивнул, прощаясь, и едва слышно пожелал доброй ночи.

— Дадли приехал, — шепнула мне Милли, беря под руку на площадке. — Да какая разница: приехал или нет. Я от него и пустяка не получала. А Хозяин дает ему денег сколько надо, мне же и шестипенсовика не даст никогда. Позор!

Оказывается, в семье Руфина-младшего между единственным сыном и единственной дочерью не было большой привязанности.

Мне хотелось услышать от Милли все, что она могла рассказать об этом новом для меня обитателе Бартрама, и она охотно поведала то немногое, что знала. Впрочем, слова Милли подтвердили мое неприятное впечатление о нем. Ей он внушал страх: он был «чудовищем в ярости». У него одного «хватало удали толковать с Хозяином». Но и он «побаивался

Хозяина».

Он наезжал в Бартрам, когда ему вздумается, и в этот раз, как я слышала к своей радости, задержится, вероятно, не дольше чем на неделю-другую. Он был «таким светским малым», что только и «шатался по ливерпулям да по бирмингемам, а то и в сам Лондон катил». Одно время он «водился с Красавицей — Хозяин боялся, что возьмет и женится на ней... вот уж чепуха: ну, заигрывал, а Красавице на это тьфу, ей Том Брайс нравился». Милли утверждала, что и Дадли о ней думать не думал. Он хаживал в Уиндмиллский лес, чтобы «покурить с Чурбаном на пару». Еще он состоял в членах клуба в Фелтраме — того, что собирался в питейном заведении под названием «В пух и прах». Говорили, что он «на редкость меткий стрелок»; Милли знала, что «его вызывали в суд за браконьерство, да только ничего не доказали». От Хозяина она слышала, будто «это все назло», будто их «ненавидят за то, что родом выше других». А еще слышала, будто «все кругом, кроме сквайров да выскочек, любят Дадли, ведь он такой красавец, такой весельчак, хотя дома, случается, и взъярится».

— Хозяин твердит, — заключила Милли, — что он еще будет в парламенте заседать, наплевав на них на всех.

На другое утро, когда мы завершали завтрак, Дадли постучал в окно концом своей длинной глиняной трубки — как раз такой длинной, изогнутой, какую Джо Уиллет держит во рту на этих чудесных, всем нам памятных иллюстрациях к «Барнеби Раджу»<sup>{14}</sup>. Постучал, приподнял широкополую фетровую шляпу в комичном приветствии, которое, наверное, привело бы в восторг завсегдаев упомянутого заведения «В пух и прах», а потом уронил шляпу, подкинул ногой, поймал и ловко надел с невозмутимостью, столь непередаваемо забавной, что Милли, расхохотавшись, вскричала:

— Ну видал ли кто этакое!..

Удивительно, но первоначальная уверенность в том, что я узнала человека, неизменно возвращалась ко мне, стоило Дадли неожиданно вновь появиться перед моими глазами.

Я догадалась, что эта комичная пантомима была разыграна, чтобы произвести на меня впечатление. Однако я наблюдала за Дадли с убийственной серьезностью, и тот, сказав Милли два-три слова, отправился дальше, но прежде разломал свою трубку на кусочки, которыми балансировал сначала на носу, потом на подбородке, а оттуда стряхивал их в рот и делал вид, что жует их и проглатывает, чем вызвал у Милли бурное веселье.

## Глава VI

### Мой кузен Дадли

Я была довольна, что жалкий фигляр Дадли в тот день больше не появлялся. Но на следующий Милли сообщила, будто дядя выговаривал ему: почему это он нас не развлекает.

— Хозяин как накинулся на него, как взялся за него! А он ни слова — только надулся. Уж я испугалась! Глаз не смела поднять. Потом они оба говорили, о чем — я не разобрала. Хозяин приказал мне уйти; хорошо, я ушла. Вот они меж собой и толковали.

Милли не могла пролить свет на происшествия у церкви Скарздейл и в Ноуле; а я по-прежнему пребывала в сомнении, которое, казалось, вот-вот разрешится в ту или иную сторону. Но мой внутренний голос упорно твердил, что именно Дадли был главным действующим лицом тех ужасных историй.

Впрочем, как ни странно, уверенности у меня оставалось все меньше: я уже не полагалась на память, уже была готова винить разыгравшееся воображение. Одно было бесспорно: между человеком, который связывался в моей памяти с теми ужасными сценами, и Дадли Руфином существовало поразительное, хотя, возможно, и обманчивое сходство.

Милли оказалась, безусловно, права в отношении смысла дядиных предписаний, потому что с того момента мы чаще видели Дадли.

Он бывал застенчив, бывал дерзок, и неуклюж, и высокомерен — словом, нам досаждал несноснейший деревенщина. Хотя порой он краснел, и запинаясь, и в моем присутствии никогда не чувствовал себя непринужденно, однако он вызывал у меня невыразимое отвращение самонадеянностью, сквозившей в его манерах, и искоса бросаемыми победоносными взглядами — в них ясно читалось удовольствие от того впечатления, которое он производил на меня.

Я бы отдала все на свете, думала я тогда, только бы решиться и сказать ему, как он мне неприятен. Но он, возможно, не поверил бы. Он, вероятно, воображал, что «леди» принимают безразличный вид и выказывают нерасположение, чтобы скрыть свои настоящие чувства. Я избегала смотреть на него и говорить с ним, если могла, а если нет — взгляды и речи мои были торопливы. Надо заметить, что ему, кажется, не нравилось наше общество и, конечно, он всегда чувствовал себя при нас стесненно.

Мне трудно без предвзятости описывать даже внешность Дадли

Руфина, но, делая над собой усилие, все же признаю, что черты его отличались правильностью, фигура — пропорциональностью, хотя и некоторой полнотой. У него были светлые волосы и бакенбарды, румяное лицо и очень красивые голубые глаза. Здесь мой дядя не ошибался, и, прояви себя Дадли истинным джентльменом, многие, возможно, нашли бы его привлекательным.

Но в его манерах и выражении лица так ужасно соединялись *mauvaise honte*<sup>[65]</sup> и дерзость, грубость, хитрость и самоуверенность — изобличавшие не то чтобы простолюдина, но человека *низкого*, — что его красота обращалась в уродство более отталкивающее, чем бывает при явных изъянах; не меньшая вульгарность костюма, поведения и даже походки вредила достоинствам его фигуры. Если вы примете во внимание все сказанное, а также постоянно возникавшие у меня зловещие предчувствия, то поймете, с каким гневом и отвращением я отвечала на благосклонность, которой он меня удостоил.

Постепенно он стал чувствовать себя раскованнее в моем присутствии, и от этого его манеры конечно же не сделались лучше.

Однажды он вошел к нам с Милли во время ленча, подпрыгнул, повернувшись через правое плечо, и воссел на буфет; хитро ухмыляясь и постукивая каблуками ботинок о буфетную стенку, он посматривал на нас.

— Съешь чего-нибудь, Дадли? — спросила Милли.

— Нет, девчонка. Но, на вас глядя, может, капельку пропущу — за компанию.

С этими словами он достал из кармана охотничью фляжку, налил бренди в большой стакан, добавил немного воды из графина и принялся потягивать свой крепкий напиток, ведя разговор.

— У Хозяина наверху викарий, — сказал он, ухмыляясь. — Я хотел перекинуться словом с Хозяином, да теперь вижу, что не скоро до него доберусь: молятся и толкуют, Библию мусолят. Ха-ха-ха! Вскорости конец этому, старуха Уайт говорит, — теперь-то, после смерти дяди Остина... Кончатся молитвы и вся эта всячина — за нее ж не платят!

— Тьфу! Какой стыд! Не грехи! — смеясь вскричала Милли. — Он к церкви уже пять лет не подходил, сам признавался. Нет, раз было дело, да и то, чтобы встретиться с молодой леди. Ну, не греховодник он, Мод? Не греховодник?

Дадли посмотрел на меня с томным лукавством, ухмыляясь и покусывая край широкополой фетровой шляпы, которую прижимал к груди.

Свою нечестивость Дадли Руфин, возможно, принимал за отчаянную

отвагу, добавлявшую ему, как он думал, обаяния.

— Милли, я удивлена твоему смеху, — сказала я. — Как ты *можешь* смеяться?

— А тебе чего — чтобы я плакала? — спросила Милли.

— Лучше бы не смеялась, — ответила я.

— Я б хотел, чтобы *кто-то* поплакал обо мне, да, кое-кто, — проговорил Дадли, как ему, наверное, казалось, очень мило, и взглянул на меня; очевидно, он думал, что я должна быть польщена его желанием увидеть мои слезы.

Вместо того чтобы залиться слезами, я откинулась на спинку стула и стала медленно переворачивать страницы поэм Вальтера Скотта, которые мы с Милли тогда читали по вечерам.

Тон, каким этот ужасный молодой человек говорил о своем отце, его наглые намеки, адресованные мне, низкое хвастовство своим безбожием вызвали у меня еще большее отвращение к нему.

— Прыти не хватает этим проповедникам. Ох, долго, чувствую, придется мне тут ждать. Я б уже за три мили был, ежели не дальше, черт подери! — Он поднял ногу, потом другую: он разглядывал их, будто вычисляя, как далеко ноги унесли бы его. — И чего б людям не отведать Библии, молитв по воскресеньям да тем и удовольствоваться? Эй, Милли, девчонка, не сходишь ли, не посмотришь, как там Хозяин — кончил с викарием? Сходи, а? Я целый день из-за него потеряю!

Милли, привыкшая слушаться брата, вскочила, заторопилась и, минуя меня, шепнула:

— *Деньги...*

Милли ушла. Дадли, насвистывая какой-то мотив и раскачивая ногой из стороны в сторону, проводил ее косым взглядом.

— Вот, мисс, беда! Такого бойкого парня так крепко держат в руках. Ни шиллинга нету — все он выдает. И черт подери, шестипенсовика не даст, пока не узнает, на что.

— Возможно, дядя думает, что вы должны сами заработать деньги, — заметила я.

— Кто б мне сказал, как это можно заработать сегодня! Не магазин же джентльмену держать, в самом деле! Да будут... будут у меня денежки и без него. Душеприказчики кучу денег мне выдадут. Честные малые, само собой, только, проклятье, с деньгами не торопятся.

Я оставила без комментариев намеки на душеприказчиков моего дорогого отца.

— А когда, Мод, у меня будут денежки, я знаю, кому привезу гостинец.

Зна-а-аю, девочка!

Этот мерзкий человек протянул свое «знаю», искоса кинув на меня взгляд, который, наверное, у него считался сражающим наповал.

Я из тех несчастных, кто всегда краснеет, желая выказать безразличие. И вот, к моему невыразимому огорчению, я почувствовала, что мои щеки и даже лоб запылали.

Я поняла, что он заметил мое крайнее смущение, — одна эта мысль приводила меня в ярость; злясь на себя и на него, я не знала, как выразить свое негодование и презрение.

Заблуждаясь в отношении причины моего волнения, мистер Дадли Руфин рассмеялся с омерзительной мягкостью в голосе.

— И кое-что, девочка, я должен получить за это. Чти отца своего — так ведь? Вы ж не хотите, чтоб я не слушал Хозяина? Не хотите?

Я бросила на него взгляд, каким надеялась положить конец этим дерзостям, но покраснела еще сильнее.

— Во всем графстве нет таких глаз, готов поспорить! — вскричал он, оживляясь. — Вы, Мод, страшно хорошенькая. Не знаю, что на меня нашло в тот вечер, когда Хозяин велел поцеловать вас, но, черт подери, сейчас вы не отвертитесь, сейчас я получу поцелуй. Получу, девочка, пускай ты там и покраснела!

Он спрыгнул с буфета и развинченной походкой направился ко мне, улыбаясь омерзительной улыбкой и протягивая руки. Я вскочила в совершеннейшей ярости.

— Черт подери, она, никак, собирается меряться силой со мной! — Он весело хмыкнул. — Ну, Мод, ты ж не рассердишься? В конце концов, мы должны слушать Хозяина... Хозяин сказал нам поцеловаться. Разве не говорил?

— Нет... *нет*, сэр. Назад — или я позову слуг!

И я стала кричать, призывая Милли.

— Вот так всегда с ними, с этой дрянью! Никогда их не разберешь, — сказал он грубо. — Чего вы шум такой подняли из-за шутки? Ну бросьте, бросьте кричать! Вам же никто ничего плохого не делает. Я — так точно.

Злобно хмыкнув, он развернулся на каблуках и покинул комнату.

Думаю, я была права, отчаянно, как только могла, воспротивившись этой попытке добиться близости, которая, несмотря на противоположное мнение моего дяди, казалась мне просто насилием.

Милли застала меня одну, уже не испуганную, однако разгневанную. Я твердо решила, что пожалуюсь дяде, но викарий все еще был у него, а когда ушел, я немного остыла. И уже вновь трепетала, думая о дяде, воображала,

что он увидит в происшествии только шутливое ухаживание. Поэтому, уверенная, что Дадли Руфин получил урок и теперь дважды подумает, прежде чем снова позволит себе дерзкую выходку, я согласилась с Милли, что лучше не заводить разговор о случившемся.

Дадли, к моей радости, обиделся на меня и почти не появлялся, а появляясь, бывал мрачен и молчалив. И я жила в приятном ожидании, что он, как говорила Милли, скоро уедет.

У дяди оставались его Библия и его утешения. Однако не мог он, этот утонченный светский человек, этот старый *goûé*<sup>[66]</sup>, пусть и обращенный на путь истинный, — не мог он спокойно смотреть, как его сын, обреченный участи отверженного, делается вторым Тони Ламкином<sup>[15]</sup>: дядя должен был сознавать, что Дадли — пусть, на его взгляд, и одаренный природой — всего лишь грубый простак.

Пытаюсь вызвать в памяти мои тогдашние представления о дяде и вижу смутный и нелепый образ: серебряная голова — ноги из глины. Я все же плохо понимала его тогда.

Я склонялась к мнению, что он был несколько эгоистичен и требователен, а говоря словами Мэри Куинс, «страшно разборчив». Он привык получать черепах из Ливерпуля. Пил кларет и белый рейнвейн, заботясь о здоровье; по той же причине ел вальдшнепов и другие легкие, питательные деликатесы. Ему было не просто угодить, что касалось приготовления этих его блюд, равно как и его кофе.

Речь дяди была непринужденна, изящна и — под маскирующим покровом сентиментальности — лишена чувства; но эту искусную речь, полную стихотворных строк на французском, ярких метафор и риторических фигур, иногда внезапно, подобно грозовой молнии, пронизывала мертвенным светом какая-нибудь религиозная мысль. Я никогда не могла решить, шло ли это от притворства или от естества, мучимого прерывающимися судорогами боли.

Блеск огромных глаз был особенным. Ни с чем его не сравню, разве что с отсветом ясной луны на гладком металле. Впрочем, и это сравнение поверхностно. Какое-то белое свечение, и в следующий миг — почти бессмысленность во взгляде. Я всегда вспоминала строчки Мура, встречая эти глаза:

Мертвецы!.. мертвецы!.. вас нельзя не распознать

По очам, горящим хладом, — хоть восстали вы опять... <sup>[67][16]</sup>

Ни в одних глазах не видела я даже подобия этого гибельного сияния. А его припадки, его существование на грани жизни и смерти... между разумом и безумием — существование, будто болотные огни, вселявшее ужас в тех, кто оказывался рядом!

Я не понимала даже его чувств к детям. Иногда я думала, что он готов душу отдать за них, иногда мне казалось, что он их ненавидит. По его словам, с ним постоянно пребывал образ смерти, и, однако, он чудовищно жаждал жизни, хотя остаток дней своих проводил в дремоте у края гроба.

О, дядя Сайлас! Исполинская фигура из моего прошлого... как гипсовая маска лица, искаженное презрением и мукой. Всякий раз воспоминания заставляют меня содрогнуться. Словно Аэндорская волшебница вывела мне это устрашающее видение!..<sup>{17}</sup>

Дадли еще не покинул Бартрам-Хо, когда я получила коротенькое послание от леди Ноуллз. В нем говорилось:

«Дорогая Мод,

с этой почтой я написала Сайласу, умоляя его предоставить мне на время Вас и кузину Милли. Не нахожу причин для отказа и поэтому уверена, что увижу Вас обеих завтра в Элверстоне, где Вы останетесь, надеюсь, не меньше чем на неделю. У меня здесь ни души, Вы ни с кем не встретитесь. Я разочаровалась в некоторых гостях, но в другое время в моем доме будет веселее. Передавайте Милли привет и скажите, что я не прощу ее, если она откажется сопровождать Вас.

Неизменно любящая Вас кузина

*Моника Ноуллз».*

Мы с Милли боялись, что мой дядя не согласится отпустить нас, хотя не могли вообразить ни одной разумной причины для этого, — напротив, бедняжке Милли предоставлялась возможность завести дружбу с представительницами ее пола, равными ей по положению.

Около двенадцати мой дядя послал за нами: к нашей великой радости, он объявил о своем согласии и пожелал нам счастливой поездки.

## Глава VII

### *Элверстон и его общество*

Уже на следующий день мы с Милли катили в Элверстон — через Фелтрам, по главной улице города, меж домов с остроконечными крышами. Мы заметили моего любезного кузена, курившего с каким-то человеком, похожим на конюха, у дверей известного заведения «В пух и прах». Я отодвинулась назад, когда мы проезжали мимо них, а Милли выставила голову из окошка.

— Ей-богу, — проговорила она, смеясь, — приставил большой палец к кончику носа и покрутил мизинцем, как обычно дразнит старую Уайт — ну, л'Амур. И точно сказал что-то потешное, потому что Джон Джоллитер захохотал и трубку изо рта вынул.

— Лучше бы нам его не видеть, Милли. Мне кажется, это дурной знак. Твой брат всегда сердится на нас и, боюсь, желает нам зла, — сказала я.

— Нет, нет, ты не знаешь Дадли: если б он из-за чего-то сердился, то не отпускал бы шуточек. Он не сердится на нас — только притворяется.

Окружающий пейзаж был очень красив. Дорога устремлялась через узкую лесистую горную долину. О, какие бы вышли эскизы скал, увитых плющом, или сплетенных древесных корней! В тишине прозвенел коротенький вскрик. Бедняжка Милли! По-своему она разделяла мой восторг. Иногда мне кажется, что чуткость к красотам природы — не столько врожденная способность, сколько приобретенная. Она столь очевидна у человека, приобщенного к культуре, и странным образом отсутствует у невежды. Но Милли родилась с этой способностью в сердце и поэтому могла понять мои чувства и откликнуться на них.

Потом мы ехали через одну из живописнейших вересковых пустошей Дербишира, потом оказались в широкой низине, откуда и увидели остроконечную крышу дома кухни Моники, невыразимо чаровавшего обещанием приюта и покоя — чем и славен почтенный английский дом, — с вековыми деревьями, окружавшими его, с витавшим над ним духом доброй старины и ушедшего веселья: казалось, что дом с грустным радушием обращался к вам: «Входите, милости прошу! Два столетия, если не больше, я служу моей любимой старинной фамилии, чьи поколения видел от колыбели до гроба, чьи радости и горести, чье гостеприимство памятны мне. Как и всем друзьям семьи, вам здесь рады, как и все они, вы насладитесь здесь иллюзией безмятежности, дарованной смертным ради

забвения их печального жребия; как и все они, вы рано или поздно отправитесь своей дорогой, вас сменят другие, пока наконец и я тоже не подчинюсь всеобщему закону, распада и не исчезну».

К этому времени бедняжка Милли очень разволновалась и описала свое состояние таким невообразимым слогом, что я вопреки всем стараниям — а я взяла серьезнейший тон, отчитывая ее за употребляемый язык, — взорвалась от хохота.

Должна заметить, однако, что в некоторых — и немаловажных — отношениях Милли существенным образом переменилась. Ее наряд, хотя и не слишком отвечавший моде, уже не поражал нелепостью. Я приучила ее тихо говорить и смеяться, а в остальном я полагалась на снисходительность, охотно и искренне проявляемую людьми хорошо воспитанными — в отличие от тех, кому воспитания недостает.

Кузины Моники не оказалось в доме, когда мы прибыли, но нас провели в приготовленную для меня и Милли комнату с двумя кроватями, чем мы были очень довольны. Добрую Мэри Куинс поместили в гардеробной, примыкавшей к нашей комнате.

Мы обе принялись поправлять туалет, когда к нам вошла, по обыкновению оживленная, хозяйка дома и, здороваясь, расцеловала обеих. Она была на самом деле несказанно обрадована, поскольку опасалась, что найдутся какие-нибудь отговорки, уловки, которые воспрепятствуют нашему визиту; говоря с Милли о «кузене Сайласе», она была столь же откровенна, как прежде со мной, говоря о моем отце.

— Не думала, что он отпустит вас без битвы; а заупрямься он, стоило бы трудов вызволить вас из заколдованного замка. Ведь это настоящий заколдованный замок, в глубине которого прячется страшный старый чародей! Я имею в виду кузена Сайласа, вашего папу, моя дорогая. Ну, в самом деле, разве он не вылитый Майкл Скотт?

— Никогда не встречала того, про кого вы говорите, — ответила бедняжка Милли. — Насколько мне помнится... — добавила она, заметив улыбки на наших лицах. — Но думаю, он точно чуток похож на старого Майкла Доббза, торгующего тесьмой и шнурами. Не про него ли речь?

— Как же так, Мод? Вы говорили, что читали с Милли поэмы Вальтера Скотта! Ну, не важно. Майкл Скотт, моя дорогая, это мертвый чародей, с белыми-пребелыми волосами, и он много лет лежал в могиле, и жизни в нем осталось, только чтобы нахмуриться, когда взяли его волшебную книгу, — вы найдете его в «Песни последнего менестреля»: [{18}](#) он совсем такой, как ваш папа, дорогая. Вашего брата Дадли — я знаю это от слуг — всю эту неделю видели в Фелтраме. Пьет, курит. Он долго

пробудет дома? Нет? Мод, он не приставал к вам с ухаживаниями? Вижу, вижу — конечно же приставал. Кстати, об ухаживаниях: надеюсь, этот дерзкий молодой человек, Чарлз Оукли, не надоедал вам письмами или стишками?

— Было, было, — вмешалась Милли, к моей большой досаде, потому что я не видела необходимости знакомить с его стихами кузину Монику. Но я призналась, что получила два кратких послания в стихах, добавив, что не знаю, от кого они.

— Ну, Мод, разве я не повторяла вам сто раз: ни слова ему! Я выяснила, моя дорогая, что он играет и весь в долгах. Я поклялась, что больше не буду платить за него. О, я такая глупая — вы не представляете. Заметьте, я свидетельствую против себя! Я вздохнула бы с облегчением, найди он жену, которая содержала бы его. И он, как мне говорили, любезничает с одной богатой старой девой — сестрой пуговичника из Манчестера. — Это была метко пущенная стрела. — Но не пугайтесь: вы богаче, моложе и, без сомнения, у вас больше шансов на успех. Но пока, позвольте сказать, эти стишки, как *billet-dous*<sup>[68]</sup> Фальстафа<sup>[19]</sup>, служат у него дважды.

Я рассмеялась, однако с той минуты пуговичник с его сестрой сделались моей тайной мукой, а еще я отдала бы все что угодно, лишь бы передо мной очутился капитан Оукли и я могла бы заслуженно воздать ему утонченным презрением за мою уязвленную гордость.

Кузину Монику между тем поглотил туалет Милли, и кузина, болтая без умолку в своей манере, оказалась полезнее любой горничной. Наконец она тронула Милли за подбородок пальцем и удовлетворенно сказала:

— Мне кажется, я преуспела, мисс Милли. Посмотрите на себя в зеркало!.. Действительно прехорошенькое создание.

Милли вспыхнула и, смутившись, с благодарностью во взгляде, сделавшей ее еще привлекательнее, посмотрела в зеркало.

Она казалась намного выше теперь, когда ее платья достигли принятой длины. И на самом деле была хороша: чуть пухленькая, с глазами как небесная лазурь и пышными светло-русыми волосами.

— Чем больше вы будете смеяться, Милли, тем лучше, потому что у вас красивые зубы... очень красивые. Будь вы моей дочерью или встань ваш отец во главе академии чародеев и передай вас мне на попечение, рискну сказать, что я прекрасно устроила бы вашу судьбу. Но все равно попробуем, моя дорогая.

И мы отправились вниз, в гостиную; кузина Моника ввела нас, держа обеих за руки.

В этот час шторы уже были опущены, комнату освещало лишь уютное пламя камина и несколько свечей, обычно зажигаемых к обеду.

— Мои кухни, — проговорила леди Ноуллз. — Это — мисс Руфин из Ноула, которую я осмеливаюсь называть просто Мод, а это — мисс Миллисент Руфин, дочь Сайласа, которую я решила называть Милли. Они прехорошенькие, как вы увидите, когда нам дадут еще огня, а им самим о себе все прекрасно известно.

При словах кухни хрупкая, миловидная, с открытым взглядом леди, чуть ниже меня ростом, наделенная необыкновенной добротой, читавшейся у нее на лице, оставила журналы, поднялась и, улыбаясь, взяла наши руки.

Она была, по моим тогдашним представлениям, немолода — ей, наверное, уже минуло тридцать, — невозмутима, дружелюбна и располагала к себе. Явно не светская львица, она, однако, держалась безукоризненно, с непринужденностью, отличающей людей высшего общества. Она проявила, казалось, искренний интерес к нам с Милли. Кухина Моника называла ее Мэри, иногда — Полли. И это все, что я узнала о ней.

Время текло в приятном разговоре, пока не позвонили к обеду и мы с Милли не убежали в нашу комнату переодеться.

— Я сказала что-нибудь ужасное? — спросила бедняжка Милли, встав передо мной, как только дверь нашей комнаты закрылась.

— Ничего, Милли. Ты вела себя превосходно.

— Я страшно глупая, да? — потребовала она ответа.

— Ты прехорошенькая девушка, Милли. И нисколько не глупая.

— Я все замечаю. И думаю, я всему научусь в конце концов, но вначале это чуточку трудно... Да, они действительно говорят не так, как я привыкла... Ты была совершенно права.

Когда мы вернулись в гостиную, общество уже собралось и предавалось оживленному разговору.

Деревенский доктор (чье имя я запомнила), невысокого роста, седой, с пронизательными серыми глазами и острым пламеневшим носом, таким багровым, что отблески этого пламени, казалось, падали на морщинистые щеки, подбородок и лоб, вел приятную беседу с Мэри, как именовала ее кухня Моника.

Милли шепнула мне на ухо:

— Мистер Кэризброук.

И не ошиблась: облокотившийся на каминную доску и увлеченно говоривший с леди Ноуллз джентльмен был действительно нашим знакомым из Уиндмиллского леса. Гость сразу же узнал нас и встретил

приятной и доброй улыбкой.

— Я только что пробовал описать леди Ноуллз прелестный пейзаж в Уиндмиллском лесу, где был счастлив познакомиться с вами, мисс Руфин. Даже в этом известном своей дивной природой графстве не видел ничего красивее.

И он обрисовал место несколькими беглыми, но яркими словами.

— Какой милый пейзаж, — сказала кузина Моника. — И подумайте, она не сводила меня туда! Она приберегает его, наверное, для романтических приключений. А вы, Илбури, пусть вы очень великодушны, не пустились бы, я в этом совершенно уверена, вдоль узкого парапета моста через реку, чтобы навестить старую больную женщину, не заметь вы на том берегу двух прехорошеньких молодых леди.

— Как вы злы! Я должен либо опровергнуть бескорыстное великодушие своей натуры, справедливо оцененное, либо отречься от мотива, делающего честь моему вкусу! — воскликнул мистер Кэризброук. — Я полагаю, человек милосердный сказал бы, что филантроп, движимый своим благородным, но соседствующим с риском побуждением, был неожиданно вознагражден видением двух ангелов.

— И с этими ангелами попусту растрчивал время, предназначенное для измученной приступом люмбаго<sup>{20}</sup> доброй матушки Хаббард. А потом, не повидав скорбящую христианскую душу, вернулся, чтобы развлекать свою достойную сестру поэтическим вздором, и живописал встреченных дриад, как нечестивый язычник, — возразила леди Ноуллз.

— Хорошо, пусть так, — ответил он со смехом. — Но разве не отправился я на следующий день навестить больную?

— Да, на следующий день вы отправились тем же маршрутом — боюсь, в поисках дриад — и были вознаграждены... узрев матушку Хаббард.

— И никто не защитит сострадательного человека, попавшего в беду? — издал призыв мистер Кэризброук.

— Я убеждена, — проговорила леди, бывшая известной мне под именем Мэри, — что каждое слово Моника — истинная правда.

— Будь даже так, разве я не нуждаюсь в защите? Правда — лишь опаснейший сорт клеветы, и, думаю, я только что подвергся жесточайшим гонениям.

Тут объявили, что обед подан, и кроткий подвижный маленький священник, с гладкими розовыми щечками и длинными волосами, разделенными на прямой пробор, до того момента мною не замеченный, вышел из тени.

Священник предложил руку Милли, мистер Кэризброук — мне, и я не знаю, каким уж образом оставшиеся леди разделили между собой доктора.

О том обеде, первом в Элверстоне, у меня осталось приятнейшее воспоминание. Говорили все; разговор и не мог ослабеть там, где находилась леди Ноуллз; мистер Кэризброук тоже был невероятно обаятелен и умел развлечь беседой. По другую сторону стола маленький розовощекий викарий, как я с радостью отметила, журчал будто ручеек, занимая Милли, которая добросовестно следовала моим наставлениям и отвечала очень тихим голосом, так что я через стол не расслышала ни слова.

После обеда вечером, когда мы болтали у камина в нашей комнате, к нам заглянула кузина Моника. Я обратилась к кузине:

— Я только что говорила Милли о произведенном ею впечатлении. Премилый маленький священник — *il en est épris*<sup>[69]</sup> — явно отдал ей свое сердце. Наверное, очередную воскресную проповедь он посвятит какому-нибудь мудрому изречению царя Соломона о неборимой силе женщин.

— Да, — согласилась леди Ноуллз. — И может быть, повторит эти слова: «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать»<sup>[70]</sup> — и так далее. Я, во всяком случае, вот что скажу вам, Милли: кто нашел в нем мужа, тот почти нашел благо. Он — второй сын сэра Гарри Биддлпена. Достойный скромный человек, с небольшим собственным доходом помимо того, что дает ему служба, — а это девяносто фунтов в год. Я считаю, другого такого безобидного, послушного муженька вы нигде не отыщете. Но мне кажется, мисс Мод, вы тоже имеете свой интерес.

Я рассмеялась и, наверное, покраснела, а кузина Моника, по своему обыкновению, переключилась на другой предмет и заговорила со всей присущей ей откровенностью:

— Как там поживает Сайлас? Не раздражался, надеюсь, не слишком удивлял вас своими причудами? Прошел слух, что ваш брат, Милли, отправился на военную службу в Индию или еще куда-то; но все враки, ведь он опять объявился дома. И что он думает делать? Теперь у него есть деньги — по завещанию вашего отца, Мод. Не пустит же он жизнь на ветер, не прокурит ее в компании браконьеров, боксеров и прочих никчемных людей? Ему надо ехать в Австралию, как Тому Суэйну, который, говорят, нажил там огромное состояние и теперь возвращается домой. Вот что следовало бы сделать вашему брату Дадли, будь у него разум или воля, но, боюсь, он не сделает этого — слишком долго он

предавался лени и водил дружбу с низкими людьми. Да у него и шиллинга не останется за год-другой. Интересно, осведомлен ли он о том, что Сайлас вручил доктору Брайерли записку, или что-то подобное, где просил выделить тысячу шестьсот фунтов из завещанной покойным Остином суммы ему, утверждая, что заплатил долги молодого человека и хранит расписку с подтверждением? У вашего брата и гинеи не останется за год, если он задержится здесь. Пятьдесят фунтов отдам, чтобы он попал на Землю Ван-Димена<sup>{21}</sup>, — нет, не из любви к мальчишке, у меня ее не больше, чем у вас, Милли. Но в Англии из него не будет толку.

Милли в полном замешательстве округлила глаза, а леди Ноулз тараторила:

— Милли, вы же понимаете, вам не следует повторять мои слова, когда вы вернетесь в Бартрам, потому что Сайлас больше не отпустит вас ко мне, если будет думать, что я столь вольна в речах; но я не могу удержаться, а вы обещайте быть осторожнее меня. Мне также говорили, на вашего отца теперь посыплются жалобы — когда прошел слух, что у него появились какие-то деньги. Он, как узнал доктор Брайерли, рубит дубы в Уиндмиллском лесу и торгует корой... у него там печи, чтобы выжигать уголь, он выписал человека из Ланкашира, понимающего в этом деле. Хоком зовут, или как-то в этом роде.

— Ой, Хокс! Дикон Хокс. Чурбан — ты же помнишь, Мод! — воскликнула Милли.

— Ну, в общем, дурной человек, по словам доктора Брайерли. И он дал знать мистеру Данверзу обо всем, ведь это же зовется «нанесением ущерба» — валить лес, торговать лесом и корой, жечь иву и другие деревья на уголь. Все это *ущерб*, порча нанятого имущества. Доктор Брайерли намерен положить конец бесчинствам. — Неожиданно кузина Моника спросила: — А ваш экипаж с лошадьми, Мод, уже доставлен?

— Еще нет, но Дадли говорит, что через несколько недель обязательно будет...

Кузина Моника, не дослушав, коротко рассмеялась и покачала головой.

— Ваш экипаж с лошадьми, Мод, будет в дороге, пока срок опеки не истечет. А тем временем вам послужит старая колымага с почтовыми лошадьми. — Она опять коротко рассмеялась.

— Вот почему, наверное, приступок у забора нету, и Красавица — то есть Мэг Хокс — поставлена там, чтобы не пускать нас за забор. Я часто видела дым над мельницей, — проговорила Милли.

Кузина Моника выслушала ее с интересом и молча кивнула.

Я была поражена. Мне все это казалось невероятным. Очевидно, леди

Ноуллз заметила изумление и выражение брезгливости, появившееся на моем лице при мысли обо всех этих гнусностях, поскольку она произнесла:

— Нам нельзя особенно осуждать Сайласа, пока мы не услышали, что он скажет. Возможно, он поступает так по неведению или же у него есть на это право.

— Да, верно. У него, возможно, есть право рубить деревья в Бартраме-Хо. Во всяком случае, он думает, что это так, — откликнулась я.

Дело в том, что я не призналась бы себе в подозрениях относительно дяди Сайласа. Любой обман с его стороны разверзал у моих ног пропасть, в которую я не осмелилась бы заглянуть.

— А теперь, милые девушки, доброй ночи. Вы, должно быть, устали. Мы завтракаем в четверть десятого: думаю, это не слишком рано для вас.

С этими словами она поцеловала нас, улыбнулась и вышла.

После ее ухода какое-то время я предавалась неприятным размышлениям о бесчестных делах, тайно творимых, как было сказано, под густой сенью Уиндмиллского леса, и не сразу вспомнила, что мы хотели расспросить кузину Монику о гостях.

— Кто может быть эта Мэри? — проговорила Милли.

— Кузина Моника упомянула, что она помолвлена, и, мне кажется, я слышала, как доктор называл ее «леди Мэри»; я намеревалась спросить кузину о ней, но то, что кузина сообщила про рубку леса и про остальное, вытеснило из моей головы другие мысли. Впрочем, у нас завтра найдется время все разузнать. Признаюсь, мне она очень понравилась.

— Я думаю, — сказала Милли, — что она выходит замуж за мистера Кэризброука — вот за кого.

— Да? — проговорила я, вспоминая, что после чая он сидел подле нее больше четверти часа, отдавшись доверительной беседе вполголоса. — А почему ты так думаешь?

— Ну, я слышала, она раза два сказала ему «дорогой»; она обращалась к нему по имени — как и леди Ноуллз, — Илбури, кажется. А еще я видела, что он торопливо поцеловал ее, когда она шла наверх.

Я рассмеялась.

— Милли, — сказала я, — я тоже заметила их довольно близкие отношения; но если ты на самом деле видела поцелуй у лестницы, вопрос совершенно ясен.

— Ой, девчонка!

— Нельзя говорить «девчонка».

— Хорошо, тогда — Мод. Я на самом деле видела их краешком глаза, стоя к ним почти спиной, — они не подумали бы, что я могу что-то

заметить. Видела — как тебя сейчас вижу.

Я опять рассмеялась, но почувствовала, что в сердце странно кольнуло, почувствовала какую-то обиду, сожаление... Впрочем, я задержала на лице улыбку, завершая перед зеркалом свои приготовления ко сну.

«Мод... Мод... ветреная Мод! Значит, капитан Оукли уже забыт? А мистер Кэризброук — о, какое унижение! — помолвлен». Я улыбалась, очень раздосадованная. Я боялась, что обнаружила слишком явный интерес, слушая речи этого фальшивого человека. Запев веселый куплет, я попробовала думать о капитане Оукли, который почему-то казался мне теперь глупым.

## Глава VIII

### Новость у врат Бартрама-Хо

Милли и я, привыкнув в Бартраме рано вставать, первыми спустились вниз на следующее утро, и, как только появилась кузина Моника, мы атаковали ее.

— Значит, леди Мэри — *невеста* мистера Кэризброука, — сказала я, показывая свою сообразительность. — Мне думается, вы вчера поступили очень дурно, побуждая меня флиртовать с ним.

— Кто внушил вам это, скажите на милость? — спросила леди Ноуллз с озорным смехом.

— Мы с Милли разобрались; впрочем, тут и разбираться нечего, это так же ясно, как то, что мы видим вас, — ответила я.

— Но ведь вы не флиртовали с мистером Кэризброуком, Мод? — осведомилась она.

— Нет, разумеется; однако это не ваша заслуга, злая вы женщина, так диктовало мне мое благоразумие. А теперь, поскольку мы знаем ваш секрет, вы должны рассказать нам все о ней и о нем. Прежде всего назовите нам ее имя. Леди Мэри — а дальше? — потребовала я.

— И кто бы решил, что вы такие проныры! Две деревенские девушки, две затворницы из Бартрамского монастыря! Ну что ж — надо отвечать. От вас ничего не укроется. Однако откуда же вы дознались?

— Мы скажем, но сначала назовите нам ее, — настаивала я.

— Назову, конечно, и меня незачем принуждать к признаниям. Она — леди Мэри Кэризброук, — проговорила кузина Моника.

— Родственница мистера Кэризброука, — уточнила я.

— Да, родственница. Но кто сказал вам, что он — мистер Кэризброук? — спросила кузина Моника.

— Милли — когда мы встретились с ним в Уиндмиллском лесу.

— А вам, Милли, кто шепнул?

— Л'Амур, — ответила Милли, широко раскрыв голубые глаза.

— Что дитя имеет в виду? Л'Амур! Не *любовь* же?.. — воскликнула леди Ноуллз, в свою очередь озадаченная.

— Я имею в виду старуху Уайт. Она сказала мне. И Хозяин.

— *Нельзя* говорить... — начала я.

— Отец, наверное? — предположила леди Ноуллз.

— Да, ей сказал отец, таким образом я узнала, кто он.

— И что бы он подумал! — воскликнула со смехом леди Ноуллз, обращаясь, казалось, к самой себе. — Я не называла его имени, я помню. Он узнал вас, а вы — его, когда вчера вошли в комнату... Но теперь *вы* должны мне сказать, как обнаружили, что он и леди Мэри сочетаются браком.

Тогда Милли представила свидетельства. Леди Ноуллз почему-то смеялась до слез, а потом заявила:

— *Как же* они будут поражены! И поделом им. Но запомните: я вам ничего подобного не говорила.

— Но мы вас раскрыли!

— Я только говорю: до чего же вы проказливые, опасные девушки! Впервые вижу таких! — воскликнула леди Ноуллз. — От вас ничего не утаить!.. Доброе утро, надеюсь, хорошо спали, — обратилась она к леди и джентльмену, входившим в комнату из зимнего сада. — Но вы вряд ли заснули бы, знай, какие глаза за вами следят. Вот два прехорошеньких детектива, раскрывших ваш секрет и только благодаря вашему неблагоразумию и собственной поспешности решивших, что вы обрученная пара, готовая связать себя узами Гименея. Поверьте, я о вас ничего не сообщала — вы сами себя выдали. И если будете на диванах предаваться доверительным беседам, украдкой называть друг друга по имени и целовать у лестницы, когда преумные детективы поднимаются по ней, конечно же спиной к вам, то вы должны нести ответственность и поторопиться заявить о себе в «Морнинг пост», в колонке предстоящих свадеб.

Мы с Милли ужасно смутились, но кузина Моника, желавшая, чтобы отношения между всеми нами были самые непринужденные, разыграла сцену в верном ключе.

— А теперь, девушки, я сделаю открытие, которое, боюсь, немного противоречит вашему. Мистер Кэризброук, он же лорд Илбури, стоящий перед вами, — брат леди Мэри, и я должна взять на себя вину за то, что не представила их должным образом... Но посмотрите, до чего же преумненькие маленькиие свахи!

— Вы не представляете, как я польщен, что стал предметом размышлений мисс Руфин — пусть и ошибочных.

Преодолев замешательство, мы с Милли развеселились, как и остальные. Все мы очень сблизились в то утро.

Мне кажется, то были приятнейшие и счастливейшие дни в моей жизни. Веселое, умное и благожелательное общество, восхитительные прогулки, верхом или в экипаже, к дальним красивым уголкам графства.

Вечера заполнялись музыкой, чтением, оживленной беседой. Иногда кто-нибудь еще гостил день-другой, то и дело заглядывали соседи из города и окрестностей. Но отчетливо сохранилась в памяти только высокая пожилая мисс Уинтлтоп, самая славная из деревенских старых дев, с ее чудесными кружевами, платьями из плотного атласа, с ее маленьким круглым, некогда, наверное, прехорошеньким, а теперь увядшим, но добрым личиком; она рассказывала нам занимательнейшие истории о графстве тех давних дней, когда еще были живы ее отец и дед; она знала родословную каждой семьи в графстве и могла припомнить все дуэли и все тайные побеги влюбленных, могла цитировать красноречивые отрывки из памфлетов, сочинявшихся к выборам, и декламировать строки из эпитафий, могла также указать точные места, где в старину учинялся разбой на дорогах, и помнила казнь, которой подвергали главарей преступных шаек после суда, а сверх того помнила, где в графстве и какие именно эльфы, гоблины и привидения показывались: от призрака-форейтора, каждую третью ночь пересекавшего Уиндейлское болото вблизи заброшенного ныне почтового тракта, до старика толстяка в темно-красном бархате, чье огромное лицо, костыль и наручники видели при луне в окне старого здания суда, позже, в 1803 году, снесенного.

Вы вряд ли себе представите, какие чудесные вечера мы проводили в элверстонском обществе и как быстро благодаря этому развивалась Милли. Хорошо помню наше с ней напряженное ожидание ответа из Бартрама-Хо на просьбу кузины Моника позволить нам задержаться.

Ответ пришел, и письмо дяди Сайласа было настолько любопытным, что привожу его здесь:

«Дорогая леди Ноуллз, на Вашу учтивую просьбу я говорю “да” с превеликой охотой (то есть согласен поступиться еще неделей, но не двумя). Рад слышать, что мои скворушки так весело чирикают, — во всяком случае, их припев не из Стерна<sup>{22}</sup>. Конечно же им можно выпорхнуть, и впредь пусть тешатся волей, сколько им хочется. Я не тюремщик и никого не запираю, кроме как одного себя. Я всегда считал, что молодым отпущено слишком мало свободы. И придерживаюсь мнения, что лучше с самого начала внушить им: они свободные создания. Что касается морали и, в целом, сознания, то основа тут — *самовоспитание*, а оно начинается там, где кончается принуждение. Такова моя теория. Моя практика ей соответствует. Пусть останутся еще на неделю у Вас, как Вы просите. Почтовые придут в Элверстон во вторник, 7-го числа. Буду печалиться в

одиночестве более обычного — пока скворушки не вернутся, — а посему прошу Вас из эгоистических побуждений: не задерживайте их дольше. Вы улыбнетесь, зная, как мало мое расстроенное здоровье позволяет мне видеть их, даже когда они дома. Но Шолье прекрасно выразился — рифм не припомню, однако смысл таков: хотя сокрыты леса стеною непроницаемой (он блуждает в поисках своих любимиц, лесных нимф, по лабиринтам сельской природы, то широкой тропой, то в густых зарослях), ваши напевы, ваши голоса, ваш смех, едва различимые вдалеке, пробуждают мою фантазию, и, слыша вас, я вижу невидимые мне улыбки, румянец, развевающиеся волосы, точеные, будто из слоновой кости, ножки; пусть я печалюсь, я счастлив, пусть один, но не брошен, говорит он. Вот так и со мной!

Еще вот о чем умоляю Вас. Напомните им про обещание, данное мне. Книга Жизни — источник жизни... приникать к нему должно и на закате, и на восходе. Иначе дух слабеет.

А теперь благослови и храни Вас Бог, моя дорогая кузина. С уверениями в нежнейших чувствах к моей возлюбленной племяннице и моему дитяти остаюсь преданный Вам

*Сайлас Руфин».*

Кузина Моника с озорной улыбкой проговорила:

— Итак, девушки, получайте Шолье и евангелистов: французского рифмоплета в его лабиринте и Сайласа в долине смерти. Получайте полную свободу и категорическое предписание вернуться через неделю. Одно, поясненное через другое. Бедный Сайлас! В такие преклонные годы, боюсь, его религия ему не поддержка.

*Мне же* понравилось письмо. Я прилагала все усилия, чтобы думать о дяде с благожелательностью, и кузина Моника знала об этом. Я догадывалась, что, не находясь я рядом, она была бы менее сурова к нему.

День-два спустя мы сидели за завтраком, отдавшись приятной беседе, солнце освещало прелестный зимний пейзаж за окном, и вдруг кузина Моника воскликнула:

— О, совсем забыла сказать вам! Чарлз Оукли написал, что приедет в среду. Мне на самом деле не хочется видеть его. Бедняжка Чарли! Интересно, как они добывают эти свидетельства от доктора. Я знаю: он ничем не болен и ему было бы намного лучше в его полку.

Среда — вот странно! На другой день после моего отъезда. Я попыталась изобразить безразличие. Кузина Моника обращалась скорее к леди Мэри и Милли, чем ко мне, и на меня никто вроде бы не смотрел. Однако — этот мой изъяс! — я зарделась, что, возможно, меня и очень красит, но как же это досадно! Я бы поднялась и вышла из комнаты, но тогда только более явно обнаружила бы свое замешательство. Я была готова надавать себе пощечин... или выпрыгнуть из окна.

Лорд Илбури, как я поняла, все заметил. А леди Мэри на мгновение задержала грустный взгляд на моих щеках, предательских и лживых, — ведь я уже не думала столь возвышенно о капитане Оукли. Я сердилась на кузину Монику, которая, зная это мое ужасное свойство, так внезапно заговорила о племяннике, когда приличия приковывали меня к стулу, когда я сидела в ярком свете напротив окна и оттуда две пары пронизательных глаз могли наблюдать за мной. Я сердилась на нее, на себя и вообще поддалась раздражению: довольно сухо отказалась от еще одной чашки чаю, очень коротко отвечала лорду Илбури, что, конечно, было ужасно скверно и глупо. Позже из окна нашей спальни я увидела кузину Монику и леди Мэри у цветника под окнами гостиной, обсуждавших, как инстинкт подсказывал мне, это маленькое происшествие. Я не отходила от окна.

— Гадкое мое, глупое, *лживое* лицо, — шептала я, яростно топая ногами. И без жалости шлепнула себя по щеке. — Я *не могу* теперь спуститься вниз... О, я сейчас заплачу... Я бы вернулась в Бартрам даже сегодня. Всегда... *всегда* я краснею... Чтоб этот капитан Оукли оказался на дне морском!

Наверное, я думала о лорде Илбури больше, чем осмеливалась себе признаться, и уверена, что, появись капитан Оукли в тот день в Элверстоне, я бы отнеслась к нему с непростительной грубостью.

Несмотря на этот неприятный случай, остаток отпущенного нам времени я провела необыкновенно приятно. Те, кто не знал подобного опыта, не способны представить, как может сблизиться маленькое общество за короткое время в деревенском доме.

Разумеется, молодая леди строгих правил не проявит и малейшего интереса к человеку противоположного пола, пока не будет совершенно уверена, что он предпочитает ее — или, по крайней мере, уже склонен предпочесть — всем остальным на свете. Но я не могла не признаться себе, что желала узнать о лорде Илбури больше, чем знала.

В гостиной на мраморном столике, в переплете, слепившем пурпуром и золотом, лежала книга пэров, внушительная и искушающая. Мне не раз представлялся случай справиться в ней о лорде Илбури, но я не

осмеливалась.

Тому, кто неопытен, понадобилось бы несколько минут на поиски — слишком велик риск быть застигнутым врасплох! Однажды я все-таки отважилась и добралась до букв «Ил...», когда вдруг услышала шаги за дверью. Дверь чуть приоткрылась, и зазвенел голос леди Ноуллз, которая, к счастью, помедлила, ведя разговор с кем-то в холле и держась за ручку двери. Я захлопнула книгу с той же дрожью, с какой, наверное, жена Синеи Бороды захлопывала комнату ужасов при звуке шагов своего господина, и кинулась в дальний угол гостиной, где кухня Моника и нашла меня, странно возбужденную.

О любом ином предмете я бы расспросила кухню Моника без колебаний, но что касается лорда Илбури — тут дар речи мне изменял. Я не доверяла себе, страшась своего обыкновения краснеть, и знала, что буду выглядеть чудовищно виноватой, чудовищно разволнуюсь, так что она сделает верное заключение: я потеряла голову из-за ее гостя.

После этого урока, едва не застигнутая на месте преступления, я, не сомневайтесь, впредь всегда остерегалась пухлой и коварной книги пэров, скрывавшей секрет, который она не выдала бы, не скомпрометировав любопытствующую.

Я бы так и уехала, измученная неведением и догадками, но меня освободила от мук кухня Моника.

Вечером, накануне нашего отъезда, она сидела у нас в комнате и напоследок сплетничала.

— Что вы думаете об Илбури? — спросила она.

— Он умен, воспитан, умеет развлечь, но иногда он впадает в меланхолию... всего на несколько минут... а потом включается в разговор, мне кажется, не без усилий.

— Да, бедный Илбури! Он потерял брата всего пять месяцев назад и только-только оправляется после утраты. Они были очень привязаны друг к другу, и, говорят, брат, останься он жив, унаследовал бы, вероятно, титул, потому что Илбури весьма *прихотливый* человек... философ... святой Кевин; <sup>{23}</sup> в нем, открою вам, уже видят старого холостяка.

— До чего очаровательна его сестра, леди Мэри! Она взяла с меня обещание писать ей, — сказала я, наверное, чтобы внушить кухне Монике — о, мы, притворщицы! — что не особенно жажду услышать еще что-то о нем.

— Да, и так ему предана. Он приехал сюда и снял Ферму ради смены обстановки, точнее, ради уединения — что может быть хуже для человека в горе... болезненная причуда, как он теперь понял. И он очень рад, что

гостит в Элверстоне, он признавался, что чувствует себя много лучше. Письма ему приходят на имя мистера Кэризброука — он вообразил, что, узнай люди в графстве о его высоком положении, он станет жертвой их гостеприимства и будет вынужден ездить по обедам или же ему придется перебраться куда-то еще. Вы видели его в Бартраме, Милли, до появления у вас Мод?

Да, Милли видела его, когда он навещал ее отца.

— Он подумал, что, приняв на себя попечительство, не вправе пренебречь визитом к Сайласу, коль скоро они столь близкие соседи. Ваш отец поразил его, очень заинтересовал, и он держится о Сайласе лучшего мнения — не сердитесь, Милли, — чем некоторые недоброжелатели, которых я могу вам назвать. Он уверен, что все выяснится и что рубка леса — это просто ошибка, Мод. Впрочем, подобные ошибки разумным людям не свойственны, а некоторые всегда совершают ошибки к собственной выгоде. Но давайте о другом: я подозреваю, что вы с Милли, возможно, вскоре увидите Илбури в Бартраме, потому что, мне кажется, вы ему очень понравились.

«Вы... Она имела в виду *обеих* или только меня?»

Итак, приятный визит в Элверстон завершался. Все это время премилый маленький викарий неизменно появлялся возле Милли — стараниями нашей ловкой и опасной кухни Моники. Он был похвально постоянен, а его флирт достиг области теологии, где Милли, к счастью, могла обнаружить какую-то осведомленность. Им двигала прежде всего снисходительная и искренняя забота о правоте прехорошенькой бедняжки Милли, и я очень забавлялась, когда она вечерами в нашей спальне перечисляла обсуждавшиеся ими темы и взволнованно пересказывала их беседы вполголоса на уединенной оттоманке, где он, сидя нога на ногу, похлопывал и поглаживал себя по колену, мягко улыбался и качал головой над ее спорной доктриной. Уважение Милли к своему наставнику и его ответное восхищение росли день ото дня; мы же называли его не иначе, как «исповедником Милли».

Он сидел с нами за ленчем в день нашего отъезда и, улучив момент, приватно — будь он мирянин, следовало бы сказать «тайком» — подарил ей, по праву своего святого долга, маленькую книжицу в старинном роскошном переплете, говорившую, как он пояснил, о некоторых предметах, в которых Милли путалась. На форзаце она нашла коротенькую надпись: «Подарок мисс Миллисент Руфин от искреннего доброжелателя декабря 1-го дня в году 1844-м». За этой строкой шли еще несколько, очень аккуратно выписанных. Подношение было сделано со всей мыслимой

благочинностью, но также с краской смущения, обычной для него улыбкой и потупленным взглядом.

Уже наступил ранний декабрьский малиновый закат, когда мы заняли места в экипаже.

Лорд Илбури, облокотясь на раму, заглянул в раскрытое окошко и сказал мне:

— Я даже не знаю, что мы будем делать теперь, мисс Руфин; нам будет так одиноко. Я, наверное, потороплюсь на Ферму.

Мне показалось, красивее речи не произносили человеческие уста.

Его рука все еще покоилась на оконной раме, преподобный Спригг Биддлен с грустной улыбкой все еще стоял на подножке, когда щелкнул хлыст и лошади тронулись. Наш экипаж покатило по аллее, оставляя позади приятнейший на свете дом и его хозяйку, а потом мы помчались в сумерках к Бартраму-Хо.

Мы обе хранили молчание. У Милли на коленях лежала ее книга, и я видела, как Милли не раз пробовала читать надпись «искреннего доброжелателя», но в сгущавшихся сумерках не могла разобрать написанное.

Когда мы достигли огромных врат Бартрама-Хо, было совсем темно. Старый Кроул, привратник, запретил форейтору шуметь у входа в дом по причине ошеломляющей и непостижимой — он думал, что дядя «уже мертв к этому часу».

Потрясенные и безмерно напуганные, мы остановили экипаж и допросили дряхлого старика привратника.

Дядя Сайлас, как оказалось, вчера весь день был «занемогши», а «утром его не добудились... доктор дважды кряду приезжал и сейчас у них».

— Ему лучше? — спросила я, дрожа.

— Про то не скажу, мисс. Лежит во власти Божьей уж давненько, может, и дух испустил к этому часу.

— Поезжайте! Поезжайте скорее! — велела я кучеру. — Не пугайся, Милли, Бог даст, все будет хорошо.

После некоторого промедления — сердце у меня упало, и я уже потеряла надежду застать дядю Сайласа живым — крохотный престарелый дворецкий отворил дверь, преодолел лестницу, нетвердо держась на ногах, и засеменял к экипажу.

Дядя Сайлас был при смерти уже много часов, жизнь в нем едва теплилась, но теперь, по словам доктора, он мог и оправиться.

— Где доктор?

— В комнате господина; пустил ему кровь — уже три часа как...

Мне кажется, Милли была испугана меньше, чем я. Сердце мое стучало, меня била дрожь, так что я с трудом поднялась по лестнице.

## Глава IX

### Появляется друг

На верху парадной лестницы я, растроганная, увидела честное лицо Мэри Куинс, которая со свечой в руке приветствовала нас, несколько раз присев в реверансе и улыбнувшись слабой, измученной улыбкой.

— Я так рада вам, мисс; надеюсь, вы здоровы.

— Да, да, и вы, Мэри, надеюсь, тоже? О, скажите нам скорее, как дядя Сайлас?

— Утром мы думали, он помер, мисс, но сейчас оправился; доктор говорит, он вроде как в этом... трансе. Я почти весь день помогала старой Уайт и была там, когда доктор пустил ему кровь, когда он заговорил наконец. Но он так ослаб: доктор ужас сколько крови у него выпустил из руки, мисс, — я сама тазик держала.

— И ему лучше? Явно лучше? — спросила я.

— Лучше. Доктор говорит, он вымолвил сколько-то слов, а ежели опять заснет и будет, как тогда, хрипеть, говорит, чтоб мы повязки ослабили, дали бы крови еще выйти, пока он не очнется, а мы со старой Уайт думаем, это ж все равно, что убить его, ведь у него почти ни капельки не осталось крови-то, — вы согласитесь, мисс, ежели посмотрите в тазик.

Я не испытывала никакого желания последовать этому приглашению. Мне казалось, я вот-вот лишусь чувств. Я присела на ступеньках лестницы и глотнула воды, а Куинс брызнула мне водой в лицо. Тогда силы вернулись ко мне.

Милли, должно быть, острее меня ощущала опасность, нависшую над ее отцом, ведь она любила его в силу привычки, родства, пусть он и не был добр к ней. Но я отличалась большей импульсивностью, слабыми нервами, мои чувства скорее брали верх надо мной. Едва поднявшись на ноги, я порывисто проговорила:

— Нам необходимо увидеть его. Милли, идем!

Я вошла в его переднюю комнату. Обычная маканая свеча с хилым длинным фитилем склонилась, как Пизанская башня, набок в сальном подсвечнике, оскорбляя своим видом столик утонченного больного. Ее свет не в силах был рассеять тьму. Я быстро пересекла комнату, по-прежнему одержимая одним желанием — увидеть дядю.

Дверь его спальни, рядом с камином, была приоткрыта, и я заглянула туда.

Старая Уайт в высоком белом чепце и мягких комнатных туфлях как призрак бесшумно скользила у дальнего, погруженного в тень конца кровати. Доктор, приземистый, лысый, с брюшком, на котором поблескивало множество брелоков, стоял, прислонившись спиной к камину, совмещенному с тем, что был в передней комнате, и наблюдал за своим пациентом в щелку между занавесками кровати взглядом значительным и несколько равнодушным.

Большая кровать с пологом была обращена изголовьем к противоположной от двери стене, а изножьем — к камину, но занавески с моей стороны были задернуты.

Коротышка доктор знал обо мне: он убрал руки из-за спины, так что полы его сюртука сошлись, скрыв брюшко, и — поскольку, очевидно, считал меня лицом влиятельным, — с поспешной серьезностью отвесил мне низкий поклон; но затем он решил представиться по всем правилам — он шагнул ко мне и, еще раз поклонившись, приглушенным голосом назвал себя:

— Доктор Джолкс. — Кивком он предложил вернуться в переднюю, в дядин кабинет, — к свету ужасной свечи, поставленной там старухой Уайт.

Доктор Джолкс был учтив и говорил велеречиво. Я предпочла бы суетливого лекаря, который добрался бы до сути дела в два раза быстрее.

— Кома, мадам, кома. Состояние вашего дяди, мисс Руфин, должен сказать, было критическим — притом до чрезвычайности. Кома самого экстремального характера. Ваш дядя бы угас, он фактически был обречен и умер бы, не прибегни я к крайнему средству и не пусти ему кровь, что, к счастью, оказало желаемое действие. Удивительный организм... прекрасный организм... нервная система необыкновенной устойчивости. Приходится только сокрушаться, что он пренебрегает разумными правилами. Его привычки весьма, должен сказать, пагубны для здоровья. Мы делаем все возможное, все, что в наших силах. Но если пациент отказывается следовать нашим советам, исход будет плачевным. — Последние слова доктор сопровождал пугающим пожатием плеч.

— Нет ли еще какого средства? Быть может, перемена климата? Что за чудовищная болезнь! — воскликнула я.

Доктор улыбнулся, странно потупив взгляд, и решительно покачал головой.

— Мы едва ли назовем это болезнью, мисс Руфин. Я рассматриваю это как отравление, он... надеюсь, вы меня понимаете, — проговорил доктор, заметив мое потрясение, — он принял слишком большую дозу опия. Видите ли, он постоянно принимает опий: настойку, опий с водой и — что

всего опаснее — опий в пилюлях. Я знал людей, потреблявших опий умеренно, знал потреблявших неумеренно, но все они следили за дозой, к чему я пытался призвать и вашего дядю. Привычка, конечно, сложилась, ее не искоренить, но он пренебрегает дозированием — он доверяет своему глазу и чувству, а значит, — мне незачем говорить вам это, мисс Руфин, — отдает себя на волю случая. Опий же, как вам, несомненно, известно, яд в строгом смысле слова, яд, привычка к которому позволяет вам принимать его довольно много без фатальных последствий, отчего он, однако, не перестает быть ядом; принимать же яд таким способом значит — едва ли мне нужно говорить вам это — играть со смертью. Ваш дядя уже был у роковой черты и на время отказался от своего обыкновения брать опий наугад, но потом вернулся к прежнему. Он выживет — разумеется, есть вероятность, — но когда-нибудь собственная рука его подведет. Надеюсь, в этот раз опасность минует. Я очень рад — не говоря о выпавшей мне чести познакомиться с вами, мисс Руфин, — что вы и ваша кухня вернулись, поскольку слугам, как бы ни были они усердны, боюсь, недостает понятливости. Имея в виду повторение симптомов — что, впрочем, маловероятно, — я проясню вам, если позволите, их природу и лучший способ действий в подобных обстоятельствах.

И он тем же напыщенным слогом прочел нам краткую лекцию, а потом попросил меня или Милли до своего возвращения в два-три часа утра оставаться в комнате с пациентом: повторение коматозного состояния «было бы дурным знаком».

Разумеется, мы с Милли сделали, как нам было сказано. Мы сидели у камина и едва решались говорить шепотом. Дядя Сайлас, вызывавший новые и ужасные подозрения у меня, лежал тихо, недвижимо, будто уже мертвый.

Он хотел отравиться?

Если он видел свое положение столь безнадежным, как описывала леди Ноуллз, в этой моей робкой догадке, наверное, крылась доля истины. Странные и дикие теории, как мне говорили, примешивались к его религии.

Время от времени появлялись признаки жизни: от простертого на кровати тела, закутанного в простыни, исходил стон, слышался шелест губ. Молитва?.. Что это было? Кто мог сказать, какие мысли проносились в его голове под белой повязкой?

Заглядывая к нему, я увидела полотенце, пропитанное водой с уксусом и обернутое вокруг головы; закрытые глаза и мраморные сомкнутые губы; вытянутое тело, худое и длинное, в белой сорочке, напоминало тело покойника, «убранного» для положения во гроб; тонкая забинтованная рука

лежала поверх прикрывавшей тело простыни.

С этим образом смерти перед глазами мы продолжали бдение, пока бедняжку Милли совсем не сморил сон; тогда старая Уайт предложила занять ее место.

Хотя я недолюбливала скверную старуху в высоком чепце, я знала, что она, по крайней мере, не заснет подле меня. И в час ночи кузину Милли сменила старуха Уайт.

— Мистера Дадли Руфина нет дома? — шепотом спросила я у нее.

— Уехал минувшей ночью в Клопертон, мисс, поглядеть на поединки, там нынче утром будут выступать силачи.

— За ним не посылали?

— А чего за ним посылать.

— Почему же нет?

— Он не променяет спорт на такое вот, я знаю, — проговорила старуха с безобразной ухмылкой.

— Когда он должен вернуться?

— Приедет, когда деньги потребуются.

Мы замолчали, и у меня опять возникла мысль о самоубийстве дяди, я опять задумалась о несчастном старике, который как раз в эту минуту что-то со вздохом прошептал.

В течение следующего часа он лежал совсем тихо, и старая Уайт сказала, что спустится вниз за свечами. Наши почти выгорели.

— В передней комнате есть свеча, — проговорила я, пугаясь, что останусь одна со страдальцем.

— Как бы не так, мисс! Я *не смею* зажигать при нем никакую свечу, а только восковую, — с издевкой прошептала старуха.

— Если расшевелить огонь и подложить угля, будет светло.

— При нем нужны свечи, — упрямо проговорила старушенция и, неуверенно ступая, ворча что-то под нос, покинула комнату.

Я слышала, как она взяла со столика в кабинете свою свечку и вышла, закрыв за собой дверь.

И вот я осталась в обществе этого таинственного человека, которого невыразимо боялась, в два часа ночи в огромном старинном доме Бартрама.

Я не сводила глаз с огня в камине, низкого и неяркого. Поднявшись на ноги и держась за каминную доску, я попробовала думать о чем-нибудь веселом. Но тщетна была попытка устоять против... ветра, против течения. И поток мыслей унес меня в сумрачные пределы.

Дядя Сайлас затих. Я гнала мысли о бесчисленных темных комнатах и галереях, отделявших меня от других живых людей в этом доме. И с

притворным спокойствием ждала возвращения старой Уайт.

Над каминной доской висело зеркало. В иных обстоятельствах в минуты одиночества оно развлекло бы меня, но тогда я не отваживалась поднять взгляд на зеркало. На каминной доске лежала Библия, небольшая и объемистая; я пристроила книгу обложкой к зеркалу и принялась читать ее, сосредоточившись как могла. Переворачивая страницы, я наткнулась на несколько заложенных между ними странных с виду бумаг. Одна была с печатным текстом, с именами и датами, вписанными от руки в пробелах; этот листок, в четверть ярда длиной, был скорее широкой бумажной лентой. Другие были просто какими-то обрывками: внизу каждого клочка стояла нацарапанная чудовищным почерком моего кузена подпись «Дадли Руфин». В то время, когда я складывала их и возвращала на прежнее место, мне почудилось, будто что-то задвигалось у меня за спиной, там, где стояла кровать. Я не слышала ни звука, но невольно посмотрела в зеркало, и тут же мой взгляд оказался прикованным к происходившему.

Дядя Сайлас, закутанный в длинный белый утренний халат, соскользнул с края кровати и, сделав два-три быстрых бесшумных шага, остановился позади меня с улыбкой страшной, как оскал смерти. Невероятно высокий и худой, он стоял, почти касаясь меня, — с белой повязкой, пересекавшей его чело, с безжизненно повисшей вдоль тела забинтованной рукой, — но внезапно другой, тонкой, длинной, через мое плечо дотянулся до Библии и прошептал у меня над головой:

— Змий соблазнил ее, и она вкусила.

Мгновение он молчал, а потом прокрался к дальнему окну и замер, казалось, созерцая ночной пейзаж.

Я заоченела, но он, очевидно, не чувствовал холода. С той же жуткой улыбкой он несколько минут смотрел в окно, потом присел на кровать и затих, повернув ко мне лицо — маску страдания.

Мне показалось, прошел час, прежде чем старая Уайт вернулась, и ни один любовник не радовался так своей возлюбленной, как я — этой сморщенной старухе.

Не сомневайтесь — я ни на минуту не продлила свое ночное бдение. Моему дяде явно не грозила опасность вновь погрузиться в летаргию. Со мной же случилась истерика, как только я добралась до нашей комнаты, и я долго рыдала, а честная Мэри Куинс не отходила от меня ни на шаг.

Стоило мне закрыть глаза, и перед моим внутренним взором появлялось лицо дяди Сайласа — такое, каким я увидела его в зеркале. Я вновь была во власти колдовских чар Бартрама.

Утром доктор объявил нам с Милли, что дядя вне опасности, хотя и

очень слаб. А днем, на прогулке, мы опять встретились с ним, когда он шагнул в сторону Уиндмиллского леса.

— Я — к той бедной девушке, — поздоровавшись, проговорил он и указал своей гладкой тростью в направлении леса. — Хок, или Хокс, кажется.

— Красавица больна! — вскричала Милли.

— Хокс. Она у меня в благотворительном списке. Да, — сказал доктор, заглядывая в маленькую записную книжечку, — вот: «Хокс».

— А что с ней?

— Приступ ревматизма.

— Можно заразиться?

— Ни в коей мере. Ничуть не больше, чем, скажем, переломом ноги, мисс Руфин. — И он вежливо рассмеялся.

Как только доктор скрылся из виду, мы с Милли решили отправиться к домику Хоксов и разузнать подробнее о состоянии Красавицы. Боюсь, нами двигало не столько милосердие и особое участие к больной, сколько желание придать смысл нашей прогулке.

Одолев скалистый склон, на котором тут и там группами росли деревья, мы достигли домишки с остроконечной крышей, стоявшего посреди ужасно запущенного дворика. На пороге мы нашли только ревматичную старуху, которая, приставив к уху ладонь, внимательно слушала наши вопросы о здоровье Мэг, но и только, что в конце концов вынудило нас перейти на крик, а тогда она сообщила очень громким голосом, что давно ничего не слышит, потому что совершенно глухая. И учтиво добавила:

— Вот хозяин придет, может, он вам чё и ответит.

Дверь в комнатенку, позади той, в которую мы зашли, была приоткрыта, и мы разглядели угол, отведенный больной, услышали ее стоны и голос доктора.

— Мы расспросим его, Милли, когда он выйдет. Давай подождем здесь.

И мы задержались на каменной плите у входа. Жалобные стоны страдальцы взволновали меня, мы исполнились сочувствия к больной девушке.

— Чурбан идет, ей-богу! — воскликнула Милли.

И действительно невдалеке показались потрепанный красный мундир, злое смуглое лицо и черные как сажа космы старого Хокса. Опираясь на палку, мельник ковылял ухабистой дорожкой через двор. Хокс резко приподнял шляпу, приветствуя меня, но совсем не обрадовался тому, что

увидел нас у своего порога: с мрачным видом он сдвинул широкополую фетровую шляпу набок и заскреб в голове.

— Ваша дочь, боюсь, серьезно больна, — проговорила я.

— Ой, наказание она мое, как и ее мать, — сказал Чурбан.

— Надеюсь, ей, бедняжке, удобно в ее комнате?

— Удобно, удобно, тут я ручаюсь. Устроена получше меня. Мэг там одна, Дикон туда не суется.

— Когда она заболела?

— А в тот день, как кобылу подковали, — в субботу. Я просил работников, да разве их, черт возьми, допросишься! И каково мне теперь? У Сайласа хлеб всегда был не легкий, а теперь и подавно — когда она расхворалась. Я этак долго не протяну. Нет, дудки! Ежели с ней так-то, я просто сбегу! Поглядим, как работничкам *это* понравится!

— Доктор за помощь ничего не возьмет, — сказала я.

— И *не даст* ничё. Господь с ним! Ха-ха-ха! Ничё с него не получишь, как вон с той глухой мошенницы, што обходится мне в три шестипенсовика каждую неделю, а сама и одного не стоит. Как вон с Мэг — все, чё может, выжимает, раз хвораю. Дурачат меня и думают, я не разберусь. Еще *поглядим!*

Он говорил и дробил плитку табака на каменном подоконнике.

— Работник — все одно, што коняга: не заботься об нем — не сможет работать. Раз ему-то ничё нет... — С этими словами, уже набив трубку, он довольно грубо ткнул своей палкой глухую женщину, спиной к нам суевившуюся у порога, и показал, что ему надо огня. — Ему — нет, и с него — нет... как вот отсюда нет дыма... — он поднял в руке трубку, — без табачку и огня. Нет как нет.

— Может быть, я смогу чем-то помочь, — задумчиво проговорила я.

— Может... — согласился Хокс.

Тут он получил от старой глухой женщины горящий скатанный обрывок оберточной бумаги, коснулся шляпы — в знак уважения ко мне — и двинулся прочь, на ходу зажигая трубку и пуская клубы белого дыма, будто салютующий корабль, отходящий от пристани.

Оказывается, он явился не справиться о здоровье дочери, а всего лишь для того, чтобы разжечь трубку.

В этот момент вышел доктор.

— Мы ждем, чтобы узнать, как ваша пациентка сегодня, — сказала я.

— Очень плохо, и за ней, боюсь, здесь нет никакого ухода. Если бы у бедной девушки была возможность, ей следовало бы немедленно отправиться в больницу.

— Эта старая женщина совсем глуха, а отец — такой грубый и эгоистичный человек. Может, вы порекомендуете какую-нибудь сиделку, которая будет при ней, пока ей не станет лучше? Я с радостью оплачу сиделку и все, что, по-вашему, полезно несчастной больной.

Дело сразу же решилось. Доктор Джолкс был добр, как большинство представителей медицинского сословия, и взял на себя обязательство прислать сиделку из Фелтрама, а с ней — кое-какие вещи для удобства больной. Он подозвал Дикона к воротам и, наверное, сообщил ему о нашей договоренности. А мы с Милли поторопились к комнатенке бедной девушки и, постучав в дверь, спросили:

— Можно войти?

Ответа не последовало. Истолковав, по обыкновению, молчание как разрешение, мы вошли. Мы увидели девушку и поняли, что она очень страдает. Поправили ее постель, задернули занавеску на окне; но это были пустяки по сравнению с тем, что ей требовалось. Она не отвечала на наши вопросы. Не благодарила нас. Я бы подумала, что она не замечает нашего присутствия, не обрати я внимание на то, что ее черные запавшие глаза раз-другой остановились на моем лице — угрюмый взгляд выдавал ее удивление и любопытство.

Девушка была очень больна, и мы каждый день навещали ее. Иногда она отвечала на наши вопросы, иногда — нет. Она казалась задумчивой, настороженной и неприветливой; а поскольку люди любят благодарность, я порой спрашивала себя, откуда наше терпение — творить добро, на которое не откликаются. Такой прием особенно раздражал Милли, в конце концов она возроптала и отказалась впредь сопровождать меня к постели бедной Красавицы.

— Мне кажется, Мэг, милая, — сказала я однажды, стоя у ее постели (девушка уже поправлялась и быстро, как это бывает в молодости, набиралась сил), — вы должны поблагодарить мисс Милли.

— Не буду благодарить ее, — проронила упрямая Красавица.

— Ну что ж, Мэг, я только хотела просить вас об этом, потому что мне кажется, вам следовало бы...

При этих словах она осторожно взяла меня за кончик пальца и притянула к себе; я и опомниться не успела, как она стала покрывать мою руку горячими поцелуями. Рука сделалась мокрой от ее слез.

Я пыталась высвободиться, но она яростно противилась и продолжала плакать.

— Вы хотите что-то сказать, бедная моя Мэг? — спросила я.

— Не-а, мисс, — всхлипнула она; и все целовала мою руку. И вдруг

быстро заговорила: — Не буду благодарить Милли, потому что это *вы* — не-а, не она, у нее и мысли такой не водилось... не-а, это вы, мисс... Я вчера ревела так ревела: вспоминала те яблоки и как вы подкатили их к моим ногам, с ласковым словом, — ну тогда, когда отец стукнул меня по голове палкой. Вы ко мне с добром — а я такая дрянная. Вы б меня лучше побили, мисс... Вы добрее ко мне, чем отец или мать, добрее, чем все, кого ни возьми. Я согласна умереть за вас, мисс, потому что на вас даже глядеть недостойна.

Я изумилась. Расплакалась. Я была готова обнять бедную Мэг.

Я ничего не знала о ней. Не узнала и впоследствии. Она говорила с таким самоуничижением, обращаясь ко мне! Не от внушаемого религией смирения души, но от любви и благоговения передо мной, тем более поражающими, что она была гордячкой. Она все простила бы мне, кроме малейшего сомнения в ее преданности или мысли, что она способна как-то обидеть, обмануть меня.

Я уже не молода теперь. Мне ведомы печали и с ними — все, что влечет за собой богатство, по сути, неизмеримое; но обращенный в прошлое взгляд теплеет, задерживаясь на нескольких ярких и чистых огнях, освещающих темный поток моей жизни — темный, если бы не они; а исходит свет не от великолепия роскоши, но от двух-трех проявлений доброты, которые могут вспомниться и в жизни самой бедной, простой и рядом с которыми для меня, в тихие часы перебирающей в памяти прошлое, все фальшивые радости тускнеют и исчезают, ведь тот свет не погасит ни время, ни расстояние, потому что питает его любовь, а значит, он — свет небесный.

## Глава X

### О влюбленных

Примерно тогда нам неожиданно нанес приятнейший визит лорд Илбури. Он явился засвидетельствовать свое почтение, полагая, что мой дядя Сайлас уже достаточно оправился после болезни и может принимать посетителей.

— Я, наверное, взбегу наверх, повидаяю прежде его, если он меня примет, а потом у меня будет пространное послание от сестры Мэри к вам и к мисс Миллисент. Но сначала мне следует покончить с делом — вы согласны? Через несколько минут я вернусь.

Между тем в гостиную вошел наш дряхлый дворецкий и объявил, что дядя Сайлас будет рад увидеть гостя. Гость отправился наверх, но вы и представить себе не можете, какой уютной и веселой сделалась наша гостиная с его пальто и тростью — залогом того, что он вернется.

— Как ты считаешь, Милли, он заговорит о лесе, о котором упоминала кузина Моника? Только бы промолчал!

— Да, — отозвалась Милли. — Лучше бы он сначала с нами немножко посидел, потому что если заговорит, то отец выставит его за дверь и мы уже никогда его не увидим.

— Верно, моя дорогая Милли. А он такой славный, такой добрый.

— И ты ему страшно нравишься.

— Я уверена, мы обе ему одинаково нравимся, Милли. Он уделял тебе много внимания в Элверстоне и часто просил петь те две чудесные ланкаширские баллады, — сказала я. — Но когда ты у окна упражнялась в теологических дискуссиях со столпом Церкви, с преподобным Сприггом Биддлпенем...

— Брось, Мод! Как я могла молчать, если он гонял меня по Ветхому и Новому Завету, по катехизису? Мне он просто противен, правду тебе говорю, а вы с кузиной Моникой такие глупые! И что б ты там ни сочиняла, лорду ты очень нравишься, ты и сама это знаешь, девчонка!

— Ничего я не знаю, и ты, девчонка, не выдумывай. А вообще мне все равно, кому я нравлюсь, кому — нет, только бы близкие меня любили. Я дарю тебе лорда, если хочешь.

Мы болтали в таком тоне, когда он вернулся в комнату, — немного раньше, чем мы ожидали.

Милли, которая, как вы, должно быть, помните, только вступила на

путь исправления своих привычек и еще сохранила кое-какие, приставшие дербиширской коровнице, украдкой щипнула меня за руку при его появлении.

— Я только отказывалась от ее подарка, — проговорила эта ужасная Милли, отвечая на вопросительный взгляд лорда Илбури, — потому что прекрасно знаю: она его не отдаст.

В результате я покраснела... нет, стала совершенно пунцовой. Говорят, мне это к лицу, — надеюсь, что так, ведь краснела я часто, и природа, наверное, позаботилась меня вознаградить.

— Что и выставляет вас обеих в самом привлекательном свете, — сказал лорд Илбури с невинным видом. — Не решу только, чем больше восхищаться: великодушием предлагающей стороны или же — отказывающейся.

— Ну, это была *любезность*, если бы вы только знали!.. Сказать ему? — обратилась Милли сперва к лорду, потом ко мне.

Я остановила ее по-настоящему сердитым взглядом и сухо произнесла:

— Незачем... Но я думаю, что кузина Милли, при всем своем благоразумии, наговорила вздора, какого и двадцать девушек не сочинят.

— Вздор в двадцать девичьих сил! О, это комплимент. Я очень уважаю вздор, я ему очень обязан и убежден, что если бы запретили всякую чепуху, жизнь на земле стала бы невыносимой.

— Благодарю, лорд Илбури, — проговорила Милли, которая привыкла держаться непринужденно в его обществе за время нашего продолжительного визита в Элверстон. — А мисс Мод вот что скажу: будет такой дерзкой — приму ее подарок, и что тогда мы от нее услышим?

— Не знаю, но сейчас я хотела бы узнать, как вы, лорд Илбури, нашли моего дядю. Мы с Милли не видели его после болезни.

— По-моему, очень слаб, но постепенно, полагаю, окрепнет. Однако, поскольку мое дело к нему не из приятных, я решил отложить разговор и, если вы считаете это правильным, напишу доктору Брайерли, прося немного повременить с обсуждением дела.

Я сразу же согласилась и поблагодарила лорда Илбури; что касается меня, я бы вообще никогда не заговорила об этом предмете — чтобы не показаться бессердечной и жадной. Но лорд Илбури объяснил, что попечители связаны условиями завещания и что не в моей власти остановить их. Я надеялась, дядя Сайлас тоже учитывал все обстоятельства.

— Мы вернулись на Ферму, — сказал лорд Илбури, — сестра и я. К нам ближе, чем в Элверстон, мы с вами самые настоящие соседи. Мэри

ждет, что леди Ноуллз укажет время, — она должна ответить нам визитом, как вы знаете. И вы тоже должны приехать к нам тогда же. Это будет замечательно — прежнее общество на новом месте. Мы еще и половины окрестностей не осмотрели, и я приготовил все испанские гравюры, о которых говорил вам, а также венецианские молитвенники и... остальное. Думаю, я точно запомнил, что вас заинтересовало, и все приготовил. Вы должны обещать, что приедете, вы и мисс Миллисент Руфин. Да, забыл сказать: вы жаловались, что у вас скудный выбор книг, так вот Мэри хотела бы предложить воспользоваться ее библиотекой... это все новые книги. Когда вы прочтете свои, вы могли бы с ней обменяться.

Какая девушка когда-нибудь открыто признавалась в своих симпатиях? И, наверное, я не больше обманщица, чем другие; впрочем, о себе судить трудно. Согласно, наше двуличие и наша сдержанность вряд ли кого-то обманут. А притворство некоторых из нас — это невольная реакция на пронизательность и бдительность, какими вооружаются все вокруг, когда речь идет о чувствах; но если мы и лукавим, то сами мы зорки, сами — отменные детективы, способные превосходно связать все ниточки расследуемого случая, и что касается любви или симпатии, здесь интуиция нас не подводит; если же мы сами оказываемся раскрыты, выясняется, что, даже будучи влюблены, не перестаем хитрить.

Леди Мэри была очень добра, но только ли по собственному побуждению она взяла на себя столько хлопот? Не крылся ли более энергичный замысел на дне доставившего мне радость ящика с книгами, который прибыл всего полчаса спустя? Библиотеки с выдачей книг на дом тогда еще не стали повсеместным явлением, и пользоваться ими могли далеко не все.

В тот день Бартрам для меня исполнился особой красоты, осветился ярким и греющим светом, в котором даже врата поместья преобразились. Назавтра — облачко на сияющих небесах — явился Дадли.

— И сомневаться нечего, ему деньги понадобились, — сказала Милли. — Сегодня утром он с отцом толковал.

Дадли уселся с нами за стол, когда мы завтракали. Всем недовольный — о чем высказался, по обыкновению, коротко, без обиняков, — он тем не менее ел с аппетитом; он был мрачен, а с Милли и вовсе груб. Со мной же, напротив, жалобным голосом завел доверительный разговор, как только Милли вышла в холл:

— Хозяин говорит, у него нет ни шиллинга. Черт подери, и как старикан ухитряется, из спальни не вылезая, тратить деньги с этакой прытью! Не думает же он, что я могу обойтись без монет? И ведь знает, что

попечители и шестипенсовика мне не дадут, пока у них не будет... как его... «решения», черт бы их всех побрал! Брайерли вроде как сомневается, что я на все получу право. А оно меня ой как устроило б! Хозяин знает про это и не хочет выдать проклятого фартинга, мне ж — плати по счетам, плати законникам, черт их дери, за то, что марают бумагу. Хозяин сам в этих делах смыслит, мог бы и постараться для родных детей, как уж я-то считаю. Но он в жизни ни для кого не старался — только для себя одного. Возьму да продам его книги, его драгоценные штучки, когда с ним опять припадок будет, — вот и сквитаюсь. — И там, где проповедник сказал бы «аминь», этот любезный молодой человек, оживившись, уперев локти в стол и поглаживая свои громадные бакенбарды, пробормотал нечто совсем иное: — Ну, Мод, невезуха, да? — Он откинулся на стуле, придав своему красивому, в чем он нисколько не сомневался, лицу выражение безмерного горя.

Я ожидала, что за этим обращением последует просьба о вспомоществовании, но ошиблась.

— Не встречал настоящей красоты — высшего сорта, само собой, — чтоб не разжалобилась, а я — я такой, что без сочувствия не могу. Вот потому и говорю — невезуха. Ну скажи же: «Невезуха». *Разве нет, Мод?*

Я не очень хорошо себе представляла, что значит «невезуха», но произнесла:

— Полагаю, это крайне неприятно.

Сделав эту уступку и, однако, не желая и дальше слушать подобные речи, я поднялась с намерением уйти.

— Я знал, ты так и скажешь, Мод. Ты девчонка жалостливая... точно — у тебя на личике твоём красивом так и написано. Ой как ты мне нравишься! Нет девчонки красивее ни в Ливерпуле, ни в самом Лондоне — *нигде*.

Он схватил меня за руку и попытался обнять за талию — он решил оказать мне знак внимания, которого я едва избегла при знакомстве с ним.

— Нет, сэр! — с возмущением вскрикнула я, освобождаясь из его объятий.

— Я ж не думал тебя обидеть, девчонка, ну чего ж тут плохого, Мод? Чего ты робеешь-то так? Мы брат и сестра, ведь знаешь. И я тебя не обижу, Мод, — да чтоб мне шею свернуть! Не обижу!

Я не стала слушать его мягких увещаний и выскользнула из комнаты с напускным спокойствием и поспешностью, тем более оправданной, что до меня донеслись такие призывы:

— Вернись, Мод! Чего ты боишься, девчонка? Вернись, говорю! Вот

дрянь!

В тот день мы с Милли отправились на прогулку в Уиндмиллский лес, куда, возможно, вследствие какого-то тайного повеления, нам уже не возбранялось ходить, и увидели Красавицу, первый раз после болезни кормившую в маленьком дворике птицу.

— Как вы сегодня, Мэг? Я *очень* рада, что вы уже в силах выходить, но не поторопились ли вы?

Мы стояли у закрытых ворот дворика, неподалеку от Мэг, но она не подняла головы. Продолжая бросать зерно, картофельные очистки цыплятам и курам, она глухо произнесла:

— Отца там не видать? Поглядите-ка и скажите, ежели заприметите.

Выцветшего красного мундира Дикона мы, однако, нигде не заметили.

Тогда Мэг, бледная, исхудавшая, взглянула на нас прежним угрюмым, настороженным взглядом и тихо проговорила:

— Не думайте, что я не рада, но, ежели отец углядит, что я с вами душевные разговоры веду теперь, когда встала и вы уже не проводываете хворую, он примется следить, решит, что я вам лишнее сболтнула, а то еще захочет, чтоб я побеспокоила вас, мисс Мод, насчет денег. Да тратить он будет их не тут, а в Фелтраме по кабакам, и после нам от него достанется. Так-то вот будет. Он и без того меня всегда бранит, колотит, а поэтому не обижайтесь, мисс Мод. Может, я когда-нибудь вам добром отплачу.

Несколько дней спустя после этого коротенького разговора с Мэг, когда Милли и я бодрым шагом — день выдался ясный, морозный — одолевали прелестный склон на овечьем выгоне, нас догнал Дадли Руфин. Встреча не обещала ничего приятного. Радовало только то, что мы совершали пешую прогулку, а он с собаками и ружьем катил в догкарте<sup>{24}</sup> к болоту. Дадли пустил лошадь шагом, небрежно кивнул мне и, вынув трубку изо рта, проговорил:

— Тебя Хозяин требует, Милли; сказал, чтоб я тебя напрямик к нему направил, ежели встречу, и мне сдается, он денег даст. Но только поторопись застать его, пока он в настроении, а то, девчонка, денежек не увидишь долго.

Явно поглощенный мыслью об охоте, он, уже с трубкой во рту, вновь кивнул, быстро покатил по склону и вскоре скрылся из виду.

Я согласилась подождать Милли, пока она сбегает домой, а потом мы продолжим нашу прогулку. Обрадованная, она убежала, я же в унынии принялась искать удобное местечко, чтобы присесть и отдохнуть, потому что чувствовала усталость.

Не прошло и пяти минут, как я услышала приближавшиеся шаги и,

оглядевшись, заметила невдалеке двуколку, лошадь, которая щипала поникшую траву, и Дадли Руфина — всего в нескольких ярдах от меня.

— Понимаешь, Мод, я все думаю, чего ты на меня так рассердилась, вот и решил: дай вернусь, спрошу, что я такого сделал тебе. Тут же нет греха?

— Я не сержусь. Я не говорила этого. Надеюсь, с вас довольно, — вздрогнув, сказала я, несмотря на свои слова, *очень* рассерженная, потому что догадалась: Милли была отправлена домой нарочно и я — жертва грубого обмана.

— Ну, раз не сердишься, тем лучше, Мод. Я только хочу знать, чего ты меня боишься. Я еще никогда не ударил человека так, чтоб нечестно, а девчонку обидеть — и подавно. А потом, Мод, ты мне до того нравишься, что как же тебя обидеть! Черт подери, девчонка, ты моя кузина, а двоюродные всегда вместе, меж ними любовь, и никто словечка против не говорит.

— Мне *не в чем* оправдываться. Я настроена дружелюбно, — проговорила я торопливо.

— *Дружелюбно?* Хорошо бы так — а то ведь вранье! Как же дружелюбно, Мод, ежели ты не хочешь мне даже руку пожать. Да от такого заругаешься, чего там — заплачешь. Зачем изводишь меня, беднягу? Ну не будь злючкой, Мод, я ж тебя так люблю. Ты самая красивая девчонка в Дербишире. Нет ничего, что бы я для тебя не сделал. — И он подкрепил свои слова божбой.

— Тогда будьте любезны, вернитесь в свою двуколку и уезжайте, — сказала я в ярости.

— Ну вот опять! Не можешь со мной так, чтобы вежливо было. Другой взял и поцеловал бы тебя назло, да я не этого сорту. Я — уговорами, я — добром, а ты ни в какую. К чему ты клонишь, Мод?

— Мне кажется, я совершенно ясно выразилась, сэр: я хочу остаться одна. Вам *нечего* сказать мне, кроме полнейшего вздора, которого с меня довольно. Последний раз, сэр, прошу вас: оставьте меня одну.

— Ну, Мод, послушай, я все для тебя сделаю — будь я проклят, ежели не сделаю, — только бы ты по-доброму со мной обходилась... как кузина. Чем я тебя рассердил? Ежели думаешь, что я люблю какую-нибудь девчонку больше тебя, — может, кто в Элверстоне сболтнул? — знай: вранье все и чепуха. Ну да, многим разбитным девкам я нравлюсь, хотя я без всяких там хитростей и всегда говорю, что у меня на уме.

— Непохоже, сэр, что вы такой правдивый, каким себя выставляете. Вы только что пустились на недостойный обман, чтобы добиться этого

глупого и неприятнейшего разговора.

— Ну отослал дуреху Милли, чтоб не мешалась, поговорить с тобой тут захотел — что за беда? Черт подери, девчонка, уж больно ты строгая. Разве я не сказал — сделаю все, чего захочешь?

— *Не делаете...*

— Ты про то, чтобы я убрался отсюда? Ну ладно, *уйду*. Получай, чего хочешь! Напрасно, конечно, просить тебя, чтоб напоследок мы поцеловались как брат с сестрой. Не сердись, девчонка, я ж не прошу этого. Только знай: ты мне страшно нравишься и, может, когда-нибудь я застаю тебя в лучшем настроении. До свидания. Мод! В конце концов ты меня полюбишь, точно!

С этими словами он, к моему облегчению, занялся своей трубкой и лошадью, а вскоре уже на самом деле держал путь к болоту.

## Глава XI

### Соперники

Избавившись от Дадли, докучавшего мне своим ужасным обществом, я быстрым шагом направилась к дому и была почти у входа, когда встретила Милли; она держала в руке письмо на мое имя.

— Опять стихи, Милли. Какой настойчивый поэт — кто бы он ни был! — Я сломала печать. На сей раз была проза, начинавшаяся словами «Капитан Оукли».

Признаюсь, я испытала странные чувства, увидев знаменательные слова. Может быть, предложение? Я не стала, однако, терять время и размышлять, но прочла строки, написанные тем же почерком, какой мне уже дважды доводилось видеть.

«Капитан Оукли шлет поклон мисс Руфин в надежде, что она простит его, если он отважится узнать, будет ли ему позволено во время краткого пребывания в Фелтраме нанести ей визит в Бартрам-Хо. Он гостит у тетушки и, находясь в столь близком соседстве, не может хотя бы не попытаться возобновить знакомство, которое всегда лелеял в памяти. Возможно, мисс Руфин окажет ему честь, удостоив кратким ответом на вопрос, заданный с нижайшим почтением. Капитан будет ждать ее решения в гостинице “Холл” в Фелтраме».

— Он малый из тех, что ходят окольным путем. Ну и чего б ему не приехать, не повидать тебя, ежели хочется? Эти... *пуэты* любят чесать языком — так ведь? — И, высказав свое мнение, Милли взяла у меня письмо и прочла сама. — Ой, до чего вежливое — да, Мод? — проговорила она, успев, очевидно, выучить письмо наизусть как образцовое сочинение.

Я, наверное, была не лишена природного ума и, учитывая, как мало я видела свет — по сути, совсем не видела, — часто удивляюсь мудрому заключению, которое я тогда сделала.

Нужно ли мне отвечать этому миловидному и лукавому шуту? В каком положении я окажусь? Без сомнения, на мой ответ он откликнется письмом, которое обяжет меня вновь написать ему, а тогда у него вновь явится повод написать мне... Быть может, его послания и не станут более пылкими, но они, разумеется, не иссякнут. Не кроется ли тут дерзкий

замысел — прибегнув к почтительности, вовлечь меня в тайную переписку? Неопытная девушка, я, однако, вспыхнула при мысли, что стану жертвой его коварства и, воображая, что мой ответ был бы шагом даже более рискованным, чем мне показалось в первый момент, я сказала:

— На подобные письма с удовольствием отвечают сестры пуговичников, но не леди. Что бы подумал твой папа, если бы узнал, что я пишу капитану и встречаюсь с ним без позволения? Имей он желание повидать меня, он мог бы... — я в действительности не очень хорошо представляла, что именно... — мог бы выбрать иное время для визита к леди Ноуллз; в любом случае он не вправе ставить меня в неловкое положение, и я уверена, что кузина Моника сказала бы то же самое. Я нахожу его письмо недостойным и дерзким.

Действия мои никогда не являлись плодом раздумий. На свете не было человека нерешительнее, чем я, но, охваченная волнением, я делалась проворной и отважной.

— Я покажу письмо дяде Сайласу, — сказала я, заторопившись к дому, — он знает, как поступить.

Однако Милли, которая, наверное, не находила предосудительным небольшой романтический эпизод, подготавливаемый молодым военным, сообщила, что не смогла увидеть отца, — он болен и ни с кем не говорит.

— Ты такой шум поднимаешь из ничего! Гинею ставлю: не попадись тебе на глаза лорд Илбури, ты позвала бы капитана... с радостью позвала бы.

— Какой вздор, Милли! Ты же знаешь, я никогда не прибегаю к обману. Лорд Илбури здесь совершенно ни при чем.

Я негодовала и больше не удостоила Милли ни словом. Дом в Бартраме велик, от входной двери до комнаты дяди Сайласа идти дольше, чем можно предположить, но я была не в силах унять раздражение, даже поднимаясь по лестнице, и, только достигнув площадки, увидев неприятное лицо и высокий чепец ревностной прислуги Уайт, сновавшей из комнаты в комнату, ощутив самый дух этого места, остановилась, чтобы поразмыслить. И решила, что за всеми почтительными словами капитана Оукли все-таки крылась холодная уверенность в успехе, которая меня и уязвляла до чрезвычайности. Прогнав прочь всякие сомнения, я тихо постучала в дверь.

— Что *теперь* у вас, мисс? — проворчала вечно недовольная старуха, не выпуская из уродливых пальцев ручку двери.

— Можно мне увидаться с дядей на несколько минут?

— Он утомился, за весь день словечка не проронил.

— Но не болен?

— По ночам такой плохой... — проворчала старуха и внезапно метнула на меня яростный взгляд, будто я в том была виновата.

— О, мне очень жаль. Я не знала.

— А кто знает, кроме старой Уайт! Даже Милли никогда не спросит — его родное дитя!

— Он слабеет... Что с ним?

— Да припадки его. Когда-нибудь вот так на тот свет и отправится, и опять будет знать одна старая Уайт, а никто и не спросит. Вот как оно будет.

— Прошу вас, передайте дяде это письмо, если он в силах взглянуть на него, и скажите, что я у двери.

Проворчав что-то, она с недовольным кивком взяла письмо и закрыла дверь передо мной. Вскоре она вновь открыла дверь:

— Входите, мисс.

И я вошла.

Дядя Сайлас, после ночного бреда или галлюцинаций, лежал, простершись на диване, бледно-желтый шелковый халат его укрывал складками подушки, длинные седые волосы свесились к полу. На лице блуждала уже знакомая мне безумная и слабая улыбка — тусклое свечение, страшившее меня. Его длинные тонкие руки лежали вдоль тела без движения, только изредка он тянулся к стеклянному блюдечку с одеколоном, помещенному рядом, и, смочив кончики пальцев, касался висков и лба.

— Девушка превосходного послушания! Почтительная подопечная и племянница! — бормотал дядя. — Господь воздаст вам за ваше прямодушие, от коего — ваша безопасность и мое спокойствие. Садитесь, расскажите, кто этот капитан Оукли, когда вы с ним познакомились, какого он возраста, каково его состояние, виды на будущее и кто эта упоминаемая им тетушка.

На все его вопросы я дала исчерпывающий ответ.

— Уайт, мои белые капли! — строго прокричал он высоким голосом. — Я напишу несколько строк, не откладывая. В моем состоянии я вынужден отказывать всем посетителям, а вы, конечно, не можете принять молодого капитана, пока не выезжаете в свет. Прощайте! Благослови вас Бог, дорогая!

Уайт капала «белое» укрепляющее снадобье в бокал, и комнату наполнял густой запах эфира. Я поторопилась выйти: фигуры и вся mise en scène<sup>[71]</sup> были какие-то нереальные.

— Ну вот, Милли, — сказала я, встретив кузину в холле, — твой папа

напишет ему.

Время от времени я задумывалась: а может, Милли права? Как бы я поступила несколькими месяцами раньше?

На другой день нам встретился в Уиндмиллском лесу не кто иной, как капитан Оукли. И произошла эта неожиданная *rencontre*<sup>[72]</sup> возле разрушенного моста, мой эскиз которого удостоился стольких похвал. Появление капитана было в самом деле неожиданным, так что я не успела вспомнить о своем возмущении и, ответив на приветствие капитана очень любезно, не сумела в течение краткого разговора взять высокомерный тон, удававшийся мне накануне.

Вслед за приветствиями и тонкими комплиментами он сказал:

— Я получил любопытнейшее послание от мистера Сайласа Руфина. Уверен, он считает меня предерзким человеком, поскольку ни о каком приглашении речь не шла в его, должен заметить, очень грубом письме. И я удивлен: почему, не допуская к себе в спальню — а о таком вторжении я и не помышлял, — он не позволяет мне предстать перед вами, ведь с вами я уже имел честь познакомиться — с согласия тех, кто несравненно пекся о вашем благе и был не менее, чем он, полагаю, вправе судить о том, кто достоин оказания подобной чести.

— Мой дядя, мистер Сайлас Руфин, как вам известно, — мой опекун. А это моя кузина, его дочь.

Мне представился повод показать себя чуть надменной, чем я и воспользовалась. Капитан приподнял шляпу и поклонился Милли.

— Боюсь, я был слишком груб и неразумен. У мистера Руфина, несомненно, полное право, чтобы... чтобы... Я на самом деле не представлял, что ваша столь близкая родственница удостоит чести... э-э-э... Какой у вас здесь прелестный вид! Мне думается, места вокруг Фелтрама красивы особой красотой, а Бартрам-Хо — наипрекраснейший уголок прекрасного края. Уверяю вас, я испытываю неодолимое искушение пожить в гостинице «Холл», в Фелтраме, не меньше недели. Жаль, листва облетела, но ваши деревья чудесны — сколь многие даже зимой увиты плющом! Говорят, он вредит деревьям, но, бесспорно, и красит их. У меня еще десять дней отпуска. Я бы хотел просить вас, чтобы вы посоветовали, как ими распорядиться. Чем, мисс Руфин, занять себя?

— Я хуже всех на свете умею строить планы — я сама всегда в затруднении. Может быть, вам поехать в Уэльс или в Шотландию, подняться в горы, столь дивные в зимнее время?

— Я предпочел бы эти места. Как бы я был рад вашему совету выбрать Фелтрам... Что это за прелестное растение?

— Мы зовем его «миртом Мод». Мод посадила дерево, и оно чудесно цветет. — Наш визит в Элверстон, несомненно, принес большую пользу не только мне, но и Милли.

— О! Посажено *вами*? — проговорил он с нежностью в голосе и кинул на меня столь же нежный взгляд. — Можно мне... хотя бы... один листочек? — Не дожидаясь ответа, он сорвал и заткнул веточку за жилет.

— Как превосходно она смотрится рядом с этими пуговицами. *Прехорошенькие* пуговицы — так ведь, Милли? Наверное, подарок вам... подарок на память?

Это был дерзкий намек на пуговичницу, и мне показалось, капитан взглянул на меня несколько озадаченно, но мое лицо выражало такое «очаровательное простодушие», что его подозрения рассеялись.

Я удивлялась, должна признаться, своим речам и тому, что терпела любезности от джентльмена, о котором отзывалась столь резко еще накануне вечером. Но уединение в Бартраме порой угнетало. Воспитанный человек, случайно попавший в это обиталище людей причудливых и грубых, был настоящей находкой; а читательницам — вероятно, моим самым строгим судьям — я скажу: обратитесь к своей прошлой жизни — не припомните ли подобного безрассудства? Не всплывут ли у вас в памяти по меньшей мере с полдюжины случаев подобной непоследовательности в поступках? Что до меня, то вот мое мнение: я не вижу преимуществ в принадлежности к слабому полу, если мы должны быть всегда сильными, как мужчины.

Впрочем, лишенное глубины чувство, когда-то мною испытанное, не воскресло. Если такие чувства угасли, их воскресить не легче, чем наших мертвых комнатных собачек, морских свинок или же попугайчиков. Именно потому, что я хранила совершенную холодность, я и смогла пуститься в беззаботную болтовню; мне льстило внимание изящного капитана, который явно считал меня своей пленницей и, возможно, обдумывал, как наилучшим образом использовать этот уголок Бартрама или приукрасить тот, — когда он сочтет необходимым взять в свои руки управление помещьем, диким и прелестным, где мы беззаботно бродили.

Вдруг Милли довольно сильно толкнула меня локтем и прошептала:

— Погляди-ка туда!

Проследив за ее взглядом, я увидела моего ужасного кузена Дадли. В чудовищных, в поперечную полоску, брюках и другом подобном «барахле», как выразилась бы Милли до своего перевоспитания, он, широко шагая, приближался к нашей маленькой благородной компании. Милли, наверное, стыдилась его; что касается меня, то в этом вы можете не сомневаться.

Однако я и не предполагала, какая последует сцена.

Очаровательный капитан, вероятно, принял его за кого-то из бартрамских слуг, потому что продолжал любезную беседу с нами до того самого момента, когда Дадли, с лицом белым от гнева, которого не умерила и быстрая ходьба, забыв поздороваться с Милли и со мной, обратился к нашему изящному спутнику:

— С вашего позволения, мистер, вам тут вроде как не место.

— Я отвечу ему? Вы простите? — вежливо осведомился у нас капитан.

— Эй, они-то простят, да только у тебя дело теперь со мной. Ты лишний, говорю.

— Удивлен, сэр, — произнес капитан высокомерно, — что вы расположены ссориться. Давайте, прошу вас, отойдем, чтобы не причинять беспокойства леди, — если я правильно понял ваше намерение.

— Мое намерение — отправить тебя туда, откуда пришел. А, ссориться, значит, хочешь? Тем хуже для тебя: моих кулаков понюхаешь.

— Скажи ему, чтоб не дрался, — прошептала мне Милли, — он с Дадли не справится.

Я заметила Дикона Хокса, который, привалившись с той стороны к забору, смотрел на нас и ухмылялся.

— Мистер Хокс, — потянув за собой Милли, обратилась я к нему, не особенно, впрочем, надеясь на его посредничество, — не допустите неприятности, молю вас, вмешайтесь!

— Штоб оба мне надавали? Э нет, мисс, блаадарю, — невозмутимо ответил Дикон все с той же ухмылкой.

— Кто вы, сэр? — весьма воинственно потребовал ответа у Дадли наш романтический друг.

— Я скажу тебе, кто *ты*. Ты — Оукли, остановился ты в гостинице «Холл», куда вчера Хозяин писал и приказывал, чтоб ты носа в поместье не совал. Ты — капитанишка, досыта не евший, а еще являешься сюда приглядеть себе жену и...

Дадли не успел закончить фразу, как капитан Оукли, сделавшийся краснее своего мундира, нанес противнику удар в лицо.

Не знаю, как это случилось, это был какой-то дьявольский фокус, но послышался хлопок — и капитан опрокинулся на спину со ртом, полным крови.

— Ну што — те по вкусу? — прорычал Дикон из-за забора, откуда вел наблюдение.

Капитан, однако, опять был на ногах. Без шляпы, совершенно взбешенный, он опять атаковал Дадли, который приседал и уворачивался от

ударов с поразительным спокойствием. А потом дважды послышался тот же ужасный звук, будто стучал почтальон. И капитан Оукли опять лежал на земле.

— В кровь раздолбана нюхалка! — прогремел Дикон, грубо захохотав.

— Уйдем, Милли, мне сейчас будет дурно, — сказала я.

— Брось, Дадли, тебе говорю! Ты кончишь его! — закричала Милли.

Но обреченный капитан, с окровавленным носом и ртом, с залитой кровью манишкой и алым ручейком от брови, вновь кинулся на противника.

Я отвернулась. Я боялась, что лишусь чувств, что расплачусь от одного лишь страха.

— Дай ему, чтоб больше не драл нос! — ревел обезумевший от удовольствия Дикон.

— Перебьет! Перебьет! — кричала Милли, имея в виду, как потом я поняла, греческий нос капитана.

— Bravo, коротышка! — Капитан был ростом значительно выше противника.

Еще хлопок — и капитан Оукли, наверное, опять упал.

— Ура-а-а! Што — съел, раздолбай ты! — рычал Дикон. — Воткнулся тут... уж и землю, вон, вспахал, а еще хочет!

Дрожа от отвращения, я собралась с силами и поторопилась прочь; за спиной я расслышала хриплый голос капитана Оукли:

— Чертов боксер, я так не дерусь.

— А я тебе говорил: моих кулаков понюхаешь, — прогудел Дадли.

— Но ты сын джентльмена, черт возьми, и должен драться со мной как джентльмен!

В ответ на это замечание Дадли и Дикон разразились оглушительным хохотом.

— Кланяйся своему полковнику и вспоминай про меня, когда будешь глядеться в зеркало! Убираешься-таки? Держи прямо — ткнешься тем, что осталось от твоего носа, в ворота... А зубы свои не забыл тут, на травке, а?

Вот какие насмешки летели вслед покалеченному капитану, отступавшему с поля боя.

## Глава XII

### Опять появляется доктор Брайерли

Кто не знал подобного опыта, тот вряд ли представит себе омерзение и ужас, которые такая сцена могла вызвать в уме молодой особы моего склада.

Эти воспоминания всегда вставали в памяти, когда бы я ни подумала о главных участниках чудовищного спектакля. Зрелище столь полного унижения, столь сильно оскорбляющее чувство прекрасного, свойственное нашему полу, не забудет ни одна женщина. Капитан Оукли был жестоко избит человеком, который во многом уступал ему. Пострадавший вызывал жалость, однако случай лишал его фигуру благородства, а беспокойство Милли о зубах и о носе капитана, отчасти ужасавшее, отдавало уже какой-то нелепостью.

С другой стороны, удаль сильнейшего даже в поединке столь варварском, говорят, пробуждает у нашего пола нечто сродни восхищению. О себе с уверенностью могу сказать, что я испытывала прямо противоположные чувства. Дадли Руфин еще ниже пал в моих глазах, хотя я больше боялась его теперь, вспоминая обнаруженные им жестокость и хладнокровие.

После описанного случая я жила в постоянном ожидании того, что буду вызвана в дядину комнату и допрошена по поводу встречи с капитаном Оукли, которая, несмотря на мою полную незаинтересованность в ней, выглядела подозрительной; впрочем, я не подверглась такой инквизиторской пытке. Возможно, дядя и не подозревал меня, а возможно, давно считал всех женщин лгуньями и не желал слушать, что я придумаю себе в оправдание. Я склоняюсь к последнему предположению.

Казна к этому времени, вероятно, каким-то образом пополнилась, потому что на другой день Дадли отправился в одну из светских, как представлялось бедняжке Милли, поездок в Вулвергемптон<sup>{25}</sup>. И в тот же день прибыл доктор Брайерли.

Из окна моей комнаты мы с Милли видели, как он вышел из экипажа во дворе. Доктора, явившегося в неизменном своем черном одеянии, которое всегда казалось впервые надетым и с чужого плеча, сопровождал какой-то худой, с рыжими волосами и бакенбардами человек.

Доктор выглядел изможденным и будто на несколько лет постаревшим

со дня нашей последней встречи. Его не допустили в комнату дяди; Милли, которую любопытство заставило провести расследование, выяснила, что дряхлый дворецкий Бартрама объявил доктору: дядя нездоров и не может побеседовать с ним. После этого доктор написал записку, и ответ гласил, что дядя Сайлас с радостью примет посетителя через пять минут.

Мы с Милли терялись в догадках, что бы это могло значить, но еще не истекли оговоренные пять минут, как вошла Мэри Куинс:

— Уайт просила передать, мисс, что ваш дядя требует вас *сию минуту*.

Когда я вошла в его комнату, он сидел за столом, на котором был раскрыт ящик с письменными принадлежностями. Дядя поднял на меня взгляд донельзя горделивый, страдальческий и внушавший благоговение.

— Я послал за вами, дорогая, — произнес он очень мягко, тонкой белой рукой взяв мою и нежно удерживая на протяжении своей краткой речи, — потому что не стремлюсь иметь никаких секретов от вас, но желаю, чтобы вы, находясь под моей опекой, были осведомлены обо всем, касающемся ваших интересов. И я счастлив, думая, что вы, моя возлюбленная племянница, так же искренни со мной, как я с вами. А вот и джентльмен. Садитесь, уважаемый.

Доктор Брайерли собирался, казалось, пожать руку дяде Сайласу, тот, однако, встал с величавым видом и отвесил ему неторопливый церемонный поклон, войдя в роль надменного аристократа. Я удивлялась, как мог простоватый доктор с такой невозмутимостью противостоят олицетворенному высокомерию.

Слабая и усталая улыбка, скорее печальная, нежели презрительная, была единственным знаком того, что доктор почувствовал враждебность дяди.

— Приветствую вас, мисс, — проговорил Брайерли и, здороваясь в своей чуждой светскости манере, протянул мне руку — будто только что сообразил, что я в комнате. — Я сяду, пожалуй, сэр, — обратился доктор Брайерли к дяде, усаживаясь на стул возле стола и закидывая ногу на ногу.

Мой дядя кивнул.

— Вам ясно, о чем пойдет речь, сэр? Предпочитаете, чтобы мисс Руфин осталась? — осведомился доктор Брайерли.

— Я *посылал* за ней, — проговорил в ответ мой дядя тоном подчеркнуто мягким и саркастическим, с улыбкой на тонких губах, на мгновение презрительно вздернув неповторимо изогнутые брови. — Сей джентльмен, моя дорогая Мод, полагает допустимым намекать, что я обираю вас. Я этим несколько удивлен, и, без сомнения, вы тоже удивитесь. Мне нечего утаивать, и я желал, чтобы вы присутствовали, когда он

удостоит меня более подробным изложением своих соображений. Я прав, употребляя слово «обирание», сэр?

— Ну, — задумчиво проговорил доктор, не склонный к сантиментам, но озабоченный фактической стороной дела, — это было бы, разумеется, так — если брать не принадлежащее вам и использовать для собственной выгоды; в худшем случае речь идет, я считаю, о воровстве.

Я заметала, как губы дяди Сайласа, веко и худая щека задрожали, задергались будто от невралгии тройничного нерва, когда доктор Брайерли бездумно произнес этот оскорбительный ответ. Дядя, отличаясь, впрочем, самообладанием, свойственным завязтому игроку, пожал плечами, издал короткий саркастический смешок и кинул взгляд на меня.

— В вашей записке, кажется, говорится об *убытке*, сэр?

— Да, это убыток — лесоповал и продажа леса из Уиндмила, продажа дубовой коры и выжигание древесного угля, насколько я осведомлен, — проговорил Брайерли бесстрастным тоном, каким упоминают о новостях из газеты.

— У вас детективы? Личные осведомители? Или, возможно, стараются мои слуги, на подкуп которых пошли деньги моего покойного брата? Благороднейшие приемы!

— Ничего подобного, сэр.

Дядя усмехнулся.

— Я хочу сказать, сэр, неподобающий сбор сведений не имел места; вопрос — исключительно правового порядка, и наша обязанность — побеспокоиться, чтобы эта неопытная юная леди не оказалась обманутой.

— Ее собственным дядей?

— Кем бы то ни было, — проговорил доктор Брайерли с характерной для него невозмутимостью, вызвавшей у меня восхищение.

— Вы конечно же запаслись судебным решением? — поинтересовался дядя с вкрадчивой улыбкой на губах.

— Дело находится у сержанта, мистера Гриндерза. Эти важные чины не всегда рассматривают дела так быстро, как нам бы хотелось.

— Значит, у вас *нет* судебного решения? — Дядя по-прежнему улыбался.

— Моему поверенному все совершенно ясно; вопрос поднимается для соблюдения формальностей.

— Да, вы поднимаете вопрос для соблюдения формальностей, а пока дело не состряпано, предположений бестолкового адвоката и хитроумного апте... прошу прощения, лекаря достаточно, чтобы говорить моей племяннице и подопечной — в моем присутствии, — что я обманываю

ее! — Дядя откинулся на спинку кресла и, выражая улыбкой презрение, смешанное со снисходительностью, смотрел поверх головы доктора Брайерли.

— Не уверен, что я выразился именно так, но речь о формальной стороне... Я хочу сказать, что, по ошибке или же нет, вы пользуетесь правами, не принадлежащими вам в законном порядке, в результате чего разоряете владение и извлекаете из этого выгоду настолько, насколько причиняете вред присутствующей юной леди.

— Формально я обманщик, понимаю. А из вашего метода заключений ясно и остальное. Благодарение Богу, я, сэр, *совсем* не тот человек, что раньше. — Дядя Сайлас говорил тихо и поразительно долго выговаривал каждое слово. — Припоминаю момент, когда мне бы следовало нанести вам удар, сэр, — или, по крайней мере, *попытаться* сделать это — и за гораздо более безобидное измышление.

— Сэр, я настроен серьезно. Что вы намерены *предпринять*? — жестко спросил доктор Брайерли и слегка покраснел, потому что, наверное, старик привел его в ярость; доктор не повысил голоса, но был явно задет.

— Я намерен защищать свои права, сэр, — проговорил дядя Сайлас зловеще. — Я опираюсь на закон, а вот вы — нет.

— Кажется, вы думаете, сэр, что я нахожу удовольствие в том, чтобы беспокоить вас, но вы очень заблуждаетесь. Я не люблю причинять беспокойство кому бы то ни было... мне это совершенно *не свойственно*. Но неужели вы не понимаете положения, в которое я поставлен, сэр? Я хотел бы угодить всем и выполнить долг.

Дядя кивнул и улыбнулся.

— Я привез управляющего из вашего шотландского поместья Толкингден, мисс. Если вы позволите, — затем обратился доктор к дяде, — мы осмотрим здешние уголья и сделаем записи по увиденному; разумеется, при условии, что вы допускаете факт убытка и сомневаетесь только в судебном решении.

— Будьте любезны, сэр, *откажитесь* от намерения, с которым вы и ваш шотландец явились сюда, и, памятуя о том, что я ничего не отрицаю и ничего не допускаю, окажите еще любезность — ни под каким предлогом не появляйтесь в этом доме, а также в пределах Бартрама-Хо, пока я жив. — Дядя Сайлас, с прежней тусклой улыбкой и мрачным взглядом, поднялся — в знак того, что беседа окончена.

— Прощайте, сэр, — сказал доктор Брайерли, храня печальный и задумчивый вид. Поколебавшись мгновение, он обратился ко мне: — Вы позволите, мисс, сказать вам два слова в холле?

— Ни слова, сэр, — пророкотал дядя Сайлас и метнул испепеляющий взгляд на доктора.

Наступило молчание.

— Оставайтесь на своем месте, Мод.

Опять молчание.

— Если вы желаете что-то сказать моей подопечной, сэр, будьте любезны, говорите *здесь*.

Доктор Брайерли обратил ко мне свое смуглое, грубо вылепленное лицо с выражением безмерного сочувствия.

— Я собирался сказать: если вы, мисс, считаете, что я каким-то образом могу быть вам полезен, я готов действовать. Да, *хоть каким-то* образом... — Он запнулся, глядя на меня с тем же выражением и будто желая что-то добавить, но проговорил только: — Это все, мисс.

— Давайте пожмем друг другу руки, доктор Брайерли, прежде чем вы уйдете, — воскликнула я и устремила к нему.

Без улыбки, с выражением печальной озабоченности, с какой-то тайной мыслью, которую он не решался высказать вслух, доктор взял мои пальцы в свою очень холодную руку, задержал и слабо тряхнул, невольно переводя при этом встревоженный взгляд на лицо дяди Сайласа. Грустно, с рассеянным видом, он проговорил:

— Прощайте, мисс.

Мой дядя, избегая этого печального взгляда, торопливо отвел глаза и почему-то стал смотреть в окно.

В следующее мгновение доктор Брайерли со вздохом выпустил мою руку, быстро кивнул мне и покинул комнату. Я прислушивалась к самым горестным на свете звукам — к удаляющимся шагам истинного и... *потерянного* друга.

— Да не войдем во искушение; если молимся, не должны предавать осмеянию предвечного Бога, входя во искушение по собственной воле. — Это мудрое изречение дядя Сайлас произнес, помолчав минут пять после ухода доктора Брайерли. — Я отказал ему от дома, Мод, во-первых, поскольку его безотчетная дерзость превысила меру моего терпения, а также поскольку слышал нелестные отзывы о нем. Что касается вопроса о правах, в которых он сомневается... Вопрос ничуть не нов для меня. Я ваш арендатор, моя дорогая племянница; когда меня не станет, вы узнаете, как *щепетил* я был, узнаете, как под мучительнейшим гнетом денежных затруднений, каковыми оказался наказан за дурно проведенную молодость, старался ни на волос не преступить границ дозволенного законом... как я, ваш арендатор, Мод, и ваш опекун, в чудовищных испытаниях, выпавших

на мою долю, удерживал себя сверхъестественной силой и, милостью Господней пожалованный, остался *чист*. — После короткой паузы он продолжил: — Свет не верит в преобразование человека, никогда не забывает, кем он был, и ни на йоту не переменит мнение о нем в лучшую сторону; это неумолимый и неразумный судья. О том, кем я был, скажу резче, чем мои клеветники, и с омерзением более глубоким, чем выказанное ими: безрассудный мот, безбожный распутник. Таким я был; а сейчас — каков есть. Не иссякло упование на иной мир, за этим стоящий, у самого презренного из людей — сим упованием грешник спасен.

Затем он витийствовал весьма туманно. Наверное, на его религиозных воззрениях столь причудливым образом отразилось штудирование Сведенборга. Я не могла понять дядю, пустившегося в край символов. Только помню, что он говорил о потопах, о водах Мерры<sup>{26}</sup> и произнес: «Я омыт... я окроплен». Помолчав, он смочил виски и лоб одеколоном — этот жест, возможно, в его воображении связывался с окроплением и всем прочим.

Освеженный таким образом, он вздохнул, улыбнулся и перешел к доктору Брайерли:

— О докторе Брайерли я знаю то, что он хитер, любит деньги, что рожден в бедности и ничего не заработал своим ремеслом. Но у него много тысяч фунтов — по завещанию моего покойного брата — из *ваших денег*, и он — разумеется, с благопристойным *polo episcopi*<sup>{73}</sup> — незаметно прибрал к рукам попечительство о вашей неизмеримой собственности со всеми вытекающими отсюда многообразными возможностями. Неплохой трюк для духовидца-сведенборгианца. Такой человек *должен* преуспеть. Но если он предполагал заработать деньги на мне, его планы напрасны. Впрочем, деньги он заработает на своем попечительстве — вы увидите. Опасное решение. Ищет жизни Дивеза? Наихудшее, что пожелаю ему, — найти смерть Лазаря. Но будет ли он, как Лазарь, отнесен ангелами на лоно Авраамово или, как богач, всего лишь умрет, будет похоронен и узнает *все остальное*<sup>{27}</sup>, ни в жизни, ни в смерти не хочу видеть его подле себя.

Тут дядя Сайлас, наверное, неожиданно лишился сил. Он откинулся в кресле с мертвенно-бледным лицом, покрывшимся испариной, предвестницей дурноты. Я закричала, призывая Уайт. Но он вскоре оправился настолько, что улыбнулся своей странной улыбкой. Улыбаясь и одновременно хмурясь, он кивнул мне и сделал знак уйти.

## Глава XIII

### Вопрос и ответ

Дядя в тот день, однако, справился со своим недугом, какой бы странной природы он ни был. Старуха Уайт, по обыкновению недовольным тоном, подтвердила, что с дядей «ничего худого, чтоб разговоры разговаривать». А вот я не могла отогнать страх и унять душевную боль. Доктора Брайерли, несмотря на тень, брошенную на его репутацию моим дядей, я считала истинным и мудрым другом. Я была приучена всегда на кого-то полагаться и в Бартраме, терзаемая неясной, неопределенной тревогой, я устремлялась мыслями к доктору Брайерли, но, когда исчез мой энергичный и предприимчивый друг, сердце у меня упало.

Оставалась конечно же моя дорогая кузина Моника и мой славный, мой надежный лорд Илбури. Вскоре от леди Мэри пришло приглашение мне и Милли погостить на Ферме, где мы встретимся с нашей кузиной из Элверстона. Леди Мэри добавляла, что вместе с ее приглашением лорд Илбури шлет моему дяде письмо, в котором присоединяется к ее словам. И вот после полудня дядя велел, чтобы я явилась к нему в комнату.

— Адресованное вам и Милли приглашение от леди Мэри Кэризброук — на встречу с Моникой Ноуллз... вы получили его? — спросил дядя, как только я села.

Услышав мой утвердительный ответ, он продолжил:

— А теперь, Мод Руфин, я жду от вас правды. Я с вами честен, вам надлежит быть честной со мной. Леди Ноуллз когда-либо отзывалась обо мне дурно?

Я пришла в замешательство.

Я почувствовала, что покраснела. На его пронизательный холодный взгляд я ответила растерянным молчанием.

— Да, Мод, это так.

Я опустила глаза.

— Я знаю, что это так, но вам надо отвечать: так это или нет.

Я прокашлялась — раз, другой, третий. Горло сдавило.

— Я пытаюсь вспомнить... — проговорила я наконец.

— *Вспомните*, прошу вас, — сказал он повелительным тоном.

Опять наступило недолгое молчание. Я бы тогда все на свете отдала, только бы очутиться в другом месте.

— Мод, вы, разумеется, не хотите обманывать вашего опекуна? Ну же,

вопрос простой, и я давно знаю правду. Еще раз спрашиваю вас: леди Ноуллз когда-либо отзывалась обо мне дурно?

— Леди Ноуллз, — начала я, с трудом выговаривая слова, — очень свободно высказывается и больше говорит в шутку; но... — продолжила я, заметив какую-то угрозу в его лице, — но я слышала, как она осуждала некоторые ваши поступки.

— Ну же, Мод, — произнес он сурово, хотя по-прежнему не повышая голоса, — не выдвинула ли она уже тогда обвинение, слышанное нами от этого лукавого аптекаря, — вероятно, существовавшее только в зародыше, а на днях явленное уже оперившимся, с острыми когтями и клювом... — обвинение в том, что я обманываю вас и занимаюсь рубкой леса в поместье?

— Она, конечно, упоминала об этом обстоятельстве, но добавляла, что все объясняется, вероятно, неведением относительно степени ваших прав.

— Ну же, Мод, не уклоняйтесь от прямого ответа. Я *получу* его. Не говорит ли она постоянно в пренебрежительном тоне обо мне в вашем присутствии и конкретно вам? *Отвечайте!*

Я опустила голову.

— Да или нет?

— Возможно... возможно, что так... да, — запинаясь, произнесла я и расплакалась.

— Ну-ну, не плачьте. Допускаю, что вам это неприятно. Но не говорила ли она о вещах, уже упомянутых, в присутствии моей дочери Миллисент? Я все знаю, повторяю. Ваши колебания бессмысленны. Я требую ответа.

Всхлипывая, я сказала правду.

— А теперь сидите тихо, пока я напишу письмо.

Он писал с угрюмой усмешкой, вызывавшей у меня душевную боль, хмурился и усмехался, глядя на бумагу, потом положил ее передо мной.

— Прочтите, моя дорогая.

Вот что я прочла:

«Любезная леди Ноуллз,

Вы оказали мне честь письмом, в каком присоединяетесь к просьбе лорда Илбури — позволить моей подопечной, а также моей дочери воспользоваться приглашением леди Мэри. Будучи хорошо осведомленным о неприязни, Вами ко мне беспричинно питаемой, равно как о выражениях, в каких Ваше воспитание и Ваша совесть позволяют Вам говорить обо мне в присутствии

моей дочери и моей подопечной и адресуясь к ним, я могу выразить лишь удивление скромностью Вашего пожелания и категорически отказываю Вам. Употребив действенные меры, я приложу все старания, чтобы предотвратить с Вашей стороны любую попытку явным злословием или намеком повредить моему авторитету и моему влиянию на подопечную, а также на дочь.

Ваш оклеветанный и оскорбленный родственник

*Сайлас Руфин».*

Я пришла в ужас, но какими мольбами могла я отвести удар, направленный против моей свободы общения? Я громко рыдала, стиснув руки, и не сводила глаз с мраморного лица старика.

Будто не слыша моих рыданий, он сложил письмо, запечатал и принялся за ответ лорду Илбури.

Закончив, дядя положил и это письмо передо мной, а я прочла его от первой до последней строки. Адресата просто отсылали к леди Ноуллз «для выяснения обстоятельств, вынуждавших писавшего отклонить приглашение, которое племянница и дочь писавшего приняли бы с превеликой радостью».

— Вы видите, моя дорогая Мод, как честен я с вами, — сказал он, помахивая только что прочтенным мною письмом, прежде чем его запечатать. — И думаю, я вправе рассчитывать на вашу ответную откровенность.

Когда он отпустил меня, я побежала к Милли, которая расплакалась от разочарования, и мы обе рыдали и причитали. Но, наверное, у меня было больше причин горевать.

В унынии я села писать дорогой леди Ноуллз. Я молила ее заключить мир с моим дядей. Я сообщала ей, как прямодушен он был со мной, как показал свое печальное послание в Элверстон. Сообщала о беседе дяди с доктором Брайерли, произошедшей в моем присутствии, о том, что дядю мало взволновали обвинения и что он держался с уверенностью человека, которому не в чем раскаиваться. Я заклинала ее найти какой-нибудь выход и, помня о моей изоляции, помириться с дядей Сайласом. «Только подумайте, — писала я, — мне всего девятнадцать, а впереди два года затворничества. Я не вынесу такой долгой разлуки!» Ни один разорившийся торговец не подписывал бумагу о своем банкротстве, вздыхая горше, чем я, когда ставила в конце письма свое имя.

Огорчения юности подобны ранам богов, кои исцеляются от самой ихор<sup>{28}</sup>, проливающейся из ран. Так и мы с Милли утешились. На другое утро мы уже наслаждались прогулкой, разговором и чтением, удивительно покорные нашему жребию.

Мы с Милли напоминали лорда Дуберли и доктора Панглосса:<sup>{29}</sup> моей обязанностью было исправлять ее «вопизмы», и это занятие развлекало нас обоих. Мы подчинились судьбе, наверное, с тайной надеждой, что неумолимый дядя Сайлас все же смягчится или что кузина Моника, эта сирена, одержит победу и обратит его в кого пожелает.

Некоторое успокоение, испытанное мною в отсутствие Дадли, было, увы, недолгим. Однажды утром, когда я в одиночестве вязала и размышляла о многих вещах, не лишенных приятности, в мою комнату вошел кузен Дадли.

— Вот я и обратно — вернулся, как в кошелек фальшивый полпенни. А ты как тут поживала, девочка? Невиннейший вид у тебя, клянусь. Страшно рад, что вижу тебя, ага! Ни одна с тобой не сравнится, Мод.

— Я должна вас просить: отпустите руку, иначе я не могу продолжать работу, — проговорила я, своим чопорным ответом надеясь немного охладить его пыл.

— Сделаю все, чего просишь, Мод, я не хочу тебе перечить. Я был в Вулвергемптоне, покутили на славу, так что пришлось сбежать в Лемингтон. Чуть шею себе не свернул, клянусь, на чужой лошади... когда за собаками припустил порезвей. Ты б не горевала, Мод, ежели бы я шею свернул? Может, самую малость... — добродушно добавил он, потому что я хранила молчание. — Неделя, как уехал, а мне, черт возьми, сдается, что половину календаря зачеркнули. И знаешь почему, Мод?

— Вы повидались с вашей сестрой Милли и с вашим отцом после возвращения? — спросила я холодно.

— Они подождут, Мод, ничего им не делается. Тебя хотел видеть. О тебе только и думал. Говорю тебе, девочка, ты у меня из головы не выходишь.

— Мне кажется, вам следует повидаться с вашим отцом. Вы на время уезжали, и я думаю, это неуважительно — не явиться к нему, — проговорила я немного резко.

— Ежели просишь, считай, я уже ушел, хотя еще тут. Нет ничего на свете, чего б я для тебя не сделал, Мод, вот только одного не могу — уйти от тебя.

— А это, — сказала я, раздражаясь и поэтому краснея, —

единственная на свете вещь, о которой я вас прошу.

— Ей-богу, ты покрасне-е-е-ла, Мод, — протянул он с чудовищнейшей ухмылкой.

Его глупость была невыносимой.

— *Просто ужас!* — проворчала я и возмущенно стукнула носком туфли об пол, показывая, что готова затопать ногами.

— Ну, вы, девчонки, народ чудной. Ты сердисься на меня, потому что думаешь что я набрался греха, — так, Мод? Нет, говорю тебе, резвунья ты неразумная, ничего такого не было в Вулвергемптоне. А ты, только я вернулся, уже гонишь меня. Не за дело!

— Я не понимаю вас, сэр. И прошу: уйдите.

— Ну разве я не говорил, Мод, про то, чтоб уйти от тебя... Только этого и не могу сделать. Я просто дитя малое в твоих руках, точно. Могу крепкого парня избить, измочалить, черт подери! — Должна заметить, что его ругательства на самом деле были еще более грубыми. — Ты ж видела недавно. Ну, не сердись, Мод. Тогда из-за тебя все и вышло — я чуток приревновал, ага. Значит, любого поколочу. Но вот смотри на меня: просто дитя малое в твоих руках!

— Я хочу, чтобы вы ушли. У вас нет никакого занятия? Вам ни с кем не нужно увидеться? Ну почему... почему вы не *можете* оставить меня одну, сэр!

— Не могу, потому что не могу. А ты... какая ж ты злая, видишь, что со мной, и... Как *ты можешь*?

— Скорее бы Милли пришла, — раздраженно сказала я, устремив взгляд на дверь.

— Я говорю тебе как есть, Мод. Откроюсь, чего там. Ты мне нравишься больше всех девчонок, которых встречал, вот тебе честное слово. Ты в сто раз лучше их всех, нету другой такой... нету. И я хочу, чтоб ты пошла за меня. Деньжат у меня немного — отец иногда подкидывает, да он и сам на мели, ты ж знаешь. Но хотя я не богатый, как некоторые, может, я получше их буду. И ежели б ты пошла за порядочного человека, который тебя страшно любит и умрет ради тебя, так вот он перед тобой.

— Что вы хотите сказать, сэр? — вскричала я, озадаченная и возмущенная.

— Я хочу сказать, Мод, что, ежели пойдешь за меня замуж, не пожалеешь: ни в чем не будешь знать отказа, слова плохого от меня не услышишь.

— Это же предложение! — выговорила я, будто во сне.

Я стояла, держась за спинку стула, и взгляд, устремленный на Дадли,

вероятно, был преглупым, ведь от крайнего изумления я плохо соображала.

— Ну да, оно самое, девочка, и ты мне не скажешь «нет», — выпалил этот ужасный человек. Он оперся коленом о сиденье стула, за которым я стояла, и попытался обвить мою шею рукой.

Я разозлилась, отпрянула и топнула ногой в неподдельной ярости.

— Что, сэр, в моем поведении, в моих речах и взглядах могло бы оправдать эту неслыханную дерзость? Но пусть вы так же глупы, как дерзки, грубы и отвратительны, вы должны были давно понять, что вы мне очень неприятны. Как вы осмелились, сэр? Не думайте препятствовать мне, я иду к дяде!

Никогда и никому на свете я еще не говорила таких резких слов.

Он, казалось, тоже растерялся, и я, разгневанная, быстро скользнула мимо его протянутой, но не шевельнувшейся руки.

Со свирепым видом он двинулся было за мной к двери, но остановился и только выругался мне вслед, употребив те «плохие слова», которых, как обещал, я никогда от него не услышу. Впрочем, гнев и быстрый шаг помешали мне вникнуть в их смысл, и, не успев собраться с мыслями, я постучала к дяде Сайласу.

— Войдите, — прозвучал дядин голос — внятный, высокий и капризный.

Я вошла и взглянула дяде прямо в лицо:

— Ваш сын, сэр, меня оскорбил.

Несколько секунд он с холодным любопытством изучал меня, а я стояла перед ним, покрасневшая, тяжело дыша.

— Оскорбил? — переспросил он. — Вот дела — вы меня удивляете! — Это восклицание больше, чем все, мною от него слышанное, характеризовало «прежнего» дядю Сайласа. — *Каким образом,* — продолжил он, — *каким образом Дадли оскорбил вас, мое дорогое дитя?* Вы взволнованны; сядьте, успокойтесь и все расскажите. Я не знал, что Дадли вернулся.

— Я... он... это *оскорбление*. Он понимал... он *должен* понимать, что неприятен мне, и осмелился предложить выйти за него замуж.

— О-о-о! — протянул дядя с интонацией, ясно говорившей, что он считает случившееся событием. Он откинулся в кресле и смотрел на меня с прежним невозмутимым любопытством, к которому прибавилась улыбка, почему-то меня пугавшая. Его лицо казалось мне нечестивым, будто лицо колдуна, отмеченное печатью неведомого греха. — И это все ваши жалобы? Сделал предложение!

— Да, предложил выйти за него замуж.

Я остыла и почувствовала некоторое смущение, подозревая, что со стороны могу показаться — если других жалоб нет — излишне резкой в выражениях и несдержанной в поведении.

От дяди, должна сказать, не укрылось мое беспокойство, потому что он, по-прежнему улыбаясь, произнес:

— Моя дорогая Мод, сколько бы ни было правоты в ваших словах, думаю, вы немного жестоки: кажется, вы забываете о своей явной вине. У вас, по крайней мере, один верный друг, к которому советую обратиться, — я имею в виду зеркало. Глупый юноша не обучен манерам. И он влюблен, отчаянно увлечен. *Aimer c'est craindre, et craindre c'est souffrir*<sup>[74]</sup>. А страдание вынуждает искать облегчения. Нам не следует быть слишком строгими к грубоватому, но романтическому юноше, в чьих речах видны и его глупость, и его мука.

## Глава XIV

### Привидение

— Но, в конце концов, — неожиданно, будто его посетила новая мысль, продолжил дядя, — такая ли это глупость? Мне вдруг показалось, дорогая Мод, что об этом стоит еще подумать. Нет, нет, вы не откажетесь меня выслушать! — проговорил он, заметив мое желание возразить ему. — Конечно же я допускаю, что, по вашему мнению, вы вправе выбирать. Я также допускаю, что Дадли вам совершенно безразличен и вы даже воображаете, что он неприятен вам. Помните, в той прелестной пьесе по воле покойного Шеридана — восхитительный автор! увы, все наши гении нас покинули! — миссис Малапроп замечает, что нет ничего лучше легкой неприязни вначале<sup>{30}</sup>. Это только шутка, что касается брака, но что касается любви, поверьте мне, это почти истина. Автор имел в виду, как я знаю, свою собственную женитьбу на мисс Оугл, которая при первом знакомстве пришла от него в совершеннейший ужас, но несколько месяцев спустя, кажется, умерла бы, если бы не стала его женой.

Я вновь хотела заговорить, но он с улыбкой сделал мне знак молчать.

— Вам не следует забывать про определенные обстоятельства. Одна из счастливейших привилегий, даруемая вам вашим состоянием, заключается в том, что вы, не опасаясь раскаяний в неблагодарности, можете вступить в брак просто по любви. Мало найдется в Англии мужчин, которые предложили бы вам земельные владения, сравнимые с уже принадлежащими вам, или существенным образом добавили бы великолепия к вашему состоянию. Поэтому, если бы он подходил во всех прочих отношениях, не вижу в его бедности препятствия, которое могло бы вас смущать. Он — неотшлифованный алмаз. Подобно многим молодым людям из высших слоев общества, он был слишком предан атлетике и тому кругу, который составляет аристократию ринга, беговой дорожки и всего подобного. Заметьте, я начинаю с упоминания о наименее достойных моментах. Но в свое время я знал немало молодых людей, которые, проявив безрассудство, посвятили несколько лет жизни атлетике, переняли у жокеев и боксеров их манеры, их жаргон и тем не менее расстались с этими привычками и усвоили правила хорошего тона. Например, когда милый Ньюгейт, усерднее других предававшийся таким шалостям, устал от них, то сделался одним из самых изящных, самых благовоспитанных

англичан, подлинным украшением палаты лордов. Бедный Ньюгейт — его тоже нет! Я перечислю вам с полсотни друзей моей юности, которые вступили в жизнь как Дадли, и все так или иначе преобразились подобно Ньюгейту<sup>{31}</sup>.

В этот момент раздался стук в дверь, и Дадли просунул голову, разрушив картину его будущего изящества и благовоспитанности.

— Мой добрый друг, — сказал отец игриво, — я говорю о своем сыне и не хотел бы, чтобы меня подслушивали, а поэтому прошу вас выбрать другое время для посещения.

Дадли с хмурым видом переминался у двери, но еще один взгляд, брошенный отцом, заставил его ретироваться.

— А теперь, моя дорогая, вам следует запомнить, что Дадли обладает замечательными качествами, что при всей его грубости он самый преданный сын, каким может быть благословен отец. Другие его достойные восхищения качества — это неукротимая смелость и чувство чести. Наконец, в нем течет кровь Руфинов — благороднейшая, берусь утверждать, кровь в Англии.

Произнося эти фразы, он невольно чуть выпрямился, его трепещущая рука легла на сердце, а лицо преисполнилось столь удивительного достоинства и печали, что я глядела на него как зачарованная и не смогла вникнуть в смысл говорившегося далее.

— Поэтому, дорогая, естественным образом обеспокоенный тем, чтобы ему не пришлось покинуть дом, — а он будет вынужден уехать, упорствуй вы в отклонении его ухаживаний, — прошу вас повременить с решением ровно две недели, когда я с превеликой охотой послушаю, что вы скажете. Но до тех пор — обещайте! — больше ни слова об этом.

В тот вечер он и Дадли надолго закрылись в комнате. Подозреваю, что отец просвещал сына в отношении психологии молодых леди, потому что со следующего утра, приходя к завтраку, я находила у своей тарелки букет, который совсем не просто было достать, ведь теплица в Бартраме давно обратилась в пустыню. Еще через несколько дней прибыл зеленый попугай в золоченой клетке; на конверте, который протянул мне посыльный, значилось: «Мисс Руфин из Ноула, проживающей в Бартраме-Хо и т. д.» В конверте я обнаружила только «Руководство по уходу за зелеными попугаями», которое заключала *подчеркнутая* строка: «Эту птичку зовут Мод».

Букеты я неизменно оставляла на столе, где их находила, птичку, по моему настоянию, Милли взяла себе. В течение тех двух недель Дадли ни разу не появлялся к ленчу, как прежде, не заглядывал в окно, когда мы

сидели за завтраком. Удовольствовался он тем, что лишь однажды, облаченный в охотничий костюм, возник передо мной в холле и, с неуклюжей, деланной вежливостью сняв шляпу, сказал:

— Наверно, Мод, я нагрубил... ну, тогда. Уж так я разволновался, не больше дитяти понимал, что говорю. Я хочу, чтоб ты знала, я... сожалею и прошу простить... покорнейше, ага.

Я не могла придумать, что ответить ему, поэтому промолчала и с суровым видом прошла мимо.

Два-три раза мы с Милли, гуляя, видели его невдалеке. Но он никогда не пытался присоединиться к нам. Только раз он проходил настолько близко, что без приветствия нельзя было обойтись, и он остановился, молча приподнял шляпу, неуклюжий в своем старании проявить к нам почтение. Впрочем, и на расстоянии он всячески показывал, как он вежлив. Он открывал перед нами ворота, подзывал к себе собак, отгонял скот, а потом исчезал и сам. Однако, думаю, он иногда поджидал случай оказать нам такую услугу и вызвать благодарное чувство, ведь наши маршруты пересекались значительно чаще после того, как он сделал мне свое лестное предложение.

Можете не сомневаться, что мы с Милли постоянно возвращались в разговорах к этому происшествию. И как ни ограниченно было ее знание людей, *теперь* она ясно видела, насколько ниже достойного уровня оказывался ее питавший надежды брат.

Две недели истекли очень быстро — так всегда летит время, когда близится событие, которого мы желали бы избежать. Эти две недели я не виделась с дядей Сайласом. Наш последний разговор, когда дяде, как никогда, давался легкий тон, вселил в меня неведомый мне прежде страх и предчувствие опасности. С тревогой и унынием в душе на редкость хмурым днем я ожидала в комнате у Милли зова от моего пунктуального опекуна.

Глядя в окно на косой дождь и свинцовое небо, думая о ненавистном разговоре, который мне предстоял, я прижала руку к трепещущему сердцу и прошептала: «О, будь у меня крылья голубки, я бы упорхнула и нашла бы покой!»

Почему-то в ту минуту мой слух пронзило щелканье попугая. Я обернулась в сторону клетки и вспомнила слова: «Эту птичку зовут Мод».

— Бедная пташка! — сказала я. — Мне кажется, Милли, она хочет на волю. Будь она родом из наших краев, разве не согласилась бы ты открыть окно, а потом — дверцу этой чудовищной клетки, разве бы не позволила ей улететь?

— Господин желает видеть мисс Мод, — донесся неприятный голос Уайт из приоткрытой двери.

Я молча последовала за старухой, сердце мое сжималось в тревоге, как у человека, направляющегося туда, где его поджидает со всеми своими инструментами хирург.

Когда я вошла в комнату, сердце заколотилось, и так сильно, что я лишилась дара речи. Фигура дяди Сайласа высилась предо мной; я сделала неловкий реверанс.

Дядя метнул из-под бровей свирепый, яростный взгляд на старуху Уайт и надменно указал костлявым пальцем на дверь. Уайт вышла — и мы остались одни.

— Сядете? — произнес он, указывая на стул.

— Благодарю вас, дядя, я... я лучше постою, — запинаясь, проговорила я.

Он тоже стоял — наклонив вперед белую голову, устремив на меня исподлобья взгляд своих странных фосфорических глаз, а кончиками ногтей касаясь стола.

— Вы видели — багаж увязан, снабжен адресом? И стоит в холле, готовый к отправлению, — проговорил он.

Да, я видела. Мы с Милли читали бирки, свисавшие с ручек чемоданов и чехла для охотничьего ружья. Адрес значился такой: «Мистер Дадли Р. Руфин. Париж via<sup>[75]</sup> Дувр».

— Я стар, я волнуюсь... от близости минуты, когда прозвучит столь важное решение. Прошу, положите конец мучительной неопределенности. Должен ли мой сын сегодня покинуть Бартрам в печали, или он остается, ликуя? Прошу, отвечайте скорее!

Я что-то пролепетала... что-то невразумительное, возможно даже нелепое, но подтверждающее неизменность моего решения. Мне показалось, его губы делались все белее, а глаза разгорались все ярче.

Когда я добралась до последнего слова, он издал тяжелый вздох и, медленно поведя глазами вправо, потом влево — как человек в полном отчаянии, — прошептал:

— Да свершится воля Господня!

Я подумала, что вот сейчас он потеряет сознание, — бледное лицо его приобрело землистый оттенок; казалось, забыв о моем присутствии, он сел и устремил безнадежный взгляд на свою старческую серую руку, лежавшую на столе.

Я стояла, смотрела на него и чувствовала себя почти убийцей старого человека, а он по-прежнему не отрывал глаз от своей руки, и его взгляд был

безумен.

— Я могу уйти, сэр? — наконец осмелилась я спросить шепотом.

— *Уйти?* — проговорил он, вдруг подняв глаза. Мне показалось, что из них хлынул холодный туманный поток света и на мгновение окутал меня пеленой. — *Уйти?* О да... да, Мод... уйдите. Я должен увидеть бедного Дадли перед его отъездом, — добавил старик, будто разговаривая с самим собой.

Опасаясь, как бы он не отменил позволения уйти, я быстро и бесшумно выскользнула из комнаты.

Старая Уайт держалась поблизости — делала вид, что стирает тряпкой пыль с резной дверной рамы. Старуха окинула меня любопытным взглядом из-под морщинистой руки, когда я выходила. Поджидавшая меня Милли устремила мне навстречу. Когда я закрывала дверь, мы обе расслышали голос дяди Сайласа, призывавшего Дадли. Вероятно, Дадли скрывался в смежной спальне. Под охраной Милли я поторопилась в свою комнату, где нашла облегчение после пережитого волнения в слезах, как то и свойственно девушкам.

Чуть позже мы видели из окна Дадли: очень бледный, как мне показалось, он сел в экипаж, на верху которого едва хватило места для его багажа, и покинул Бартрам.

Я начала успокаиваться. Его отъезд был несказанным облегчением для меня. Его окончательный отъезд! Долгая и далекая поездка!

Вечером мы пили чай в комнате у Милли. Пламя камина и свечей действует на меня ободряюще. В этом алом вечернем освещении я всегда чувствовала и чувствую себя в большей безопасности, чем при свете дня, что странно, ведь нам известно: ночь — пора тех, кто любит тьму и не любит света, это пора, когда поблизости бродит зло. Но, возможно, само сознание опасности, подстерегающей снаружи, усиливает нашу радость в ярко освещенной комнате — как буря, ревущая и завывающая над крышей.

Очень уютно устроившись, мы с Милли болтали, как вдруг послышался стук в дверь, и, не дожидаясь приглашения, в комнату вошла старуха Уайт. Хмуро глядя на нас, уцепившись темными когтистыми пальцами за дверную ручку, она сказала Милли:

— Хватит веселиться, мисс, вам черед у отца быть.

— Он болен? — спросила я.

Она ответила, обращаясь не ко мне, но к Милли:

— Два часа мучается в припадке — как господин Дадли уехал. Сдается мне, помрет бедняга. Я сама горевала, глядя, как господин Дадли уезжал в сырость-то такую. И без того столько уж бед на эту семью

свалилось! Да, семье конец подходит, так думаю. Беда за бедой, беда за бедой — вслед за последними переменами.

Судя по ее мрачному взгляду, при этих словах брошенному на меня, именно я олицетворяла собой «последние перемены», с какими связывались все печали дома.

Нерасположение даже такой ужасной старухи меня обидело, ведь я, увы, принадлежала к тем несчастным созданиям, которые не способны держаться равнодушно, когда того требует разум, и всегда жаждут доброты, пусть и от самых ничтожных людей.

— Надо идти. Вот бы ты, Мод, со мной пошла! Мне одной так страшно... — проговорила Милли.

— Конечно, Милли, — ответила я упавшим голосом — ведь вы догадываетесь, что я тоже боялась, — тебе не придется сидеть там одной.

И мы пошли вместе, а старая Уайт по пути заклинала нас не шуметь.

Мы прошли через кабинет старика, где в тот день состоялся его краткий, но столь важный разговор со мной, где он прощался с сыном, и вошли в спальню.

В камине горел неяркий огонь. Комната почти погрузилась в сумерки. Кроме тусклой лампы на полу у дальнего конца кровати, комната ничем не освещалась. Старая Уайт потребовала, чтобы мы говорили только шепотом и не отходили от камина — разве больной позовет или совсем обессилеет. Таковы были распоряжения доктора, навещавшего дядю.

И вот мы с Милли сели у камина, а старая Уайт оставила нас справляться, как сможем. Мы слышали дыхание больного, но он не шевелился. Говорили шепотом: впрочем, разговор наш вскоре сам собой угас. Я, по обыкновению, порицала себя за доставленные всем страдания. Через полчаса перешептываний с паузами, которые длились все дольше, я поняла, что Милли одолевал сон.

Она боролась со сном, и я старалась разговорить ее, но тщетно. Она заснула, и в этой мрачной комнате я теперь бодрствовала одна.

Воспоминания о моем прошлом бдении здесь наполняли душу трепетом. Не занимая свой ум мыслями о прозаических предметах — не возвращаясь к ужасному предложению Дадли, к подозрительной терпимости, проявленной в этих обстоятельствах дядей, и к моему собственному поведению в неприятнейшие для меня дни, — мне было бы намного тягостнее.

Но я могла размышлять о моих действительных бедах, немного думала о кухне Монике и, признаюсь, очень много — о лорде Илбури. Направив взгляд в сторону двери, я вдруг увидела человеческое лицо, страшнее

которого не нарисовало бы и мое воображение; некто не отрываясь смотрел в комнату. Я увидела только часть фигуры, скрывавшейся за дверью, и цепкие пальцы на ней. Лицо было обращено к кровати и в слабом свете казалось иссиня-серой маской, с глазами белыми как мел.

Я так часто пугалась подобных видений, когда случайная игра света и тени искажала знакомые предметы, что наклонилась вперед, ожидая (хотя и охваченная дрожью), что сейчас оно исчезнет, распадется на безобидные элементы. Но, к моему невыразимому ужасу, я уверилась, что вижу лицо мадам де Ларужьер.

Я вскрикнула, отшатнулась и яростно затрясла спящую Милли.

— Смотри! Смотри! — кричала я. Но фигура — или то был мираж? — исчезла.

Я так крепко ухватилась за руку Милли, съездившись позади нее, что она не могла встать.

— Милли! Милли! Милли! Милли! — продолжала кричать я, будто лишившаяся рассудка и позабывшая все другие слова.

Милли, которая ничего не видела и не могла понять причину моего ужаса, в панике собрала силы и вскочила на ноги; прильнув друг к другу, мы укрылись в углу комнаты, я же продолжала громко кричать: «Милли! Милли! Милли!»

— Что... где... что ты видишь? — закричала и Милли, прижимаясь ко мне столь же крепко, как и я к ней.

— Вернется! Вернется! О Боже!

— Что... что, Мод?

— Лицо! Лицо! — кричала я. — О Милли! Милли! Милли!

Мы услышали тихие шаги, приближавшиеся к раскрытой двери. *Sauve qui peut!*<sup>[76]</sup> В ужасе, наталкиваясь друг на друга, мы устремились к лампе у изголовья дядиной кровати. Но голос представшей перед нами старой Уайт несколько ободрил нас.

— Милли, — сказала я, как только добралась до своей комнаты (я едва держалась на ногах), — никакая на свете сила больше не заставит меня войти в ту спальню после заката.

— Мод, дорогая, что, черт возьми, ты видела? — спросила Милли, испуганная, наверное, чуть меньше меня.

— Не могу, не могу, *не могу*, Милли... Никогда не спрашивай! Это комната с привидениями... с ужасными привидениями!..

— Чарк?.. — шепотом спросила ошеломленная Милли, оглядываясь через плечо.

— Нет, нет. Не спрашивай меня! Злой дух в худшем из обличий.

Наконец я нашла облегчение в слезах. Всю ночь добрая Мэри Куинс сидела подле меня, а Милли спала со мной рядом. Пробуждаясь с криком, прибегая к нюхательной соли, я пережила ту ночь сверхъестественного ужаса и вновь увидела благословенный свет небес.

Доктор Джолкс, утром навестивший дядю, зашел и ко мне. Он объявил, что я крайне истерична, подробно расспросил о моем режиме и диете, поинтересовался, что я ела накануне за обедом. Прозвучавшая затем холодная и уверенная критика моей теории касательно привидений подействовала на меня несколько успокаивающе. Предписания же были такие: исключить чай, заменив его шоколадом и портером, раньше ложиться... что-то еще, но что — я уже забыла. Он ручался: если я буду следовать его рекомендациям, то больше не увижу ни одного привидения.

## Глава XV

### *Прощание с Милли*

Через несколько дней я почувствовала себя лучше. Доктор Джолкс с такой насмешливой уверенностью и твердостью судил о предмете, что я начала сомневаться в реальности виденного мною призрака, но по-прежнему невыразимо страшилась миража — если это в самом деле был мираж, — комнаты, где он появился, и всего с ней связанного; поэтому ни с кем не говорила об этих вещах и старалась, насколько могла, не думать о них.

И хотя Бартрам-Хо при всей его красоте был местом мрачным, связанным со зловещими событиями, а его уединенность порой невыразимо угнетала, все же ранний отход ко сну, укрепляющие прогулки и чудесный воздух этого края вскоре немного поправили мои нервы.

Но, кажется, Бартрам назначался мне как юдоль слез или был, в моем печальном странствии, той долиной смерти, которую христианская душа преодолевает в одиночестве, окруженная тьмой.

Однажды Милли вбежала в гостиную бледная, с мокрыми щеками, не говоря ни слова, она обхватила меня за шею и разрыдалась.

— Что такое, Милли? Что случилось, дорогая? Что?.. — вскричала я в ужасе, так же крепко обнимая ее.

— О Мод... милая моя Мод! Он собирается меня отослать!

— Отослать? Дорогая, куда отослать? Оставить меня одну в этом жутком пустынном месте, где я умру от страха и горя без тебя? О нет! Нет! Это, должно быть, ошибка!

— Я еду во Францию, Мод... я уезжаю. Миссис Джолкс послезавтра отправляется в Лондон, и я еду с ней, а там одна старая француженка из школы должна меня встретить и отвезти, куда надо... Ох-ох-ох-о-о-о-о! — рыдала бедная Милли, уткнувшись головой мне в плечо, еще крепче обнимая и, как борец на ковре, раскачивая меня из стороны в сторону, чтобы справиться со свалившимся на нее горем. — Ни разу не уезжала из дома, вот только тогда... ненадолго с тобой в Элверстон... но ты была со мной. Ой, я люблю тебя больше Бартрама, да, больше! И я умру, Мод, если он меня отошлет.

Я почти так же бурно выражала свое горе, как бедная Милли. Целый час мы проплакали — то стоя, то расхаживая по комнате взад и вперед, то садясь, а то вскакивая, чтобы броситься друг другу на шею, — когда

Милли, доставая из кармана носовой платок, обронила письмо, которое, как она сразу вспомнила, дядя Сайлас предназначал мне.

Содержание письма было таким:

«Хочу уведомить дорогую племянницу и подопечную о моих планах. Милли поступает в превосходную французскую школу с полным пансионом и уезжает в будущий четверг. Если по прошествии трех месяцев она найдет школу в каком-либо отношении неудовлетворительной, она вернется к нам. И напротив, если убедится в том, что заведение прекрасное, как мне его характеризовали, Вы, по истечении названного срока, присоединитесь к ней на тот период, пока временные мои трудности не будут настолько улажены, что я смогу вновь принять Вас в Бартраме. В ожидании лучших дней и с заверением, что три месяца — это предельный срок Вашей разлуки с Милли, я пишу сии строки, увы, не имея возможности повидать Вас в настоящий момент.

*Бартрам, вторник.*

*P. S.* Не буду возражать, если Вы осведомите Монику Ноуллз об этих планах. Вам, надеюсь, ясно, что не стоит делать копию письма — достаточно передать суть».

Этот документ, изученный нами с не меньшим тщанием, чем проявили бы юристы, штудировав новый акт парламента, утешил нас. В конце концов, разлуке полагались пределы: она продлится не дольше трех месяцев, а возможно, будет и короче. Я с облегчением заключила, что письмо дяди, хотя и категоричное по тону, было добрым.

Наши отчаянные рыдания утихли, их сменила грусть, и мы взяли друг с друга слово часто писать. Нас уже волновали предстоящие перемены. Если «заведение» окажется действительно «прекрасным», как замечательно будет встретиться во Франции, обещавшей столько новых пейзажей, обычаев, лиц!

И вот настал четверг, вновь пробудивший печаль, но и принесший вновь просветление. Переполненные горечью и надеждой, мы с Милли выпустили друг друга из объятий у калитки в дальнем конце Уиндмиллского леса. Потом, как вы можете догадаться, были еще слова прощания, еще объятия, еще улыбки сквозь слезы. Добрая миссис Джолкс, встретившая нас там, пребывала в крайнем возбуждении; я думаю, она первый раз ехала в столицу, чем и объяснялись ее суетливость вместе с

напыщенностью, ее чрезмерные опасения из-за скорости, развиваемой поездом. Конечно, мы с Милли на прощание обмолвились лишь несколькими словами.

Я видела бедную Милли — выставив голову из окна экипажа, она не переставая махала рукой — до поворота дороги, где старые липы, сплошь увитые плющом, скрыли от моих глаз и Милли, и экипаж. Тогда у меня опять полились слезы. Я обернулась к Бартраму. Рядом со мной стояла честная Мэри Куинс.

— Не расстраивайтесь так, мисс, три месяца — не срок, и не заметите, как пробегут, — сказала она с доброй улыбкой.

Я тоже улыбнулась сквозь слезы, поцеловала милое создание, и мы бок о бок вошли в калитку.

Юркий молодой человек в бумазее, который разговаривал с Красавицей в то утро, когда я впервые встретила эту юную амазонку из Уиндмиллского леса, поджидал нас, сжимая ключ в руке. Он стоял, полускрытый распахнутой калиткой: проходя мимо, я только и заметила, что худую темную щеку, пугливый глаз да острый вздернутый нос. Сторож разглядывал меня украдкой и, казалось, избегал моего взгляда, потому что быстро закрыл калитку и стал возиться с замком, а потом принялся носком тяжелого башмака сбивать росший тут же чертополох, держась к нам все время спиной.

Внезапно я припомнила его лицо. И спросила у Мэри Куинс:

— Вы видели этого молодого человека прежде, Куинс?

— Он иногда приносит дичь вашему дяде, мисс, и, кажется, помогает в саду.

— Мэри, вы знаете, как его зовут?

— Слышала, что Том, а дальше не знаю, мисс.

— Том, — позвала я, — Том, подойдите, прошу вас.

Том обернулся и не торопясь подошел. Он был учтивее других бартрамских слуг — с забавной почтительностью сдернул свою бесформенную кроличью шапку.

— Том, как ваше полное имя? Том... а дальше, любезный?

— Том Брайс, мэ.

— Не встречала ли я вас прежде, Том Брайс? — продолжала расспрашивать я, испытывая вместе с любопытством намного более тягостные чувства, потому что, несомненно, у Тома *было* сходство с фореитором, который так пристально разглядывал меня на дороге в охотничьем заповеднике Ноула, когда в нашем тихом поместье произошел тот возмутительный случай.

— Может, и встречали, — спокойно ответил он, опустив глаза и изучая пуговицы на крагах.

— Вы умелый кучер, хорошо правите лошадьми?

— С плугом управляюсь — как и все здешние парни.

— Вы бывали в Ноуле, Том?

— Не-е, — сказал он.

— Том, вот вам полкроны.

Он не отказывался.

— Какая славная, — с поклоном проговорил он, успев придирчиво рассмотреть монету.

Я не поняла, относилось его замечание к монете или к великодушной леди.

— А теперь, Том, скажите мне, вы бывали в Ноуле?

— Может, и бывал, мэм, да все места не упомнишь, не-е, — задумчиво проговорил он, с видом правдивого человека, который напрягает память, при этом он два-три раза подбросил серебряную монету и поймал, не сводя с нее глаз.

— Том, постарайтесь припомнить и скажите правду, тогда я буду вам другом. Вы ездили форейтором при экипаже, доставившем леди и, наверное, нескольких джентльменов в пределы Ноула, где общество устроило пикник и где произошла... ссора с егерями? Постарайтесь, Том, постарайтесь... У вас, даю слово, не будет неприятностей, но я отплачу вам услугой.

Том молчал — бессмысленным взглядом он следил за монетой, вновь подброшенной вверх, а потом причмокнул губами, поймал ее, сунул в карман и сказал, не глядя на меня:

— В жизни не ездил форейтором, мэм. И чтоб такое место знал — не-е, а бывать, может, и бывал. Ноул зовется, што ли? Из Дербишира ни разочка не выбирался, только трижды — по железке — с лошадьми в Уорик на ярмарку и дважды — в Йорк<sup>{32}</sup>.

— Вы уверены, Том?

— А еще бы, мэм!

Вновь неуклюже раскланявшись, Том оборвал разговор, свернул на одну из тропинок и принялся криком отгонять скот.

В случае с этим человеком я меньше, чем с Дадли, взялась бы утверждать, что узнала его. Даже что касается сходства Дадли с мужчиной, виденным мною у церкви Скарздейл, я день за днем теряла прежнюю уверенность, и если бы речь зашла о пари, я, пользуясь выражением джентльменов, увлекающихся спортом, не рискнула бы «поставить» на

свое первоначальное мнение. Да, сомнений и раньше было предостаточно, и раньше я не могла обрести покой, но теперь новый повод для раздумий сделал мое положение еще мучительнее.

На обратном пути мы видели уложенные рядами, побелевшие, со снятой корой стволы дубов, некоторые — без ветвей, обработанные топором, возможно, уже проданные, ведь на них были выведены красной охрой крупные буквы и римские цифры. Проходя мимо, я вздохнула — не потому, что видела нечто противоправное (я действительно склонялась к мысли, что дядя Сайлас разбирался в том, что дозволено, а что нет), — но, увы, здесь лежало поверженным во прах украшение Бартрама-Хо, поместья славной старой фамилии: лесу, под сводами которого три века охотились Руфины, не подняться и за столетия.

На одном из поваленных стволов я присела отдохнуть, а Мэри Куинс бродила поблизости без всякой цели. Я сидела, удрученная, и вдруг заметила девушку — Мэг Хокс, шедшую ко мне с корзинкой в руке.

— Тс-с! — бросила она, минуя меня; она не замедлила шаг, не подняла глаз. — Молчите, не глядите — отец следит за нами. Я в другой раз скажу, что хотела.

«В другой раз». Когда же это? Может быть, на обратном пути? И поскольку она ничего не добавила и даже не остановилась, я решила немного подождать и посмотреть, что будет дальше.

Через какое-то время я увидела Дикона Хокса. Чурбан, как бедная Милли прозвала его, с топором в руке крался, прячась за деревьями.

Догадавшись, что я заметила его, он угрюмо коснулся шляпы, заворчал и поторопился пройти мимо. Он совершенно не понимал, что меня привело в эту часть Ундмилльского леса, и не скрывал своего недоумения.

Его дочь все-таки вновь появилась, но он был поблизости, и она прошла молча. В следующий раз она миновала меня, когда он невдалеке расспрашивал Мэри Куинс, и на ходу проговорила:

— Не оставайтесь с господином Дадли наедине ни за что на свете.

Этот совет меня так встревожил, что я была готова засыпать девушку вопросами, однако удержалась в надежде, что в другой раз она выскажется яснее. Но Мэг больше не произнесла ни слова, а сама я не решилась обратиться к ней, ведь старый Чурбан не спускал с нас глаз.

Предостережение заключало столько толкований, что я не один час провела в размышлениях и потеряла счет бессонным ночам. Неужели мне так никогда и не знать покоя в Бартраме-Хо?

Уже прошел срок оговоренного отсутствия Милли и моего одиночества, когда однажды дядя послал за мной.

Старуха Уайт, стоя в дверях, ворчливым голосом передала его распоряжение, а я почувствовала, что сердце у меня в груди сжалось.

Было поздно — в это время тех, кто подавлен и угнетен, особенно мучит тревога: сгустились холодные сереющие сумерки, но веселых свечей еще не зажгли и ночь, дарительница забвения, еще не ступила на землю.

Когда я вошла в дядин кабинет — хотя ставни на окнах были открыты и в прорехах темных облаков на западной стороне неба виднелись разлитые закатным солнцем бледные озерца света, — я увидела две горящие свечи: одну — на столе возле письменных принадлежностей, другую — на полке камина, перед которым сутулясь стоял дядя, худой и высокий. Его рука лежала на каминной доске, свеча, горевшая прямо над его склоненной головой, чуть серебрила его седые волосы. Он, казалось, смотрел на тлеющие угольки в камине и воистину являл собою статую, изображавшую дряхлость и распад.

— Дядя! — отважилась проговорить я, некоторое время простояв незамеченной у стола.

— А, Мод, мое дорогое дитя... мое *дорогое* дитя.

Взяв свечу, он повернул голову, улыбнулся мне своей страдальческой улыбкой и двинулся к столу — прежде я не замечала, чтобы дядя ходил так неуверенно... на негнущихся ногах.

— Садитесь, Мод, прошу, садитесь.

Я села на указанный им стул.

— В одиночестве и горе я вызвал вас, будто духа, и вот вы явились.

Обеими руками опираясь о стол, он склонился и смотрел на меня, не садясь. Я продолжала молчать, ожидая, пока он не соизволит объяснить, зачем послал за мной.

Наконец, выпрямившись и подняв взор неистового обожания, он воздел руки — я заметила, как порозовели кончики его пальцев в слабом смешанном свете, — и сказал:

— Нет, благодарение Создателю, я не совсем покинут. — Он вновь недолго помолчал, пристально глядя на меня, а потом забормотал — казалось, он размышлял вслух: — Мой ангел-хранитель! Мой ангел-хранитель! — И вдруг он обратился ко мне: — Мод, у вас есть сердце. Выслушайте же мольбу старого, обездоленного человека... вашего опекуна... вашего дяди... вашего *просителя*. Я дал себе слово, что более никогда не заговорю об этом предмете. Но я был неправ. Мною двигала гордыня... одна гордыня.

Во время последовавшей паузы я почувствовала, что побледнела, потом покраснела.

— Я очень несчастен... я доведен почти до отчаяния. Что мне остается... что остается? Фортуна обошлась со мной наихудшим образом — повергла во прах, и ее колесо прокатилось по мне, а потом светская чернь, толпа ее рабов, топтала уже раздавленного. Я брошен в шрамах, обескровленный... брошен в этом уединении. Это не моя вина, Мод, я повторяю, не моя вина. Я не испытываю раскаяния, но сожалениям моим несть числа. Люди, проезжая мимо Бартрама и видя заброшенное владение, кровлю, над которой не вьется дымок — ведь очаг остыл, — люди, я уверен, думают, что нельзя низвести гордого человека к положению более тягостному. Увы, им не вообразить и половины моих мук. Но у этого чахоточного старика, у этого эпилептика, у этой жертвы несправедливости, катастроф и заблуждений есть еще надежда — отважный, хотя и простодушный сын... последний отпрыск — по мужской линии — рода Руфинов. Мод, он потерян для меня? Его судьба, моя судьба, смею сказать, судьба *Милли*... мы все в ваших руках и ждем вашего приговора. Он любит вас любовью, на какую способны только юные... любовью на всю жизнь. Он любит вас безрассудно... о, самая преданная натура... Руфин... благороднейшая в Англии кровь... последний представитель рода. И я — если я теряю его — теряю все. Вы скоро увидите меня в гробу, Мод. Я обращаюсь к вам как проситель... Или встать на колени?

Его взгляд, пылавший отчаянием, остановился на мне. Его узловатые руки сжались, он всем телом подался вперед. Я почувствовала невыразимый испуг и боль.

— О дядя, дядя! — вскричала я и от волнения разрыдалась.

Я видела, что его глаза смотрели на меня с мрачной сосредоточенностью. Наверное, он догадывался о причине моего смятения, но предпочел, несмотря ни на что, давить на меня, совершенно растерянную.

— Вы понимаете, в каком я мучительном ожидании... ужасно мучительном... Вы добры, Мод, вам дорога память вашего отца, вам жаль брата вашего отца. Вы же не скажете «нет»... не приставите пистолет к его виску?

— О! Я должна... я должна... я *должна* сказать «нет». Дядя, пощадите меня ради всего святого! Не просите и не давите на меня. Я не могу... не могу сделать то, о чем вы просите.

— Я уступаю, Мод, уступаю, моя дорогая. Я *не даю* на вас, у вас будет время подумать... *самой* подумать. Я не принимаю ответа сейчас... нет, *никакого* ответа, Мод. — Говоря это, он поднял руку, призывая меня к молчанию. — Довольно, Мод. Я был с вами, как всегда, откровенен,

возможно, излишне откровенен, но мука и отчаяние ищут выхода в мольбе, побуждая обращаться даже к самым непреклонным, самым жестоким. — С этими словами дядя Сайлас вошел в спальню и закрыл дверь — не резко, но решительно. А потом оттуда будто бы донеслись рыдания.

Я поспешила в свою комнату. Я бросилась на колени и возблагодарила Господа за явленную мною твердость: я не могла поверить, что способна к ней.

После заочного возобновления притязаний моего ужасного кузена я страдала больше, чем в силах передать. Дядя прибегнул к такой тактике, что противиться домогательствам стало некой пыткой: я опасалась, что дядя покончит с собой, и каждое утро на краткий миг успокаивалась, узнавая, что с ним все по-прежнему. Впоследствии я не раз удивлялась собственной стойкости. Во время того невероятного разговора с дядей я, в полном смятении ума, была готова сдать. Говорят, нервные люди так бросаются с обрыва — от одного страха, что ненароком сорвутся.

## Глава XVI

### Объявляется Сара Матильда

Через какое-то время после описанного разговора, когда я однажды днем сидела и грустила в своей комнате у окна в обществе доброй Мэри Куинс, которая — в доме ли, на унылых прогулках — всегда находилась подле меня, я была напугана громким пронзительным женским голосом: невидимка, задыхаясь от рыданий, что-то быстро и яростно говорила, она почти кричала.

Вздвогнув, я устремила взгляд на дверь.

— Господи помилуй! — воскликнула Мэри Куинс, круглыми глазами смотревшая в ту же сторону.

— Мэри, Мэри, что это может быть?

— Уж не бьют ли кого там? Не пойму, откуда этот крик. — И Мэри в изумлении замерла с открытым ртом.

— Да!.. Да!.. Я увижу ее. Ну-ка, где она? О-о-хо-хо-хо-о-о!.. Мисс Руфин из Ноула! Мисс Руфин из Ноула. О-хо-хо-хо-о!

— Что, в конце концов, это может быть? — вскричала я в полном замешательстве и ужасе.

Теперь звуки раздавались совсем рядом, и я слышала, как наш кроткий немощный старый дворецкий, собрав все свои силы, возражал упорствовавшей женщине.

— Нет, я увижу ее, — продолжала она, разразившись потоком грязной брани в мой адрес.

Я вспылала гневом. В чем я виновата? Мне ли кого-то бояться? Как она смеет в доме моего дяди — в моем доме — смешивать мое имя с грязью?

— Ради бога, мисс, не выходите, — взмолилась бедная Куинс, — там пьянчужка какая-то!

Но я негодовала и как дурочка — впрочем, я ею и была, — распахнув дверь, громко и надменно проговорила:

— Я мисс Руфин из Ноула. Кто хотел меня видеть?

Слишком белокожая, слишком румяная молодая особа, с черными как смоль волосами, разъяренная, рыдавшая, без остановки говорившая визгливым голосом, стремительно преодолела последнюю ступеньку лестницы и резко выпустила из рук свои юбки, шагнув на площадку. За женщиной, тщетно протестуя и увещевая ее, следовал бедный старый

Жужель, как прозвала его Милли.

Я взглянула на эту особу и сразу узнала в ней брюнетку из экипажа, который встретила в охотничьем заповеднике Ноула. Но в следующий миг я засомневалась, и с каждой минутой сомнения мои росли. Эта была значительно стройнее и одета была, бесспорно, как подобает леди. Вероятно, эта очень мало походила на ту. Я уже привыкла не доверять поразившему меня сходству, уже подозревала, что оно — плод моего больного воображения.

Увидев меня, молодая особа — как мне показалось, из разряда подавальщиц или горничных, — решительно осушила глаза и с пылающим лицом категорически потребовала предъявить ей ее «законного мужа». Ее громкая, дерзкая, оскорбительная речь еще усилила мое возмущение, и я уже не помню, что ответила ей, но только она стала вести себя немного пристойнее. Она явно считала, что я хочу отнять у нее мужа или по меньшей мере он хочет жениться на мне; она сыпала словами с такой быстротой, речь ее была настолько необузданной, несообразной и неразумной, что я подумала: она не в своем уме. Впрочем, это было не так, и, дай она мне хоть минутку поразмыслить, я поняла бы смысл ее слов. Но я пребывала в полной растерянности, пока она не вытащила из кармана перепачканную газету и не указала на строки, заблаговременно дважды обведенные красными чернилами. Газета была ланкаширская, примерно полуторамесячной давности и крайне потрепанная, замаранная. Особенно мне запомнилось круглое пятно — от кофе или, может, от портера. В отмеченных строчках, приведенных ниже, упоминалось о событии не менее чем годичной давности.

«БРАКОСОЧЕТАНИЯ. Во вторник, 7 августа 18... года, в Литервигской церкви преподобным Артуром Хьюзом обвенчан Дадли Р. Руфин, эсквайр, единственный сын и наследник Сайласа Руфина, эсквайра из Бартрама-Хо, графство Дербишир, с Сарой Матильдой, второй дочерью Джона Манглза, эсквайра из Уиггана, что в нашем графстве».

Вначале я только развеселилась от этих строк, но в следующий момент почувствовала невыразимое облегчение, и, наверное, моя острая радость проявилась у меня на лице, потому что молодая особа смотрела на меня с удивлением и любопытством, когда я говорила ей:

— Это очень важно. Вам следует сейчас же увидеть мистера Сайласа Руфина. Я уверена, что он ничего не знает. Пойдемте, я провожу вас.

— Как это так — не знает! — возмущалась она, следуя за мной преисполненной самодовольства походкой и громко шелестя дешевыми шелками.

Когда мы вошли к нему, дядя Сайлас, сидевший на диване, поднял на нас глаза и закрыл «Ла Ревю де Дё Монд»<sup>[33]</sup>.

— Что сие значит? — поинтересовался он сухо.

— Эта леди имеет при себе газету, сообщающую нечто чрезвычайное касательно нашей фамилии, — ответила я.

Дядя Сайлас встал и, прищурившись, пристальным взглядом оглядел незнакомую молодую особу.

— Я полагаю, клевета в газете? — проговорил дядя, протягивая руку за ней.

— Нет, дядя, нет. Всего лишь объявление о бракосочетании, — сказала я.

— Не Моники ли? — воскликнул он, беря газету. — Фу! Вся пропахла табаком и пивом, — добавил дядя и побрызгал на газету одеколоном.

Он поднес газету к глазам со смесью любопытства и омерзения, вновь повторив свое «Фу!».

Пока дядя читал объявление, лицо его, сначала побледневшее, сделалось иссиня-серым, как свинец. Подняв глаза от газеты, он несколько секунд изучал молодую особу, которая, казалось, была немного испугана его странным видом.

— А вы, я полагаю, молодая леди, Сара Матильда, née<sup>[77]</sup> Манглз, упомянутая в сей заметке? — поинтересовался он тоном, который можно было бы счесть презрительным, если бы не явственная дрожь в голосе.

Сара Матильда подтвердила.

— Мой сын, смею сказать, в пределах досягаемости. Так случилось, что я известил его, чтобы он отсрочил свою поездку, и вызвал сюда несколько дней спустя после... несколько дней спустя после... несколько дней спустя... — повторял он, как это делает человек, чей ум сосредоточен на предмете, не имеющем касательства к разговору.

Он позвонил, и тут же вошла старуха Уайт, всегда бывшая поблизости от дядиных покоев.

— Я немедленно хочу видеть сына. Если его нет в доме, пошлите Гарри на конюшню. Если нет и там, догнать... догнать! Брайс — человек расторопный и знает, где его найти. Если уехал в Фелтрам или дальше, пусть Брайс возьмет лошадь, и на обратном пути господин Дадли воспользуется ею. Он должен быть здесь как можно быстрее.

В последовавшие четверть часа дядя Сайлас, вспоминая о присутствии молодой особы, обращался к ней с такой изысканной учтивостью, с такой церемонностью, что привел ее в некоторое замешательство, даже смущение и, разумеется, предупредил новый взрыв жалоб и обвинений, отголоски которых донеслись до него с лестницы.

Но в основном он молчал, казалось, он забыл о нас, о своем журнале, обо всем, что его окружало; он сидел в углу дивана, привалившись к подушкам и уперев подбородок в грудь, а его черты так заострились, лицо так страшно потемнело, что я старалась не смотреть на него.

Наконец мы услышали звук тяжелых башмаков Дадли на дубовом настиле площадки и его приглушенный голос — когда он выпрашивал старуху Уайт, прежде чем войти на аудиенцию.

Наверное, он предполагал увидеть другое лицо — совсем не эту молодую особу, которая встала с кресла при его появлении и, залившись слезами, вскричала:

— О Дадли, Дадли! О Дадли, и ты сможешь?.. С твоей бедной Сэл?.. Ты не сможешь... ты не поступишь так с законной твоей женой!..

Такие и многие другие слова — а по щекам ее струились ручьи, как по оконным стеклам в ливень, — говорила Сара Матильда со всем доступным ей красноречием, двигая вверх-вниз, будто ручкой насоса, рукой Дадли, за которую она крепко ухватилась. Но Дадли, явно сбитый с толку, онемел. Долго стоял он, таращась на отца, и только один робкий взгляд украдкой бросил на меня. Весь красный, он опустил глаза на свои башмаки, потом вновь взглянул на отца, остававшегося в прежней позе, с тем же грозным и мрачным выражением на донельзя напряженном лице.

Внезапно Дадли, подобно человеку, разбуженному шумом, встряхнулся и, едва сдерживая ярость, с невнятным ругательством оттолкнул женщину, которая от неожиданности весьма неуклюже упала в кресло.

— Судя по вашему виду и действиям, сэръ, я предвижу ваш ответ, — проговорил дядя, вдруг обратившись к нему. — Эта... Прошу вас, мадам, — перебил он себя, — владейте собой... Эта, — продолжил он, обращаясь к Дадли, — молодая особа — дочь мистера Манглза, и ее имя Сара Матильда?

— Так, так... — торопливо подтвердил Дадли.

— Она вам жена?

— Мне — жена? — переспросил в замешательстве Дадли.

— Именно, сэръ. Вопрос простой.

Все это время Сара Матильда порывалась вмешаться в разговор, не без

труда удерживаемая дядей.

— Ну, она, может, говорит, что жена. Говорит? — ответил вопросом Дадли.

— Она жена вам, сэр?

— Она, верно, думает, что так — некоторым образом, — развязно сказал он, усаживаясь в кресло.

— Что *вы* думаете, сэр? — настаивал дядя Сайлас.

— А я про это не думаю, — угрюмо ответил Дадли.

— Это сообщение — правда? — Дядя передал ему газету.

— Ну, они-то хотят, чтоб мы так считали.

— Отвечайте прямо, сэр. У нас имеются свои соображения. Если это правда, *найдутся* доказательства. Я спрашиваю вас, потому что берегу время. Сэр, бессмысленно уклоняться от прямого ответа.

— А кто говорит «нет»? *Правда!* Вот вам!

— *Вот вам!* Я знала, знала, он скажет!.. — вскричала молодая женщина, от радости залившись истерическим смехом.

— Погоди-ка! — грубо бросил ей Дадли.

— О Дадли, Дадли, дорогой! Что же я сделала?

— Опутала и погубила меня — только и всего.

— Нет, нет, о нет, Дадли! Ты же знаешь, я не... я не смогу... *не смогу* сделать больно тебе, о Дадли! Нет, нет, нет, нет!

Он ухмыльнулся, глядя на нее, резко дернул головой и сказал:

— Погоди.

— О Дадли, дорогой, не сердись. Я не хотела... Я не сделаю тебе больно ни за что на свете!

— Ну чего теперь... Ты и твои... сыграли вы со мной шуточку. Теперь ты меня получила — только и всего.

Дядя рассмеялся странным смехом.

— Я знал конечно же, что все так. И поверьте, мадам, вы и он — прекрасная пара. — Дядя Сайлас презрительно улыбнулся.

Дадли хранил молчание, но неописуемо помрачнел.

И этот низкий человек, этот негодяй, имея бедную молодую жену, с ним недавно обвенчанную, домогался брака со мной!

Я убеждена, что дядя, как и я, не знал о женитьбе Дадли и не был причастен к этой ужасной низости.

— Должен поздравить вас, мой друг, с тем, что вы добились любви весьма подходящей нашей семье и не обремененной воспитанием молодой особы.

— А я не первый из нашей семьи такой ловкий! — парировал Дадли.

От его колкости старик на мгновение утратил власть над собой и поддался гневу. Дрожа с головы до ног, он поспешно встал. Никогда не видела такого лица — только у химер, глядящих на вас в боковых приделах готического собора, эти безобразные лики, эти страшные гримасы... обезьяньи, лишенные разума. Тонкой рукой он схватил свою трость черного дерева и, немощный, потряс ею в воздухе.

— Только тронь этой штукой — ударю, раздолбай тебя! — в ярости взревел Дадли, вскинув руки и выставив плечо (эта его поза живо напомнила мне эпизод драки с капитаном Оукли).

На миг передо мной возникла та картина, и я закричала, объятая ужасом. Но старик, переживший на своем веку немало стычек, когда мужчины маскируют ожесточение спокойным тоном и прячут ярость за улыбками, не совсем потерял самообладание. Обернувшись ко мне, он произнес:

— Разве он понимает, что говорит? — И с ледяным смехом презрения дядя опустил на диван, все еще дрожа, а его высокий точеный лоб пылал от едва сдерживаемого гнева.

— Скажите, что там хотите сказать, я послушаю. Отчитывайте, сколько вам нравится, уж это стерплю.

— О, мне позволено говорить? Благодарю, — насмешливо отозвался дядя Сайлас, быстро взглянул на меня и холодно рассмеялся.

— Огрызайтесь, ладно... Но не вздумайте делать сами знаете что. Удара я не стерплю... *ни от кого* не стерплю.

— Хорошо, сэр, воспользуюсь вашим позволением говорить и замечу — да не будет задета молодая особа, — что, увы, не могу припомнить среди родовитых фамилий Англии фамилию Манглз. Предполагаю, вы были пленены главным образом добродетелями и грацией вашей избранницы.

Миссис Сара Матильда, не вполне уразумевшая смысл дядиных похвал, ответила, несмотря на свое крайнее волнение, реверансом, вытерла глаза, улыбнулась и проговорила:

— Вы очень добры, точно.

— Надеюсь, у нее есть какие-то деньги. Не представляю, как иначе вы будете жить, — продолжал дядя. — Вы слишком ленивы — из вас не получится егеря; пивную держать тоже не сможете, ведь вы большой любитель горячительных напитков и ссор. Но я твердо знаю одно: вам и вашей жене необходимо подыскать себе кров. Вы уедете сегодня же вечером. А теперь, мистер и миссис Дадли Руфин, покиньте сию комнату, будьте любезны. — Дядя Сайлас поднялся, отвесил им свой церемонный

поклон и с ледяной улыбкой указал на дверь дрожащей рукой.

— Пойдем, слышала? — Дадли заскрежетал зубами. — Наделала ты тут дел.

Не понимая происходящего и наполовину, ужасно смущенная, молодая женщина присела в прощальном реверансе у двери.

— *Поторапливайся!* — прорычал Дадли, так что она подскочила на месте. Не оглядываясь, он шагнул за ней из комнаты.

— Мод, как я переживу это? *Негодяй... глупец!* К какой же бездне мы подступили! Последняя моя надежда потеряна. Окончательная... окончательная и безвозвратная гибель! — С рассеянным видом он водил дрожащими пальцами по каминной доске, будто искал что-то осязательно, но ничего не находил.

— Мне бы хотелось, дядя, — вы не представляете, как хотелось бы, — вам помочь. Как я могу это сделать?

Он обернулся и посмотрел на меня пронизывающим взглядом.

— Как вы можете это сделать, — медленно повторил он за мной. — Как можете это сделать, — оживляясь, произнес он еще раз. — Посмотрим... посмотрим, подумаем. Этот никчемный глупец! О, моя голова!

— Вам плохо, дядя?

— Нет, нет. Поговорим вечером. Я пошлю за вами.

В соседней комнате я увидела Уайт и велела ей поторопиться к дяде, потому что решила, что он опять во власти недуга. Боюсь, вы осудите меня за эгоизм, но я так страшилась увидеть еще один приступ его странной болезни, что опрометью кинулась из комнаты. Помимо прочего, я боялась, как бы меня не попросили остаться.

Стены бартрамского дома внушительны, поэтому ниша дверного проема глубока. Закрывая дверь дядиной комнаты, я услышала голос Дадли на лестнице. Не желая быть замеченной ни «леди», как называла себя его бедная жена, ни ужасным кузеном, в этот момент яростно пререкавшимся с ней, но еще меньше желая возвращаться в только что покинутую мною комнату, я осталась в укрытии дверной ниши и невольно подслушала их диалог.

— Ступай, откуда явилась. Я с тобой не пойду, не рассчитывай. Черт побери, ну и наглая выходка!

— О Дадли, дорогой, *что* я сделала... *что* я сделала, что ты меня так возненавидел?

— Что сделала? Ты, вредная мелкая тварь, ты оставила нас без наследства из-за своей долбаной болтовни — только и всего. По-твоему,

мало?

До меня донеслись лишь ее всхлипывания, ответных слов я не расслышала, ведь говорившие спускались по лестнице. Потрясенная Мэри Куинс потом сообщила, что он швырнул ее в поджидавшую у двери пролетку, будто охапку сена на сеновал. И стоял, сунув голову в окошко, и ругал ее, пока экипаж не тронулся.

— Ясное дело, отчитывал ее, бедняжку, — уж так мотал головой! И кулаки в окошко сунул — тряс кулаками у нее перед лицом. Такой застрашает кого угодно. А она, бедняжка, как дитя малое, ревела да все оглядывалась, все махала ему платочком, мокрым от слез. И такая молоденькая! Жалко-то ее. Боже мой! Я часто говорю себе, мисс: как хорошо, что я замужем не бывала. Только подумать, что нам такие мужья достанутся! В ладу живут пары — раз-два, и обчелся. Свет так странно устроен, мисс... может, в конце концов, одинокие счастливее всех.

## Глава XVII

### Волк

В тот вечер я спустилась в гостиную, в которой мы с Милли обычно проводили время, чтобы взять книгу, — в сопровождении никогда не покидавшей меня доброй Мэри Куинс. Дверь была приоткрыта, я удивилась свету свечи со стороны, где находился камин, а также крепкому запаху табака и бренди.

На моем маленьком рабочем столике, пододвинутом к камину, лежали трубка Дадли и его фляга, стоял пустой стакан. А сам он сидел и плакал — поставив ногу на каминную решетку, локтем упираясь в колено и склонившись головой на руку. Сидя почти спиной к двери, он не заметил нашего появления, и мы видели, как он тер кулаками глаза, слышали его жалобы на судьбу.

Мы с Мэри тихонько двинулись прочь, оставив нашу гостиную в распоряжении Дадли и гадая, когда же он покинет дом, — согласно приговору, прозвучавшему в тот день в моем присутствии.

Я обрадовалась, увидев, что старый Жужель неторопливо увязывает его багаж в холле; дворецкий шепнул мне, что Дадли уезжает нынче вечером, но куда, дворецкий не знал.

Примерно через полчаса Мэри Куинс, ходившая на разведку, узнала от старухи Уайт, что Дадли только что отправился на железную дорогу — к поезду.

Благодарение Богу, избавились! Злой дух был изгнан, и теперь дом представлялся мне светлее, веселее. Только сидя в тиши своей комнаты и вспоминая, то с ужасом, то с благодарственной молитвой, лица и сцены в том порядке, в каком их явил мне полный волнений день, я поняла... я оценила всю необычайность своего спасения и величину угрожавшей мне опасности. Слабость, жалкая моя слабость! Я была юной, нервической девушкой, слишком тревожимой нравственным чувством, и оно порою влекло меня за пределы разума, в мелочах и в обстоятельствах крайней важности диктовало жертвенность, что — теперь я это понимаю — абсурдно. Дадли наводил на меня ужас, и, однако, не прекратись его преследования, продолжайся это чудовищное давление, когда от меня, в прямом смысле слова, требовали сострадания и возлагали на хрупкую девушку роль вершителя судьбы ее престарелого, мучимого отчаянием, одержимого мечтой дяди, я — кто знает? — не устояла бы и принесла бы

себя в жертву! Так в прежние времена преступников издевательствами, неусыпным надзором, перекрестными допросами, не прекращающимися год за годом, обращали в безумцев; измученные неопределенностью, чудовищной тюремной рутинной, постоянным старанием не утратить выдержку, истомленные и истощенные, они в конце концов брали на себя вину и шли, с чувством невыразимого облегчения, на эшафот. Вы, вероятно, догадываетесь, что нервическая, робкая и оказавшаяся едва ли не в полном одиночестве, я была непередаваемо утешена, узнав, что Дадли связан узами брака, а значит, я навсегда избавлена от его домогательств.

В тот вечер я виделась с дядей. Я жалела его, но и боялась. Я жаждала выразить свое страстное желание помочь ему — только бы он указал способ. Прежде я предлагала помощь — теперь я ее почти навязывала. Он просиял, он выпрямился в своем кресле, и взгляд его, уже не тусклый и бессмысленный, но твердый и изучающий, был прикован ко мне, пока я говорила, а его лоб хмурился от какой-то тайной мысли или от каких-то расчетов.

Признаюсь, я говорила сбивчиво. Я всегда волновалась в его присутствии; мне думается, было что-то месмерическое в том странном воздействии, которое он без труда оказывал на мой ум и воображение.

Иногда меня охватывал безотчетный страх, и дядя Сайлас, утонченный и кроткий, непонятно почему ужасал. Электробиология? Нет, поразительные открытия в этой области не все могли объяснить. Его природа оставалась для меня непостижимой. Не было в нем того благородства, той живости, той мягкости, того легкомыслия человеческой природы, какие я знала в себе и в других людях. Я инстинктивно понимала, что взывать к нему за сочувствием так же бессмысленно, как к мраморной статуе. Казалось, он подделывался под собеседника, точно так же, как духи, принимающие облик смертных. Что касается убажания тела, он был гурман, но здесь и кончалась его человеческая природа, как мне иногда думалось. Сквозь полупрозрачную оболочку я время от времени различала свет, или свечение, его сокровенной жизни. Но осмыслить его суть не могла.

Он никогда не насмехался над чем-либо достойным, благородным — самый суровый критик не уличил бы в этом дядю Сайласа, — и, однако, мне почему-то думалось, что его непостижимая натура непрерывно восставала против Бога. Если он был злым демоном, то превосходил болтливую и к тому же безвольную Мефистофеля Гёте. Приняв человеческий облик и пряча свое истинное естество, он был крайне скрытным Мефистофелем. Добрый, почти всегда ласковый со мной, дядя, с

его сладким голосом, заставлял меня вспоминать о духах пустыни, которые, по распространенным в Азии поверьям, являются, исполненные дружелюбия, людям, отставшим от каравана, манят их за собой, называя по имени, и уводят туда, откуда нет пути назад. Не являлась ли его доброта только фосфорическим светом, прятавшим нечто холоднее и страшнее могилы?

— В вас столько благородства, Мод... столько ангельского сострадания к погубленному и отчаявшемуся старику. Но боюсь, вы отступите от своих слов. Скажу вам прямо: двадцать тысяч фунтов, не меньше, позволили бы мне выбраться из затруднительного положения, в котором я оказался.

— Отступлю? Ни в коем случае. Я готова помочь вам. Должен же быть какой-то выход...

— Довольно, моя благородная юная покровительница... посланница небес, довольно. Пусть не вы — я отступаю. Я не в силах принять такую жертву. Что теперь спасет меня? Я, несчастный, повержен с пятьюдесятью смертельными ранами на темени. Что пользы врачевать одну рану, если столь многие ничем не исцелить? Лучше оставьте меня погибать там, где я упал, и сохраните ваши деньги для более достойных, кого еще возможно спасти.

— Но я хочу помочь! Я должна... Я не могу смотреть на ваши муки, имея в руках средства помочь вам! — воскликнула я.

— Довольно, дорогая Мод! Ваша благая воля очевидна, и этого довольно. В вашем сострадании и благожелательности — бальзам для моей души. Оставьте меня, мой ангел-хранитель, сейчас я не в силах принять вашу помощь. Но если *хотите*... поговорим об этом после. Покойной ночи!

И мы расстались.

Как я впоследствии узнала, поверенный из Фелтрама просидел с ним почти всю ночь, и они, соединив усилия, искали законный способ получить от меня деньги. Но такого способа не было. Я не могла нести никаких обязательств.

Я же, ни о чем не ведая, лелеяла надежду помочь дяде. Что значила для меня немалая, казалось бы, сумма в двадцать тысяч фунтов? На самом деле не значила ничего. Я выделила бы ее, нисколько не ущемив себя.

Я взяла в руки большую книгу с цветными иллюстрациями, привезенную, в числе немногих, из милого Ноула. Слишком взволнованная, чтобы заснуть, я открыла книгу и стала переворачивать страницы, по-прежнему думая о дяде Сайласе и о сумме, которой надеялась помочь ему.

Не знаю почему, но один из этих цветных оттисков задержал мое

внимание. На нем была изображена мрачная лесная чаща; девушка (швейцарка, судя по костюму) в ужасе спасалась бегством, бросив из висевшей на ее руке корзинки для провизии кусок мяса. Девушку преследовала стая волков.

В книге рассказывалось, что за девушкой, которая возвращалась с базара домой, погнались волки и она едва спаслась: она бежала от них так быстро, как только могла, и на какое-то время задерживала следовавшую за нею по пятам стаю, бросая раз за разом то, что несла в корзинке, а голодные хищники дрались за каждый кусок и тем самым давали ей возможность бежать дальше.

Эта картина захватила мое воображение. Я рассматривала ее с необычайным любопытством: рослые деревья с могучими переплетенными ветвями и ужасные тени вокруг крепких стволов — этот нарисованный лес чем-то напоминал мне ту часть Уиндмиллского леса, куда Милли так часто водила меня. Потом я смотрела на фигурку бегущей изо всех сил девушки, которая оглядывалась через плечо. Потом — не могла оторвать взгляд от оскалившейся кровожадной стаи и ее старого вожака. А потом откинулась на спинку кресла и вспомнила (возможно, мои необъяснимые ассоциации на что-то опирались) о прекрасной копии ван-дейковского «Велизария»<sup>[34]</sup> у меня в папке. Я рассеянно водила карандашом по конверту, лежавшему на столике, но сделанная мною надпись, как ни странно, имела глубокий смысл. Вот она: «20 тысяч фунтов. Date Obolum Belisario!»<sup>[78]</sup>. Мой дорогой отец когда-то перевел мне латинскую строчку, и я записала ее, просто восстанавливая в памяти... а возможно, на бумагу излилось переполнявшее меня сострадание к дядиной несчастной судьбе. Я кинула эту престранную памятную записочку в раскрытую книгу, и бегущая девушка, преследователи, спасительная жертва им — все детали жуткой картины вновь оказались у меня перед глазами. И тогда я услышала шедший, казалось, из-под каменной плиты очага напряженный шепот: «Беги клыков Велизариевых!»

— Что это? — спросила я, резко повернувшись к Мэри Куинс.

Мэри, сидевшая возле камина, оставила свою работу и встала. Она глядела на меня и хмурилась, как обычно, когда поддавалась страху.

— Это вы говорили? Вы? — допытывалась я, схватив ее за руку. Я и сама очень испугалась.

— Нет, мисс, нет, дорогая! — ответила она, явно думая, что я повредила в уме.

Несомненно, со мной сыграло шутку мое воображение, и, однако, я по

сей час уверена, что среди тысячи узнала бы тот суровый голос, раздайся он вновь.

Измученная почти бессонной ночью, утром я была призвана к дяде.

Он оказал мне *странный* прием. Отношение его ко мне переменилось, что меня неприятно поразило. Он оставался ласков, добр, улыбчив и кроток, как обычно, но с того утра я всегда чувствовала какое-то его безотчетное предубеждение против меня. Сон, внутренний голос, ниспосланное видение — что повлекло к перемене? Казалось, я вызывала в нем неосознанную враждебность и страх. Когда он думал, что я отвлекалась, то принимался мрачно изучать меня. Но стоило мне обратить на него взгляд, как он опускал глаза в книгу и начинал говорить, будто вслух читая из книги, — так решил бы человек, не вникающий в смысл его слов.

В его переменившемся ко мне отношении указать было не на что — кроме этого нежелания встречаться со мной глазами. Как я уже сказала, он оставался по-прежнему добр. Пожалуй, сделался даже добрее. Но тем не менее появилось что-то, что разводило нас в стороны... Неприязнь? Нет. Он знал, что я жаждала послужить ему. Быть может, то был стыд? Или страх перед чем-то?..

— Я не спал, — сказал он. — Я всю ночь думал, и вот плод моих раздумий: я *не могу*, Мод, принять ваше благородное предложение.

— Как мне *жаль!* — воскликнула я совершенно искренне.

— Я знаю, моя дорогая племянница, и ценю вашу доброту. Но есть много причин — ни одной, уверяю вас, постыдной, — которые делают сие невозможным. Сие было бы неправильно понято, а моя честь не должна пострадать.

— Сэр, все не так, и не вы заговорили об этом. От начала и до конца это было бы *моим* деянием.

— Верно, дорогая Мод, но злокозненный, склонный к клевете свет я знаю более, чем вы по счастливой вашей неопытности. Кто прислушается к нашим свидетельствам? Никто... ни один человек. Есть препятствие, неодолимое моральное препятствие: в глазах света я предстану виновным в вымогательстве и, что еще тяжелее, не буду чувствовать себя полностью невиновным. Да, здесь ваша добрая воля, Мод. Но вы юная, неопытная, и мой долг — удержать вас от всяких попыток прикоснуться к вашей собственности в столь незрелые годы. Кто-то назовет сие донкихотством. Я буду говорить о велении совести и буду твердо следовать ему, хотя и трех недель не пройдет, как в этом доме появятся люди с исполнительным листом.

Я не совсем отчетливо себе представляла, что такое исполнительный лист, но из двух романов, наводивших на меня ужас (описанные бедствия потрясли меня и не забылись), я знала, что с ним связаны оправданные законом муки и грабительство.

— О дядя! Сэр! Вы не можете этого допустить. Что скажут обо мне? И... и ведь есть бедняжка Милли... есть *все остальное!* Подумайте, что будет!

— Здесь ничем нельзя помочь, *вы* не в силах помочь, Мод. Выслушайте меня. Не могу назвать точной даты, когда в этот дом принесут исполнительный лист, но, думаю, сие случится недели через две. Я должен позаботиться о вашем спокойствии. Вам следует уехать. Я все устроил, и вы на какое-то время присоединитесь к Милли во Франции — пока я буду справляться с трудностями. Вам, наверное, лучше уведомить вашу кузину, леди Ноуллз. При всех ее странностях, она человек сердечный. Возможно, вы упомянете, Мод, что я проявил к вам доброту...

— Одну... одну доброту вы проявляли ко мне! — воскликнула я.

— ...что принес себя в жертву, когда вы сделали великодушное предложение, — продолжал он, — что теперь хочу избавить вас от страданий. Можете написать — я не диктую вам, но имейте в виду, — что я всерьез думаю отказаться от обязанностей опекуна и чувствую, что был несправедлив к ней, что, как только мой несчастный ум немного прояснится, я предприму шаги к примирению, держась мысли передать заботу о вас и о вашем образовании *ей*. Можете написать, что я более не стремлюсь даже к восстановлению своего доброго имени. Мой сын погубил себя браком. Я забыл сказать вам, что он в Фелтраме и сегодня утром прислал записку, умоляя о встрече перед разлукой. Если я дам согласие, встреча будет последней. Я никогда больше не увижусь с ним и не стану поддерживать переписку. — Старик, казалось, очень разволновался и приложил носовой платок к глазам. — Он и его жена собираются эмигрировать, и чем скорее они уедут, тем лучше, — с горечью произнес дядя. — Откроюсь вам, Мод, я сожалею о том, что даже мгновение терпел его попытки добиться вашей благосклонности. Поразмысли я обо всем — как прошедшей ночью, — я бы сего не дозволил ни при каких обстоятельствах. Но я столь долго живу, будто монах в келье, удовлетворяя голод тела и души в пределах этой скромной комнаты, что знание света постепенно покидает меня — вслед за моей юностью и надеждами. Я не учел, как должен был, многих препятствий. Дорогая Мод, только об этом единственном предмете, умоляю, молчите: обсуждать его теперь бесполезно. Я заблуждался и прошу вас — забудьте мою ошибку.

Я порывалась написать леди Ноуллз об этом ужасном «предмете», но, к счастью, он оказался исчерпанным благодаря произошедшему накануне разоблачению, и поэтому я охотно согласилась с дядиной просьбой. Дядя в стольком уступал, что я не могла отказать ему в незначительной ответной уступке.

— Надеюсь, Моника будет, как и прежде, добра к бедной Милли, когда меня не станет. — На несколько секунд его отвлекла какая-то мысль. — Мод, я думаю, вы не откажетесь упомянуть в письме к леди Ноуллз обо всем, мною только что сказанном, и, быть может, позвольте прочесть ваше письмо. Таким образом мы предупредим какое-либо искажение моих слов. Вы не забудете написать, Мод, что я проявлял к вам доброту? Мне будет отрадно узнать, что Монике известно: я никогда не изводил, никогда не запугивал мою юную подопечную.

На том он отпустил меня, а я немедленно написала письмо, постаравшись нисколько не отступать от дядиных слов, и, будучи очень признательной дяде Сайласу, со свойственной мне пылкостью оценила доброту его сердца и благожелательность. Когда я представила написанное на его суд, дядя пришел в восхищение от моего, как он изволил выразиться, умения следовать его пожеланиям и поблагодарил за красивые строки, посвященные мною старому опекуну.

## Глава XVIII

### Странное предложение

В тот же день, вернувшись с прогулки в сопровождении Мэри Куинс и войдя в холл, я, к моей большой досаде, заметила у лестницы Дадли. Он был, очевидно, в дорожном костюме — довольно грязное белое пальто, широкий цветной шарф, обмотанный вокруг шеи, цилиндр на голове и... меховая шапка, торчавшая из кармана пальто. Он, вероятно, только что спустился из дядиной комнаты. Увидев меня, он отступил назад и прижался к стене — в позе мумии из музея.

Я сделала вид, что мне надо сказать несколько слов Мэри именно в холле: я надеялась, что он, казалось, желавший избежать встречи со мной, воспользуется возможностью и быстро исчезнет со сцены.

Но он, очевидно, передумал: когда я вновь бросила взгляд в ту сторону, я увидела, что он приблизился к нам и застыл на месте с цилиндром в руках. Надо признать, выглядел Дадли ужасно подавленным, мрачным и испуганным.

— Мисс, я должен сказать вам одну только вещь... для вашей пользы, черт, для *вашей*...

Дадли стоял на некотором расстоянии и, держа обеими руками свой цилиндр, «с печалью на челе» смотрел на меня.

Мне претила мысль слушать его или говорить с ним, но, не имея решимости отказать, я произнесла:

— Не представляю, что бы вы могли сказать мне. — Я сделала несколько шагов к нему. — Подождите у лестницы, Куинс, — попросила я Мэри.

От покрасневшего лица, от слишком яркого шарфа этого ужасного кузена исходил запах алкоголя, что усиливало омерзительность его облика. К тому же говорил он несколько невнятно. Но его подавленность, его уважительный тон, в каком сквозило смущение, ободрили меня.

— Я вроде осталс-са с носом, мисс, — сказал он, переступая с ноги на ногу. — Повел с-ся долбаным дураком, да я не такого сорту. Я беру прис-с-с и так, чтоб все чес-сь по чес-си было. Я *не* такого сорту, черт подери, не такого...

Дадли произносил свою загадочную речь с долей обиды и странным волнением. Он тоже теперь избегал смотреть мне в глаза — глядел в пол и переводил взгляд из угла в угол, отчего вид у него был крайне виноватый.

Он безжалостно крутил в пальцах один из своих громадных рыжеватых бакенбардов — казалось, что он вот-вот оторвет себе щеку, — а другой рукой мял о колено цилиндр.

— Старикан там, наверху, наполовину рехнулс-са, хотя, сдается мне, не на полном серьезе-с-се говорит, нет. Но я таки попал в переплет... чистое надувательс-сво — вот что это... ни монеты у него не выпросил. Видите, мисс, осталс-са я с носом. А старикан таков, что с ним лучше не связывас-са. Вокруг пальца меня обведет — все равно, что чертов законник... и у него куча моих долговых расписок, всяких там бумажонок. Брайерли пишет, что выдать мне мое наследство никак не может, ему вроде эти крючкотворы Арчер и Слей не велели и шиллинга мне давать, потому что я, дескать, отказалс-са от денежек за-ради Хозяина, а я думаю, все вранье. Может, я и подмахнул чё, когда рас-с-с вечером был подвыпивший. Да только этаких ловушек джентльменам не ставят, не пройдет это. По с-справедливос-си нужно, это *не пройдет*, говорю я... чтоб я у него в руках таким манером оказалс-са. Хотя меня вроде и подловили, оно-то так, да я запросто не сдамс-са. Не такого я сорту. Он узнает — не такого.

В этом месте Мэри Куинс, стоявшая у лестницы, сдержанно кашлянула, напоминая мне, что разговор затянулся.

— Я не совсем понимаю вас, — сказала я, хмурясь, — и я иду наверх.

— Погодите, мисс, еще минутку... еще только одно с-слово... Мы отправляемся в Австралию, Сэри Манглз и я... на «Чайке»... пятого числа. Я сегодня вечером сажусь на поезд — и в Ливерпуль, там она меня дожидаетс-са, и... и, на все Божья воля, вы меня уже никогда не увидите. Но я бы вам, Мод, помог до того, как уеду. Вот что: ежели дадите на бумаге обещание, что заплатите мне те двадцать тысяч фунтов, какие предлагали Хозяину, так я вас ловко выведу из Бартрама и доставлю к вашей кухне... к Ноуллз... или куда пожелаете.

— Вывезете меня из Бартрама... за двадцать тысяч фунтов? Увезете от опекуна? Кажется, вы забываете, сэр, — говорила я с растущим возмущением, — что я вольна навестить мою кухню, леди Ноуллз, когда только захочу.

— Ну, может, и так, — протянул он в мрачном раздумье, носком башмака двигая туда-сюда лежавший на полу обрывок бумаги.

— Это *так*, я говорю вам, сэр. И, памятуя о вашем отношении ко мне — о нечестном, коварном, позорном вашем ухаживании — и о том, что вы жестоко предали вашу бедную жену, я изумляюсь вашему бесстыдству. — Серьезно раздосадованная, я повернулась, чтобы уйти.

— Улепетывает... Стойте! — сказал он резким голосом и грубо

схватил меня за руку. — Я не собирался вас рассердить. Кричит, а своей пользы не видит... Хоть разок бы, как полагаеет-са женщине, разумную речь повела, черт подери, а то все в раж — будто щенок какой. Неужто не понимаете, про что я? Я вызволю вас из всего этого. И будете со своей кузиной или с кем вам там хочется — ежели дадите мне, что я просил.

Только тут он, прищурившись, посмотрел мне в лицо, и вид у него был очень взволнованный.

— Денег? — презрительно бросила я.

— Ага, денег... двадцать тысяч фунтов. Так как — пойдет или нет? — проговорил он каким-то неприятным напряженным голосом.

— Вам нужно от меня обещание, что получите двадцать тысяч фунтов? Нет, не получите! — Я вспыхнула, произнося эти слова, и топнула ногой.

Понимай он, как затронуть мое чувство великодушия, я уверена, что сделала бы — может, не совсем то и... не вдруг, — но сделала бы что-то доброе, чтобы помочь ему. Но это его обращение было таким бесстыдным, дерзким! За кого он меня принимал? Неужели считал, что я поверю, будто он передаст меня под опеку кузины Моники, всего лишь доставив к ней? Он, очевидно, видел во мне сущее дитя. Скудоумие и вместе с тем плутовство, стоявшие за его предложением, были противны моей натуре и задевали мое достоинство.

— Значит, не дадите? — спросил он, вновь глядя в пол, нахмурившись и задвигав губами... всей нижней частью лица, как будто жевал табак.

— Конечно же *нет*, сэр, — ответила я.

— Ну так *берегитесь!* — не поднимал глаз, сказал он, очень раздосадованный и мрачный.

Я присоединилась к Мэри Куинс, ужасно разгневанная. Проходя под резной дубовой аркой вестибюля, я видела в сгущавшихся сумерках его фигуру. Эта картина, в туманном ореоле, хорошо мне запомнилась. Опустив взгляд, он стоял там, где произнес свои последние слова, посередине холла, и у него было лицо проигравшего — а ставка отчаянная! — погасшее, темное лицо. Я не проронила ни звука, поднимаясь по лестнице. У себя в комнате я обдумала состоявшийся разговор. Получалось, что я должна была сразу же согласиться на его безумное предложение и проследовать в догкарте через Фелтрам (а за моей спиной он бы ухмылялся и делал гримасы своим приятелям) к Элверстону, где (воображаю негодование моего дяди), переданная под опеку леди Ноуллз, я, сойдя с экипажа, вручила бы вознице внушительную сумму в двадцать тысяч фунтов! Требовалось бесстыдство Тони Ламкина<sup>[35]</sup> — увь, без его

веселого нрава и сметливости, — чтобы замыслить столь чудовищный розыгрыш.

— Может, выпьете чаю, мисс? — осмелилась вымолвить Мэри Куинс.

— Какая дерзость! — вскричала я и в гневе топнула ногой. — Дорогая моя Куинс, не о вас речь, — добавила я. — Нет, нет, сейчас не надо чаю.

Я вновь погрузилась в раздумья, которые вскоре потекли в таком русле: «Каким бы безрассудным и бесстыдным ни было предложение Дадли, слушая его, я предавала дядю! Если я по слабости промолчу, не поторопится ли ужасный кузен превратно передать наш с ним разговор моему опекуну, чтобы переложить вину на меня?»

Эта мысль настолько захватила меня, что под влиянием минутного порыва я добилась позволения войти к дяде и подробно пересказала случившееся. Когда я закончила повествование, которое дядя слушал, не поднимая глаз, он прокашлялся раз-другой, будто собираясь заговорить. Вскинув брови, он улыбался, как мне показалось, через силу. Затем он глухо пробормотал, должно быть, одно из тех ругательств, которые человек не столь утонченный произнес бы, присвистнув от изумления и презрения, и вновь собрался заговорить, но так и не нарушил молчания. Похоже, он был в крайнем замешательстве. Он встал и, шаркая ногами в комнатных туфлях, принялся ходить взад-вперед; он что-то искал: выдвинул и задвинул два-три ящика стола, перелистал какие-то книги, пересмотрел бумаги, но вот он поднял несколько нескрепленных листков, исписанных от руки, с видом некоторого облегчения — казалось, он нашел, что искал. Он принялся рассеянно читать их, повернувшись ко мне спиной, еще раз прочистил горло и наконец произнес:

— Что же, скажите на милость, было у глупца в мыслях?

— Он, должно быть, считает меня совсем слабоумной, сэр, — ответила я.

— Весьма возможно. Он всю жизнь провел на конюшне среди лошадей и конюхов, я всегда видел в нем некоего кентавра — соединение, уточню, не человека с конем, но обезьяны с ослом. — Дядя рассмеялся над своей шуткой, но не тем холодным, саркастическим смехом, который был характерен для него, скорее это был смех, прятанный волнение. Все так же стоя ко мне спиной и глядя в бумаги, дядя сказал: — Значит, он не удостоил вас объяснением мотива своих действий, который — оставляя в стороне названную вами скромную сумму желаемого им вознаграждения — представляется мне слишком загадочным и требующим родственного вдохновения, чтобы быть истолкованным. — Он вновь рассмеялся. Он уже больше напоминал привычного мне дядю Сайласа. — Что касается вашей

поездки к леди Ноуллз, неудачливый мошенник всего пятью минутами ранее слышал, как я выразил желание, чтобы вы навестили ее до того, как покинете Бартрам. И я решительно настроен способствовать вашей поездке, если только, дорогая Мод, вы сами не возражаете. Однако нам следует подождать приглашения, которое, я думаю, не задержится. Ваше письмо, естественно, поведет к приглашению и, верю, откроет перед вами возможность постоянного проживания у леди Ноуллз. Чем больше я размышляю, тем больше убеждаюсь, дорогая племянница, что при сложившихся обстоятельствах под моим кровом уже не может быть желанного приюта для вас, но у леди Ноуллз вы его обретете. Таково было мое намерение, Мод, — посредством вашего письма приблизить примирение между нами.

Я чувствовала, что должна бы припасть к его руке — он обозначил именно то будущее, которого я больше всего желала, и, однако, во мне шевелилось что-то сродни подозрению... тревоге, леденившей и омрачавшей душу.

— Но, Мод, — проговорил он, — я обеспокоен, зная, что эта глупая обезьяна осмелилась сделать вам подобное предложение! Воистину умиротворяющая сцена — в темноте прибыть в Элверстон, в сопровождении безрассудного молодого человека, с которым вы убежали бы из-под моей опеки! И еще, Мод, — я с дрожью задаю себе вопрос: повез бы он вас вообще в Элверстон? Если бы вы прожили на свете столько, сколько я, вы судили бы о людях с большей трезвостью и ясно видели бы их порочность. — Дядя немного помолчал, а потом продолжил, хотя прекрасно понимал по моему виду, как я была испугана: — Да, моя дорогая, верь он в законную силу брака с той молодой женщиной, он конечно же никогда бы не замыслил подобного. Но он не верит. Вопреки фактам и логике он считает, что волен предлагать свою руку. Я полагаю, он использовал бы поездку, чтобы внушить и вам такой взгляд на вещи... Впрочем, я радуюсь, что вас уже никогда ни единым словом не потревожит сей молодой человек сомнительных правил. Я распрощался с ним нынешним вечером — он больше не ступит в пределы Бартрама-Хо, пока мы с вами живы.

Дядя Сайлас вернул на место бумаги, так его занимавшие, и вновь подошел ко мне. На его виске, на краю бледного высокого лба, виднелась вена, в моменты волнения отчетливо выступавшая голубым узлом; когда он подошел, криво улыбаясь, я заметила этот знак его душевного смятения.

— Однако мы можем позволить себе презирать царящие в свете глупость и ложь, пока действуем, как до сей поры, с полным доверием друг

к другу, Мод. Да хранят вас Небеса, дорогая моя, ваш рассказ взволновал меня, наверное, больше, чем должен бы... крайне взволновал; но размышления убеждают, что я зря беспокоился. Он уехал. Через несколько дней он будет в море. Завтра утром я сообщу свое распоряжение, и во время оставшегося короткого пребывания в Англии его уже не допустят в Бартрам-Хо. Покойной ночи, моя славная племянница, я благодарю вас.

И я вернулась к Мэри Куинс. Я была настроена радостнее, чем тогда, когда покидала ее, но все же неотчетливое, не поддававшееся толкованию видение постоянно являлось перед моим мысленным взором и время от времени темная тревога будоражила меня. Я искала облегчение, обращаясь к Единственно Мудрому и Всемогущему.

Следующий день принес мне сердечное и обстоятельное письмо от дорогой Милли, написанное «общеобразовательным» французским, понять который местами было очень трудно. Она хвалила школу, сообщала свое мнение о девушках-пансионерках и упоминала о некоторых монахинях едва ли не с благоговением. Язык явно стеснял бедняжку Милли, переполненную чувствами, но, хотя откровенное письмо на английском сказало бы мне больше, не приходилось сомневаться, что ей нравилось на новом месте, а своему искреннему желанию увидеться со мной она нашла самые нежные слова.

Это письмо было вложено в послание настоятельницы монастыря, предназначавшееся дяде, а поскольку Милли не упоминала адрес и отсутствовали марки, я оставалась в неведении относительно местонахождения моей кузины.

На конверте с письмом Милли дядя написал карандашом: «Передайте мне ваш запечатанный ответ, и я перешлю его. С. Р.»

Когда, несколько дней спустя, я вручала ответ дяде, он объяснился:

— Я полагал, дорогая Мод, что лучше не терзать вас тайнами, а настоящее местонахождение Милли *именно* тайна. Через несколько недель оно станет пунктом, где сойдутся наши, порознь проделанные маршруты, — вы встретитесь там с Милли, а я присоединюсь к вам обеим. Никто — пока не пронесется буря — не должен знать, где можно меня найти, никто, кроме моего поверенного. И я думаю, вы предпочтете неведение беспокойству, связанному с необходимостью хранить тайну, от которой столь многое зависит.

Сочтя его соображения разумными и оценив его предусмотрительность, я не возразила.

В те же дни я получила очаровательное, веселое, сердечное — и очень *длинное*, хотя всего за семь миль написанное, — письмо от дорогой кузины

Моники, где я нашла много приятных вестей, радужных планов кухни и где она выражала самый искренний интерес к Милли и самую нежную любовь ко мне.

И еще одним событием ознаменовались те дни — даже более приятным, если такое возможно, в сравнении с перечисленными. Это было объявление в ливерпульской газете об отплытии «Чайки» в Мельбурн, а среди пассажиров судна назывались Дадли Руфин, эсквайр из Бартрама-Хо, и миссис Д. Руфин.

Тогда я вздохнула свободно: я уже ясно видела близкий конец выпавшего мне испытания. Короткая поездка во Францию, счастливая встреча с Милли, а потом — полная удовольствий жизнь у кухни Моники до моего совершеннолетия.

Вы, очевидно, решите, что ко мне вернулась прежняя моя безмятежность и я совсем исцелилась от душевных тревог. Нет, не совсем. Неизбывны волнения, невидимыми, будто паутина, слоями пребывающие одно над другим! Снимите самый верхний, давний слой — тревогу тревог, единственную, кажется, преграду, заслоняющую вашу душу от сияния небес, — и вы сразу же найдете новый слой. Как физическая наука говорит нам, что нет текучей среды без ограничивающей ее оболочки, так, вероятно, и с тончайшей «средой» души: эти следующие один за другим слои тревоги образуются на ее кромке всего лишь от соприкосновения с атмосферой и светом.

Какой же была новая беда? До невероятности фантастической, сочтут читатели; Это было подобие самоистязания. Меня стало преследовать лицо дяди Сайласа — несмотря на улыбку, старческую и бледную, — исполненное мрачности, заставлявшей меня сжиматься от ужаса. Стал преследовать его всегда отведенный взгляд.

Иногда я воображала, что он повредился в уме. Иначе я не могла объяснить зловещие отблески и тени, мелькавшие на его лице. В его взгляде был стыд и испытываемый передо мною страх, тем более изумлявший, что соседствовал с его вымученной улыбкой.

Я думала: «Возможно, он винит себя за то, что мне пришлось терпеть ухаживания Дадли, за то, что потворствовал ему по причине собственного отчаянного положения, за то, что, уступив корыстным соображениям, унизил себя и свою роль опекуна; дядя опасается, что он утратил мое уважение».

Таковы были мои рассуждения, но *coup-d'œil*<sup>[79]</sup> белого лица, ослеплявшего меня во тьме, проникавшего с тающим светом в мои дневные грезы, казалось, таил в себе что-то неуловимо коварное и ужасное.

## Глава XIX

### *В поисках скелета мистера Чарка*

Как бы то ни было, я испытывала невыразимое облегчение. Дадли Руфин, эсквайр, и миссис Д. Руфин скользили по голубым волнам на крыльях «Чайки», и с каждым утром расстояние между нами увеличивалось и должно было расти, пока его не ограничил бы некий пункт в противоположном полушарии. Ливерпульская газета с той драгоценной строкой бережно хранилась в моей комнате, и подобно джентльмену, который, будучи более не в силах вынести ворчание наследницы, своей законной жены, запирается в кабинете, чтобы перечитать брачный договор, я, преследуемая унынием, обычно разворачивала свою газету и изучала сообщение об отплытии «Чайки».

День, о котором я собираюсь рассказать, был темным из-за нескончаемого снега пополам с дождем. Моя комната казалась мне веселее пустой гостиной, где Мэри Куинс чувствовала бы себя несколько стесненно.

Яркий огонь в камине, доброе и преданное лицо Мэри, краткий взгляд на излюбленное объявление в газете, уверенность, что скоро увижу дорогую кузину Монику, а потом верную подругу, Милли, — все это придало мне душевных сил, и у меня поднялось настроение.

— Значит, — сказала я, — поскольку старая Уайт, по вашим, Мэри, словам, слегла с ревматизмом и не пойдет за мной, не будет браниться, я, наверное, побегу скорее на верхний этаж, проведу расследование и отыщу в чулане скелет бедного мистера Чарка.

— О Боже праведный, как вы, мисс Мод, можете говорить такие вещи! — вскричала Куинс, подняв честную седую голову от вязания и вытаращив глаза.

Я уже настолько освоилась с ужасной историей бартрамского дома, что решила поугадать старенькую Куинс мистером Чарком и его самоубийством.

— Я не шучу. Я собираюсь побродить на верхнем и на нижнем этажах, будто я неразумная, неумная и совсем слабоумная! И если я натолкнусь на его комнату, это будет ой как интересно! Мне хочется, подобно Аделаиде из «Лесного романа»<sup>{36}</sup>, той книги, которую я читала вам вчера вечером, отправиться на удивительную прогулку по разрушенной обители,

прячущейся среди векового леса.

— Мне идти с вами, мисс?

— Нет, Куинс, оставайтесь здесь. Следите, чтобы огонь в камине был ярок, и приготовьте чай. Мне, наверное, не хватит духу, и я скоро вернусь.

Закутав шалью плечи и покрыв голову на манер капюшона, я прокралась на верхний этаж.

Не будучи столь же обстоятельной, как героиня миссис Анны Радклиф, я не смогу с ее добросовестностью перечислить все анфилады комнат, коридоры и холлы, которые я прошла. Скажу только, что в конце длинной, тянувшейся, должно быть, параллельно фасаду дома галереи я остановилась перед дверью — она привлекла мое внимание потому, что ее, казалось, очень давно не открывали. Я увидела на двери два покрытых ржавчиной засова, явно заменявших прежние, — добавление несуразное, хотя и, несомненно, давнее. Пыльные и ржавые, засовы все же поддались. В замке торчал, хорошо помню, ключ, тоже ржавый, искривленный. Я попробовала повернуть его, но не смогла. Я сторала от любопытства. И уже собиралась позвать на помощь Мэри Куинс. Но вдруг подумала, что дверь, возможно, не заперта. Я толкнула ее, и дверь легко открылась. Передо мной была, однако, не причудливо обставленная комната, а начало галереи, поворачивающей под прямым углом к той, которую я миновала. Очень плохо освещенная, в дальнем конце она погружалась в полную тьму.

Я решила, что уже далеко забралась, стала размышлять, а найду ли путь обратно, в случае если что-то меня испугает, и всерьез подумывала вернуться.

Зловещая мысль о мистере Чарке вдруг оттеснила все другие и заполнила мой ум: я смотрела перед собой в пространство длинной галереи, затянутой смутными тенями, погруженной в мертвую тишину, поджидавшей меня, будто ловушка, и была готова поддаться панике.

Но потом собралась с духом и сказала себе, что пройду еще немножко. Я открыла боковую дверь и вошла в большую комнату — пустую, если бы не какие-то ржавые, покрытые паутиной птичьи клетки в углу. Комната была обшита деревянными панелями, впрочем, попорченными пятнами плесени. Я выглянула в окно: оно выходило в тот мрачный, заросший сорной травой внутренний двор, куда я однажды бросила взгляд из другого окна. Я открыла дверь в дальнем конце комнаты и ступила в смежную — не такую большую, но тоже темную, тоже похожую на тюремную камеру. Я плохо различала очертания комнаты — стекла в окнах были грязные, занавешенные снаружи пеленой мокрого снега. Дверь, через которую я вошла, случайно скрипнула, и я, до смерти перепуганная, обернулась,

ожидая увидеть Чарка или столь легкомысленно мною упомянутый его скелет в проеме полуоткрытой двери. Но всегда присутствующая во мне странная отвага, которая позволяет побороть столь же свойственную моей нервической натуре трусость, выручила меня: я приблизилась к двери, внимательно оглядела первую комнату и успокоилась.

Ну, еще одна комната... та, в которую вела глубоко спрятанная в противоположной стене дверь, смотревшая на меня, будто из-под насупленных бровей. Я устремилась к двери, распахнула ее, шагнула в третью комнату — и перед моими глазами оказалась громадная костлявая фигура мадам де Ларужьер.

Больше я ничего не видела.

Сонный путник, откидывая покрывало, чтобы скользнуть в постель, и видя скорпиона, который притаился в простынях, испытал бы потрясение, может, и подобное моему, но все же куда меньшее.

Она сидела в неуклюжем старинном кресле со своей старомодной шалью на плечах, опустив босые ноги в ванну делфтского фаянса<sup>[37]</sup>. Ее парик сполз назад, открыв морщинистый лоб и край лысого черепа, отчего ее высохшее лицо с резко выступавшими скулами, носом и подбородком сделалось еще уродливее. Охваченная сомнением и ужасом, я смотрела, похолодев, на этот мерзкий призрак, который несколько секунд отвечал мне прищуренным злобным взглядом, будто выслеженный злой дух.

Встреча — по времени и месту — оказалась одинаково неожиданной и для меня, и для нее. Она не могла знать, как я восприму случившееся, но быстро овладела собой, рассмеялась громким визгливым смехом и, ударившись в памятное мне вальпургиево веселье, сделала несколько па какого-то фантастического танца. Двумя пальцами карикатурно подхватив свою старую, поношенную юбку, она шлепала по полу мокрыми босыми ногами, оставлявшими следы, и на родном диалекте, состоявшем, казалось, из одних носовых, что-то распевала с буйным ликованием.

Охнув, я тоже оправилась от изумления, но была не в силах вымолвить ни слова.

Мадам заговорила первой:

— О, дорогая Мод, какой сюрприз! Ми обе так обрядованы, что потеряли речь! Я — в польной радости... я чарёвана... ravi...<sup>[80]</sup> видя вас. И ви тоже при виде меня — у вас всё на лицо. Ах, да-да, это опять мой миленьки обезьянь... Бедни мадам опять! Кто бы подумаль!

— Я считала, вы во Франции, мадам, — произнесла я, сделав над собой страшное усилие.

— А я и оставался там, дорогая Мод, я только что оттуда. Ваш дядя Сайляс, он написал настоятельнице, чтобы была *gouvernante* — сопровождать молящую леди, значить, вас, Мод, в пути. Она послала меня. И вот, *ma chère*<sup>[81]</sup>, бедни мадам прибыль выпольнить порючение.

— Когда же мы должны уехать во Францию? — спросила я.

— Не знаю, но стари женщина... как по имени?

— Уайт, вероятно?.. — предположила я.

— О, *oui*<sup>[82]</sup> Уайтт... она говорит, недель два-три. А кто проведь вас к покою бедни мадам, моя дорогая Мод? — вкрадчиво поинтересовалась она.

— Никто, — поспешно ответила я. — Я случайно оказалась здесь и не представляю, почему вы должны скрываться. — Я испытывала почти возмущение, смешанное с изумлением, узнав, что столько касавшегося «дорогой Мод» вершилось втайне от меня.

— Я не скрываю себя, мадемуазель, — возразила гувернантка. — Я действую точно по приказу. Ваш дядя, мистер Сайляс Руфин, он боится, говорит Уайтт, быть потревожен кредиторами, значить, все должно делаться втихомольк. Мне было сказано избегать *me faire voir*<sup>[83]</sup>, и я слушаюсь моего нанимателя — *voilà tout!*<sup>[84]</sup>

— И как давно вы находитесь здесь? — с тем же возмущением продолжала я расспросы.

— Коло недель. О, здесь место такой *triste!*<sup>[85]</sup> Я так обрядована, что вижу вас, Мод. Мне было так одиноко, глупышка ви моя дорогая.

— Вы *не обрядованы* мне, мадам. Вы не любите меня... Никогда не любили! — воскликнула я с внезапной горячностью.

— Нет, я страшно обрядована, ви не знаете, *chère petite niaise*<sup>[86]</sup>, как мне хочется еще поучить вас. Давайте пойдем дрюг дрюга. Ви считаете, я не люблю вас, мадемуазель, потому что ви наговориль вашему покойному рара про тот маленьки *dérèglement*<sup>[87]</sup> в его библиотеке. Я так часто сожалею об этот большой неосторёжность. Я думаль найти письма доктора Брайерли. Я быля так уверен, что тот человек хотель заплочить ваше состояние, моя дорогая Мод, и если бы нашля что-то, я бы все-все вам открыля. Но это быля такая большая моя *sottise*<sup>[88]</sup>, что ви сделалъ правильно, наговорив на меня мосье. *Je n'ai point de rancune contre vous*<sup>[89]</sup>. Нет-нет, совсем нет. Напротив, я буду ваш *gardien tuteur*...<sup>[90]</sup> — как ви виряжаете? — ангель-хранитель, о, вот-вот. Ви думаете, я говорю *par dérision?*<sup>[91]</sup> Совсем нет. Нет, моя дорогая дьетка, я не говорю *par moquerie*<sup>[92]</sup> — разве только на сами крехотка. — При этих словах мадам

отвратительно рассмеялась, показав черные зияния на месте зубов в углах рта, а взгляд у нее был холодный и злобный.

— Да, я знаю, — сказала я, — вы, мадам, меня *ненавидите*.

— О! Какой чьюдовищно безобразни слов! Я смютилась! Vous me faites honte<sup>[93]</sup>. Бедни мадам, она ненавидель никогда... никого, она любиль всех ее дрюзей, а врягов оставляль на Божью милость. И если, как вам видно, я веселее... plus joyeuse, чем прежде, то им не выпало счастье. Когда я возвращаюсь, то всегда нахожу каких-то моих врягов мертви, а каких-то — в затрюднении и накликавши на себя беду. — Мадам пожала плечами и с легким презрением рассмеялась.

Ужас остудил закипавший во мне гнев, и я промолчала.

— Моя дорогая Мод, ви считаете, что я вас ненавижу, — это так понятно. Когда я был с мистером Остин в Ноуль, я вам не нравилься... никогда. Но в резульат нашей дрюжбы ви узнали от меня, что сами мой большой драгоценность — моя репутас. Всегда одинаково. Всегда ученица может — оставшись непойман — *calomnier*<sup>[94]</sup> *ее gouvernante*. Разве я не был к вам, Мод, неизменно добрая? Что я больше показываль — жестокость или ляска? Я, как и каждая человек, *jalouse de ma reputation*<sup>[95]</sup>, и я тяжельо переживаль изгнание, навлеченный вами, ведь я ради вас старалься и допустиль неосторёжность... старалься по мотивам чистейши, похвальнейши. Это ви так хитро шпиониля за мной и донесля на меня мосье Руфин. *Helas!*<sup>[96]</sup> Какой злёбни свет!

— Я совсем не намерена обсуждать тот случай, мадам, я отказываюсь говорить о нем. Допускаю, что вы указали достоверную причину вашего появления здесь и что мы должны совершить поездку вместе. Но вам следует знать: чем меньше мы будем видеться, находясь в этом доме, тем лучше.

— Я не торопилься бы, мой миленьки *bête*<sup>[97]</sup>; ваша образование пришлось пренебрегать, а лючше скажу, пожертвовать, с тех пор как ви прибыль к месту, — мне говорили. Ви не дольжен стать *bestiole*<sup>[98]</sup>. Ви и я — ми будем слюшать приказ. Мистер Сайляс Руфин, он скажет нам.

Все это время мадам натягивала чулки, надевала ботинки — занималась своим нелепым нарядом. Не знаю, почему я стояла и разговаривала с ней. Мы часто делаем совсем не то, что сделали бы, хорошо поразмыслив. Я напрасно вступила в диалог, но и генералы, превосходящие меня мудростью, позволяли втянуть себя в военные действия, изначально намереваясь всего лишь защитить свои границы. Я была и рассержена, и напугана, но ни за что не показала бы, сколь силен

был мой страх.

— Мой дорогой отец нашел, что вы совсем неподходящая компаньонка для меня, и отказал вам, дав всего час на сборы. Я уверена, мой дядя окажется того же мнения. Вы *неподходящая* компаньонка для меня. Знай мой дядя о случившемся, он никогда бы не позволил вам войти в этот дом... никогда!

— Helas! Quelle disgrace!<sup>[99]</sup> Ви действительно так думаете, моя дорогая Мод? — воскликнула мадам, любуясь собой и поправляя парик перед зеркалом, в котором я могла видеть часть ее лица, хитрого и ухмылявшегося.

— Да, и вы тоже так думаете, мадам, — проговорила я, все больше поддаваясь страху.

— Может быть... увидим. Но кого ни взять, ви самый жестокая человек, ma chère petite calomnatrice<sup>[100]</sup>.

— Вы не должны называть меня так! — сказала я, содрогаясь от гнева.

— Как, мой мили дъетка?

— Calomnatrice. Это оскорбление!

— О, глупая-приглупая моя малишка Мод, ми можем сказать такой слов, как «мошенник», и много-много дрюгих словечек... шютя, хотя ми не говорим их всерьез.

— Вы не шутите... никогда не шутили... вы злитесь, и вы ненавидите меня, — воскликнула я с горячностью.

— Фю! Какой стыд! Ви разве не поняль, дорогая дъетка, как надо вас еще поучить? Ви спесив, а долъжна быть смирен. Je ferai baiser le babouin à vous, ha, ha, ha!<sup>[101]</sup> Я заставлю вас целовать одну обезьянь. Ви слишком гордый, дорогая дъетка.

— Я не такая неразумная, какой была в Ноуле, — проговорила я, — и вы не запугаете меня здесь. Я открою дяде правду.

— Может быть, так лючше всего, — ответила она с возмутительным спокойствием.

— Вы считаете, я не сделаю этого?

— Разюмеетсяя, *сделаете*, — ответила она.

— И мы увидим, что мой дядя думает...

— Ми увидим, моя дорогая, — проговорила она с притворным раскаянием в голосе.

— Прощайте, мадам!

— Ви идете к мосье Руфин? Прекрасно!

Я не ответила и покинула комнату в волнении более сильном, чем

хотела бы обнаружить. Через сумрачную галерею я поспешила к той, первой — протяженной, шедшей под прямым углом... Я не сделала и десяти шагов, как услышала за собой стук тяжелых ботинок и шелест юбок.

— Я готовь, моя дорогая. Я буду сопровождать вас, — проговорил ухмылявшийся призрак, торопясь за мной.

— Очень хорошо, — был мой ответ.

Раза два усомнившись в том, что идем правильно, и сбившись, мы все-таки достигли лестницы, спустились и еще через минуту стояли перед дверью в комнату моего дяди.

Когда мы вошли, дядя посмотрел на нас с мрачным удивлением. Вид его выдавал встревоженность. Мгновение он что-то бормотал, остановив на мадам взгляд, полный брезгливости, а потом раздраженно спросил:

— Зачем меня беспокоить, скажите на милость?

— Мисс Мод Руфин, она объяснит, — ответила мадам с низким реверансом — осев, будто лодка, которую толкнула опускающаяся волна.

— *Объясните*, моя дорогая! — попросил он самым холодным и язвительным тоном.

Я волновалась, и моя речь наверняка была сбивчивой. Однако я высказала, что хотела.

— Мадам, это серьезное обвинение! Вы признаете вину?

Мадам с полнейшим бесстыдством все отрицала. Клятвенно заверяя в своей невинности, пустив слезу и ломая руки, она в театральных позах заклинала меня отказаться от нестерпимых для нее слов и быть к ней справедливой. Пораженная, я секунду смотрела на нее, а потом обернулась к дяде и горячо подтвердила сказанное мною — все, до последнего словечка.

— Вы слышите, мое дорогое дитя, вы слышите, она все отрицает. Что же мне думать? Я растерян, но вы должны простить старика. Мадам де... леди прибыла с прекрасными рекомендациями от настоятельницы того монастыря, где дорогая Милли ожидает вас, и подобные особы — вне подозрений. Мне приходит мысль, что вы, моя дорогая племянница, должно быть, ошиблись.

Я запротестовала. Но он продолжал говорить, казалось, не слыша меня:

— Я знаю, моя дорогая Мод, вы совершенно не способны умышленно обманывать, но можете обманываться, как все в юные годы. Вы были, несомненно, очень взволнованны и еще не совсем стряхнули сон, когда вообразили, что видели описываемое вами, и мадам де... де...

— Де Ларужьер, — подсказала я.

— Да, благодарю... Мадам де Ларужьер, прибывшая с превосходной характеристикой, усиленно отрицает изложенную историю. Противоречие, моя дорогая... и, по моему мнению, вероятно, ошибка. Признаюсь, я предпочту это мнение безапелляционному утверждению о ее виновности.

Я не могла поверить... я изумлялась, мне казалось, что все это происходит во сне. Эпизод, который я видела собственными глазами и описала с исключительной точностью, был взят под сомнение этим странным, подозрительным стариком, державшимся до неразумия невозмутимо! Напрасно было повторять ему свои заявления, подтверждать свои слова со всей возможной твердостью. Я зря старалась. Казалось, он просто не хотел меня понимать. И в ответ у него на лице появлялась лишь самодовольная скептическая улыбка.

Он гладил меня по голове, качал своей и мягко смеялся, когда я горячо настаивала на вине мадам. А она — в подтверждение безгрешности — теперь тихо пролиwała ручьи слез и шептала молитвы, прося у Небес моего просветления и исправления. Я чувствовала, что теряю рассудок.

— Ну-ну, дорогая Мод, мы слышали довольно. Думаю, вам все почудилось. Мадам де Ларужьер будет вашей компаньонкой самое большее три-четыре недели. Проявите, хоть в какой-то мере, самообладание и обратитесь к здравомыслию — вам известно, какие муки я терплю. Не добавляйте мне затруднений, умоляю вас. Вы сможете, если захотите, наладить прекрасные отношения с мадам, я в этом не сомневаюсь.

— Я предлягаю мадемуазель, — осушая глаза, проговорила с готовностью мадам, — воспользоваться моим присутствием в образовательной цели. Но мадемуазель, кажется, не желает того, в чем я вижу много пользы.

— Она угрожала мне каким-то чудовищным французским вульгаризмом — *de faire baiser le babouin à moi...*<sup>[102]</sup> что бы это ни значило. И я знаю, что она ненавидит меня, — торопливо проговорила я в ответ.

— *Doucement... doucement!*<sup>[103]</sup> — сказал дядя с улыбкой, выражавшей одновременно веселье и сочувствие. — *Doucement, ma chère!*<sup>[104]</sup>

Воздев огромные руки и подняв глаза, хитрее которых трудно вообразить, мадам в слезах — а слезы у нее появлялись по первой надобности — вновь начала утверждать, что невинна и что никогда в жизни даже не слышала таких грубых слов.

— Моя дорогая, вы ослышались; в юности все такие рассеянные. Вы поступите разумно, если воспользуетесь недолгим пребыванием мадам в

этом доме для того, чтобы немного усовершенствовать ваш французский, и, чем больше вы будете видеться с ней, тем лучше.

— Как я понимаю, мистер Руфин, вы хотите, чтобы я возобновила обучение? — спросила мадам.

— Разумеется, и говорите при всякой возможности на французском с мадемуазель Мод... Вы порадуетесь, что я настоял на этом, моя дорогая, — сказал он, обращаясь ко мне, — когда попадете во Францию. Вы обнаружите, что там не говорят ни на каком другом языке. А теперь, дорогая Мод, — нет, больше ни слова! — вы должны покинуть меня. Прощайте, мадам!

Он выпроводил нас несколько нетерпеливо, и я, не взглянув на мадам де Ларужьер, потрясенная, разгневанная, прошла в свою комнату и закрыла за собой дверь.

## Глава XX

### Геркулесова нога

Я стояла у окна — то же свинцовое небо, тот же мокрый снег, лепившийся к стеклу, — и пыталась осмыслить открытие, только что мною сделанное. Меня охватило отчаяние, я бросилась на кровать и разрыдалась.

Добрая Мэри Куинс, с ее бледным, участливым лицом, конечно, сразу же оказалась рядом.

— О Мэри, Мэри, она приехала... эта ужасная женщина, мадам де Ларужьер, она приехала и вновь будет моей гувернанткой. А дядя Сайлас ничего не хочет слышать о ней и ничему не верит. Я все ему рассказала, но он держится своего мнения. Была ли на свете девушка несчастнее меня? Кто бы такое вообразил, кто бы опасался такого? О Мэри, Мэри, что мне делать? Что будет со мной? Неужели мне никогда не избавиться от этой странной злопамятной женщины?

Мэри как могла утешила меня. Я считаю ее слишком значительной особой, говорила Мэри. Кто она, в конце концов? Всего лишь гувернантка. Она не причинит мне зла. Я больше не дитя — она не запугает меня. А мой дядя, пусть на время впавший в заблуждение, скоро во всем разберется.

Вот такие речи говорила добрая Мэри Куинс и наконец немного успокоила меня: я начала думать, что, возможно, придаю слишком большое значение приезду мадам. Но все же воображение, этот инструмент ясновидения, являло мне, как в зеркале, ее ужасный образ, с чудовищными тенями, мечущимися у нее за спиной.

Через несколько минут раздался стук в дверь, и появилась мадам собственной персоной. Она была в костюме для прогулок. Снег прекратился, и она предлагала вместе совершить променад.

Заметив Мэри Куинс, она разразилась целым потоком приветствий и комплиментов, взяла ее, как выразился бы мистер Ричардсон, «безвольную руку»<sup>{38}</sup> и пожалала с удивительной нежностью.

Честная Мэри снесла все это, хотя, казалось, хотела воспротивиться: она ни разу не улыбнулась, наоборот, удрученно смотрела в пол.

— Не приготовьте ли чаю? Когда я вернусь, дорогая Мэри Куинс, у меня будет столько рассказы для вас и для дорогой мисс Мод — о все мои приключения, пока я отъезжала. Ви будете столько много смеяться. Я — что ви думаете? — чьють-чьють... на сами крехотка... и был бы замуж! —

Она визгливо рассмеялась и потрясла Мэри Куинс за плечо.

Я сердито отказалась идти на прогулку и даже не встала, а когда она ушла, я сказала Мэри, что заключаю себя в эту комнату, пока в доме остается мадам.

Но в юности обеты добровольного самоограничения не выдержать долго. Мадам де Ларужьер изо всех сил старалась быть приятной, у нее нашлось столько историй — больше половины, без сомнения, выдуманных, — которыми она могла развлечь нас в этом месте, таком triste. Мэри Куинс стала отзываться о ней лучше. Мадам даже помогала разбирать и убирать постели, постоянно предлагала свои услуги и, казалось, начала новую страницу жизни. Постепенно она побудила меня слушать ее и наконец отвечать ей.

Такие отношения были предпочтительнее постоянных сражений, но, несмотря на ее дружелюбие и словоохотливость, я по-прежнему испытывала к мадам глубокое недоверие, граничившее со страхом.

Ее, казалось, интересовала семья, жившая в Бартраме-Хо: с непроницаемым лицом, но охотно она слушала мои рассказы о характере обитателей этого дома. Эпизод за эпизодом я пересказала ей историю Дадли, и она взяла за правило читать в газете каждое новое сообщение о «Чайке», дабы доставить мне удовольствие, а в небольшом потрепанном атласе бедняжки Милли она прокладывала курс корабля карандашом, подписывая также у каждого порта дату «упоминания». Ее явно забавляла неудержимая радость, с какой я принимала известия о продвижении Дадли, и она вычисляла расстояние: в такой-то день он удалился на двести шестьдесят миль... в такой-то — еще на пятьсот... а вот еще на восемьсот — хорошо... еще лучше... просто чудесно! Но верх блаженства — это «чаревательное дрюгой полюшар, где он скоро будет ходить на голова за двенадцать тысяч миль от нас!» И она заливалась смехом от своей остроты.

Пусть она и потешалась надо мной, однако было большим утешением думать о безбрежных волнах, простиравшихся между мною и ужасным кузеном.

Наши с мадам отношения оказались прерванными. Она удерживалась от своих излюбленных насмешек, угроз. Напротив, ее не покидали добродушие и веселость. Но я не поддавалась обману. В моем сердце затаился страх, ни на миг не рассеивавшийся от ее сомнительного благодушия. Поэтому я ликовала, когда она уехала поездом в Тодкастер за покупками перед путешествием, ожидавшим нас со дня на день. Радуюсь возможности выйти, мы со старой Мэри Куинс задумали вылазку.

Мне хотелось побывать в фелтрамских магазинах — с этой целью мы и вышли из дому. Главные ворота оказались запертыми. Ключ, впрочем, торчал в замке, но поскольку мне было не под силу повернуть ключ, за дело взялась Мэри. В ту же минуту из темной сторожки сбоку появился старый Кроул, оторвавшийся от обеда и торопливо глотавший кусок. Вряд ли кому-нибудь нравилось длинное настороженное лицо старика, почти всегда небритое, немытое, изборожденное глубокими, с въевшейся грязью морщинами. Свирепо косясь на Мэри, не решаясь взглянуть на меня, Кроул поспешно вытер рот тыльной стороной ладони и прорычал:

— Брось-ка.

— Откройте, пожалуйста, мистер Кроул, — попросила Мэри, отказываясь от своей попытки.

Кроул со зловецким видом еще раз вытер рот, шаркая ногами, бормоча что-то, подошел к замку и прежде всего удостоверился, что он висит крепко. А потом вынул ключ, опустил в карман и с тем же бормотанием двинулся к сторожке.

— Пожалуйста, откройте нам ворота, — вновь попросила Мэри.

Молчание.

— Мисс Мод хочет сходить в город, — настаивала она.

— Мы много чё хотим, чё не про нас, — прорычал он, заходя в свое жилище.

— Пожалуйста, откройте ворота, — приблизившись к сторожке, попросила я.

Он обернулся на пороге и молча сделал жест, будто коснулся шляпы, которой у него на голове не было.

— Никак не могу, мэм; без разрешения от господина тут никто не пройдет.

— Вы не позволите мне и моей горничной выйти за ворота? — спросила я.

— *Так не я ж*, мэм, — сказал он. — Но что приказано, то приказано, и никто не пройдет тут, пока господин не разрешит.

Пресекая дальнейший разговор, он вошел к себе и закрыл дверь.

А мы с Мэри стояли и смотрели друг на друга с преглупым видом. После того как меня и кузину Милли остановили возле уиндмиллского забора, это был первый запрет, который я слышала. Впрочем, я считала, что распоряжение, неукоснительно соблюдаемое Кроулом, не могло относиться ко мне. Я переговорю с дядей Сайласом, и все уладится. А пока я предложила Мэри прогуляться в моем любимом Уиндмиллском лесу.

Я смотрела в сторону Диконова двора, когда мы шли мимо, и думала: а

вдруг Красавица дома? Я действительно увидела девушку — она явно наблюдала за нами. Она стояла на пороге их хибарки, прячась в тень, и, как мне показалось, не хотела быть замеченной. Мы прошли еще немного, и я утвердилась в своей мысли, потому что увидела, как девушка побежала начинавшейся позади двора тропинкой в противоположном направлении от того, в каком шли мы.

«Вот и бедная Мэг от меня отказалась», — подумала я.

Мы с Мэри брели лесом и добрались до ветряной мельницы. Низкая, вырезанная аркой дверь была открыта, и мы вошли, поднялись на круглую площадку, где свет и тень попеременно сменяли друг друга. Когда мы входили, я услышала какой-то суматошный шорох и скрип доски, но успела заметить, взглянув вверх, только ногу, скрывающуюся в люке.

Если вы кого-то сильно любите или ненавидите, то неосознанно постигаете премудрость сравнительной анатомии и мысленно воссоздаете целое по сгибу локтя, завитку бакенбарда, краешку руки. Как быстр, как безошибочен инстинкт!

— О Мэри, что я видела! — зашептала я, освобождаясь от какого-то наваждения, приковавшего мой взгляд к самым верхним ступенькам лестницы, что исчезала во тьме открытого люка. — Уйдемте, Мэри, уйдемте!

В тот же миг в отверстии сумрачного чердака появилось смуглое угрюмое лицо Дикона Хокса. Поскольку Дикону служила только одна нога, он спускался медленно, неуклюже; когда голова его оказалась под люком, он приостановился, коснулся шляпы, приветствуя меня, закрыл крышку люка и запер его.

Покончив с этим, он опять коснулся шляпы и пристальным взглядом изучал меня секунду, пока опускал ключ в карман.

— Малые свою муку тут чевой-то долго держат, мэм. Хлопот сколько — за ней приглядывать. Поговорю-ка я с Сайласом, разберусь. — Он уже ступил на разбитый плиточный пол и, вновь тронув шляпу, сказал: — Я запираю дверь, мэм!

Я вздрогнула и опять зашептала:

— Уйдемте, Мэри, уйдемте.

Крепко держась за руки, мы быстро покинули мельницу.

— Я лишусь чувств, Мэри, — проговорила я. — Скорей, скорей идемте. Нас никто не преследует?

— Нет, мисс, дорогая. Тот человек, с деревянной ногой, вешает замок на дверь.

— Идемте *самым* быстрым шагом! — сказала я. И когда мы прошли

немного, я опять попросила: — Посмотрите, нас никто не преследует?

— Никто, мисс, — ответила явно удивленная Мэри. — Он кладет ключ в карман, стоит и смотрит нам вслед.

— О Мэри, неужели вы не видели?..

— Чего, мисс? — спросила Мэри, замедляя шаг.

— Идемте, Мэри. Не останавливайтесь. Они наблюдают за нами, — прошептала я, поторапливая ее вперед.

— Чего же, мисс? — повторила вопрос Мэри.

— *Мистера Дадли*, — прошептала я с нажимом, не смея даже повернуть голову к ней.

— Го-о-споди, мисс! — протянула честная Куинс с недоверием; тон ее выражал подозрение, что мне все привиделось.

— Да, Мэри. Когда мы вошли в то страшное помещение... ступили в тот темный круг, я увидела его ногу на лестнице. *Его* ногу, Мэри! Я не могла ошибиться. *Не сомневайтесь* в моих словах. Вы *убедитесь*, что я права. Он *здесь*. Он никогда не садился на корабль, отплывший в Австралию. Меня обманывают. Это низко... это ужасно. Я перепугана насмерть. Ради бога, посмотрите еще раз и скажите, что вы видите.

— *Ничего*, мисс, — ответила Мэри тоже шепотом. — Но тот... с деревянной ногой, он так и стоит у двери.

— И с ним никого?

— Никого, мисс.

Никем не преследуемые, мы прошли через калитку в заборе. Я перевела дух, когда мы оказались в зарослях возле низины с каштановой рощей, и начала думать, что кому бы ни принадлежала нога — хотя инстинкт мне говорил, что это мог быть только Дадли, — человек явно стремился спрятаться, а значит, нам не нужно бояться преследования.

Мы медленно в молчании брели заросшей тропинкой, и вдруг я услышала позади окликающий меня голос. Мэри ничего не слышала, я же была уверена, что голос мне не почудился.

Оклик прозвучал еще и еще раз. Охваченная дрожью, я заглянула под низко нависшие ветви и увидела Красавицу не дальше чем в десяти ярдах, осмотрительно выбравшую место в кустах.

Помню, какими удивительно белыми показались мне ее зубы, белки ее глаз, выступавшие на смуглом лице, когда она, приложив руку к уху, смотрела на нас какое-то время и прислушивалась.

Потом Красавица нетерпеливо поманила меня рукой и сделала два-три шага навстречу — с видом ужасно взволнованным и испуганным.

— Пускай *она* не подходит, — указывая на Мэри Куинс, шепотом

проговорила Красавица, как только я приблизилась. — Скажите ей, пускай сядет вон там, на ясеневом пне, и крикнет вам изо всех сил, ежели завидит, что кто-то идет сюда; скажете — и скорей ко мне...

Когда я вернулась, сделав соответствующее распоряжение, то заметила, насколько девушка бледна.

— Вы больны, Мэг? — спросила я.

— Ничего. Здорова... Слушайте, мисс, я должна сказать вам все в два счета, и, ежели она крикнет, бегите к ней, а я уж сама справлюсь, да только, ежели папаша или другой застанут меня тут, убьют, точно. Тс-с! — Она помолчала секунду, напряженно глядя в ту сторону, где, как она думала, оставалась Мэри Куинс. Потом шепотом продолжила: — А теперь запомните: что скажу вам, будете держать про себя. Не говорите той... и никому на свете. Смотрите, ни словечка не говорите из того, что скажу.

— Ни словом не обмолвлюсь. Продолжайте.

— Видели Дадли?

— Кажется, я видела, как он поднимался по лестнице.

— На мельнице? Ага, это он. Он дальше Тодкастера не ездил. Он в Фелтраме потом оставался.

Теперь побледнела уже я. Мои худшие предположения подтвердились.

## Глава XXI

### *Я вступаю в сговор*

— Это такой поганый человек, о мисс Мод, мисс Мод! Недоброе дело держит их вместе... его и папашу моего (вы ж смотрите, вы обещались помалкивать), ох, недоброе... Тайком свою задумку обговаривают и покуривают на мельнице. Папаша-то не догадывается, что я его раскрыла. Они меня не пускают в город, да Брайс сказал мне, Брайс знает, что это Дадли там. И уж до хорошего они не додумаются. Против вас злое замышляют, я так понимаю. Страшно вам, мисс Мод?

Я чуть не лишилась чувств, но овладела собой.

— Не очень, Мэг. Продолжайте. Ради бога, скажите, дядя Сайлас знает, что он здесь?

— Они, мисс, раз ходили к нему, мне Брайс говорил. Раз... во вторник было... просидели у него с одиннадцати вечера до полуночи, прокрались туда и обратно, будто воры... боялись, как бы я их не увидела.

— А откуда Брайс знает, что они замышляют злое? — спросила я, чувствуя, что холодею с ног до головы. Без сомнения, смертельно бледная от страха, я тем не менее выражала мысли абсолютно связно.

— Брайс сказал, мисс, что видел, как Дадли плакал — а лицо у него было аж черное — и говорил моему папаше: «Я не такого сорту, я не могу». А папаша ему: «Кто ж этикие дела с охотой делает? Да только куда ты денешься? Твой старикан на ты сзади с вилами — куда денешься?» Потом папаша припомнил про Брайса-то и крикнул Брайсу: «Чё тут шатаешься? Пошел с клячами к кузнецу, ну-ка!» Тогда Дадли вскочил, надвинул шляпу на глаза и говорит: «Лучше б я был на “Чайке”. Не гожусь я для этиких дел». Вот и все, что Брайс слышал. Он страшно боится и папашу моего, и Дадли. Дадли мокрого места от него не оставит, коли он скажет чего против, и они с папашей не замешкаются, быстренько судье донесут на него, мол, на браконьерстве поймали... донесут и упекут в тюрьму.

— Но почему он считает, что речь идет обо *мне*?

— Тс-с! — сказала Мэг — ей что-то послышалось. Но все было спокойно. — Мне больше нельзя оставаться тут... опасно, мисс. Не знаю почему, да только *он* так думает, и я... и — чего там — *вы* тоже.

— Мэг, я покину Бартрам.

— Не сможете.

— Не смогу? Что вы говорите, девушка?

— Они вас не выпустят. Ворота везде заперты. У них псы... ищейки, Брайс говорит. Вы *не сможете* выбраться отсюда — так вот. Про это забудьте... Я вам скажу, чего вам сделать. Напишите записочку той вашей леди в Элверстон, и хотя Брайс парень сумасбродный и такое порою выкинет, что только держись, он меня любит, и я заставлю его передать записочку. Папаша завтра будет молоть на мельнице. Так вы приходите сюда около часу — ежели увидите, что мельница крутится. А мы с Брайсом тут вас встретим. И эту старую тоже берите с собой. А вот старуха француженка — та с Дадли разговоры разговаривает. Смотрите, чтоб та ничего не прознала. Брайс со мной парень добрый — какой бы он ни был с другими, — и я так понимаю, он не выдаст. А теперь, мисс, мне надо идти. Боже спаси вас и сохрани! Смотрите, ни за что на свете не показывайте никому, что у вас в мыслях, — даже этой там...

Я не успела и слова сказать, как девушка скользнула прочь, прижав палец к губам и покачав головой.

Не смогу описать мое состояние. В нас скрываются запасы сил и выдержки, о которых мы не подозреваем, пока страшный глас необходимости не воззвал к нам. Цепенеющая от неведомого раньше ужаса, я, однако, говорила и действовала, — что для меня самой было чудом из чудес, — с трезвостью и невозмутимостью кого-то другого.

По возвращении я встретила с мадам так, будто ничего не произошло. Я слушала ее отвратительную болтовню, разглядывала плоды ее часового хождения по лавкам, и у меня было ощущение, что я слушаю, вижу, говорю и улыбаюсь во сне.

Ночь обернулась кошмаром. Когда мы с Мэри Куинс остались одни, я заперла дверь. Я ходила взад и вперед по комнате, ломая руки, и смотрела на безучастные пол, стены, потолок с мольбой отчаяния. Я боялась открыться дорогой старушке Мэри. Малейшая неосторожность повела бы к тому, что моя осведомленность обнаружилась бы, а это грозило гибелью!

На ее недоумение и озабоченность я ответила, что мне нехорошо — на душе тревожно, но потребовала от Мэри пообещать, что никому из смертных она не скажет о моих подозрениях, связанных с Дадли, и о том, что в лесу мы столкнулись с Мэг Хокс.

Помню, легли мы поздно, и через какое-то время я села в кровати, дрожа от ужаса и слушая ровное дыхание Мэри, убедившее меня, что она крепко заснула. Я поднялась и выглянула в окно, ожидая, что увижу, как свирепые псы, которых они собрали тут, рыскают по двору. Иногда я молилась и чувствовала успокоение; должно быть, на краткий миг я отдавалась сну. Но спокойствие было обманчивым, мои нервы были

напряжены до предела. Порой я чувствовала, что теряю рассудок и вот-вот закричу. Наконец та чудовищная ночь миновала. Пришло утро, а с ним — менее болезненное, но едва ли менее ужасное состояние ума. Мадам появилась у «дорогой Мод» очень рано. Вдруг меня осенила мысль. Я знала, что мадам любит ходить по лавкам, и довольно беззаботным тоном я сказала:

— Ваши вчерашние покупки и меня соблазнили, мадам, я должна приобрести некоторые вещи до отъезда во Францию. Быть может, сегодня мы с вами отправимся в Фелтрам за моими покупками?

Она посмотрела мне в лицо хитрым взглядом и не ответила. Я не отводила глаз, и тогда она сказала:

— Прекрасно. Я буду просто счастлива. — Она вновь очень странно посмотрела на меня. — Какой время, моя дорогая Мод? Час? Подойдет, корошо подойдет, а?

Я подтвердила, и она погрузилась в молчание.

Я спрашивала себя: удалось ли мне выглядеть беззаботной, как я и старалась? Не знаю. В тот ужасный промежуток времени я казалась, наверное, подозрительно невозмутимой, и даже сейчас, оглядываясь назад, удивляюсь своему непонятному самообладанию.

Я надеялась, что мадам не слышала о распоряжении не выпускать меня из поместья. В ее сопровождении я беспрепятственно пройду через ворота... она сама проводит меня в Фелтрам.

В Фелтраме я обрету свободу и тогда смогу добраться к дорогой кухне Монике. Никакая сила не вернет меня обратно в Бартрам-Хо. Сердце трепетало в напряженном ожидании часа освобождения.

О Бартрам-Хо! Откуда взялись эти преграды? Кто из предков поставил эти высокие, неприступные стены передо мной, оказавшейся в положении столь отчаянном?

Внезапно я вспомнила про письмо к леди Ноуллз. Если мне не удастся попытка бегства из Фелтрама, все будет зависеть от этого письма.

Я заперлась и написала такие строки:

«О возлюбленная моя кузина, как всякий человек, уповающий на утешение в тяжелую годину, ныне я прошу утешения у Вас. Дадли вернулся и скрывается где-то в поместье. Меня *обманывают*. Они все внушают мне, что он уплыл на “Чайке”, и он — или кто-то за него — постарался, чтобы имя Дадли Руфина стояло среди перечисленных пассажиров в газетном сообщении. Здесь объявилась мадам де Ларужьер! И

дядя Сайлас желает видеть ее моей близкой компаньонкой. Я не знаю, что делать. Я не могу убежать — вокруг тюремные стены, и мои тюремщики не спускают с меня глаз. Здесь держат собак-ищеек — да, *собак!* — и все ворота на запоре, чтобы я не смогла выбраться. Господи, помоги мне! Не знаю, куда обратить взгляд, кому верить. Моего дядю я боюсь больше всех. Наверное, я держалась бы лучше, будь мне известны их замыслы, пусть самые преступные. Если Вы любите меня, если Вам меня жаль, дорогая кузина, молю Вас: придите на помощь мне в моем безвыходном положении. Заберите меня отсюда. О дорогая, ради бога, заберите меня отсюда!

Обезумевшая от ужаса, Ваша кузина

*Мод.*

*Бартрам-Хо».*

Я запечатала письмо со всем возможным тщанием, будто неодушевленные строки могли ожить, вырваться из плена, и тогда моей отчаянной мольбой огласились бы все комнаты и галереи безмолвного Бартрама.

Старая Куинс — над чем невыразимо потешалась кузина Моника — упорно украшала мои платья вместительными карманами на манер тех, которые знало прошлое поколение. Теперь я порадовалась ее старомодной причуде и опустила уличавшее меня, притворщицу, столь откровенно написанное письмо в это вместилище, затем, спрятав ручку и чернила, моих соучастников, я отперла дверь, вновь надела маску беззаботности и стала ждать возвращения мадам.

— Я была обязана просить у мистера Руфин разрешение побывать в Фельтрам, и, наверно, он разрешает. Он желает говорить вам.

В сопровождении мадам я вошла в дядину комнату. Он полулежал на диване спиной к нам, и его длинные белые волосы струились по подушкам.

— Я хотел просить вас, дорогая Мод, выполнить в Фелтраме два-три мелких поручения.

Я чувствовала, что ужасное письмо уже не так оттягивает карман, а мое сердце учащенно забилося.

— Но я только что вспомнил, что сегодняшней день — базарный и Фелтрам будет кишеть всяким сомнительным людом, подвыпившими гуляками; поэтому давайте подождем до завтра. Мадам же любезно

соглашается сегодня сама сделать все необходимые покупки.

Мадам подтвердила согласие реверансом, предназначенным дяде, и взглянула на меня с широкой фальшивой улыбкой.

Дядя уже изменил свою расслабленную позу и теперь сидел на диване бледный и мрачный.

— Свежие известия о моем блудном сыне, — проговорил он с кривой усмешкой, протягивая руку за газетой. — Вновь упоминают корабль. За сколько миль он от нас, как вы думаете? — Тон его был игрив, дядя пожирал меня глазами и улыбался страшно... чудовищно. — Как далеко от нас сегодня Дадли? — Он закрыл ладонью заметку в газете. — *Угадайте!*

На мгновение мне показалось, что за этой интермедией последует раскрытие настоящего местонахождения Дадли.

— Путь был долгим. Угадайте! — повторил он.

Немного запинаясь, побледневшая, я что-то проговорила и разыграла требуемое неведение, а тогда дядя, с намерением порадовать меня, прочел строку-другую, где упоминались широта и долгота самого недавнего местонахождения судна, мадам же была вся внимание: она запоминала цифры, чтобы внести соответствующие пометки в атлас бедняжки Милли.

Не скажу с уверенностью, но мне показалось, что дядя Сайлас неотрывно следил за мной многоопытным проницательным взглядом, однако ничего не прочел у меня на лице и отпустил нас.

Мадам любила это занятие — делать покупки. Но покупать, тратя чужие деньги, она обожала. После ленча, одетая подходящим образом, она поступила именно так, как мне хотелось: предложила доверить ей мои поручения и мои деньги и, получив полномочия, предоставила мне возможность отправиться на встречу у Каштановой низины.

Как только мадам скрылась из виду, я заторопила Мэри Куинс и быстро оделась. Мы покинули дом через боковую дверь, которую, как я знала, нельзя было увидеть из окна дядиной комнаты. Я обрадовалась свежему ветерку, достаточно, чтобы крылья ветряной мельницы закрутились, и, когда мы прошли какую-то часть пути и перед нами вдали возникло это живописное старое сооружение, я почувствовала невыразимое облегчение: мельница работала.

И вот мы достигли Каштановой низины. Я отправила Мэри Куинс на ее прежний наблюдательный пост, с которого просматривалась тропинка к Уиндмиллскому лесу, как и прежде наказав кричать изо всех сил: «Я нашла его!» — если увидит кого-нибудь, идущего в нашу сторону.

Я остановилась на том самом месте, где произошла наша вчерашняя встреча. Заглянула под нависшие ветви — и мое сердце учащенно

забилось: я увидела поджидавшую меня Мэг Хокс.

## Глава XXII

### Письмо

— Идемте, мисс, — зашептала Красавица, очень бледная, — он здесь, Том Брайс.

И она пошла впереди, раздвигая безлистый кустарник. Мы вышли к Тому. Худой юноша, конюх или браконьер — ему пристало бы и то и другое занятие, — в короткой куртке, в гетрах сидел на низком суку, опираясь спиной о ствол дерева.

— Чего там, парень, сиди, — проговорила Мэг, заметив, что он собирался встать и запутался в ветках, когда пробовал снять шапку. — Сиди смирно и слушай, что скажет леди... Он возьмет его, мисс Мод. Так, парень?

— Так, возьму, — ответил он и протянул руку за письмом.

— Том Брайс, вы не обманете меня?

— Нет, будьте уверены! — проговорили Том и Мэг почти в один голос.

— Вы честный английский юноша, Том, ведь вы не предадите меня, — с мольбой говорила я.

— Нет, будьте уверены! — повторил Том.

Но что-то немного смущало меня в лице этого светловолосого молодого человека с острым вздернутым носом. Во время нашей встречи он отмалчивался, лениво улыбался, будто человек, слушающий далекий от повседневных забот вздор из детских уст, и отпускал время от времени ироничные замечания.

Мне казалось, что этот грубый парень, нисколько не желая меня оскорбить, не принимал меня всерьез.

Но выбирать не приходилось, и, каков бы он ни был, я знала, что, кроме него, умолять мне было некого.

— Том Брайс, очень многое зависит от того, попадет ли письмо в нужные руки.

— Она правду говорит, Том Брайс, — порой вступала Мэг, вторившая моим словам.

— Я даю вам фунт *сейчас*, Том. — Я вложила монету вместе с письмом в его руку. — Вы должны передать письмо леди Ноуллз в Элверстоне. Вы ведь знаете, где Элверстон?

— Знает, мисс. Так, парень?

— Так.

— Сделайте это, Том, и я буду благодарна вам всю жизнь.

— Слыхал, парень?

— Слыхал, — сказал Том, — добро.

— Вы доставите письмо, Том? — спросила я, с большим, чем хотела бы обнаружить, волнением ожидая ответа.

— Доставлю, — сказал Том, поднимаясь и вертя письмо перед глазами, будто какую-то диковинку.

— Том Брайс, — проговорила я, — если вы не сможете с честью послужить мне, скажите сразу. Не берите письмо, если не сможете передать его леди Ноуллз в Элверстоне. Пообещайте, что передадите, или верните письмо. И тогда оставьте фунт себе, но пообещайте: вы никому не скажете о том, что я просила вас доставить письмо в Элверстон.

В первый раз Том посмотрел на меня серьезно. Он тер краешек письма указательным и большим пальцами с видом браконьера, который мошенничает по убеждению.

— Я не думаю надувать вас, мисс, но о себе я должен позаботиться, так вот. Все письма проходят через руки Сайласа, а что он этого письма не видал, он вспомнит. Говорят, он вскрывает письма, читает их до того, как им с почтой уйти, — такая уж у него забава. Не знаю, но сдается мне, правду говорят. И ежели это письмо где найдется, то тут поймут, что доставлено оно с нарочным. А тогда до меня доберутся.

— Но вы знаете, Том, кто я, — я позабочусь о вас, — проговорила я нетерпеливо.

— Вам о себе надо будет заботиться, я так понимаю, ежели что выйдет наружу, — сказал цинично Том. — Я не говорю, что не доставлю письмо, а только вот что: лбом стену прошибать ни за-ради кого не стану.

— Том, — проговорила я, осененная мыслью, — отдайте мне обратно письмо и выведите меня из Бартрама. Проводите в Элверстон... это будет самое лучшее для вас, Том, я хочу сказать, — самое лучшее, чего вы только можете пожелать.

Будто о жизни умоляла я этого деревенского парня, держась за его рукав. Я заглядывала ему в лицо.

Напрасно. Том вновь был смешливым грубияном, он чуть отвернулся и, разглядывая корни деревьев позади, глуповато ухмылялся через плечо. Казалось, он едва мог сдержать совсем уж невежливый громкий смех.

— Я поступлю как разумный парень, мисс. Вы их не знаете, не так-то просто их обойти, и я голову расшибать не буду... в тюрьму угодить неохота. Какой прок от этого вам или мне? Вот тут Мэг, она понимает: чего просите, я не могу; и братья не стану, мисс, ни за что. Не в обиду вам,

мисс, говорю: не стану за это братьяся. Попробую, ежели удастся, с письмом. Только это я и могу для вас. — Том Брайс встал и обратил настороженный взгляд в сторону Уиндмиллского леса. — Смотрите, мисс, чего б ни получилось, про меня ни слова.

— Куда ты, Том? — спросила встревоженная Мэг.

— Не важно, девчонка, — ответил он, пробираясь сквозь заросли, и вскоре скрылся.

— Ага, он подался на овечью тропу за насыпью. Идите-ка к дому, мисс, и чтоб через боковую дверь входили... не со двора. А я чуток посижу тут, в кустах, не сразу же вслед за вами... Прощайте, мисс, и смотрите, чего у вас в мыслях, не показывайте. Тс-с!

Где-то далеко слышался крик.

— Это папаша! — прошептала она, потемнев, и приложила загорелую руку к уху. — Не меня — дьявола кличет, — сказала она с глубоким вздохом и невесело улыбнулась. — А теперь идите-ка, бога ради!

Я пустилась бегом по тропинке, укрывавшейся в густом лесу, позвала Мэри Куинс, и мы вместе заторопились к дому. Мы вошли, как было сказано, через боковую дверь, чтобы никто не заподозрил, что мы вернулись из Уиндмиллского леса; по черной лестнице, по боковой галерее, будто два грабителя, мы прокрались к моей комнате, а там я села, чтобы собраться с мыслями и хорошенько обдумать только что происшедшее.

Мадам еще не возвращалась. Прекрасно. Обычно она прежде всего появлялась у меня в комнате. Но все было на своих местах, значит, ни ее любопытным глазам, ни ее беспокойным рукам не пришлось искать занятия на то время, пока я покидала комнату.

Когда же мадам появилась, она, странно сказать, доставила мне неожиданную радость. В руке у нее оказалось письмо от моей дорогой леди Ноуллз — солнечный луч из вольного и счастливого внешнего мира проник вместе с ним. Как только мадам ушла, я открыла письмо и прочла следующее:

«Я так обрадована, дорогая Мод, что вскоре увижу Вас. Я получила сердечное письмо от бедного Сайласа, да, *бедного*: я на самом деле сочувствую его положению, которое, верю, он описал правдиво, — по крайней мере, Илбури так говорит, а он почему-то знает. Я получила очень ласковое письмо, совсем не похожее на прежние. Я все перескажу Вам при встрече. Сообщу только, что он хотел бы, чтобы я взяла на себя обязанность, которая доставит мне чистейшую радость, — я имею в виду опеку над

Вами, моя дорогая девочка. Опасаюсь единственно того, что мое горячее согласие принять обязанность пробудит в нем дух противоречия, свойственный большинству людей, и он вновь примется размышлять о своем предложении в настроении менее благосклонном. Он предлагает мне приехать в Бартрам и задержаться до утра, причем обещает устроить меня со всем комфортом, который, скажу откровенно, меня совсем не заботит, если будет возможность провести уютный вечер за разговором с вами. Сайлас объясняет свое горестное положение; ему следует, по его словам, подготовиться к спешному отъезду, который бы избавил его от риска лишиться свободы. Печально, что он так безвозвратно погубил себя, что великодушные покойного Остина, кажется, толкнуло его к крайностям. Он очень хотел бы, чтобы я повидалась с Вами до Вашей непродолжительной поездки во Францию. По его мнению, Вы должны будете уехать в ближайшие две недели. Я собиралась пригласить Вас ко мне, ведь в Элверстоне Вам будет нисколько не хуже, чем во Франции, но он, кажется, намерен осуществить то, чего мы так желаем, а поэтому проявим осмотрительность и позволим ему устроить все, как он хочет. Я так жажду, чтобы решился наш вопрос, что боюсь даже чуточку его рассердить. Он пишет, что я должна назначить день в начале будущей недели, и по его тону я допускаю, что мое посещение может оказаться продолжительнее первоначально определенного им. Я была бы только счастлива. Начинаю думать, моя дорогая Мод, что бессмысленно вмешиваться в ход вещей и что часто все оборачивается самым счастливым образом, полностью отвечая нашим желаниям, — только потому, что мы не вмешиваемся. Кажется, не кто иной, как Талейран<sup>{39}</sup>, необыкновенно ценил талант *ждать*.

Воодушевленная, полная планов и всегда любящая Вас, дорогая Мод,

*кузина Моника».*

Неразрешимые загадки! Слабый свет надежды, однако, заструился на картину, всего несколько минут назад погруженную во мрак полного затмения. Но какую бы теорию я ни выстраивала, она неизменно рушилась от многих явных и ужасных несообразностей — только разрозненные обломки качались на беспокойных волнах потока, в который я погружала

свой мысленный взор.

Зачем здесь появилась мадам? Почему скрывался в поместье Дадли? Почему я была пленницей за тюремными стенами? Какая опасность нависла надо мной — огромная опасность, настолько тревожившая Мэг Хокс, что заставила ее рисковать благополучием возлюбленного ради моего спасения? Все эти грозные вопросы соединялись в моем уме при инстинктивном понимании того, что не было на свете людей, сильнее заинтересованных в чьей-то гибели, чем дядя Сайлас и Дадли, которые желали во что бы то ни стало покончить со мной.

Порой эти чудовищные свидетельства угнетали душу. Порой, перечитав письмо кузины Моника, я, будто согретая лучами солнца, видела небеса просветленными, а мои страхи, как ночные кошмары, рассеивались с рассветом. Однако я никогда не сожалела, что отправила письмо с Томом Брайсом. Я только и думала о том, чтобы спастись из Бартрама-Хо.

В тот вечер мадам напросилась пить чай со мной. Я несколько не возражала. Благоразумие диктовало, по возможности, сохранять дружеские отношения со всеми, даже идти на уступки. Мадам обуяло веселье, она пребывала в лучшем своем настроении — от нее, разумеется, пахло бренди.

Она пересказала мне некоторые комплименты, которыми в тот день в Фелтраме ее наградила эта «добри дюша» миссис Ладуэйз, торгующая шелком, описала, какой «крясиви муштин» этот новый приказчик (она явно побуждала меня «пошютить» над ней) и как он «проводжал гласом» ее, куда бы она ни ступила. Наверное, он, подумала я, боялся, как бы она не стащила кружево или пару-другую перчаток. Она все время поводила большими коварными глазами, изображая кокетку в своем представлении, и с ее худого лица, пылавшего от спиртного напитка, которым она услаждала себя, не сходила улыбка. Мадам пела глупые шансонетки и, склонная, как всегда под воздействием алкоголя, к хвастовству, поклялась, что я немедленно получу свой экипаж с лошадьми.

— Я приляжусь все силами к вашему дяде Сайлясу. Ми такие добри стари дрюзья, мистер Руфин и я, — сказала она с непостижимым, но испугавшим меня выражением лица.

Я никогда не могла понять, почему эти иезавели<sup>[40]</sup> любят обнажать ужасную правду, касающуюся их жизни, но так уж оно есть. Не стремление ли женщин торжествовать заставляет их, подавляя стыдливость, похвалиться чредой падений как свидетельством утраченных чар, но оставшейся власти? Впрочем, зачем удивляться? Разве не предпочитали женщины ненависть — безразличию, славу колдуний, со всеми

уготованными им наказаниями, — полной безвестности? И подобно тому, как они наслаждались, сея у простодушных соседей подозрение, будто водятся с отцом зла, так мадам, наверное, с циничным тщеславием смаковала привкус своего сатанинского превосходства.

На другое утро дядя Сайлас послал за мной. Он сидел у стола и с коротким приветствием на французском, со своей обычной улыбкой, указал мне стул напротив.

— Я забыл, — проговорил он, бросая газету на стол, — как далеко вчера был Дадли, по вашему мнению?

За тысячу сто миль, считала я.

— О да, так. — Он рассеянно помолчал. — Я пишу лорду Илбури, вашему попечителю, — продолжил он. — Я отважился сказать, моя дорогая Мод, — а при намерении иначе устроить вас, мне не хотелось бы, учитывая мои печальные обстоятельства, слагать с себя обязанности без ссылки на вашу оценку моего к вам отношения, пока вы пребывали под сим кровом, — я отважился сказать, что вы находили меня добрым, заботливым, снисходительным. Я верно выразился?

Я подтвердила. Что я могла возразить?

— Я упомянул, что вы были довольны нашей скромной жизнью здесь — нашим незамысловатым укладом и вольностью. Я прав?

Я вновь подтвердила.

— И что вам не за что питать неприязнь к вашему бедному старому дяде, за исключением разве что его бедности, которую вы ему простили. Мне кажется, я сказал правду. Так, дорогая Мод?

Я подтвердила.

Все это время он шелестел бумагами в кармане куртки.

— Хорошо. Я ожидал от вас именно этих слов, — бормотал он. — Никаких других... — И вдруг его лицо чудовищно изменилось. Он встал надо мной как привидение — с устрашающим взглядом. — Тогда как вы объясните вот это? — Его голос прозвучал будто раскат грома, и дядя с размаху опустил на стол мое письмо к леди Ноуллз.

Я, онемев, смотрела на дядю, пока его образ не стал расплываться перед моими глазами, но его голос, как колокол, все гремел в моих ушах.

— Вы, притворщица и лгунья, объясните этот образчик злословия, с которым вы отправили, подкупив, моего слугу к моей родственнице, леди Ноуллз!

Он говорил и говорил, а я смотрела во тьму, пока и голос, его сделался неразличимым, а потом далеким гулом потонул в безмолвии.

Наверное, я упала в обморок.

Когда я очнулась, то почувствовала, что я вся мокрая — волосы, лицо, шея, платье. Я не догадывалась, где я. Мне представлялось, что мой отец болен, и я говорила с ним. Дядя Сайлас стоял у окна, невыразимо мрачный. Возле меня сидела мадам, а бутылка с эфиром — дядино укрепляющее — возвышалась на столе передо мной.

— Кто?.. Кто болен?.. Кто-то умер? — вскричала я.

Наконец со слезами пришло облегчение. Когда я несколько успокоилась, меня провели в мою комнату.

## Глава XXIII

### *Экипаж леди Ноуллз*

На другое утро, в воскресенье, я лежала в постели слабая, безучастная ко всему на свете, с такими болями во всем теле, — как я полагала, ревматическими, — что была не в силах говорить и даже поднять голову. Мои воспоминания о том, что произошло в комнате дяди Сайласа, спутались; мне казалось, будто мой отец тоже присутствовал и тоже участвовал в разговоре, хотя я не могла припомнить, каким образом.

Слишком измученная, с разумом и чувствами, притупленными до крайности, я была не в силах распутать этот чудовищный клубок и просто лежала, отвернувшись к стене, недвижимо, молча, только глубоко вздыхала порой.

Добрая Мэри Куинс находилась в комнате, и это немного успокаивало, но я настолько ослабела, что мне причинял муку даже ее голос, когда она обращалась ко мне. Я на самом деле не понимала и не тщилась понять, жива я или нет.

В то утро кузина Моника в милом Элверстоне, совершенно не ведая о моем плачевном состоянии, предложила своим гостям, леди Кэризброук и лорду Илбури, отправиться в церковь в Фелтрам, а затем нанести визит в Бартрам-Хо, на что они охотно согласились.

И примерно к двум часам это приятное общество прибыло в Бартрам. Они предпочли идти пешком, с тем чтобы экипаж нагнал их, когда лошади будут накормлены. Мадам де Ларужьер оказалась в комнате дяди и слышала крошку Жужеля, докладывавшего о посетителях, которые сидели в гостиной. Мадам недолго пошептала с дядей, и он сказал:

— Мисс Мод Руфин уехала прогуляться, но я буду счастлив увидеть леди Ноуллз, если она окажет любезность и поднимется сюда на минутку; упомяните, что мое самочувствие оставляет желать лучшего.

Мадам вышла за дворецким и у лестницы, схватив его за ворот, горячо зашептала человечку в ухо:

— Проведешь ее светлость по чёрни леснис... запоминай, по чёрни.

И уже в следующее мгновение, ступая широким шагом на цыпочках, мадам вошла в мою комнату, с видом, как пересказывала Мэри Куинс, приговоренной к виселице.

Войдя, она внимательно оглядела комнату, осталась довольна присутствием Мэри Куинс и повернула ключ в двери. Прочувствованным

шепотом она осведомилась о моем состоянии у Мэри, скользнула к окну, выглянула украдкой, потом подошла к моей постели, пробормотала несколько слов утешения, чуть задвинула полог, после чего прошлась по комнате, суетливо коснулась того, другого, будто поправляя, и как бы между прочим тихонько вытащила ключ из замка и опустила в карман.

Последнее так удивило честную Мэри Куинс, что она решительно поднялась со стула, указала на дверь и, не сводя своих праведных голубых глаз с мадам, сказала шепотом:

— Вставьте ключ в замок, пожалуйста.

— О разумеется, Мэри Квинс, но лючше пюскай заперт, ведь ее дядя, он хотель кажется, зайти, и она, я уверен, будет в большой испуге, поскольку он в большой недовольстве. Но ми скажем ему — она не короша или она спит. И тогда он уйдет без всяки шум.

Я ничего этого не слышала — они говорили глухим шепотом; Мэри, хотя и сомневаясь, что мадам тревожилась обо мне, и подозревая у той всегда корыстные мотивы, неохотно согласилась: она боялась, как бы названная мадам причина не оказалась на сей раз истинной.

Мадам беспокойно вертелась у двери, а о том, что происходило тогда в других комнатах, леди Ноуллз впоследствии мне рассказывала так:

«Только представьте наше разочарование! Но я, конечно, была рада увидеться с Сайласом, и ваш эльф-дворецкий провел меня наверх, в его комнату... не тем, кажется, путем, каким я поднималась раньше; впрочем, не буду утверждать, ведь я не так хорошо знаю дом в Бартраме. Но я не забыла — мы прошли через спальню Сайласа, которой я прежде не видела, в кабинет, где я и нашла вашего дядю.

Он, казалось, был счастлив; он подошел с улыбкой — мне всегда не нравилась его улыбка, — с протянутыми руками, пожал мои — теплее приветствия не припоминаю — и произнес:

“Дорогая, *дорогая* моя Моника, как же я *рад* вам — именно вас я жаждал увидеть. Я был весьма серьезно болен — последствия мучительнейших душевных тревог. Присядьте на минутку, прошу вас”.

И он одарил меня комплиментом в несколько коротеньких рифмованных строчек по-французски.

“Где же Мод?” — спросила я.

“Мод, наверное, сейчас не ближе к Бартраму, чем к Элверстону, — сказал старый джентльмен. — Я убедил ее прогуляться и посоветовал нанести один визит, кажется, ей приятный. Полагаю, она послушала меня”.

“Как же *досадно!*” — воскликнула я.

“Бедная Мод будет очень расстроена, но вы утешите ее, когда посетите

нас, — ведь вы обещали... и я устрою вас со всем комфортом. Я буду счастлив, Моника, принять ваш будущий визит за доказательство нашего полного примирения. Ведь вы не откажете мне?”

“Нет, конечно, я с превеликой радостью приеду, — ответила я. — И хочу поблагодарить вас, Сайлас”.

“За что?” — спросил он.

“За ваше желание передать Мод под мою опеку. Я так обязана вам”.

“Должен сказать, Моника, что я ни в коей мере не предполагал обязывать *вас*”, — проговорил Сайлас.

Мне показалось, что он был готов впасть в одно из своих отвратительнейших настроений.

“Но я *признательна* вам... очень признательна вам, Сайлас, и вы не можете не принять мою благодарность”.

“Я счастлив, во всяком случае, тем, что завоевал ваше расположение, Моника. Мы наконец уразумели: только привязанность дает нам счастье. И как же прав святой Павел, предпочитающий любовь — этот закон на все времена! Привязанность, дорогая Моника, нетленна и, как таковая, божественна, богоданна а посему — счастьем исполнена и им одаривает”.

Меня всегда раздражала метафизика, кто бы ни погружался в нее, он или кто-то другой. Но я сдержалась и только спросила со своей обычной дерзостью:

“Хорошо, дорогой Сайлас, и когда же вы хотите, чтобы я приехала?”

“Чем раньше, тем лучше”, — сказал он.

“Леди Мэри и Илбури покинут меня во вторник утром. Я могу приехать днем если вторник подходит”.

“Благодарю вас, дорогая Моника. Надеюсь, к тому времени я буду осведомлен о планах моих недругов. Я сделаю унижительное признание, но я смирил гордыню. Возможно, случится так, что с исполнительным листом сюда войдут уже завтра и тогда — конец моим замыслам. Впрочем, — хотя и маловероятно, — мне отпущено еще три недели, как уверяет мой поверенный. Он свяжется со мной завтра утром, и тогда я буду просить вас назвать ближайший день. Если нам отпущено две недели покоя, я напишу, и вы назначите день”.

Потом он осведомился, кто меня сопровождает, и очень сетовал, что не в состоянии спуститься вниз и принять посетителей. Он предложил откусать у него — с улыбкой Рейвнсвуда<sup>{41}</sup> — и передернул плечами, но я отказалась, сообщив, что у нас всего несколько минут, а мои спутники, в ожидании меня, прогуливаются возле дома.

Я спросила, скоро ли должна вернуться Мод.

“До пяти часов не вернется”.

Он предполагал, что мы можем встретить его подопечную на обратном пути в Элверстон, но не был уверен, заметив, что девичьи планы так переменчивы. И тогда — ведь сказать было больше нечего — настало время нежнейшего прощания. Я верю, что он несколько не лгал, описывая свои осложнения с законом. Но как он мог — если только его не ввела в обман та ужасная женщина — с такой безоблачной улыбкой говорить мне страшнейшую ложь о своей подопечной, о вас, Мод, я не представляю!»

Тем временем я подала голос из постели и перепугала как мадам, которая скользила из угла в угол, прислушиваясь, изредка перешептываясь с Мэри, так и саму старушку Мэри внезапным вопросом:

— Чей экипаж?

— Что за экипаж, моя дорогая? — поинтересовалась Куинс, не отличавшаяся, в силу своего возраста, острым слухом.

— Это доктор Жёлс. Он приехал осмотреть ваш дядя, мой миленьки, — сказала мадам.

— Но я слышу женский голос, — проговорила я, садясь в кровати.

— Нет, мой миленьки, там один доктор, — утверждала мадам. — Он приехал к ваш дядя. Говорю вам, он сходит с экипаж. — И она притворилась, что наблюдает за доктором.

— Экипаж отъезжает! — воскликнула я.

— Да, отъезжает, — эхом отозвалась она.

Но я соскочила с кровати и посмотрела в окно через ее плечо, прежде чем она успела меня заметить.

— Это леди Ноулз! — закричала я и бросилась открывать окно. Я тщетно дергала шпингалет и кричала: — Я здесь, кухня Моника, боже мой! Кухня Моника! Кухня Моника!

— Ви безумны, мисс, назад! — взревела мадам. Будучи сильнее, она пробовала меня оттолкнуть.

Но я видела, как освобождение... спасение, такое близкое, ускользает, и с удесятеренными отчаянием силами рванулась к окну. Я забила в него руками, закричала:

— Спасите... спасите! Здесь, здесь я, здесь! Кухня, кухня, о, спасите же!

Мадам схватила меня за руки, я вырывалась. Стекло было разбито, и я пронзительно кричала, чтобы остановить экипаж. Француженка, злобная, разъяренная, как фурия, казалось, была готова меня убить.

Но она не могла меня запугать... Я неистово кричала, видя, как экипаж

быстро катил прочь, видя шляпку кухни Моники, увлеченно говорившей о чем-то со своей vis-à-vis.

— О-о-о! — кричала я в истерике, а мадам, с яростью такой же невероятной, каким было овладевшее мною отчаяние, преодолела мое сопротивление, оттеснила меня к кровати, усадила и удерживала силой; она глядела сверху мне в лицо, фыркая и задыхаясь.

Кажется, тогда я узнала что-то о муке безумия.

Помню лицо бедной Мэри Куинс, выражавшее ужас и изумление. Она стояла, заглядывая через плечо мадам, и вскрикивала:

— Что такое, мисс Мод? Что такое, моя дорогая? — Потом Мэри энергично кинулась разжимать руки мадам, державшие мои железной хваткой, и завопила: — Вы сделали детке больно! Отпустите ее... отпустите ее!

— Разумеется. Какой глупи старюк, ви, Мэри Квинс! Она безумны, наверно. Она помешалась.

— О Мэри, кричите в окно! Остановите же экипаж! — взывала я к ней.

Мэри выглянула в окно, но, конечно, уже ничего не увидела.

— И почему не останавливать? — глумилась мадам. — Кричите: кучер, форейтор! А где там лякей на запятки? Bah! Elle a le cerveau mal timbré<sup>[105]</sup>.

— О Мэри, Мэри, он уехал... уехал? Его уже нет? — вскричала я и кинулась к окну. Я прижималась лицом к стеклу, я напрягала глаза... Потом я обернулась к мадам: — О жестокая, жестокая и злобная женщина! Зачем вы сделали это? Зачем? Почему вы преследуете меня? Что вы *выиграете* от моей гибели?

— Гибель? Par bleu!<sup>[106]</sup> Ma chère, ви слишком скор в речах. Разве не так, Мэри Квинс? То был экипаж доктора — с миссис Жёлс и с молядой человек, их отприск, котори без сдыда пялили глас в окна, а мадемуазель, она в такой возмутительни дезабилье показиваль себя и стекла кольотиль. Некрасиво, так некрасиво, Мэри Квинс, ви разве не думайте?

Теперь я в полном отчаянии сидела на кровати и плакала. Я не желала спорить, возражать. О, зачем спасение было так близко и не пришло! Я плакала, ломала руки и, подняв глаза, забылась в бессвязной мольбе. Я не думала ни о мадам, ни о Мэри Куинс, ни о ком-то еще — просто беспомощно шептала про свою муку Господу!

— Не ожидаля подобни глупость! Вижу, ви enfant gâté<sup>[107]</sup>. Моя дорогая дьетка, что ви *хотель сказать* с такой непонятый речь и действий? Зачем виставляль себя в окно в такой дезабилье для родни доктора в

экипаже?

— Это была леди Ноулз... моя кузина. О кузина Моника! Вы уехали... уехали... уехали!

— А если экипаж леди Ноулз, там же были кучер, лякей на запятки. Чей бы ни экипаж, там был молядой жентльмен. Если леди Ноулз экипаж, если не доктора — *еще страшнее!*

— Не важно... всему конец. О кузина Моника, вашей бедной Мод — к кому ей склониться? И никто... никто ей не поможет?

В тот вечер мадам, спокойная, благожелательно настроенная, вновь появилась у «дорогой дъетки». Мадам застала меня по-прежнему подавленной и безучастной.

— Кажется, Мод, есть новость, хотя я при сомнении.

Я подняла голову и тоскливо взглянула на нее.

— Кажется, есть письмо с *пляхой* новостью от поверенного из Лондона.

— А! — воскликнула я, наверное, тоном совершенного безразличия.

— Но если так, дорогая Мод, ми уезжаем спешно — ви и я, — чтобы быть с мисс Миллисент во Франс. *La belle France!*<sup>[108]</sup> Ви будете много любить ее! Там нам будет чюдесно. Ви не вообразите, там такой число славни девушка. Они все безюмно любят меня, ви будете просто чарёваны.

— Когда мы уезжаем? — спросила я.

— Не знаю. Но я пришля с коробка одеколон, котори прислан сегодня вечером, и ваш дядя, он положил письмо и сказал: «Удар обрюшен, мадам! Моя племяннис должна подготовиться». Я спросила: «К чему, мосье?» *Раз и еще раз.* Но он не ответил. Я уверен, это un grosés<sup>[109]</sup>. Они разорили его. *Eh bien*, моя дорогая, ми покинем это место, такой triste, сразу же. Я так рядуюсь. Здесь будто бы un cimetière!<sup>[110]</sup>

— Да, мне хотелось бы уехать отсюда, — сказала я, садясь в кровати, и глубоко вздохнула. Я уже не питала к мадам никакой обиды. Мои чувства омертвели — это было, наверное, истощение, я впала в протрацию.

— Я найду, зачем, и появлюсь у него опять, — сказала мадам, — я еще разюзною у него про что-то, а тогда — опять к вам буду, через половин часа.

Она ушла. Но не вернулась через полчаса. Меня томил Бартрам. После отъезда Милли он казался мне обиталищем злых духов, и вырваться отсюда любым путем было бы несказанным благом.

Прошло еще полчаса, потом еще полчаса, и я ужасно разволновалась. Я послала Мэри Куинс к лестнице — повидать мадам, которая, как я подозревала, сновала туда-сюда: из дядиной комнаты и обратно.

Мэри вернулась и сообщила, что видела старуху Уайт и та сказала, что мадам вроде бы полчаса как легла.

## Глава XXIV

### Внезапный отъезд

— Мэри, — сказала я, — Мэри, нестерпимо хочется узнать, что выяснила мадам... Она представляет, в каком я состоянии, и не потрудилась заглянуть ко мне. Вы слышали, что она сообщила?

— Нет, мисс Мод, — ответила Мэри Куинс, поднялась и подошла ближе.

— Она думает, что мы должны уехать во Францию незамедлительно и, возможно, никогда уже не вернемся сюда.

— Слава Богу, ежели так, мисс, — проговорила Мэри с горячностью, ей не свойственной, — потому что тут одно невезение, я уж не чаю видеть вас тут здоровой, счастливой.

— Мэри, возьмите свечу и поднимитесь на верхний этаж к мадам в комнату — я обнаружила ее случайно однажды вечером.

— Но Уайт не позволяет нам подниматься на верхний этаж.

— Забудьте про Уайт, Мэри, я велю вам идти. Вы должны попробовать расспросить мадам. Ведь я не усну, пока не узнаю.

— А в какой стороне ее комната? — спросила Мэри.

— Где-то в *той*, — показала я. — Не могу сосчитать, сколько поворотов, но думаю, вы найдете ее, если, как поднимитесь, пройдете галерею, что по левую руку, до конца, потом выйдете в ту, что с ней скрещивается, и по правую руку минуете четыре двери, а может, пять. Я уверена, мадам услышит, если вы ее окликнете.

— Но скажет ли она мне — она *такая* чудная, мисс... — засомневалась Мэри.

— Вы передадите ей то, что я вам открыла, и, когда она поймет, что вы осведомлены обо всем, она, наверное, скажет — если только действительно не упивается моими муками. А если не скажет, возможно, вы уговорите ее спуститься ко мне на минутку. Попробуйте, дорогая Мэри, нам нечего терять.

— Вам тут одной не по себе будет, мисс, пока я-то стану искать мадам, — сокрушалась Мэри, зажигая свечу.

— Ну что ж, Мэри. Идите. Если я узнаю, что мы уезжаем, я, наверное, смогу встать, я буду танцевать, я запою. Я не в состоянии выносить эту неопределенность дольше.

— Но что как старуха Уайт еще не легла? Тогда я вернусь, пережду

тут, чтоб она не мешалась, — проговорила Мэри. — Я уж постараюсь побыстрее, постараюсь. Капли и нюхательная соль — вот они, у вас под рукой.

Кинув на меня озабоченный взгляд, она тихонько вышла и не вернулась сразу же, из чего я заключила, что она беспрепятственно смогла подняться по лестнице — на поиски мадам.

Первое незначительное беспокойство рассеялось, но я вспомнила, что я совсем одна в такой час: подступил страх, постепенно охвативший меня столь сильно, что я уже поражалась своему безрассудству — отослать компаньонку! И наконец, в неопишемом ужасе, я забилась в дальний угол кровати, прижалась к стене и завернулась с головой в покрывало, оставив лишь крохотную щелку, — в нее и глядела.

Через какое-то время дверь тихонько открылась.

— Кто там? — вскричала я в полном ужасе, не зная кого и ждать.

— Я, мисс, — прошептала Мэри Куинс, к моему невыразимому облегчению. С трепетавшей свечой в руке, с перекошенным, бледным лицом Мэри скользнула в комнату и заперла за собой дверь.

Не помню, как это случилось, но я обнаружила, что уже стою на полу, прижавшись к Мэри, вцепившись в нее обеими руками.

— Ради бога — в чем дело? Мэри, вы перепуганы насмерть! — вскричала я.

— Нет, мисс, — еле слышно проговорила Мэри, — не так чтобы очень...

— Я вижу по вашему лицу... В чем дело?

— Дайте я сяду, мисс. Я расскажу вам, что видала, только что-то у меня голова кружится. — Мэри опустилась на стул возле моей кровати. — Ложитесь, мисс, простудитесь. Ложитесь в постель, я расскажу вам. Тут не много-то рассказывать.

Я забралась в постель и, глядя на перепуганное лицо Мэри, сама почувствовала жуткий страх.

— Ради бога, Мэри, говорите же!

И, опять уверяя меня, что «не много-то рассказывать», она принялась повествовать пространно, несколько путано и сообщила следующее.

Она закрыла дверь моей комнаты, подняла свечу высоко над головой и оглядела коридор: никого не заметив, она быстро поднялась по лестнице. Свернула налево в галерею и задержалась на миг у следующей, пересекавшей ее, потом вспомнила мои указания и повернула направо.

Двери там были с обеих сторон, а она забыла спросить у меня, с какой стороны дверь мадам. Мэри открывала двери наугад. В одной комнате

бедную Мэри перепугала летучая мышь, едва не загасившая ее свечу. Мэри прошла еще немного, остановилась, душа у нее уже была в пятках, но вдруг где-то впереди за дверью ей почудился голос мадам.

Мэри постучала в ту дверь и, не получив ответа, но слыша, как мадам говорила с кем-то, вошла в комнату.

На камине горела свеча, другая, тоже зажженная, была вставлена в фонарь из конюшни, висевший у окна. Мадам сидела возле камина и без умолку говорила, повернувшись лицом к окну, с которого сняли раму со стеклами. Дикон Хокс, Самиэль с деревянной ногой, одной рукой придерживал эту раму, прислоненную в углу оконной ниши. Там был третий — в наглухо застегнутом сюртуке, с инструментами как у стекольщика под мышкой, и Мэри, онемевшая от ужаса, сразу узнала в нем Дадли Руфина.

— Это был он, мисс, точно — как я сижу тут! И вот они в три пары глаз уставились на меня. Ведать не ведаю, откуда я набралась науки, но что-то мне подсказывало, чтоб я держалась, будто не знаю там никого, кроме мадам. Я так уж вежливо мадам кланяюсь и прошу: нельзя ли словечко сказать ей в коридоре.

Мистер Дадли притворился, что ему позарез нужно в окно выглянуть, и повернулся ко мне спиной, а я глаз не свожу с мадам. И тогда она говорит: «Стекло у меня разбилось, они и вставлять, Мэри». Говорит, а сама идет ко мне быстренько, подошла и вывела за дверь, да все говорила, говорила.

А как оказались мы в коридоре, она, закрывая дверь, взяла у меня свечу и держала у себя за головой, так что свеча мне в лицо светила, она ж давай меня глазами сверлить и опять завела на своем языке тарабарском, мол, два стекла разбиты и вот за людьми послала, чтоб вставили.

Я перепугалась, так перепугалась, увидев мистера Дадли, — я-то не верила вам раньше, — перепугалась, что не знаю, как это я смотрела ей в глаза и виду не показывала. Я была вся холодная, как вон камин, а глаза у нее такие... такие... Но я ни разу не моргнула, и она, наверное, подивилась — неужто я приняла ее рассказы за чистую правду! Ну вот я и передала ей вашу просьбу, а она сказала, что больше ничего не узнала, но точно думает, что тут нам осталось прожить дней не много, сказала, что сообщит вам, ежели еще что-то услышит сегодня от вашего дяди, когда понесет ему суп через полчаса.

Как только ко мне вернулся дар речи, я спросила у Мэри, уверена ли она, что человек в сюртуке был Дадли, и она промолвила:

— На Библии поклянусь, мисс.

Теперь я уже не ждала, умирая от нетерпения, прихода мадам, теперь меня бросало в дрожь от одной этой мысли. Кто мог сказать, с кем она войдет, когда ей откроют дверь?

Дадли, как только оправился от удивления, отвернулся, явно не желая быть узнанным. Дикон Хокс смотрел на Мэри мрачно и пристально. Но оба, возможно, надеялись, что она их не узнает, потому что было плохо видно: свеча на камине стояла высоко, а фонарь бросал пятна света на стены и на пол, так что лица оставались в тени.

Что бандит Хокс делал в доме? Почему там был Дадли? Можно ли вообразить более зловещую комбинацию! Я ломала мою бедную голову над деталями рассказа Мэри Куинс, но не понимала, что затевали эти люди. Не знаю ужаснее муки, чем непрерывное раздумье над загадками, таящими угрозу.

Вам нетрудно представить, как текли для меня часы той ночи, как стучало мое сердце при каждом звуке, чудившемся за дверью.

Но настало утро и принесло некоторое успокоение. Очень рано у меня появилась мадам де Ларужьер. Она смотрела мне в глаза мрачно и испытующе, но не упомянула о том, что к ней заходила Мэри. Возможно, мадам ожидала от меня каких-то вопросов и, не услышав их, решила, что лучше промолчать о вчерашнем.

Она появилась лишь затем, чтобы сказать, что больше ничего не разузнала, но собирается готовить шоколад дяде и, как только отнесет и поговорит с дядей, вернется и передаст мне все, что узнает.

Через какое-то время раздался стук в дверь, и старуха Уайт объявила, что дядя желает видеть Мэри Куинс. Мэри вбежала обратно раскрасневшаяся, в большом волнении и пересказала распоряжение дяди: мне следует оставить постель, за полчаса одеться в дорогу и после этого сразу же спуститься к нему в комнату.

Известие было приятным, но вместе с тем ошеломляло. Я радовалась. И не могла собраться с мыслями. Выпрыгнув из кровати, я взялась за свой туалет с энергией, которой сама от себя не ожидала. Добрая Мэри Куинс укладывала мои баулы и спрашивала, что я беру с собой, а что нет.

Сопровождает ли меня Мэри? Дядя не сказал об этом ни слова, и я боялась, что его молчание означало: она остается. Утешало, однако, то, что разлука будет недолгой, — я не сомневалась. И я скоро увижу Милли, к которой я привязалась даже больше, чем думала при расставании! Как бы то ни было, я испытывала невыразимое облегчение от того, что покину Бартрам-Хо — эти мрачные непреодолимые стены, эти отданные привидениям тайники и этих ужасных людей, накануне оказавшихся в

такой опасной близости от меня.

Я слишком трепетала перед дядей и никак не могла появиться у него позже оговоренного получаса. Я вошла к дяде в кабинет, сопровождаемая вечно недовольной старухой Уайт в высоком чепце, тень от которого падала и мне на лицо. Старуха оставила меня и закрыла за собой дверь.

В комнате уже сидела мадам де Ларужьер, одетая в дорогу, с головой укутанная в черную накидку из плотного кружева. Дядя встал — худой, почтенный. Взгляд его был холоден. Дядя избежал рукопожатия — он приветствовал меня поклоном выражавшим скорее неприязнь, чем расположение. Он так и остался стоять, опираясь рукой на ящик с письменными принадлежностями и тем поддерживая свое согбенное тело. Он не сводил с меня своих безумных фосфоресцирующих глаз, его устрашающие, темные, уже мною описанные брови были сурово нахмурены.

— Вы присоединитесь к моей дочери в пансионе во Франции, мадам де Ларужьер будет сопровождать вас, — проговорил дядя монотонно, с вымеренными паузами, как лицо, диктующее важное сообщение секретарю. — Мисс Куинс прибудет со мной — или же одна — через неделю. Нынешним вечером вы будете в Лондоне, откуда завтра вечером отправитесь в Дувр и пересечете пролив на почтовом судне. Сейчас вы сядете и напишете письмо вашей кузине Монике, которое я прочту, прежде чем позабочусь доставить по адресу. Завтра вы напишете леди Ноуллз из Лондона и сообщите, как проделали часть пути, а также добавите, что у вас не будет возможности послать ей письмо из Дувра, поскольку сразу же по прибытии вы садитесь на судно, и пока мои дела как-то не уладятся, вы не сможете написать ей из Франции, — для моей безопасности крайне важно, чтобы о нашем местонахождении никто не догадывался. Сведения, впрочем, она получит через моих поверенных — Арчера и Слея; но я думаю, мы скоро вернемся. И будьте любезны ваше второе письмо — из Лондона — показать мадам де Ларужьер, имеющей от меня указания проследить, чтобы в письме не содержалось никакой *клеветы* на меня. А теперь сядьте.

Эти неприятные слова еще звучали у меня в ушах, когда я была вынуждена повиноваться.

— Слушайте внимательно, — велел он. — Передадите то, что я говорю, в своих выражениях. Надвинувшаяся гроза, о которой стало известно утром, — взыскания в соответствии с исполнительным листом... запомните... — и он повторил слова по слогам, — гроза обрушится на этот дом сегодня, в крайнем случае завтра, что вынуждает меня, нарушая планы,

отправить вас во Францию незамедлительно. Вы отбываете с сопровождающим лицом. — Мадам, почувствовав, что ее достоинство ущемили, заерзала на стуле. — *С сопровождающим лицом*, — повторил он голосом, в котором слышалось неудовольствие. — И можете, если вы столь любезны, — но я не домогаюсь подобного жеста справедливости, — можете сказать, что к вам проявляли здесь доброту, поелику возможную в несчастных моих обстоятельствах. Это все. У вас пятнадцать минут. *Пишите!*

Я послушно записала за ним. В том истеричном состоянии, в котором я пребывала, я не осмелилась роптать, а несколько месяцев назад я бы, вероятно, возмутилась, потому что его поведение оскорбляло и пугало. Но я закончила, к его удовольствию, письмо в означенные четверть часа, и он, опуская письмо, уже в конверте, на стол, сказал:

— Прошу, запомните, что эта леди не только сопровождает вас, но имеет право распоряжаться всем, что касается вашей поездки, и будет оплачивать все необходимые расходы. Вы будете ей безоговорочно подчиняться. Экипаж ждет у двери.

Произнеся это, еще раз мрачно поклонившись со скороговоркой «я-желаю-вам-благополучного-и-приятного-путешествия», он отступил на шаг-другой, и я с какой-то грустью, но вместе с тем и облегчением вышла.

Мое письмо, как я узнала потом, леди Ноуллз получила вместе с письмом от дяди Сайласа, в котором он сообщал:

«Дорогая Мод уведомила меня, что написала Вам о последних событиях. Внезапное осложнение в моих печальных делах повлекло к столь же внезапным переменам у нас. Мод едет во Францию, чтобы присоединиться к моей дочери в пансионе. Я намеренно не упоминаю адрес, поскольку собираюсь поселиться по соседству с ними на время, пока пронесется гроза. Последствия моих печальных затруднений могут настичь меня и там, а поэтому я должен сейчас избавить Вас от беспокойства хранить секрет. Я уверен, Вы извините молчание девочки в течение недолгого срока, а возможно, и услышите о ней — от меня. Наша дорогая Мод сегодня утром пустилась en route<sup>[111]</sup> к месту назначения, очень сожалея — как и я, — что не смогла прежде нанести короткий визит в Элверстон, однако воодушевленная картинами новой жизни, ее ожидающей».

У двери, когда я вышла, я увидела Мэри Куинс, моего доброго старого

друга.

— Я еду с вами, мисс Мод?

Я залилась слезами и крепко обняла ее.

— Не еду... — горестно проговорила Мэри. — А ведь я никогда не расставалась с вами — с тех еще пор, как вы, вот, руки моей короче были-то. — И добрая старушка Мэри расплакалась вместе со мной.

— Но вы приедете в несколько дней, Мэри Квинс, — увещевала мадам. — Какой вы глупи! Что это — два-три день? Вах! Ерюнда!

Еще одно «прости» бедной Мэри Куинс, очень смущенной своей внезапной утратой... Почтительный и трепетный поклон от крошки дворецкого на ступеньках... Мадам, кричавшая в раскрытое окошко экипажа и поторапливавшая возницу, ведь у нас девятнадцать минут, чтобы добраться до станции... Понеслись! Решетка старого Кроула открылась перед нами. Я смотрела на отступавшую картину, на величавые деревья, великолепный, травленный временем особняк, и противоречивые чувства, сладкие и горестные, пробуждались, перемешивались в душе. Не была ли я слишком строга к обитателям этого старого дома моей фамилии? Не был ли дядя *справедливо* возмущен мною? Выпадут ли мне еще когда-нибудь столь восхитительные прогулки, которые совершали мы с дорогой Милли в этом диком и прекрасном лесу, темневшем вдали? У ворот Бартрама-Хо я заметила милую старушку Мэри Куинс, смотревшую нам вслед. И у меня опять потекли слезы. Я махала носовым платком из окошка, но вот уже только парковая ограда тянулась перед глазами, и мы быстро спускались с крутизны в лесистую долину, чем дальше, тем больше напоминавшую ущелье, а когда вновь выехали на дорогу, Бартрам-Хо виднелся туманным пятном деревьев и кровель, мы же были вблизи станции.

## Глава XXV

### Путешествие

В ожидании поезда я стояла на платформе, вновь обратив взгляд в сторону поросшего лесом Бартрамского нагорья; далеко-далеко за ним горная цепь, поднимавшаяся в лазурной дымке, скрывала милый моему сердцу Ноул, и моих утраченных отца и мать, и мое детство, ничем не омраченное, — кроме как встречей с этой сивиллой, которая ныне была рядом со мной.

В более счастливых обстоятельствах я, столь юная тогда, выражала бы бурный восторг от того, что впервые увижу Лондон. Но возле меня была мрачная Опека, своей бледной рукой сжимая мою; и в голове у меня звучал, не замирая, пугающий и предостерегающий голос, хотя слов я не могла разобрать... Мы пересекали залитый светом фонарей Лондон, следуя в Уэст-Энд, и ненадолго будоражащее чувство новизны и любопытство взяли верх над унынием, и я припала к окну, в то время как мадам, пребывавшая в благодушии, несмотря на утомительность долгого путешествия по железной дороге, визгливо выкрикивала топографические сведения, — ведь Лондон был для нее чем-то наподобие хорошо знакомой книжки с картинками.

— Это площадь Юстон, моя дорогая... площадь Рассел... Вот Оксфорд-стрит... Хеймаркет. Смотрите, это Опера, театр Ее Величества. Смотрите, сколько же экипаж в поджидании... — И так далее и так далее, пока мы не достигли узкой улочки, которая, как мадам сообщила, вела к Пиккадилли;<sup>[42]</sup> там мы остановились у особняка — на самом же деле то были меблированные комнаты, — и я порадовалась, что проведу покойную ночь.

Испытывая особую усталость, знакомую путешественникам по железной дороге, запыленная, чуть озябшая, с резью в глазах от слишком длительного напряжения, я молча поднималась по лестнице за нашей суетливой и говорливой хозяйкой, заученно пересказывавшей историю дома, упомянувшей имя прежнего знатного владельца и не преминувшей подчеркнуть, что нынче каждый год в парламентскую сессию эти прелестные гостиные занимает епископ Рош-ан-Копле. Наконец мы оказались в комнате с двумя кроватями.

Я бы предпочла отдельную спальню, но, слишком утомленная,

удрученная, даже и не заводила об этом речь.

За чаем мадам, будто титан, восстановивший силы, воодушевилась, она весело болтала и распевала. В конце концов она заметила, что меня одолевает сон, и посоветовала отправляться в постель, сама же она собиралась повидать жившую по соседству «мадемуазель Сент-Элуа, ее дорогой стари друг, котори, верно, дома и будет в обиде, если она не появится на крѣхотни минутка».

Меня мало беспокоило, чем она займется, и я, довольная тем, что избавлюсь от нее хоть ненадолго, вскоре уснула.

Я видела, как она — не знаю, который был час, — скользила в комнате, будто образ из сновидения, и снимала одежду.

Утром она завтракала в постели, а я, к моей радости, имела в безраздельном распоряжении гостиную, где, сидя за завтраком, удивлялась тому, что она не досаждает мне, и уже мысленно допускала возможность относительно спокойного путешествия.

Наша хозяйка одарила меня пятью минутами своего драгоценного времени. Она вела речь в основном о монахинях и монастырях, о давнем знакомстве с мадам, и я решила, что ей некогда довелось заниматься своего рода ремеслом, причем, несомненно, выгодным, — сопровождать молодых леди в духовные заведения на континент. И, хотя я не совсем понимала тон, в котором она обращалась ко мне, потом мне часто приходила мысль, что мадам, должно быть, представила меня как молодую особу, избравшую святое служение Господу.

Когда хозяйка удалилась, я сидела и, скучая, смотрела в окно на редко проезжавшие экипажи, на модно одетых немногочисленных пешеходов, смотрела и удивлялась: неужели эта тихая улица действительно одна из главных артерий города, проходящих вблизи самого сердца шумной столицы?

Наверное, мои нервы были крайне угнетены, потому что я не испытывала ничего, кроме безразличия, ко всей этой новизне, ко всем чудесам на свете и ни за что бы не пожелала оставить унылый покой у моего окна ради прогулки по роскошным улицам и знакомства с великолепными дворцами вокруг.

Мадам вышла в гостиную к часу и, увидев меня в унынии, не стала настаивать, чтобы я сопровождала ее в поездке по городу.

В тот вечер после чая мы вдвоем сидели в наших комнатах, и она завела очень странный разговор — тогда мне непонятный, но получавший довольно точный смысл в свете последовавших событий.

Два-три раза в тот день мадам была готова сказать мне нечто

чрезвычайно важное и не спускала с меня своего холодного, злобного, испытующего взгляда.

У нее, в отличие от других, под гнетом тревоги лицо не выражало ни печали, ни озабоченности — одну только злобу. Огромный рот ее был плотно сжат, уголки губ были опущены вниз, а глаза мрачно пылали.

Наконец она внезапно спросила:

— Ви умеете быть благодарни, Мод?

— Думаю, да, мадам, — ответила я.

— И как ви покажете благодарность? Например, много ви сделаете для той особ, котори подвергается *gisque*<sup>[112]</sup> ради вас?

Меня сразу же поразила мысль, что мадам намекает на бедную Мэг Хокс, в чьей верности, несмотря на предательство или трусость ее возлюбленного, Тома Брайса, я никогда не могла усомниться, и я насторожилась.

— Мне, слава Богу, не представлялось случая оплачивать подобную услугу, мадам. Кто в настоящий момент подвергает себя опасности ради меня? Что вы имеете в виду?

— Вот ви, например, ви хотель во Франс, в пансион? Может, ви лючше хотель какой-то дрюгой устройство?

— Конечно, я предпочла бы иначе устроиться, но я не вижу смысла говорить об этом, это невозможно, — ответила я.

— Какой же дрюгой устройство ви предпочли бы, дьетка? — выспрашивала мадам. — Наверно, ви лючше бы поехаль к леди Ноуллз?

— Мой дядя пока не остановил свой выбор на этой возможности, а без его согласия этого делать нельзя.

— Он никогда не даст согласие, дорогая дьетка.

— Но он дал согласие... пусть не сразу — в скором времени, когда его дела поправятся...

— *Lanternes!*<sup>[113]</sup> Дела никогда не поправится, — сказала мадам.

— Во всяком случае, сейчас я должна ехать во Францию. Милли, кажется, очень довольна, и я надеюсь, мне тоже понравится там. Как бы то ни было, я рада покинуть Бартрам.

— Но ваш дядя, он вернет вас обратно, — проговорила сухо мадам.

— Сомнительно, что он сам вернется в Бартрам, — возразила я ей.

— О, — сказала мадам, — ви считаете, я ненавижу вас. Ви страшно заблюждаетесь, моя дорогая Мод. Я, напротив, весь ваш интерес, да-да, дорогая дьетка.

И она положила свою большую руку, с суставами, обезображенными

застарелым артритом, на мою. Я посмотрела ей в лицо. Она не усмехалась. Наоборот, уголки плотно сжатых губ, как и прежде, горестно повисали, я встретила взгляд ее ужасных, как бездна, глаз.

Мне казалось, ее лицо не может быть отвратительнее, чем в моменты, когда она жалила меня ядовитой насмешкой, но этот потухший взгляд, эта смертная маска были страшнее.

— Что, если б я отвезла вас к леди Ноуллз — под ее опека? Как вы тогда поступили бы с бедной мадам? — спросил темный призрак.

Моя душа затрепетала при этих словах. Я заглянула в непостижимое ее лицо, но почувствовала только страх. Проговори она те же слова двумя днями раньше, я, наверное, предложила бы ей половину моего состояния. Но обстоятельства изменились. Я преодолела отчаяние. Урок с Томом Брайсом еще был свеж в памяти, и мое недоверие к ней достигло предела. Я видела перед собой лишь искусительницу и обманщицу. Я сказала:

— Вы подразумеваете, мадам, что моему опекуну нельзя верить, что я должна бежать от него и вы — вы действительно поможете мне спастись?

Как видите, я подняла против мадам ее же оружие. Я пристально смотрела ей в лицо, пока говорила. Она, открыв рот, отвечала мне изумленным взглядом: мы сидели, в молчании, и, будто загипнотизированные, смотрели друг на друга.

Наконец она закрыла рот и, с появившейся во взгляде жесткостью, тихо проговорила:

— Я считаю, Мод, вы — хитри злючка.

— Благоразумие — это не хитрость, мадам, и в моей просьбе к вам говорить ясным языком нет никакого злого умысла, — ответила я.

— Значит, моя благоразумна дьетка, мы тут вдвоем сидим за партией шахмат и решаем, кто кого уничтожит, — так?

— Я не позволю вам уничтожить меня, — возразила я, неожиданно вспыхнув.

Мадам встала и потерла рот рукой. Она казалась мне каким-то персонажем ночного кошмара. Я испугалась.

— Вы хотите обидеть меня! — вскричала я, едва ли понимая смысл прозвучавших слов.

— Если бы я хотела, то вы заслужили. Вы страшно злой, *ma chère*, или, может, просто приглюпи.

Послышался стук в дверь.

— Войдите! — сказала я с чувством облегчения.

Появилась горничная.

— Письмо, мэм, — проговорила горничная, протягивая его мне.

— Это *мне!* — прорычала мадам и схватила письмо.

Я заметила на конверте почерк дяди и фелтрамский штемпель.

Мадам сломала печать и стала читать. В письме было, наверное, всего несколько слов, потому что она только кинула взгляд на листок и тут же перевернула его, тут же заглянула в конверт, а потом опять вернулась к прочтенным строчкам.

Потом она сложила листок, провела ногтями по сгибу и в нерешительности посмотрела на меня.

— Ви — неблягодарни глупишка! Я нанят мосье Руфин и, разумеется, честен с моим наниматель. Я не желаю говорить с вами. *Вот*, ви можете прочесть.

Она кинула письмо на стол передо мной. В нем были только эти строки:

«Бартрам-Хо, 30 января 1845 г.

Дорогая мадам,

будьте любезны сегодняшним вечерним поездом в половине девятого отправиться в Дувр. Постели приготовлены.

С самым искренним почтением

*Сайлас Руфин».*

Не могу сказать, что в этом коротком послании испугало меня. Не сделанная ли с нажимом черта под словом «Дувр», такая неуместная и наполнявшая меня пусть и смутными, но ужасавшими подозрениями, что это условный знак?

Я спросила мадам:

— Почему слово «Дувр» подчеркнуто?

— Я знаю не больше, чем ви, глупышка. Как я скажу вам, что был в голове у вашего дяди, когда он сделал этот пометка?

— Разве здесь нет какого-то особого смысла, мадам?

— И ви смеете так говорить? — воскликнула она, уже больше напоминая прежнюю мадам. — Ви или насмехаетесь надо мной, или совсем стали глупи!

Она позвонила, потребовала счет, повидалась с нашей хозяйкой; я же тем временем спешно готовилась в дорогу.

— Бросьте баулы — они придут в польни порядок за нами. Идемте, дьетка, у нас только половин часа до поезд.

Никто так не суетился, как мадам, если выпадал случай. У дверей ждал кеб куда она меня торопливо и усадила. Предполагая, что она даст все нужные указания вознице, я откинулась на подушки, очень утомленная, уже сонная, хотя час был еще не поздний, и слышала, как она визгливо прощалась с подножки экипажа видела, как хлопала на ветру ее черная накидка, будто крылья ворона, кружившего над добычей.

Она села, и мы быстро покатали в потоке света, лившегося от фонарей и от витрин все еще открытых магазинов: везде был газ, везде сновали кебы, омнибусы и личные экипажи, наполнявшие улицы грохотом. Я, слишком утомленная, подавленная, почти не смотрела по сторонам. Мадам, наоборот, до самого вокзала ехала, высунув голову из окна.

— Где же остальные баулы? — спросила я, когда мадам поставила меня смотреть за ее баулом и моей дорожной сумкой в здании вокзала.

— Коридорный доставит в дрюгой кеб. Все будет в польни порядок с нами в поезд. Смотрите за этими два — ми возьмем их с собой в вагон.

И мы зашли в вагон; за нами внесли баул мадам и мою сумку. Мадам стояла в дверях и, наверное, отпугивала желавших сесть с нами пассажиров своим громадным ростом и резким голосом.

Наконец прозвенел колокол, она заняла свое место; дверь хлопнула, паровоз загудел, и мы тронулись.

## Глава XXVI

### *Наша спальня*

Я провела ужасную ночь и вновь не смогла выспаться. Но порою я думаю, что мне в чай тогда что-то подмешивали, от чего меня одолевала неотвязная дремота. Ночь была очень темная, безлунная, и звезды скоро спрятались за облаками. Мадам, закутавшись в плед, сидела молча и размышляла. Я в своем углу, тоже закутанная, пыталась побороть сон. Мадам же явно решила, что я заснула, потому что вытащила из кармана кожаную фляжку и поднесла ко рту, распространив вокруг запах бренди.

Но напрасно я противилась расслабленности, исподволь овладевшей мною, — вскоре я уже погрузилась в глубокий сон без сновидений.

Меня разбудила мадам, вновь крайне суетливая. Она уже вынесла вещи и погрузила в поджидавший нас экипаж. Была ночь — все такая же темная, беззвездная. Я лишь наполовину проснулась. В сопровождении проводника из вагона, который нес наши пледы, мы прошли по освещенной двумя газовыми рожками платформе в самый ее конец, к маленькой дверке, и вышли.

Помню, мадам, вопреки обыкновению, не пожалела проводнику чаевых. Фонари на экипаже бросали загадочный свет; окунувшись в него на миг, мы заняли наши места.

— Пошел! — крикнула мадам и рывком подняла окно. Нас объяли тьма и тишина — чего уж лучше для размышлений.

Сон не восстановил мои силы, я чувствовала озноб и слабость, меня по-прежнему одолевала дремота, но я уже не могла заснуть.

Я клевала носом, то сознавая, где я, то почти нет; когда я пыталась представить себе Дувр, в голове плыли даже не мысли — какие-то грезы; но, слишком истомленная и вялая, я не задавала вопросов мадам, просто, откинувшись на подушки, смотрела на серые, под светом фонарей экипажа, живые изгороди, убегавшие назад, в темноту.

Мы свернули с большой дороги под прямым углом и остановились.

— Сойди и толкни — открыто! — крикнула мадам вознице в окно.

Наверное, мы миновали ворота, потому что, когда опять покатали, мадам проревела, обращаясь ко мне:

— Добрались до гостинис!

Потом вновь была темнота и тишина, вновь беспамятство дремы, а очнувшись, я обнаружила, что экипаж стоит и мадам с низких ступенек у

раскрытой двери расплачивается с возницей. Она сама внесла свой баул и мою сумку в дом. Я, сморенная усталостью, не думала об остальном нашем багаже.

Выходя из экипажа, я посмотрела направо, налево, но ничего не разглядела, кроме пятен света от фонарей на мощеной площадке перед дверью и на стене.

Мы вошли в холл, или в вестибюль, мадам затворила и, кажется, заперла дверь. Нас обступила крошечная тьма.

— Где свет, мадам... где люди? — спросила я, очнувшись.

— Четверти час, дьетка, но свет — всегда вот он. — Она пошарила где-то сбоку и через мгновение чиркнула шведской спичкой, а потом зажгла свечу.

Мы были в каменном вестибюле, справа виднелся сводчатый проход, слева во тьму уходили каменные стены галереи; винтовая лестница, достаточно широкая — мадам уже тащила по ней наверх свой баул, — начиналась под аркой в правом углу.

— Идемьте, дорогая дьетка, берите свой сумка... не забудьте плед, он вас не обременит.

— Но куда мы идем? Здесь никого! — сказала я, с удивлением оглядываясь вокруг. Странная какая-то была гостиница.

— Не важно, моя дорогая дьетка. Меня здесь знают и всегда приготовят мне мой комната, когда я известил письмом. Идите за мной втихомольк.

И она стала подниматься со свечой в руке. Лестница была крутая, с протяженными маршами. На площадке третьего этажа мы свернули в длинный мрачный коридор. Мы не слышали ни единого звука и никого не видели, пока поднимались по лестнице.

— Voila!<sup>[114]</sup> Вот она, мой дорогой стари комната. Входите, дражайший Мод.

И я вошла. Комната оказалась просторной, с высоким потолком, но была запущенная и унылая. Изножем к окну стояла высокая кровать с пологом темно-зеленого плюша или бархата, пыльным и напоминавшим погребальный покров. Скучная мебель была старой, на полу возле кровати темнел прямоугольник вытертого ковра. В этой большой и мрачной комнате было холодно, будто в склепе, вид у нее был нежилой, но я заметила в камине золу. Неверный свет нашей свечи из бараньего жира усугублял гнетущее впечатление. Мадам поместила свечу на камин, заперла дверь и положила ключ в карман.

— Я всегда делаю так в *гостинис*, — сказала она, подмигнув мне. А

потом с продолжительным «о-о-о-ох», выразившим усталость и облегчение, она опустилась на стул. — Ми здесь наконец! — проговорила она. — Я обрадована. *Это* — ваша кровать. *Моя* — в гардеробной.

Она встала, взяла свечу; я последовала за мадам в гардеробную. Убогая складная кровать, стул и стол составляли всю ее меблировку; это был скорее чулан, чем гардеробная, не отделявшийся даже дверью от комнаты, в которой стояла кровать с пологом. Мы вернулись туда, и я, истомленная, изумленная, присела, зевая, на кровать.

— Надеюсь, нас вовремя разбудят к отходу судна, — сказала я.

— О да, никогда не подводил... — не поднимая глаз от своего баула, проговорила она, поглощенная расстегиванием ремней.

Какой бы непривлекательной ни казалась мне моя постель, я хотела поскорее лечь и, совершив необходимое путешественнице омовение, наконец улеглась, но прежде добросовестно воткнула мою булавку-амулет с сургучной головкой в валик кровати.

От недремлющего ока мадам ничего не могло укрыться.

— Что такой, дорогая дьетка? — спросила она, подошла и стала разглядывать цыганский амулет... головку булавки, которая казалась крохотной божьей коровкой, опустившейся ко мне на постель.

— Ничего... амулет... причуда. Прошу вас, мадам, позвольте мне спать.

Еще раз оглядев булавку, повертев ее в пальцах, мадам вроде удовлетворила свое любопытство. Но, к несчастью, сама она совсем не хотела спать. Она распаковывала баул, вытаскивала и развешивала на спинке стула приобретенные в Лондоне туалеты: шелковые платья, шаль, что-то вроде кружевной наколки, тогда модной, и множество других вещей.

Суетная и неряшливейшая из женщин! Грязнуля дома — разряженный манекен на улице. Мадам поставила на камин зеркальце в квадратный фут и в нем любовалась собой, прикладывая наряд за нарядом, примеривая самодовольную улыбку на злобное и изношенное лицо.

Я понимала, что верный способ продлить мои мучения — это выразить недовольство, и я молчала. Наконец я крепко заснула, хотя перед глазами у меня все стояла костлявая фигура мадам — она задрапировалась серым в светло-вишневую полоску шелком и оглядывала себя через плечо в маленьком зеркальце для бритья, пристроенном на камине.

Утром я внезапно проснулась и села в постели, на миг забыв о нашем путешествии. Но в следующий — все вспомнила.

— Мы не опоздаем, мадам?

— На судно? — спросила она с одной из своих чарующих улыбок и

выпрыгнула из кровати. — Не сомневайтесь, они про нас не забыль. Еще два часа ждать.

— Из окон видно море?

— Нет, дражайший дъетка. Но ви посмотрите его вдоволь.

— Я, пожалуй, встану, — сказала я.

— Зачем спешить, моя дорогая Мод? Ви изнурены, ви что — корошо себя чьювствуете?

— Достаточно хорошо, чтобы встать. Мне будет, наверное, лучше, если я встану.

— Зачем спешить — незачем! И судно можно пряпустить. Ваш дядя, он сказалъ мне избрать.

— Здесь есть вода?

— Принесут.

— Пожалуйста, мадам, позвоните.

Она с готовностью дернула шнурок. Потом я узнала, что звонок не работал.

— Что случилось с моей цыганской булавкой? — вскричала я и почувствовала, как сердце у меня почему-то упало.

— О, эта штючка с красни головка? Наверно, свалились на поль. Ми найдем, когда ви встанете.

Я подозревала, что мадам взяла ее, чтобы досадить мне. Это было в ее духе, не могу выразить, насколько утрата крохотного амулета расстроила и взволновала меня. Я искала булавку в кровати, я перевернула всю постель, искала везде. Но наконец отказалась от поисков.

— Ужасно! — вскричала я. — Кто-то выкрал ее, чтобы просто помучить меня.

Как дурочка (а я ею и была) я упала на кровать и, зарывшись лицом в подушку, расплакалась — от гнева и отчаяния.

Через какое-то время я, впрочем, перестала плакать. Я надеялась, что верну себе амулет. Если мадам выкрала его, он найдется. Но пока пропажа беспокоила меня как дурное предзнаменование.

— Боюсь, моя дорогая дъетка, вам не совсем корошо. Так престранно, что ви подняль шум из-за какой-то булявка! Никто не поверит! Ви согласен, что лючше, если вам завтракать в постель?

И она продолжала в том же тоне, пока я наконец не овладела собой и, решив, что не буду осложнять отношений с мадам, которая может сделать остаток путешествия для меня невыносимым и по прибытии мне навредить, спокойно сказала:

— Хорошо, мадам, я знаю, что веду себя очень глупо. Но я так давно

берегла этот пустычок, эту крохотную булавку, что мне она стала дорога. Наверное, она потерялась, и я должна смириться, хотя смеяться, как вы, не могу. Что ж, я сейчас встану и оденусь.

— Вам лучше лежать, сколько можно, — проговорила мадам. — Но как вы хотите, — добавила она, видя, что я встаю.

Еще не успев полностью одеться, я спросила:

— Из окна вид красивый?

— Нет, — ответила мадам.

Я выглянула и увидела мрачный двор колодцем, в одной из четырех каменных стен которого было мое окно. Не пригрезилось ли мне все?

— Эта гостиница... — начала я в замешательстве. — Но гостиница ли это? О, это так похоже... *это* же внутренний двор в Бартраме-Хо!

Мадам всплеснула своими громадными руками, сделала фантастическое па и разразилась смехом в нос, похожим на крик попугая. А потом сказала:

— Дражайший Мод, разве не лёвки трюк?

Я была настолько поражена, что, онемев, только глупо озиралась вокруг, чем вызывала у мадам новые взрывы смеха.

— Мы в Бартраме-Хо! — выговорила я. — Как же это?

Ответом мне был все тот же смех. Мадам пустилась в свой вальпургиев танец, столь ей удававшийся.

— Я ошибаюсь — ведь так? *Что* это?

— Разумеется, все только ошибка. Бартрам Хо совсем как Дувр — это известно всем филёсоф.

Я молча села и стала смотреть в темный глубокий колодец, пытаюсь осознать действительность, понять, что все это значит.

— Хорошо, мадам, наверное, вы сумеете убедить моего дядю в вашей преданности и сообразительности. Но мне кажется, что его деньги потрачены впустую, а его указаниями вы пренебрегли.

— Ах! Не важно. Он меня простит. — Мадам захохотала.

Ее тон испугал меня. Ощущая какую-то неясную, но повергавшую в дрожь опасность, я начинала думать, что она действовала по макиавеллиевским указаниям своего господина.

— Значит, вы привезли меня обратно по распоряжению моего дяди?

— Разве я так сказала?

— Нет. Но сказанное вами ничего другого означать не может, хотя я не в силах поверить этому. И зачем меня привезли сюда? В чем цель обмана... трюка? Я *узнаю*. Невозможно, чтобы мой дядя... мой родственник, джентльмен, участвовал в столь постыдной интриге.

— Сначала вы позавтракаете, дорогая Мод, а потом расскажете все вашему дяде, мосье Руфин, и послушаете, что он скажет о моем столь чьюдовищни действий. Какой ерюнда, дьетка! Вы разве не понимаете, что случаются вещи и меняют планы вашего дяди? Разве ему не грозит арест? Ваh! Вы все еще дьетка, вы не разюмнее дьетки. Одевайтесь, я похляпочу про завтрак.

Я не могла разобраться в интригах, жертвой которых оказалась. Почему меня так бесстыдно обманывали? Если было решено, что я должна оставаться здесь, для чего меня так далеко увозили, якобы отправляя во Францию? Почему доставили обратно тайно? Почему поместили в неудобной, нежилой комнате, на одном этаже с той спальней, в которой умер Чарк? В комнате, что была не с фасада дома, но смотрела в глубокий, заросший травой двор, который походил на заброшенное городское кладбище?

— Наверное, я могу пойти в свою комнату?

— Не сегодня, моя дорогая дьетка. Там все переставлено, когда мы уеxаль. Комната подготовят через два-три день.

— Где Мэри Куинс? — спросила я.

— Мэри Квинс? Она едет за нами во Франс! — Ответ был нарочито нелепым. — Здесь не знают, в какой сторона ехать, что делать, еще день-два. Я иду за завтрак. Прящайте пока! — С этими словами мадам вышла, и мне показалось, что она, закрыв дверь, повернула ключ в замке.

## Глава XXVII

### *Заглядывает хорошо знакомое лицо*

Если с вами не случилось подобного, вы не в силах себе представить мой гнев и испуг, когда я — какое жестокое оскорбление! — обнаружила, дергая дверь, что меня заперли.

Ключ оставался в замке — я видела в замочную скважину. Я звала мадам, трясла крепкую дубовую дверь, колотила по ней руками, стучала ногами, но — тщетно.

Я бросилась в смежную комнату, забыв — если вообще обратила раньше внимание, — что из нее не вела дверь в галерею. В ярости, в растерянности и отчаянии, подобно узникам из романов, я метнулась к окнам и обследовала их.

Я была потрясена, я ужаснулась, обнаружив то, что видят упомянутые узники, — железные решетки на окнах! Прутья прочно сидели в дубовых оконных рамах; помимо этого каждое окно было закреплено винтами, так что не открывалось. Спальню превратили в темницу. У меня мелькнула мысль: может, все окна укреплены таким же образом? Но нет, решетки предусматривались только для этих окон.

Несколько минут я пребывала в полной растерянности, но потом сказала себе: вот он, час, когда надо устоять перед страхом и проявить весь свой ум.

Я взобралась на стул и осмотрела дубовую оконную раму. Мне показались свежими следы, кое-где оставленные инструментами на дереве. Винты тоже казались новыми. И винты, и царапины на раме были покрыты краской для маскировки.

Пока я осматривала окно, послышался звук от двери... осторожный поворот ключа в замке. Я подумала, что мадам решила застать меня врасплох. Она всегда подбиралась к двери неслышно, кошачьим шагом.

Я стояла посреди комнаты, лицом к мадам, когда она вошла.

— Зачем вы заперли дверь? — потребовала я ответа.

С хитрой улыбкой она проскользнула в комнату и быстро заперла дверь.

— Тс-с! — прошептала мадам, подняла широкую ладонь к лицу, втянула щеки и кинула взгляд через плечо в сторону коридора. — Тс-с! Тихо, дьетка, я вам такой наговорю сию минут! — Она помолчала, приложив ухо к двери и прислушиваясь. Теперь слушайте мой рассказ,

ma chère. Бейлиф в доме... два-три-пять такие нагли человек! И еще с ними один, не лючше их самих, — мебель описивает... ми не дадим, чтобы он здесь, в комнаты, описял, дорогая Мод.

— Вы оставили ключ в двери с той стороны не для того, чтобы их не впустить, — опровергла я ее, — но чтобы меня не выпустить, мадам.

— *Разве* я оставила ключ в дверь? — воскликнула мадам, всплеснув руками с видом такого неподдельного ужаса, что я на миг растерялась.

Ложь этой женщины часто сбивала с толку, но редко была убедительна.

— Я по-настоящему говорю, Мод: все переворот, волнения — они повредят бедни моя голова.

— А зачем окна укреплены решеткой? — зашептала я, с яростью указывая пальцем на мрачные окна.

— Сорок лет... больше уже прошель — тогда сэр Филипп Эйльмер жиль в доме, этот комнат считаль дьетская, держаль здесь дьеток и боялься, чтоб не выпали.

— Вы присмотритесь — эти решетки совсем недавно поставлены; винты — новые, отметины на дереве — свежие.

— *О, в самой дело!* — воскликнула мадам с подчеркнутым ужасом в голосе. — Но, моя дорогая, мне так наговорили там, внизу, когда я спросиль причина! Дайте я посмотрю.

И мадам взобралась на стул, с явным любопытством осмотрела окно, однако не согласилась со мной, что плотничали здесь недавно.

Мне кажется, ничто не раздражает так, как подобная фальшь, смысл которой — отвергать очевидное.

— Вы хотите сказать, мадам, что действительно думаете, будто этим укреплениям сорок лет?

— Почем я знаю, дьетка! Где видно, что сорок, а не четыренадцать! Ваh! Ми лючше подумаем про дрюгой вещь. Эти нагли люди! Я обрядована, что вижу решетка и винт, замок и ключ по меньшая мере в наш комната, чтобы им к нам не бывать!

В этот момент постучали. Мадам гнусаво выкрикнула: «Минунтку!» — осторожно приоткрыла дверь и высунула голову.

— О, все в порядок. Отойдите... ничего больше... отойдите прочь.

— Кто там? — вскричала я.

— Помалькивать! — категорично проговорила мадам кому-то за дверью... кому-то, чей голос мне показался знакомым. — *Отойдите* прочь.

Мадам опять выскользнула из комнаты, заперла дверь, но теперь сразу же вернулась, неся поднос с приготовленным завтраком.

Наверное, она опасалась, что я попробую вырваться из своей темницы и убежать, но тогда у меня не было такой мысли. Торопливо опустив поднос на пол возле порога, она заперла дверь изнутри.

Мой завтрак свелся к глотку-другому чаю, но пищеварение мадам никак не зависело от ее настроения, и она ела с волчьим аппетитом. Этому процессу всегда сопутствовало гробовое молчание. Покончив с завтраком, она предложила пойти разведать, что же с моим дядей, — арестован он или нет.

— А если они упрячут бедни стари жентльмен — как ви виряжаете? — в каталяшка, куда *ми* отправимся, моя дорогая Мод, — в Ноуль или в Эльверстон? Ви дольжны решать.

И она исчезла, заперши меня, как и раньше. По старой привычке — а она всегда запиралась в комнате и оставляла ключ в замке — на этот раз она опять забыла вытащить ключ.

Я же в унынии закончила свой бесхитростный туалет, размышляя о том, сколько было лжи в словах мадам и была ли хоть какая-то доля правды. Потом я заглянула в грязный внутренний двор, в этот глубокий сырой темный колодец, и подумала: «Как мог убийца, не сорвавшись, забраться на такую высоту, как мог не разбудить заснувшего игрока?.. Но у меня-то железные решетки на окнах. Какая я дурочка — возмущалась тем, что служит моей безопасности!»

Я очень старалась приободриться и не подпускала мрачные мысли совсем уж близко. Но все же мне хотелось, чтобы моя комната была с фасада, чтобы вид из окна был не таким безрадостным.

Борясь со страхом, я заглядывала во двор, как вдруг услышала быстрые шаги в коридоре, а потом звук ключа, поворачиваемого в замке.

Охваченная ужасом, я отпрянула в угол; я не сводила глаз с двери. Она приоткрылась, и Мэг Хокс просунула свою черноволосую голову в щель.

— О Мэг! — вскричала я. — Слава Богу!

— Я догадалась, что это вы тут, мисс Мод. Я боюсь, мисс...

Дочь мельника была бледная, глаза у нее покраснели и опухли от слез.

— О Мэг! Ради бога — что все это значит?

— Я не смею войти к вам. Старуха француженка пошла вниз и заперла дверь в коридоре, а меня поставила сторожить. Они думают, мне до вас нету дела, — как им самим. Я не все знаю, но побольше ее. Ей ничего не говорят, она ж пьянчуга — значит, ненадежная и может проболтаться. А я кое-что слыхала, когда папаша и мистер Дадли вели разговор на мельнице... Да они думают, я так — пришла, ушла; а я способна одно с другим сложить. И вот что: не ешьте тут и не пейте ничего, мисс. А это —

спрячьте... черный, но чистый как-никак! — Девушка вытащила ломоть грубого хлеба из-под фартука. — Смотрите ж, *спрячьте!* И пейте только воду вот из кувшина — родниковая.

— О Мэг! Мэг! Я понимаю, о чем вы, — проговорила я едва слышно.

— Ой, мисс, боюсь я, что они попробуют... попробуют покончить с вами так или этак. Как стемнеет, я пойду к вашим друзьям; раньше я не осмелюсь... Доберусь до Элверстона, до вашей леди-кузины, и приведу их всех сюда, так что не падайте духом. Мэг Хокс постоит за вас. Вы были ко мне добрей отца с матерью, добрей кого ни возьми... — И она обхватила меня за талию, спрятала лицо у меня на груди. — Я жизни для вас не пожалею, милая, и, ежели они вас обидят, я себя убью.

Через минуту она была вновь непреклонной Мэг.

— Больше ни слова, — проговорила она своим прежним тоном. — И не пробуйте выбраться отсюда — они *убьют* вас... вы сами *не сможете* выбраться. Оставьте это мне. До двух-трех часов ночи ничего такого они не учинят. А я приведу сюда ваших друзей куда раньше. Не падайте духом, вот что, милая.

Потом она, наверное, услышала приближавшиеся шаги — или ей почудилось, — но девушка оборвала себя своим «Тс-с!».

Ее бледное, взволнованное лицо исчезло, дверь быстро и бесшумно закрылась, а ключ опять повернулся в замке.

Мэг вела свою грубоватую речь еле слышно, почти шепотом, но даже прорицание, выкрикнутое пифией, не отдалось бы в моих ушах таким громоподобным эхом. Она и представить себе не могла, как я была испугана. Я слушала ее, а мои глаза, должно быть, остекленели, и кровь стыла у меня в жилах. Она не знала, что каждое ее слово жгло мой мозг адским пламенем. Она высказала свое страшное предостережение напрямик; была точной и краткой. Да, как хирург, который режет быстро и уверенно, она была милосердной со мной, потому что не медлила, не запинаясь, не говорила уклончиво — не кромсала мою душу, не подвергала ее варварской пытке... Мадам пока не появлялась. И я, сев у окна, попробовала обдумать свое положение. Разум бездействовал, зато разыгравшееся воображение рисовало жуткие картины; но я воспринимала их отстраненно, как мы порой смотрим во сне на отрубленные головы и дома, обращенные пожаром в кучку пепла. Мне казалось, что все это происходит со мной не на самом деле. Помню, я сидела у окна, всматривалась в каменную стену напротив, как человек, который не может — хотя и старается — увидеть что-то отчетливо, и каждую минуту прижимала руку к виску со словами: «О, этого не случится... не случится...

о нет! Никогда! Этого не может быть!»

Такой и застала меня, вернувшись, мадам.

Но мрачная долина смерти внушает страхи разного свойства: «великую тьму» будоражат непостижимые голоса, пронизывают неведомые огни; за оцепенением и изнеможением следует взрыв буйного ужаса. И за долгие часы пути по этой долине я познала все — агонию, сменяющуюся летаргией, и летаргию, которая вновь оборачивается неистовством... Порою я удивляюсь, что смогла сохранить рассудок, пройдя через это испытание.

Мадам, войдя, заперла дверь и занялась своим делом. Она не обращала внимания на «дьетку», напевала в нос какие-то французские песенки и, самодовольно улыбаясь, разглядывала свои новые шелка при свете дня... Внезапно я поразились — какой мрак, а ведь еще рано! Я посмотрела на свои часы. Мне стоило немалых усилий понять, что показывали стрелки. Четыре часа. Четыре часа! Темнело в пять. Через час наступала *ночь!*

— Мадам, который же час? Уже вечер? — Сбитая с толку, я прижимала руку ко лбу.

— Два... три минут пятого. Быль четыре без пять минут, когда я зашла, — ответила она, не прерывая своего занятия, — она рассматривала чиненные кружева у самого окна.

— О мадам! *Мадам!* Мне страшно! — вскричала я безумным и жалобным голосом; я схватила ее за руку и заглянула ей в лицо, как человек, испускающий последний вздох, глядит в Небеса. Мадам тоже казалась испуганной, когда смотрела на меня. Наконец она, стряхнув мою руку, довольно раздраженно спросила:

— Про что ви, дьетка?

— О, спасите меня, мадам! О, спасите меня! Спасите меня, мадам! — умоляла я, позабыв все другие слова от полнейшего ужаса; я цеплялась за ее платье и, с искаженным мукой лицом, вглядывалась в глаза этой мрачной Атропос<sup>[43]</sup>.

— Спасти вас! Спасти! Какой *niaiserie*<sup>[115]</sup>.

— О мадам! О *дорогая* мадам! Ради бога, только вызволите меня... избавьте меня от этого, и я буду всю жизнь делать для вас что ни попросите! Буду... буду, мадам, буду! О, спасите меня! Спасите меня! *Спасите* меня! — В отчаянии я цеплялась за мадам как за ангела-хранителя.

— Но кто сказал вам, дьетка, что ви в опасность? — спросила мадам, и на меня, будто тень, опустил ее ведьмовской взгляд.

— Это так, мадам... так... я в большой опасности! О мадам, подумайте обо мне... пожалейте меня. Нет никого, кто бы помог мне... никого, кроме Бога и вас!

Все это время мадам мрачно изучала мое лицо, будто читала на нем мою судьбу.

— Может, и так — почем я знаю? Может, ваш дядя безумны... может, ви безумны. Ви всегда были мой враг. И какой мне дело?

Я вновь неистово молила ее, стискивала ее в объятиях, я заклинала ее со смертной горечью.

— Я не верю вам, малишка Мод. Ви маленьки мошеннис... *petite traitresse!*<sup>[116]</sup> Поразмыслите, если способен, как ви всегда относились к мадам. Ви пробоваль навредить мне — ви сговорилсь со скверни прислуга в Ноуль погубить меня, а здесь хотите, чтобы я держала ваш сторона! Ви никогда не слюшаль меня... никогда не жалель меня... ви вместе со всеми гналь меня из ваш дом, будто я вольк. И что ви хотите от меня теперь? *Vah!*

Это издевательское «*Vah!*» прозвучало в моих ушах как удар грома.

— Говорю вам, ви безумны, *petite insolente*<sup>[117]</sup>, если думаете, что ви для меня больше значить, чем для бедни заяс гончая... чем для птис, которая вирвальсья, *oiseleur*<sup>[118]</sup>. Мне нет дело. Мне не может быть дело до вас. Ваш черед страдать. Ляжитесь на ваш постель и страдайте втихомольк.

## Глава XXVIII

### *Кларет с изюминкой*

Я не легла. Но я впала в отчаяние. Я кружила и кружила по комнате, ломая руки в безумном страхе. Я бросилась на колени возле кровати — и не могла молиться. Только дрожала и стонала, сжимая руки, обратив безумный от ужаса взор к Небу. Наверное, мадам, при всей ее жестокости, была смущена. О том, что мне собирались причинить зло, она наверняка знала, но, видимо, Мэг Хокс не ошиблась, когда говорила, что они не до конца посвятили ее в свои замыслы.

За отчаянием последовала иная пытка. Внезапно моим умом безраздельно завладела мысль о Мэг Хокс, о ее плане и о моем возможном спасении. Дорога в Элверстон в одном месте поднимается вверх, и там она неожиданно поворачивает — у двух гигантов ясеней справа, между которыми на обочине стоит дорожный знак, увитый плющом. Когда я ездила в Элверстон и возвращалась оттуда, я не особенно приглядывалась к этому месту, но теперь оно было перед моими глазами: тоненький серпик луны проливал над ясенями слабый свет, а по дороге, спиной ко мне, взбиралась... медленно взбиралась Мэг Хокс. Картина перед глазами была все та же — то же движение на месте, и меня неотступно терзало чудовищное нетерпение.

Я сидела на кровати и напряженно смотрела в дальний угол комнаты. Когда образ Мэг Хокс тускнел в моем сознании, я замечала мадам, которая переводила мрачный взгляд с одного предмета в комнате на другой, явно размышляя над какой-то загадкой, — раздраженная до крайности. Она то ворчала, то выпячивала свои громадные губы, то поджимала их.

Потом мадам отлучилась в «гардеробную», где пропадала минут десять, а когда вернулась, блеск в ее глазах, краска на лице и особый запах дали понять, что она отведала своего излюбленного укрепляющего.

Я не двинулась с места, пока она отсутствовала.

Теперь она остановилась посреди комнаты и посмотрела на меня взглядом — других слов не найду — дикого зверя.

— Ви такой скритни семья, ви, Руфин, ви такой хитри. Я ненавижу хитри люди. Клянусь честь, я повидаю мистер Сайляс Руфин и спряшу, что у него на уме. Я слышала, он говорил старой Уаитт, что мистер Дадли уезжает сегодня вечер. Он скажет мне все, или я сделаю *éches et mat aussi*

vrai que je vis<sup>[119]</sup>.

Мадам едва закончила фразу, а меня уже вновь поглотила картина: Мэг Хокс взбирается по крутой дороге, но никак не может одолеть подъем к Элверстону. И я мысленно взмолилась, чтобы она благополучно достигла цели. Тщетная молитва измученной души! План Мэг, как потом выяснилось, был сорван, она не смогла добраться до Элверстона вовремя.

Мадам еще раз посетила «гардеробную», но настроение ее не улучшилось. Она ходила по комнате и, натываясь на скудную мебель, отталкивала ее в стороны. От удара ее ноги с жутким грохотом отлетел пустой баул, и мадам выругалась по-французски. Она вышагивала и вышагивала по комнате, не переставая бормотала и резко поворачивала у стены. Наконец она выскочила за дверь. Наверное, она считала, что ее обошли доверием касательно того, что уготовано мне.

Уже был поздний час, а помощь не приходила! Помнится, я никак не могла унять жуткую дрожь.

Я прислушивалась, стараясь уловить сигнал, обещавший освобождение... Каждый отдаленный звук, наполовину заглушаемый ударами сердца, отдавался во мне мольбой: «О Мэг!.. О кузина Моника!.. О, придите!.. Господи, спаси меня! Господи, смилуйся надо мной!» Мне казалось, я слышала гул голосов. Не из комнаты ли дяди Сайласа? Может, подвыпившая мадам расшумелась? А может — Боже милостивый! — может, явились друзья? Я вскочила. Я прислушивалась и дрожала от волнения. Или мне все почудилось? В самом ли деле я что-то слышала? Я бросилась к двери, и она — открылась. Мадам так попотчевала себя укрепляющим, что забыла запереть дверь. В конце галереи в двери торчал ключ. Эта дверь тоже была не заперта. Я опрометью выбежала из галереи. Приглушенный расстоянием звук голосов доносился из комнаты дяди. Не знаю каким образом, но я очутилась на площадке лестницы — один пролет отделял меня от дядиной комнаты. Рука моя была на перилах, я шагнула на первую ступеньку — и увидела внизу, в слабом свете от большого окна этажом ниже, громадную фигуру... Она поднималась... Голос произнес: «Тише!» Я попятилась, но в то же мгновение мне послышался — и я, охваченная возбуждением, не усомнилась — голос леди Ноуллз из дядиной комнаты.

Не знаю, как это случилось, но я вошла в его комнату. Вошла будто призрак. Я сама пугалась своего состояния.

Леди Ноуллз там не было — только мадам и мой опекун.

Никогда не забуду устремленный на меня взгляд дяди Сайласа, сжавшегося от безумного страха, казалось, не меньшего, чем мой.

Должно быть, видом я напоминала мертвеца, который только что встал из могилы.

— Что это? Откуда вы явились? — едва слышно спросил дядя.

— Смерть! Смерть! — раздался шепот с места, где я застыла от ужаса.

— О чем она?.. Что все это значит? — проговорил дядя Сайлас, с поразительной быстротой овладевший собой, и бросил испепеляющий взгляд на мадам. — Вы считаете возможным нарушить мои ясные указания и позволить ей бродить по дому в такой час?

— Смерть! Смерть! О, молитесь Господу о себе и обо мне! — произнесла я тем же загробным шепотом.

Дядя вновь обратил на меня странный взгляд, а через секунду-другую — он, казалось, успел полностью овладеть собой — проговорил невозмутимо и резко:

— Вы слишком доверяетесь воображению, племянница. Состояние вашей души тревожит. Вам нужен доктор.

— О дядя, сжальтесь надо мной! О дядя, вы праведны! Вы добры... вы добры, вспомните же об этом!.. Вы не можете... вы не можете... не можете... О, вспомните о вашем брате, который всегда сочувствовал вам. Он видит меня здесь. Он видит нас обоих! О, спасите меня, дядя, спасите меня, и я все отдам вам. Я буду молить Бога за вас... Я никогда не забуду вашу доброту и милосердие. Но не держите меня в неопределенности. Если я должна погибнуть, о, ради бога, поразите меня сейчас.

— Вы всегда были странной, племянница, и я начинаю думать, что вы не в себе, — проговорил он тем же резким тоном.

— О дядя! О! Неужели?! Неужели я безумна?

— Надеюсь, нет. Но вы не заставите усомниться в своем здравомыслии, если выкажете желание не отступить от него. — Затем, указывая на меня пальцем, он обернулся к мадам и произнес голосом, полным ярости: — Что сие значит? Почему она здесь?

Мадам разразилась визгливым потоком слов, но я ничего не слышала. Я душой устремлялась к дяде: он судил мою жизнь, перед ним я, страждущая, стояла с мольбой.

Та ночь была чудовищной. Я видела людей неотчетливо, и они — улыбающиеся или нахмуренные — казались мне сотворенными из дыма, из светящегося пара, я могла бы простереть руку сквозь эту пелену перед моими глазами. Они окружали меня подобно злобным духам.

— Против вас нет злого умысла, чё... побери, нет, — проговорил дядя, впервые разволновавшись. — Мадам объяснила вам, почему вы сменили комнату. Вы говорили ей про бейлифов — так ведь? — В гневе топнув

ногой, он обратился к мадам, чьи гнусавые рулады не затихали ни на минуту.

Да, она говорила мне об этом... всего несколько часов прошло с тех пор, но теперь я слышала будто отзвук слов, прозвучавших месяц назад.

— Вам нельзя расхаживать по дому, ч-ч-чё... побери, когда здесь бейлифы. Довольно. Тема исчерпана. Отправляйтесь в свою комнату, Мод, и не сердите меня. Будьте умницей. — Он попытался улыбнуться при последних словах и мягким трепетным голосом хотел успокоить меня, но взгляд его был прежним — угрюмым — и улыбка была будто смертный оскал, а его мягкий голос... о, я бы меньше пугалась, слыша чей-нибудь яростный рев. — Ну вот, мадам, она уйдет спокойно. Зовите, если потребуется помощь. И больше не допускайте такого.

— Идемте, Мод, — проговорила мадам, слабо беря меня за руку. — Идемте, мой друг.

И я пошла. Вы можете удивляться. Что же, удивляйтесь — как и тому, что сильные мужчины покорно идут через комнату для газетчиков к виселице, благодарят за любезность тюремщиков, которые прощаются с ними, поправляют у себя на шее петлю. Вы не догадывались, что они отказываются вести последнюю битву за жизнь с чуждой щепетильности энергией, вселяемой ужасом, потому что оставляют жизнь хладнокровно, овладев арифметикой отчаяния?..

Я поднялась по лестнице как сомнамбула. Я даже ускорила шаг, приближаясь к моей комнате. Я вошла и встала, как привидение, у окна, заглянула в мрачный колодец... Над ним висел тонкий серп луны, сияя в морозном небе, полном звезд. За скатом крыши напротив ширилась темная синева ночи — безбрежное поле славного герба, по которому узнают неизъяснимого Творца. Для меня то был скорбный свиток... сонм неумолимых свидетелей, холодно вззирающих на мои муки.

Я отвернулась от окна и, присев, опустила голову на руки. И вдруг выпрямилась — картина дядиной комнаты, в беспорядке, с дорожными сумками, черными баулами на полу возле стола, с ящиком для письменных принадлежностей, картонкой для шляпы, зонтиком, пальто, пледами и шарфами, приготовленными в дорогу, в первый раз достигла моего сознания. *Mise en scène*, во всех подробностях, встала перед моими глазами, и я забеспокоилась: «Куда он едет? Когда? Может, он собирается увезти меня отсюда в дом умалишенных?» Я начала задаваться мучительными вопросами: «Я в самом деле... в самом деле лишилась ума? Все это сон или явь?»

Я вспомнила, как худощавый любезный джентльмен, с высоким лбом,

седой, в черном бархатном жилете, зашел в наш вагон, когда мы ехали из Лондона, и обратился ко мне, как мадам прошептала джентльмену что-то и он произнес «О!» приглушенным голосом, как, вскинув брови, посмотрел на меня, но ко мне уже больше не обращался, говорил только с мадам, а на следующей станции, взяв шляпу и вещи, перебрался в соседний вагон. Может быть, она сказала ему, что я сумасшедшая?

Решетки на окнах! Мадам почти неотлучно при мне! Страшные намеки дяди! Мои собственные чудовищные ощущения! Все эти свидетельства завертелись у меня в мозгу огненным колесом.

В дверь постучали.

О Мэг!.. Не Мэг ли это?

Нет, то была старуха Уайт, она шепталась о чем-то с мадам, чуть приоткрывшей дверь.

Потом мадам приблизилась ко мне с маленьким серебряным подносом, на котором стояли кувшин и стакан. Дядя Сайлас во всем старался показать себя джентльменом.

— Випейте, Мод, — сказала мадам, приподняв крышку кувшина, и с явным удовольствием втянула носом запах.

Я не могла. Я бы выпила, будь я в состоянии сделать хоть глоток, — обезумев от страха, я выпустила из мыслей предостережение Мэг.

Вдруг мадам вспомнила о своей оплошности в тот вечер и тронула дверь — она была заперта. Мадам вытащила ключ из кармана и спрятала у себя на груди.

— Ви распорядитесь эти комнаты сами, *ma chère*, я сплю сегодня внизу. — Она рассеянно налила в стакан подогретого кларета и выпила. — Превосходен — и незаметно, как випила. Но превосходен. А ви — випейте!

— Не хочется, — сказала я.

Мадам же, не стесняясь, выпила еще.

— Крайне любезно, разумеется, ничего не послать для мадам, впрочем, не важно... — Она пустилась разглагольствовать в том же тоне, дерзком, язвительном, время от времени разражаясь громким смехом.

Потом мне говорили, что она их перепугала. Мадам в опьянении бывала буйной. Она шумела внизу, ссорилась. Она думала, что меня той ночью должны были увезти в какое-то уединенное и надежное место, а значит, ей полагалось хорошее вознаграждение за службу и за лжесвидетельства, которые она впоследствии даст. Но ей доверили не всю правду. Вся была известна только троим.

Я так никогда и не узнала в точности, но предполагаю, что в кларет, который пила мадам, было подмешано снотворное. Мадам могла много

выпить, от чего только краснела и приходила в возбуждение. Перескажу, ручаясь за свои слова, то, что видела, а видела я, как мадам, покончив с кларетом, легла на мою кровать и — теперь я это знаю — уснула. Но тогда я думала, что она лишь *притворяется*, будто спит, а на самом деле наблюдает за мной.

Примерно час спустя я вдруг услышала, как что-то слабо *звякнуло* во дворе внизу. Я выглянула, но ничего не увидела. Звук повторялся еще и еще — чаще... реже. Наконец в глубокой тени под дальней стеной я вроде бы различила фигуру, которая то выпрямлялась, то склонялась к земле. Фигура едва выступала из тьмы, и я видела ее смутно.

Будто молнией меня поразила мысль: «Они роют мне могилу».

После недолгого оцепенения я заметалась по комнате, ломая руки и прерывавшимся от безумного страха шепотом вознося молитвы. А потом меня объял покой, чудовищный покой, который, наверное, снисходит на того, кто проплыл через Врата изменника<sup>{44}</sup>, оставляя и жизнь, и надежду, и тревогу позади.

Вдруг в мою дверь очень тихо стукнули, потом еще раз — как стучит почтальон. Сама не знаю почему, но я не ответила. Ответь я и таким образом покажи, что бодрствую, моя участь, наверное, была бы решена. Я стояла посреди комнаты и смотрела на дверь, ожидая, что она откроется и впустит целый сонм духов.

## Глава XXIX

### Смертный час

Ночь была очень тихая и морозная. Моя свеча давно догорела. Но от неяркой луны возле окна на полу лежал желтый прямоугольник света, остальное же пространство комнаты для глаз, менее привычных к ночному светилу, чем мои, показалось бы кромешной тьмой. Теперь я точно слышала тихий шепот под дверью. Ясно: я в осаде! Приближалась развязка, и я, как ни странно, вдруг сделалась тверда духом и овладела собой. Это был, однако, не спад чудовищного возбуждения, но, напротив, *такое* напряжение нервов, какое я не в силах описать.

Наверное, люди за дверью очень боялись выдать себя, но крепкий пол, без единой скрипящей доски, давал им возможность двигаться бесшумно. Мне повезло, что в доме находились трое, кого эти люди хотели ввести в заблуждение касательно моей судьбы. Уже это вынуждало их действовать с крайней осторожностью. Они предполагали, что я сдвинула мебель к двери, и опасались, что придется отодвигать и разбирать ее, а значит, будет грохот, будут крики и, возможно, продолжительная борьба.

Я остановилась на некотором расстоянии от двери — не берусь его определить — в той же позе; я боялась шелохнуться и не сводила с двери глаз.

Вдруг странный скрежет над моей головой заставил меня отвлечься. Звук был такой, будто пилили, но при этом доносился еще и какой-то скрип, какой-то слабый, но непрекращавшийся гул, совершенно необъяснимый. Звук шел с крыши в стороне, противоположной двери, и я скользнула в ту сторону, там я укрылась за старым неуклюжим шкафом. Мне показалось, что в комнате сделалось темнее. Выглянув из-за шкафа, я увидела в окне человека — он только что сполз с крыши и стоял на подоконнике. Человек выпустил веревку, которой был, впрочем, крепко обвязан, и обеими руками, с видимым усилием, тянул за что-то сбоку в окне; еще мгновение — и окно вместе с решеткой бесшумно открылось, хлынул ночной морозный воздух, а человек — теперь я видела, что это Дадли Руфин, — опустился на колени на подоконнике, прислушался — и ступил в комнату. Его шаг был бесшумен, голова — непокрыта, на нем была его обычная короткая охотничья куртка.

Я прижалась к полу в своем укрытии. Мгновение, как мне показалось, он стоял в нерешительности, а потом вытащил из кармана орудие, которое я

отчетливо разглядела в слабом лунном свете. Представьте себе молоток, один конец которого выкован в виде выступающего заостренного зубца, а рукоятка — немного длиннее обычной. Крадучись, Дадли вернулся к окну и торопливо осмотрел орудие. Испробовал вес, раз-другой тряхнув в руке. Потом он приладился — как лучше держать, примерился — как ударить, и сделал два-три пробных взмаха в воздухе.

Чудовищно спокойная, я застыла в своем укрытии — сжав зубы, я приготовилась драться как тигрица за жизнь, когда буду обнаружена. Я решила, что дальше он зажжет спичку. Мне показалось, что на подоконнике стоял фонарь. Но я не угадала. Двигаясь ощупью, он прокрался, — что меня, различавшую предметы в комнате, удивило, — к моей кровати, расположение которой он явно знал, и ненадолго склонился... Мадам дышала ровно, глубоко — она крепко спала. Вдруг он осторожно опустил свою левую руку на ее лицо, и почти тотчас послышался хруст, а вслед за ним — безумный вскрик, за две-три секунды перешедший в вой, которым, должно быть, полнится дом с привидениями... еще был судорожный звук бега — ноги и руки ее колотили по кровати. А потом он нанес второй удар, отскочил, задыхаясь, на шаг-другой и окаменел. Я слышала, как жутко сотрясалась кровать от конвульсий убиенной и умиравшей женщины. То был ужасный звук — как будто дрожало дерево и шелестели листья. Потом он опять подступил к кровати, и я услышала еще один этот страшный удар... Безмолвие... Еще удар... Безмолвие... И сатанинская хирургия завершилась. Я, наверное, уже теряла сознание, но вздрогнула от слабого звука за дверью, совсем близко от меня, — там, очевидно, кто-то оставался на страже. В дверь тихонько постучали.

— Кто там? — хрипло прошептал Дадли.

— Друг, — прозвучал мягкий голос в ответ.

Появился ключ, дверь была быстро отперта, и вошел дядя Сайлас. Я увидела эту хрупкую высокую белую фигуру, серебряные волосы, как те, что украшали почтенную голову Джона Уэсли<sup>[45]</sup>, и тонкую белую руку... Так близко от моего лица была эта рука, что я бояласьдохнуть. Я заметила, как нервно подергивались его пальцы. Вместе с ним в комнату проникли запахи одеколона и эфира.

Дадли теперь дрожал, как в приступе болотной лихорадки.

— Смотрите, что вы заставили меня сделать! — в бешенстве заговорил он.

— Спокойно, сэр! — сказал старик, стоявший рядом со мной.

— Да, проклятый старый убийца, у меня хватило духу сделать это для вас.

— Будет, Дадли, мой мальчик, не горячитесь, дело сделано — праведное или нет, — мы уже ничего не поправим. Вам надо успокоиться, — проговорил старик с некоторой мягкостью в голосе.

Дадли застонал.

— Кто бы ни был советчик, выиграла вы, Дадли, — сказал дядя Сайлас.

Они оба недолго помолчали.

— Надеюсь, никто не слышал, — сказал дядя.

Дадли прошел к окну и остановился там.

— Соберитесь, Дадли, вам с Хоксом нужно спешить. Вы же знаете, вам нужно убрать это.

— Я и так уже наделал дел — дальше некуда. Ничего больше не сделаю. Я не дотронусь... Не хочу пачкать руки. Уж лучше б я был простым солдатом. Поступайте, как вам с Хоксом вздумается. Я и близко не подойду. Черт бы побрал вас обоих и — его вот! — Он с силой швырнул молоток на пол.

— Ну, ну, Дадли, образумьтесь, дорогой мой мальчик. Чего вы испугались, что за каприз? Ведь вы не будете шуметь, нет?

— О-о, боже мой! — прохрипел Дадли и провел по лбу ладонью.

— Ну, ну, через минутку вы успокоитесь, — продолжал старик.

— Вы говорили, без боли ей это станется. Знал бы я, что она будет так кричать, я б никогда не сделал этого. Дьявольское вранье. Такого дьявольского злодея, как вы, свет не видывал.

— Хватит, Дадли! — сказал старик, задыхаясь, но решительным тоном. — Соберитесь. Если желаете выйти из игры, что ж... Жаль только, что вступили. Все это важно для вас — не столько для меня.

— Для вас... — сквозь зубы повторил за стариком Дадли. — Слышал, слышал!

— Сэр, — прорычал старик тем же сдавленным голосом, — вам надо было подумать раньше. Совершённым вы всего лишь приблизили свой уход из мира на год, на два; впрочем, год-два кое-что значат. Поступайте, как сами решите.

— Стойте, стойте! Я знаю, теперь уже все решено раз и навсегда. Ежели я сделал такое, за что теперь проклят, так дайте сказать человеку. Мне-то... мне наплевать, что я ввязался в игру.

— Ну вот... вот... этого и держитесь. Здесь баул и сумка — сменим указания... Баул и сумку нужно забрать отсюда. В бауле есть драгоценности. Вам видно? Свету бы!

— Лучше без света. Я вижу. Лучше б скорей отсюда... Ну, баул...

— Тащите его к окну, — сказал старик и наконец прошел в комнату.

В этот ужасный момент мне было даровано хладнокровие и я знала, что все зависит от моей быстроты и решительности. Я встала. Я часто думаю, что будь на мне в ту ночь платье не из кашемира, а из шелка, оно бы зашуршало и выдало меня.

Я отчетливо видела дядю, высокого, согбенного, с почтенной, убеленной сединами головой, — он стоял между мною и желтым прямоугольником лунного света у окна, стоял, будто карточная фигура.

Он говорил: «Вон туда!» — и указывал длинными пальцами на сокращавшийся прямоугольник слабого света. Дверь была на четверть открытой, и, как только Дадли потащил из «гардеробной» по полу к окну тяжелый баул мадам — а в нем лежала моя шкатулка с драгоценностями, я, мысленно воззвав к Небесам о помощи, на цыпочках выскользнула из комнаты.

Я повернула, совершенно случайно, направо и пошла длинной темной галереей. Я не бежала, опасаясь произвести малейший шум, но шла на цыпочках, подгоняемая ужасом. Галерею пересекала другая, слева от меня кончавшаяся большим окном, через которое заглядывала мрачная ночь. Я инстинктивно выбрала темную сторону и вновь повернула направо. Торопливо идя по длинному, сумрачному переходу, я вздрогнула, когда увидела футах в тридцати свет — сверху, с потолка. В этом свете, падавшем от фонаря из конюшни, я различила лестницу, по которой, казалось, прямо со звездного неба — ведь мне в лицо веяло холодным дыханием ночи, — спускался Дикон Хокс с таким, несмотря на свое увечье, проворством, что у меня не оставалось времени на размышления.

Он присел на последней ступеньке лестницы и подтянул ремни, закреплявшие его деревянную ногу.

Слева от меня был дверной проем без двери. Я шагнула туда... Коротенький коридор, футов в шесть, вел, наверное, к черному ходу, но дверь оказалась запертой.

Я стояла в этой нише, не дававшей укрытия, когда Чурбан, с фонарем в руке, проковылял мимо. Я подумала, что он собирался незамеченным подслушать своего господина, потому что остановился невдалеке от места, где я затаилась, дунул на свечу в фонаре и щипком загасил длинный огарок.

Мгновение он прислушивался, а потом осторожно заковылял по галерее, которую я только что пересекла, и повернул в сторону комнаты, где совершилось преступление и где скоро все должно было раскрыться. Я видела его на фоне широкого окна — в дневное время света из этого окна, наверное, хватало на всю протяженную галерею. Как только он повернул за

угол, я бросилась дальше.

Я спустилась по лестнице на тот черный ход, о котором уже слышала и которым мадам провела меня накануне ночью. Толкнула дверь. К моему удивлению и безумной радости, дверь оказалась незапертой. Мгновение — и я стояла на ступеньках, под открытым небом, где тут же была схвачена за руку мужчиной.

Это был Том Брайс, уже раз предавший меня; в пальто и шапке, он стоял на крыльце — он должен был увезти в поджидавшем у двери экипаже преступников, отца и сына, с места их чудовищного злодеяния.

## Глава XXX

### *В дубовой гостиной*

Значит, все напрасно. Я поймана. Все кончено.

Я стояла перед ним на ступеньках, белая луна светила мне в лицо. Я так дрожала, что едва держалась на ногах, и беспомощно тянула к нему свободную руку, заглядывала ему в глаза. Из моих губ вырывался лишь стон:

— О-о-о-о!..

Он, все еще не выпуская моей руки, испуганно, как мне показалось, взглянул на мое мертвенно-бледное, немое лицо.

Вдруг он сказал яростным шепотом:

— Больше ничего не говорите...

А ведь я и не произнесла ни слова.

— Они вас не обидят, мисс, нет! Забирайтесь. Черт с ними со всеми!

То была грубая речь, но для меня — ангельский глас. Всхлипывая, будто от смеха, я разразилась благодарственной молитвой Господу за эти благословенные слова.

Через мгновение он усадил меня в экипаж, и мы тут же тронулись. Очень осторожно пересекли двор, а когда колеса съехали на траву, мы понеслись, и чем дальше отъезжали, тем мчались быстрее. Он направлял экипаж вдоль аллеи с задней стороны дома, и хотя нас качало, будто корабль на волнах, мы и двигались почти так же бесшумно.

Ворота были оставлены незапертыми, он распахнул их и вновь взобрался на козлы. Теперь мы, вырвавшись из чар Бартрама-Хо, с грохотом — хвала Господу, — неслись по дороге Ее Величества прямо в Элверстон. Лошади мчались галопом. Из окошка впереди я видела, что Том встал на своем месте и, правя, все время бросал жуткий взгляд через плечо. Погоня? Небеса не слышали молитвы горячее моей, — сжимая руки, я молилась и безумным взглядом смотрела из окон на дорогу, на деревья, изгороди, дома с остроконечными крышами, мелькавшие перед глазами с головокружительной быстротой.

Мы одолевали подъем, тот самый, у поворота, с гигантскими ясенями справа и дорожным указателем между ними, подъем, которым, в моих мыслях, всю ночь взбиралась Мэг Хокс, когда я, зоркая от возбуждения, заметила фигуру, бежавшую за живой изгородью. У дорожного знака я увидела чью-то голову — преследователь? — услышала, как кто-то

окликнул Брайса по имени.

— Гони, гони, гони! — закричала я.

Но Брайс остановился. Я бросилась на колени в экипаже, я ломала руки, ожидая, что сейчас меня схватят. Дверца открылась, и, бледная как смерть, скрывшая под накидкой свои черные волосы, ко мне заглянула Мэг Хокс.

— Ой! Ой! Господи! — воскликнула она. — Привет вам, мисс! Том, ты славный парень! Славный он, Том!

— Забирайтесь, Мэг, вы должны сидеть со мной, — сказала я, сразу же приходя в себя.

Мэг не стала отказываться. Я протянула ей руку.

— Да только я не взберусь, мисс. Рука у меня сломана.

Вот что, оказывается, случилось с бедняжкой! Ее выследили и перехватили, когда она хотела совершить свой подвиг. Негодяй отец избил девушку своей дубинкой и покалечил, а потом запер в их хибарке, откуда она, однако, ухитрилась сбежать и теперь спешила в Элверстон, напрасно потеряв время в Фелтраме, где никого не добудилась.

Мы с Томом усадили Мэг в экипаж, дверца захлопнулась, и взмыленные лошади вновь пустились галопом.

Том, как и прежде, беспокойно оглядывался со своего места — нет ли погони. И вдруг опять остановил лошадей, подошел к окну.

— О, что такое? — вскричала я.

— Да то письмо, мисс. Я ничего не мог... Дикон — он нашел письмо у меня в кармане. Так вот.

— Ничего... Спасибо вам... Хвала Господу! Элверстон близко?

— Еще миля, мисс. И уж помните, я к этому руку не приложил.

— Спасибо... спасибо вам за доброту. Я всегда буду вам благодарна, Том, — всю жизнь!

Наконец мы достигли Элверстона. Я чуть не лишилась рассудка. Не знаю, как я попала в холл... в дубовую гостиную, где увидела кузину Монику. Какое-то мгновение я стояла и только протягивала к ней руки. Я не могла вымолвить ни слова. С громким криком я бросилась ей на шею. Я плохо помню, что было потом.

## Эпилог

О милая моя кузина Моника! Слава Богу, вы еще живы, и, думаю, вы моложе меня духом и сейчас.

Милли, моя дорогая подруга, теперь счастливая жена того скромного священника, Спригга Биддлпена. Я смогла посодействовать ему, и он вскоре получит должность в Долинге.

Мэг Хокс, гордая, своенравная и самая нежная душа на свете, вышла за Тома Брайса через несколько месяцев после описанных событий, и, поскольку чета хотела эмигрировать, я обеспечила их необходимым капиталом: они, как мне известно, теперь зажиточные люди. Добрая моя Мэг часто пишет. Кажется, она очень счастлива.

С детства дорогие мне Мэри Куинс и миссис Раск, увы, совсем состарились; но, живя со мной, всем довольны. После моих долгих и настойчивых просьб доктор Брайерли, лучший и честнейший из священников, которые предпочли Англиканской церкви иную, согласился взять на себя управление помещьем в Дербишире. Он самый подходящий человек для подобной ответственности — столь педантичен и трудолюбив, столь добр и трезвомыслящ.

По совету докторов, кузина Моника сразу же увезла меня на континент, в Европу, где не позволяла вспоминать об оставивших чудовищный отпечаток в моей душе ужасных сценах. Впрочем, запрета и не требовалось. Для меня мучительно вспоминать о них даже сейчас.

План был разработан мастерски. Ни старуха Уайт, ни Джайлз, дворецкий, не подозревали, что я вернулась в Бартрам. Прими я смерть, тайна моей судьбы осталась бы известной четырем лицам — обоим Руфинам, Хоксу и, наконец, мадам. Мою дорогую кузину Моника заставили поверить в мой мнимый отъезд во Францию, и кузина приготовилась к тому, что не услышит от меня вестей. У нее, у других подозрения возникли бы, возможно, лишь через год после моей смерти, но вряд ли кому-нибудь пришла бы мысль, что в Бартраме-Хо злодеяние и свершилось. Моя могила поросла бы травой; мои, а не мадам де Ларужьер, останки лежали бы, схороненные глубоко в земле, в мрачном внутреннем дворе Бартрама-Хо.

Только спустя два года после описанных событий я узнала, что же произошло в Бартраме, когда я бежала. Старуха Уайт, рано поднявшись в комнату дяди Сайласа, к своему удивлению — а он предупредил ее

накануне, что будет сопровождать сына, который поедет в пять утра на станцию к почтовому поезду, следующему в Дерби<sup>[46]</sup>, — увидела старого господина лежащим на диване в его обычной позе.

«А вообще ничего такого странного с ним не было, — рассказывала старуха Уайт, — только вот его бутылка с этим... пахучим, опрокинувшись, пролилась у него на столе и лежал он мертвый».

Ей показалось, что он еще не очоенел, и она послала старого дворецкого за доктором Джолксом, который объявил, что дядя умер, приняв слишком много, по ее выражению, «опенья».

Что сказать о набожности моего несчастного дяди? Было ли это полное лицемерие, или в его душе пробивались ростки искренней веры? Не знаю. Не думаю, что в его сердце осталось место для веры, высшего из данных нам свойств. Возможно, он безрадостно глядел в будущее и уже был не способен прозревать впереди что-то, вселяющее надежду. Дьявол подкрадывался к крепости его сердца многими извилистыми, петляющими путями. Вначале был замысел женить на мне сына, прибегая к честным средствам, потом их сменили бесчестные, а вновь потерпев неудачу, он поддался мысли захватить мое состояние посредством убийства. Я подозреваю, что дядя Сайлас одно время считал себя праведным человеком. Желал обрести рай и избежать ада, если они существуют. Но были и другие вещи, в существовании которых сомневаться не приходилось и которых он жаждал или страшился, и тогда им овладело искушение. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть»<sup>[120]</sup>. В старости сердце уже не поддается ни плавке, ни ковке, и должно оставить его в той форме, в какой оно и застыло. «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится...»<sup>[121]</sup>

Дадли исчез, но в одном из писем со своей фермы в Австралии Мэг сообщила:

«Есь тут в паселке чилавек што завет sibя Колбрук у ниво ладный дом диривяный такой высокий как аж паталок в бартрамской гастиной только гаварят крысы у ниво и много мая гаспажа так вот он скупает и продает золата туда сюда у искателей купцам. И щеки и губы у ниво все в шрамах. То ли агнем абажены то ли серной кислотой и никаких там бакебардов слава Богу но мой Том все адно сказал што признал иво мистер

Дудль эта. Я иво не видала а Том с ним гаварил так тот атпирается и праклятиями сыпит. Том и засамнивался. А я б увидала так сразу б сказала. Да может пускай оно как есь так есь».

Вот и все.

Старый Хокс упорно молчал, он надеялся, что благодаря хитрости, с которой они свершили свое дело, не вызывая подозрений даже у двух обитателей дома, и налету тайны, всегда окружавшей Бартрам-Хо, он убережен от возмездия.

Как ни странно, он думал, что я выбралась из комнаты задолго до того, как туда вошли, и даже если бы его арестовали, не нашлось бы доказательств, что он имеет отношение к убийству, о котором, по его утверждению, он ничего не знал.

В связи со смертью моего дяди коронер<sup>{47}</sup> проводил дознание, и доктор Джолкс выступал главным свидетелем. Заключение было такое: смерть наступила в результате «чрезмерной дозы опия, принятой покойным».

Прошел почти год с того злодеяния в Бартраме, когда Дикона Хокса арестовали и посадили в тюрьму за тяжелое преступление, совершенное еще в Ланкашире. Видя свой последний шанс, он, уже осужденный, раскрыл обстоятельства никому не известной смерти француженки. Ее останки были обнаружены захороненными там, где он указал, — во внутреннем дворе Бартрама-Хо — и после положенного следствия перенесены на кладбище в Фелтрам.

Так я избежала ужасной участи оказаться среди свидетелей. Или еще более страшной муки — владеть неразглашенной тайной.

Доктор Брайерли — вскоре после того как леди Ноуллз описала ему, с моих слов, способ, каким Дадли проник в мою спальню, — побывал в бартрамском доме и тщательно осмотрел окна в комнате, где мистер Чарк спал в ночь убийства. Одно из этих окон, как доктор выяснил, было снабжено прочными стальными шарнирами, очень ловко замаскированными в деревянной оконной раме, которая удерживалась с внешней стороны железным шипом, — вытащив его, окно открывали. Это была именно та комната, в которой поместили меня; с помощью описанного ухищрения и входили в комнату. Загадка убийства мистера Чарка разрешилась.

Я доверила все это бумаге — написала наконец... Мгновение сижу,

затаив дыхание. Руки холодные, влажные. С глубоким вздохом встаю и выглядываю в окно: вижу дивный пасторальный пейзаж, с зелеными горами на горизонте... цветы и птицы... колышутся ветви величественных деревьев — свобода и защищенность. Рассеялся жуткий кошмар моих юных дней, и я поднимаю глаза в безмерной благодарности к Всемиловитовому Господу, могущественной рукой меня поддерживавшему. Когда я опускаю глаза, щеки у меня мокры от слез. Тоненький голосок зовет: «Мама!» — и смеющееся личико в обрамлении шелковистых, темно-русых, как у дорогого папы, кудрей, заглядывает ко мне.

— Да, милый, наша прогулка. Идем!

Я — леди Илбури, вознагражденная любовью нежного и великодушного мужа. Робкая, беспомощная девушка, известная вам, — теперь мать, которая старается быть хорошей матерью своему единственному оставшемуся ребенку.

Не стану говорить о печалях — о том, каким кратким было мое первое, исполненное безмерной гордости материнство, о том, как дороги те, кого Бог дал и Бог взял. Но порою, когда я смотрю на моего маленького мальчика, у меня на глаза навертываются слезы, и он недоумевает, отчего они. А я думаю, одновременно с дрожью и улыбкой: как сильна любовь, как хрупка жизнь; и я радуюсь — пусть и не могу унять дрожь — тому, что Творец всего живого, который не причинит напрасной муки, в бессмертной любви печалющихся заключил просветляющую надежду на уготованное им вечное соединение. В моих печалях я вняла гласу Небес: «Истинно слово — впредь блаженны умершие с Богом».

Мир сей — парабола: обителище символов... явленных в материальной оболочке фантомов бессмертных духовных сущностей. Да будет даровано мне счастливое ясновидение — узнавать под дивными земными покрывами облаченных в них АНГЕЛОВ! Я верю: если мы захотим, то пойдем с ними рядом и услышим их голоса.



---

comments

## **Комментарии**

\*

Роман впервые опубликован в 1864 году. Настоящий перевод осуществлен по изд.: *Sheridan Le Fanu J. Uncle Silas: A Tale of Bartram-Haugh: In 2 vol. Leipzig: Bernhard Tauchitz, 1865.*

# Предисловие

## 1

*...возразить против беспорядочного употребления понятия «сенсационная школа письма»...* — Так называют школу романистов, сформировавшуюся в 60-е годы XIX в. в Англии. Представители «сенсационной школы»: Уилки Коллинз (1824–1889), автор известных романов «Женщина в белом» (1860), «Лунный камень» (1868), «Армадейл» (1866), «Без имени» (1862); миссис Н. Вуд (1814–1887), чьи произведения предвосхищают детективный жанр («Ист Линн», 1861; «Трудности миссис Холибертон», 1862); М. Брэддон (1837–1915), создавшая более семидесяти романов с подчеркнуто напряженной интригой («Аврора Флойд», 1863; «Жена доктора», 1864 и пр.). Для всех этих авторов характерно мастерски выстроенное, драматичное, наполненное таинственными приключениями повествование с криминальными мотивами. Э. Гаскелл («Север и Юг») и Ч. Диккенс («Тайна Эдвина Друда») также использовали в своем творчестве отдельные приемы сенсационного романа.

*...вспомним о видении в комнате, увешанной гобеленами...* — Имеется в виду готический рассказ В. Скотта «Комната с гобеленами, или Дама в старинном платье», опубликованный в 1821 г.

## Том I

### 3

...как Шатобриан наблюдал за своим рара в громадном покое их Шато де Комбур. — Героиня знакома с автобиографическими «Замогильными записками» Франсуа Рене де Шатобриана (1768–1848), одного из крупнейших представителей раннего французского романтизма, автора повестей «Атала» (1801), «Рене» (1805), трактатов «Опыт о революциях» (1797), «Гений христианства» (1802). «Замогильные записки» были опубликованы уже после смерти Шатобриана, в 1849–1850 гг.

*...оставил. Англиканскую церковь — ради странной секты... и в конце концов сделался, как говорили, приверженцем Сведенборга. — Эмануэль Сведенборг (1688–1772) — шведский теософ-мистик, визионер. Много путешествовал, особенно в Англии, где испытал сильное влияние Ньютона, Д. Локка. Интересовался происхождением Вселенной, пытался доказать, что она имеет духовную структуру, создал свою теософскую систему, согласно которой Бог как божественный человек есть бесконечная любовь и мудрость, от него происходят два мира — природы и духа, различные, но взаимосвязанные. Последователи Сведенборга основали Новую Церковь, ревностным поборником которой был Уильям Блейк, опубликовавший работы Сведенборга.*

*...сцены à la Воуверман...* — Филипс Воуверман (1619–1668), известный голландский художник-жанрист, изображавший сцены охоты. Особенно знаменита его картина «Соколиная охота».

*Кто-то усмотрел в докторе Джонсоне сходство с привидением...* — Имеется в виду Сэмюэл Джонсон (1709–1784), английский поэт, критик, эссеист, лексикограф, составитель двухтомного словаря английского языка (1755). Под конец жизни отличался крайне нелюдимым характером. Ле Фаню по памяти цитирует либо Дж. Босуэлла, автора трехтомного сочинения «Жизнь Сэмюэла Джонсона» (1792), либо — что более вероятно — Эстер Л. Пиоцци, написавшую «Анекдоты о последних двадцати годах жизни покойного Сэмюэла Джонсона» (1786).

*...подобно Агари, узревшей в пустыне источник...* — Имеется в виду библейский эпизод «Избавление Агари и Измаила». Уйдя от Авраама, Агарь и Измаил заблудились в пустыне Вирсавии и были обречены на смерть от жажды. Агарь, чтобы не видеть смерти сына, оставила его под кустом а сама отошла. Но Ангел призвал Агарь вернуться за отроком. «И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодезь с водою... и напоила отрока» (Быт. 21: 8–19).

*...времен королевы Анны...* — См. примеч. 12 к «Дому у кладбища».

*...из тех бесами одержимых свиней, что кинулись в озеро Геннисарет.* — Имеется в виду евангельский эпизод изгнания бесов, вселившихся в стадо свиней, которые после этого бросились в море (см.: Мф. 8: 28–34; Мк. 5: 1–20; Лк. 8: 26–39).

*Вечный жид*, или Агасфер. — По легенде, во время пути Христа на Голгофу Агасфер отказал ему в кратком отдыхе у своего дома, за что обречен скитаться по земле вплоть до Второго пришествия Христа.

*Ah, ça ira, ça ira, ça ira!* — Название и припев народной песни времен Великой французской революции.

*Джеймсов порошок* — популярное в то время жаропонижающее, запатентованное врачом Робертом Джеймсом (1703–1776).

*Моя юная кузина!* — В оригинале стоит слово «кузина», хотя в действительности главная героиня приходится Монике Ноуллз племянницей.

*Кто он? Поборник «Пятой монархии»? — «Воины Пятой монархии» — религиозно-политическая секта времен протектората Оливера Кромвеля. См. также примеч. 3, 17 к «Дому у кладбища».*

*Три ведьмы сошлись. <...> «Тем или этим, чему названия нет!» —*  
См.: У. Шекспир, «Макбет акт IV, 1.

*...какой-нибудь мрачный барон Фрон-де-Беф...* — Реджинальд Фрон-де-Беф — персонаж романа В. Скотта «Айвенго», крестоносец, побывавший в Палестине и отличавшимся крайней жестокостью и грубостью.

Она утверждает, что она мадам де Ларужьер, и французским оборотом сама себя характеризует... — Фамилия «Ларужьер» имеет общий корень с французскими словами «rouge», «rougir» — «красный», «краснеть».

*Паладин* — в средние века рыцарь из свиты короля.

*...люблю такие дома — в простом черно-белом стиле — чудесные образчики старины. — См. примеч. 1 к «Завещанию сквайра Тоби».*

*Кипсек* — роскошно изданная, снабженная гравюрами подарочная книга начала XIX в.

*...когда мужчин проглатывают живьем, как Иону.* — Пророк Иона, сын Амафиина, вместо Ниневии, куда повелел ему идти Господь, решился «бежать в Фарсис от лица Господня». Когда он плыл на корабле, «Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря». Попутчики Ионы, с помощью жребия узнав, за кого постигает их эта беда, бросили Иону в море по его же наущению, «и утихло море от ярости своей». «И повелел Господь большому киту проглотить Иону; и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи». После молитвы и раскаяния Ионы «сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу» (см.: Ион. 1–2).

«Золушка» (1817) — опера Джоакино Россини (1792–1868), одного из создателей итальянского оперного стиля XIX в.

*...с дерзко вздернутым носом, каким старый карикатурист Вудуард обычно наделял джентльменов из Тьюксбури...* — Джордж Вудуард — один из основных представителей эпохи расцвета газетной карикатуры (ок. 1800).

«Панч», или «Лондон шаривари» — еженедельный комический журнал, основанный в 1841 г. Вначале политически-радикальный, он впоследствии стал гораздо менее политизированным. В числе сотрудников «Панча» был известный английский романист, сатирик, журналист и рисовальщик У.-М. Теккерей (1811–1863).

*Лорд Лоллипон* — один из персонажей «Книги снобов» (1847) У.-М. Теккерея, светский фат и законодатель мод.

*Медуза* — старшая из трех сестер Горгон. Горгоны в древнегреческой мифологии — дочери Форкиса и Кето, чудовища со змеями вместо волос, обращавшие в камень всякого, кто встречал их взгляд.

Собрание сказок «Тысяча и одна ночь» стало известно в Европе благодаря переводу Антуана Галлана (1646–1715), появившемуся в 1704–1717 гг. Существовал еще анонимный английский перевод 1705–1708 гг., а в 1839–1841 гг. был опубликован перевод египтолога Э. Лейна.

*Трактарианцы* — сторонники Джона Генри Ньюмена (1801–1890), английского теолога и публициста, опубликовавшего в 1833–1834 г. девяносто «Трактатов на века» в защиту догматов Англиканской Высокой церкви. Смысл Трактарианского (иначе — Оксфордского) движения сводился к защите церкви как самостоятельного духовного учреждения, менее всего подчиненного государству. Трактаты были направлены на утверждение сходных моментов у Англиканской церкви с Римом, что послужило поводом для запрещения трактарианства проповедующего католицизм. Сам Ньюмен стал католиком в 1845 г., что привело к расколу всего движения.

*Йорк* — город в графстве Йоркшир.

*...лестница Иакова, по которой Божьи ангелы... поднимаются и спускаются... — См.: Быт. 28: 19–22.*

*...потрепал по мраморной щеке Уильяма Питта...* — Имеется в виду статуя Уильяма Питта-младшего (1759–1806), сына крупного государственного деятеля из партии вигов. Стал канцлером в 1781 г.; с 1784 по 1801 гг. — премьер-министр Англии. После трехлетнего перерыва вернулся к власти, создав в 1804 г. третье коалиционное правительство.

*Только душа... обретает после смерти, говорит святой Павел, «жилище на небесах». — См.: 2 Кор. 5: 1.*

*...напоминала леди Гамильтон, околдовавшую Нелсона.* — Горацио Нелсон (1785–1805) — английский флотоводец, вице-адмирал. Леди Гамильтон, его возлюбленная, была супругой английского посла в Неаполе Уильяма Гамильтона.

*Коронер.* — См. примеч. 5 к «Завещанию сквайра Тоби».

*...сравнить с землей горы Пика...* — Пик — горный район в графстве Дербишир, южная часть Пеннин.

*Гревская площадь* — историческая площадь перед зданием ратуши в Париже; до 1830 г. служила местом казни.

*Герцог Веллингтон*, Артур Уэлсли (1769–1852) — полководец и государственный деятель, участник нескольких кампаний, прославился в битве при Ватерлоо (1815 г.); в 1828–1830 гг. — премьер-министр Англии; в 1834–1835 гг. — министр иностранных дел.

*Кобург* — шелковая саржа.

*Лучия ди л'Амур... несколько искаженное «Ламмермур», — моя кузина временами допускала ошибки, к тому же не слишком хорошо знала итальянскую оперу. — Речь идет о «Лючии ди Ламмермур» (1835) — опере итальянского композитора Гаэтано Доницетти (1797–1848) на сюжет романа В. Скотта «Ламмермурская невеста» (1835).*

*Матушка Хаббард* — персонаж английской детской песенки.

*...деревенской Мирандой, подходящей скорее в общество Калибану, нежели немощному старому Просперо. — Сайлас перечисляет персонажей шекспировской «Бури» (1611).*

*...она так твердо заучила роль мисс Хойден!* — Мисс Хойден — персонаж комедии Р.-Б. Шеридана «Поездка в Скарборо» (1777), богатая наследница, притом крайне невежественная.

*...как же оно... похоже на ту, описанную миссис Радклиф, восхитительную... старинную обитель, где... семья де ла Мот нашла свое печальное убежище. — Имеется в виду «Лесной роман» (1791) знаменитой английской писательницы, автора готических романов, Анны Радклиф (1764–1823), в котором рассказывается о судьбе семьи де ла Мот, нашедшей убежище в старинном аббатстве в лесу.*

*...времен начала правления Георга III.* — Король Георг III (1738–1820) правил в Англии с 1760 по 1820 г.

*Самиэль* и далее — *Вольный стрелок* — олицетворяющие силы зла и добра герои оперы немецкого композитора-романтика Карла Марии фон Вебера (1786–1826) «Вольный стрелок» (1821).

*...о таких, как она, говорят: челюстей осла да убоится всякий филистимлянин.* — Отсылка к библейскому эпизоду «Мечь Самсона Филистимлянинам». Филистимляне потребовали у жителей Иудеи выдачи Самсона. Самсон был связан и препровожден в Леху. «И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались как перегоревший лен, и упали узы с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее, и убил ею тысячу человек» (Суд. 15: 9–17).

## Том II

### 1

*Корморан.* — В оригинале стоит французское слово *corbeau*, что означает «баклан». Милли награждает этим прозвищем персонаж, закутанный в черную накидку, очевидно, из-за его сходства с большой черной птицей.

*Шолье* Гийом-Амфри (1639–1720) — один из родоначальников французской поэзии рококо; известен своими эпикурейскими стихами.

*Шенье* Андре Мари (1762–1794) — французский поэт и публицист.

*Это было повествование Сведенборга об иных мирах — о рае и об аде.* — По-видимому, имеется в виду самое известное произведение Сведенборга «О небесах, о мире духов и об аде» (1758).

*Почитайте «Любителя опиума».* — Имеется в виду автобиографическое произведение английского писателя-романтика Томаса де Квинси (1785–1859) «Исповедь любителя опиума» (1822).

*Он струдбруг...* — Струдбруги — раса, наделенная бессмертием, с которой встречается во время своих странствий Гулливер, герой романа Джонатана Свифта (1667–1745) «Путешествия Гулливера» (1726).

*...он появился в канун Дня всех святых в ответ на заклинания... надеюсь, он не ваш суженый...* — День всех святых — 1-е ноября; в его канун царствует нечистая сила; кроме того, принято гадать о суженом.

*Геба* — в древнегреческой мифологии богиня вечной юности, дочь Зевса и Геры, жена Геракла.

*...на языке пиктов и древних бриттов...* — Пикты — древнее племя, населявшее Шотландию. В IX в. было завоевано и ассимилировано скоттами. Бритты — кельтские племена, населявшие Британию в VIII в. до н. э. — V в. н. э. Были завоеваны англосаксами в V–VI вв. н. э.

*..лепешку, испеченную еще королем Альфредом...* — Альфред Великий (ок. 849 — ок. 900) — англосаксонский король (правил в Уэссексе с 871 г.). По легенде, Альфред, скрываясь от врагов, переоделся простолюдином и пек лепешки в виде платы за ночлег в одном крестьянском доме.

*Хотя я пока не сэр Танбели Кламзи... она законченная мисс Хойден.* — Вновь упоминаются персонажи «Поездки в Скарборо» Р.-Б. Шеридана (см. также примеч. 42 к т. 1 «Дяди Сайласа»), наделенные «говорящими» именами: в русском переводе это были бы сэр Пузан Неповоротень и мисс Невежа.

«...при виде *п*Оверженного дУба КЛИч горести издав». — Здесь обыгрывается фамилия капитана Оукли: oak по-английски означает «дуб».

«Таймс» и «Морнинг пост» — старейшие английские газеты (основаны соответственно в 1785 и 1772 гг.).

..Джо Уиллет держит во рту на этих чудесных, всем нам памятных иллюстрациях к «Барнеби Раджу». — Иллюстрации к роману Ч. Диккенса «Барнеби Радж» (1841) были выполнены художником Фредом Барнардом.

*...делается вторым Тони Ламкином...* — Тони Ламкин — хитрый и ловкий персонаж комедии Оливера Голдсмита (1728–1774) «Она смиряется, чтобы победить, или Ошибки одной ночи» (1773).

Цитируется стихотворение «Мертвецы!..» Томаса Мура, входящее в состав его «Ирландских мелодий» (см. примеч. 39, 125 к «Дому у кладбища»).

*Словно Аэндорская волшебница вывела мне это устрашающее видение!..* — Отсылка к библейскому эпизоду «Саул у Аэндорской волшебницы» (см. примеч. 121 к «Дому у кладбища»).

*...вы найдете его в «Песни последнего менестреля»...* — «Песнь последнего менестреля» — поэма В. Скотта в шести песнях, опубликованная в 1805 г. Действие поэмы относится к XVI в. Повествование ведется от лица древнего сказителя, последнего менестреля. Сюжет основан на существовавших в Пограничном крае (между Шотландией и Англией) легендах о гоблине Гилпине Хорнере. Леди Ноулз имеет в виду волшебника Майкла Скотта, лежавшего в могиле аббатства Мелроуз (рядом с усадьбой Скотта Абботсфордом) вместе со своей волшебной книгой, которую взяли по приказу главной героини поэмы, леди из Брэнксом-Холла.

...эти стишки, как *billet-doux* Фальстафа... — Фальстаф — персонаж комедии У. Шекспира «Виндзорские насмешницы» (1602).

*Люмбаго* — острая боль в пояснице.

...Землю Ван-Димена... — прежнее название острова Тасмания, находящегося у юго-восточной оконечности Австралии, открытого голландским мореплавателем А. Тасманом в 1642 г. В 1788 г. остров был объявлен английским владением под названием Земля Ван-Димена и включен в состав штата Новый Южный Уэльс. В 1825 г. Земля Ван-Димена стала отдельной английской колонией. Название Тасмания существует с 1853 г.

*...во всяком случае, их припев не из Стерна.* — Лоренс Стерн (1713–1768) — английский писатель, священник, автор знаменитых романов «Тристрам Шенди» (1767) и «Сентиментальное путешествие» (1768); основоположник литературы сентиментализма. В одном из эпизодов «Сентиментального путешествия» герой проливает слезы над скворцом, сидящим в клетке и произносящим одну фразу: «Не могу выйти».

*Святой Кевин* — покровитель Ирландии.

*Догкарт* — высокий двухколесный экипаж с местом для собак под сиденьями.

*Вулвергемптон* — город в графстве Уорикшир.

*...он говорил о потопе, о водах Мерры...* — Мерра означает горечь. При переходе израильтян через пустыню Моисей по слову Господа бросил в горький родник дерево, и вода стала сладкой (см.: Исх. 15: 23). В настоящее время это минеральный источник на пути к Синаю, с неприятной горько-соленой водой, непригодной для питья.

*Ищет жизни Дивеза? <...> ...узнает все остальное...* — Отсылка к евангельской притче о богаче и Лазаре (Лк. 16: 19–31).

*Ихор* — мифическая жидкость в жилах богов, заменяющая кровь.

*...напоминали лорда Дуберли и доктора Панглосса...* — Лорд Дуберли и доктор Панглосс — персонажи комедии Джорджа Колмена-младшего (1762–1836) «Наследник в суде» (1797).

*...помните, в той прелестной пьесе... легкой неприязни вначале.* —  
Речь идет о пьесе английского драматурга Р.-Б. Шеридана «Соперники»  
(1775).

*...все... преобразились, подобно Ньюгейту.* — Можно предположить, что дядя Сайлас, вращавшийся в обществе аморальных и преступных людей, не без иронии именуется одним из своих друзей по названию известной лондонской тюрьмы Ньюгейт. Существовал ньюгейтский календарь с перечнем всех содержащихся там с 1773 г. преступников, и романисты (Бульвер-Литтон, Дизраэли) использовали материалы тех скандальных дел — таким образом была создана школа «ньюгейтского романа».

*Уорик* — город в графстве Уорикшир. См. также примеч. 29 к т. 1 «Дяди Сайласа».

«*La Revue de Дё Монт*» — французский ежемесячник, издающийся с 1829 г.

*...о прекрасной копии ван-дейковского «Велизария»...* — А. ван Дейк (1599–1641) — известный фламандский художник, ученик П. Рубенса. Был придворным живописцем Карла I. Велизарий (505–565) — полководец римского императора Юстиниана. Существует предание, будто под конец жизни Велизарий был ослеплен и вынужден был просить милостыню.

*Требовалось бесстыдство Тони Ламкина...* — См. примеч. 15 к т. 2 «Дяди Сайласа».

*...подобно Аделаиде из «Лесного романа»...* — Героиня «Лесного романа» А. Радклиф, Аделаида, — молоденькая девушка, которую спасает де ла Мот и которая становится участницей всех его дальнейших злоключений (см. также примеч. 43 к т. 1 «Дяди Сайласа»).

*...опустив босые ноги в ванну делфтского фаянса...* — Делфтский фаянс производился в нидерландском городе Делфте, славившемся своими керамическими изделиями.

...как выразился бы мистер Ричардсон, «безвольную руку»... — См. примеч. 158, 190 к «Дому у кладбища».

*Талейран* Перигор Шарль Морис (1754–1838) — знаменитый дипломат, министр иностранных дел с 1797 по 1807 г., при Директории и в период консульства и империи Наполеона I; при Людовике XVIII возглавлял французскую делегацию на Венском конгрессе (1814–1815 гг.).

*Иезавель* — жена израильского царя Ахава. Имя Иезавель стало синонимом бесчестия и разврата.

*...Он предложи откушать у него — с улыбкой Рейвнсвуда... — См. примеч. 53 к «Дому у кладбища».*

*Юстон* — большой лондонский вокзал; *Рассел* — площадь в Уэст-Энде, недалеко от Британского музея; *Оксфорд-стрит* — торговая улица в Лондоне; *Хеймаркет* — улица в центральной части Лондона, где находится театр Хеймаркет и театр Ее Величества; *Пиккадилли* — одна из главных улиц в центральной части Лондона.

*...вглядывалась в глаза этой мрачной Атропос.* — См. примеч. 111 к «Дому у кладбища», примеч. 3 к «Чейплизодским историям о привидениях».

*Врата изменника* — главные «водные» ворота в Тауэр со стороны реки Темзы. Через них привозили узников в Тауэр.

*Джон Уэсли* (1703–1791) — английский проповедник; получил образование в Оксфорде, где встал во главе группы христиан, занимавшихся строгой самодисциплиной. Сторонников Уэсли называли «Святым клубом», или методистами.

*Дерби* — город в графстве Дербишир.

*Коронер.* — См. примеч. 5 к «Завещанию сквайра Тоби».

---

---

**notes**

## **Примечания**

**1**

Папа (фр.). (Здесь и далее примеч. пер.)

Иуд. 12: 13.

3

Встречи с глазу на глаз (фр.).

4

Hy-c! ( $\phi p.$ )

5

Я разъясню вам это до конца (фр.).

**6**

Гувернантка (*фр.*).

Милочка (фр.).

Ну же! (фр.)

Горестный (фр.).

Мама (*фр.*).

...милочка, — воистину причудливый вкус!.. (фр.)

Клянусь (фр.).

Маленькая упрямица (фр.).

...железная дорога! (фр.)

Дело пойдет на лад! (фр.)

Ей-богу... дурной тон! (фр.)

УВЫ! (фр.)

Огорчена (фр.).

Κοφε (φρ.).

Я чувствую разбитость... (фр.)

...доброту, которую вы, моя дорогая, проявляете ко мне (фр.).

Вы знаете, больные... (фр.)

...время от времени у меня боли в голове... иногда... (фр.)

Роковое (фр.).

Шалопай (фр.).

Повеса (фр.).

Очень любезно с вашей стороны подумать обо мне. Да полно! (фр.)

$\Phi y!$  ( $\phi p.$ )

Потихоньку, потихоньку (фр.).

**30**

Как сегодня чувствует себя ваш отец? (фр)

Я хочу одеться, дорогая... (фр.)

Какая досада! (фр.)

Но это целая история... (фр.)

Живей, живей! (фр.)

Безутешно (фр.).

Прекрасно! (фр.)

Здесь: изящные манеры (фр.).

Драматические персонажи (*лат.*).

Здесь: **На** тебе! (*фр.*)

Вот и все! (фр.)

Ну же! (фр.)

Прекрасно! (фр.)

Идемте! (фр.)

Состав (фр.).

До свидания (фр.).

Здесь: маленькая пройдоха (фр.).

Чертовка (фр.).

Воровка (фр.).

Прощайте (фр.).

**50**

Где ошибка, которую сделал? (*лат.*)

Всеразрушающему (*лат.*).

Визави (фр.).

Небо (*фр.*).

Любовь (фр.).

Ненужный (фр.).

Сияние (др.-греч.).

Склонность (*φр.*).

Неравный брак (фр.).

Впрочем (*фр.*).

О, милое уединение,  
Покоя, тишины приют,  
Куда вовеки не войдут  
Тревога и смятение.

*(Пер. с фр. Е. Ряковской)*

**61**

Большое расстояние (*лат.*).

Ночь, горестная ночь! О тихая Аврора,  
Придешь ли? Где же ты? Увижу ль свет твой скоро?

*(Пер. с фр. Вс. Рождественского)*

Ни с того ни с сего (*фр.*).

Встреча наедине (фр.).

Бесстыдство (фр.).

Повеса (*фр.*).

Пер. В. Топорова.

Любовные записочки (фр.).

...он влюблен... (фр.)

Притч. 18: 23.

Мизанцена (фр.).

Встреча (фр.).

Не желаю стать епископом (*лат.*) — формула фиктивного отказа.

Любить — значит страшиться, и страшиться — значит страдать (*фр.*).

Через (фр.).

Спасайся, кто может! (фр.)

Урожденная (фр.).

Подай обол Велизарию! (лат.)

Взгляд (фр.).

В восторге (*фр.*).

Милочка (фр.).

Да (фр.).

Показываться (фр.).

...ВОТ И ВСЕ! (фр.)

Унылое (фр.).

Дорогая маленькая простушка... (фр.)

Беспорядок (фр.).

Глупость (фр.).

Я не держу на вас зла (*фр.*).

Телохранитель (*фр.*).

В насмешку (фр.).

В шутку (фр.).

Мне стыдно за вас (фр.).

Оклеветать (фр.).

Забочусь о своей репутации... (фр.)

УВЫ! (фр.)

Здесь: звереньш (*фр.*).

Зверюшка (фр.).

Ах! Вот беда! (фр.)

Моя дорогая маленькая клеветница (*фр.*).

Я заставлю вас поцеловать обезьяну, ха-ха-ха! (фр.)

Заставить меня целовать обезьяну... (фр.)

Тише... тише! (фр.)

Тише, моя дорогая! (фр.)

Ну вот! Она не в своем уме (*фр.*)

Черт возьми! (фр.)

Испорченный ребенок (фр.).

Прекрасная Франция! (фр.)

Судебное разбирательство (фр.).

**110**

Кладбище (фр.).

В путь (*фр.*).

Риск (фр.).

Пустословие! (фр.)

Вот! (фр.)

Вздор (*фр.*).

...маленькая предательница! (фр.)

Маленькая нахалка (*фр.*).

Птицелов (фр.).

Здесь: шах и мат — это уж точно (*фр.*).

Коп. 3: 12–13.

Откр. 22: 11.